ISSN 0012-6756

Дружба народов

4/2020

В номере:

«Теперь я буду Та-та»

Ни имени, ни памяти, ни корня. Ребенок посреди войны, посреди нигде. Лишь украденные звуки, из которых прорастает судьба. Она собирает себя, принимая в свои руки чужое уходящее время. Девочка, женщина, старуха. Героиня романа Полины ИВАНУШКИНОЙ «Забыть-река» Тата Тутина строит себя из рассыпанных кирпичиков чьих-то радостей, потерь, любовей. Прорастает в жизнь. И в последнем вагоне своей истории обретает наконец собственное имя — и прощение.

«Странноприимный огород»

«Это было странно, как будто не жизнь, а какой-то фильм…» Фрагмент романа Ксении ДРАГУНСКОЙ «Туда нельзя»: глухая «нечернозёмка», загадочная Амор Каритас, женщина между сорока и шестьюдесятью, искупающая некую вину хозяйка приюта для «передержки» мужчин в кризисной ситуации, и восемь ее «постояльцев» — «и каждый обитатель достоин отдельного романа».

«…мы с тобой — из вечно молодых»

«Разбивает прибой о скалу/ самобраную скатерть —/ соль стекла соберу на полу/ и не стану на паперть./ Будем вбиты, по шляпку войдём/ в древо осени рыжей./ Тот, кто сделался ржавым гвоздём,/ Сыну плотника ближе…» — апрельский номер открывают философские стихи Ильи ФАЛИКОВА, посвященные любимым местам — Дальнему Востоку, Крыму и Москве. О живых и ушедших родных людях — ностальгическая лирика Веры ЗУБАРЕВОЙ. Стихи Дмитрия РУМЯНЦЕВА и Ольги ИВАНОВОЙ — такие разные по поэтике, настроению и интонации, — о любви.

Крот истории продолжает рыть

Содержание статьи одного из основоположников этнополитологии в России профессора Эмиля ПАИНА намечено в самом ее заголовке — «Об имперском синдроме, национализме и негативных этнических стереотипах». В своих размышлениях и выводах автор опирается на богатый фактический и статистический материал, актуальные социологические исследования.

Миры, открывавшиеся за проходной

В документальной повести Михаила РУМЕРА-ЗАРАЕВА «Исчезнувший мир» — история одной жизни, рассказанная через историю одного ныне ушедшего в небытие автомобильного завода.

«А вечером позвонил Ангел…»

«Есть несколько историй, которые не оставляют меня. И я знаю, как сделать, чтобы они не возвращались ко мне снова и снова, — их надо записать», — признается поэт Татьяна ПОЛЕТАЕВА, начиная свои «Истории прошлых лет». О маме и итальянском архитекторе, возводившем по приказу Ивана III храм, об обитателях подмосковной деревни Асташково и о графе де Лавале, французе, прадеде мужа — поэта Александра Сопровского, о строителях Волжского автозавода и поэтах Семёне Липкине и Инне Лиснянской, а также о цветах, котах, елочных игрушках и сказках.

Дружба народов

4'2020

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
http://дружбанародов.com

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Дмитрий БИРМАН
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Илья ОДЕГОВ
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.02.2020.
Подписано в печать 26.03.2020.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 5444. Цена свободная.

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Илья ФАЛИКОВ. Вторая судьба. *Стихи* ***3***
Полина ИВАНУШКИНА. Забыть-река. *Роман* ***9***
Дмитрий РУМЯНЦЕВ. Голубятня. *Стихи* ***80***
Ксения ДРАГУНСКАЯ. Странноприимный огород Амор Каритас. *Фрагмент романа «Туда нельзя»* ***83***
Ольга ИВАНОВА. Из цикла «Гость». *Стихи* ***107***
Марина ВАЖОВА. Любаха. *Повесть* ***110***
Александр ГРИГОРЕНКО. Солнцепоклонник. *По следу ненаписанной книги* ***135***
Вера ЗУБАРЕВА. Где играют акварели света. *Стихи* ***144***
Сергей ЗОЛОТАРЁВ. Чёртополох. *Рассказ* ***147***
Евгений СОЛОГУБ. Трактовка тишины. *Рассказ* ***165***
Ольга ГУЛЯЕВА. Человек человеку. *Стихи* ***171***
Валерия КРУТОВА. Музей чудиков. *Рассказы* ***172***
Кирилл КУРБАТОВ. Скрипучий случай. *Рассказ* ***179***

ПРОЗА.DOC

Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ. Исчезнувший мир. *Документальная повесть* ***183***
Татьяна ПОЛЕТАЕВА. Истории прошлых лет ***208***

НАЦИЯ И МИР

Эмиль ПАИН. Об имперском синдроме, национализме и негативных этнических стереотипах ***228***

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Дмитрий РАЙЦ. Первая казнь в моей жизни. *Рассказ* ***239***

ПЕРВЫЕ СТИХИ

Константин КОМАРОВ. «На небо слили бочку дёгтя...» ***243***

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Время селфи ***244***

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Николай АЛЕКСАНДРОВ. Опыт краткого комментария. (*М.Гронас. «Краткая история внимания»*) ***248***

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Игорь КУЗНЕЦОВ. Озноб реальности (*Д.Стахов. «Крысиный король»*) ***254***
Елена САФРОНОВА. Миф об Уране (*О.Погодина-Кузмина. «Уран»*) ***257***
Ольга БУГОСЛАВСКАЯ. Несгибаемый человек в изменчивом мире (*А.Архангельский. «Несогласный Теодор...»*) ***260***
Дмитрий АРТИС. Декарт был прав, но истина дороже (*Э.Фет. «Последних полевых букетов шапки»*) ***262***
Юлия ПОДЛУБНОВА. Такая простая отрада (*В.Полетаев. «Прозрачный циферблат»*) ***263***

БЛОГ-ПОСТ

Ольга БРЕЙНИНГЕР. Цифровое (не)совершенство ***266***

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Обнуление метаданных ***269***

© «Дружба народов», 2020

Илья Фаликов

Вторая судьба

* * *

Брат! Такое большое количество чаек
на высокоугольных камнях
соответствует сумме кефалевых стаек,
угрожавших исчезнуть на днях.
Не оставит без блеска лазури бездонной
в акватории бухты ни дня
у Никольской часовни, вторично рождённой,
человеческая толкотня.

Глянь с канатки: мы все — муравьиные ровни,
и разлается чеховский шпиц,
рассмотрев на камнях у Никольской часовни
слишком много прожорливых птиц.
Развелось всекитайское множество джонок,
и кефаль не колышет шаланд,
для аттической соли хватает солонок
в тех салонах, где пьют шоколад.

Но с учётом и прочих существ небестелых,
угодивших под огненный душ,
установлено равенство в наших пределах
жадных птиц и погубленных душ.
Равновесие, брат, существует в природе,
где всё меньше становится нас.
Ах, зачем состоишь ты не в нашем приходе?
Да и нас там не видно сейчас.

Фаликов Илья Зиновьевич — поэт, прозаик, эссеист. По образованию филолог. Автор десяти книг лирики, четырех романов в прозе, двух сборников эссеистики и четырех книг в серии «Жизнь замечательных людей». Лауреат нескольких литературных премий. Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Москве.

* * *

Я потом, я потом их сравню, эти два поднебесных платана,
но один из них был
твёрдым голосом Ю. Левитана —
и шаляпинский бас, и рокочущий в рост Маяковский,
старый лев, патриарх, стойкий звук
ломоносовско-росский.

А платан с бархатцой Челентано
был другим вариантом платана.

И летит мошкара, в том числе эти бледные строки,
и в корнях вековых перегнили цветы и пророки,
от которых отмерено летосчисление это.
С Днем защиты детей! Начинается лето.
Стонет ухо небес, и стенная трещит перепонка,
в повлажневших любимых глазах
застоялась потеря ребёнка,
опускаю свои, промерцавшие бегло,
и платаны летят в это бедное адское пекло.

Передых

А царь тут останавливался, а?
По ста ступенькам, статусным по-царски,
мешает повреждённая нога
взбежать на гору, в облако подсказки.
Велит стопе ступенька: ну-ка стой.
По камню палкой яростно ударя,
стою столбом на лестнице крутой,
построенной по воле государя.

По-видимому, тягостный подъём
продиктовал гранитную идею,
а мы бы отложили на потом,
подобным матерьялом не владея.
Над головой — иная высота,
которая всегда огнеопасна.
Но эта высота была взята.
И нас там не стояло, это ясно.

В злосчастном том году тридцать седьмом
царь посетил прекрасную Тавриду.
На синем небе, в облаке седом,
звенела пуля, ласточка по виду.
Вконец истомлены, на первый бал
летели стаи барышень кисейных,
а тот, кто с царской лестницы упал,
в пространствах обретается ничейных.

Да, мы с тобой — из вечно молодых.
Но государь был несколько моложе.
У подданных бывает передых.
Но то не мы дежурим в царской ложе.
На жалобу, что путь наверх жесток,
под сению дерев золоторогих
ответит торжествующий поток
бегущих к морю гурий белоногих.

* * *

У татарина, у хана, в море не было нужды.
Были горы, были степи, огороды и сады.
Но понадобилось море — торговать и воевать.
Отыскали и поэта, чтобы это воспевать.
Никого не оказалось у священного огня
на отеческом Парнасе — кроме, кажется, меня.
И когда меня позвали в град по имени Къырым,
древнеримскую дорогу покрывал полынный дым.
Дым полынный, дым зловонный, столбенеющий у гор.
Я пошёл туда беспечно, не вернулся до сих пор.

Осень—58

Я — ржавый гвоздь, что идёт на гроба.
Б. Слуцкий

I did it my way[1].
Из песни

В океан распахнётся окно,
и штормит в океане.
Мне шестнадцать, а в Доме кино
происходит собранье.
Предпочтительней слушать The Voice
of America — нравы
припортовой шпаны повелось
улучшать с Окинавы.

Бормотать про четырнадцать лет,
ВХУТЕМАС и так дале.
Но другой открывается свет,
океанские дали.
Океан обещает улов,
и прорыта траншея —
с рифов тысяча конских голов
выплывает, рыжея.

Острова, и в кругу сейнеров
имя острова — Русский.
На судебной трибуне суров
обвинительный Слуцкий.

Ломим шведов, молотим врага
в оппоненте бывалом.
Вдалеке полыхает тайга
на валу огнепалом.

Из военного выйдя огня
в окаянное поле,
ничего ты не знал про меня,
знаменитого в школе.
Хрипом негра, игрой на трубе
в заполночном эфире
заражусь, чтобы спеть о тебе
в перевёрнутом мире.

Разбивает прибой о скалу
самобраную скатерть —
соль стекла соберу на полу
и не стану на паперть.
Будем вбиты, по шляпку войдём
в древо осени рыжей.
Тот, кто сделался ржавым гвоздем,
Сыну плотника ближе.

[1] Я сделал это по-своему (*англ.*). Песня «My way» (муз. Клода Франсуа, англ. текст — Пола Анки) наиболее известна в исполнении Фрэнка Синатры.

* * *

Чёрт нерусский, матрос, понаделал детишек с русачкой,
с эвенкийкой-полячкой, непонятных кровей сибирячкой.
Говорили по-русски. Говорили и пели по-русски.
В словаре застревали команды разгрузки-погрузки.
И портовый шалман, и китайцы Суйфунского рынка,
и таёжный шаман, и в звездах Голубинка-Орлинка.
Старый тигр уходил мимо лотоса, в зону женьшеня.
И хунхуз возникал, и звучала тюремная феня.
Партизанский проспект, и пучок азиатской бородки,
и в канаве мой труп под кастетом Корейской слободки.
Полюби меня, жизнь, за отчётливый знак вырожденья
на светящемся лбу — рассекреченность происхожденья.
Не по паспорту бьют, и под ильмом далёкого края
ходит первый олень, в удэгейскую дудку играя.

* * *

Пошёл на помойку, чтоб мусор
пристроить, убрать за собой,
пропитан муссоном, покусан
всей кровососущей ордой.
Уеду и больше не буду
дразнить заполночных собак.
Порожняя стеклопосуда
со звоном отправится в бак.

И взятки по-прежнему гладки,
и заперты на ночь дворы,
и крики на детской площадке
лишь эхо дневной детворы.
И пластикового пакета
кончается купленный срок,
и тень одинокая эта,
и парус её одинок.

На лёгких, вдыхающих спёрто,
осела вселенская пыль.
На вызов до аэропорта
запаздывал автомобиль.
В полтретьего было безлюдно,
и тот ошибался впотьмах,
кто думал, что будет безлунно, —
глазаст человеческий страх.

Луна была красной, огромной,
нагорной — такая луна —
для слабых сердец неподъемной,
и смерть на природе красна.
Ты выпило кровь мою, лето,
и стеклопосуде пустой
в овраге остаться отпето
назначено красной луной.

* * *

Обвалился на горлицу ливень ночной,
окатил с высоты океанской волной,
неизвестно, чего он ещё натворит,
и, убежищем сделав пещерный кварцит,
запечаталась горлица.

Но тебе это нравится, ибо не в счёт
этот счёт горловой, чёрный час пронесёт,
не надышит в затылок большая вода,
и стоит за прилавком на рынке труда —
дочь оливы — глаголица.

Только это и помнится — долго лило,
неизвестно откуда и как рассвело,
не должно было этого произойти
в междугорье, где горлицу душат в горсти
духота и бескормица.

Между тем океан, упадая с небес,
через лес прошумел, никуда не исчез,
и вторая судьба — за невзрачной судьбой
следом — станет собой из худышки сырой,
постепенно оформится.

* * *

Переулок образует угол,
и поставлен в угол старый дом,
что давно отпел и отаукал.
В будущее верится с трудом.
Убежал от сноса и от слома,
выскочил из пятого угла,
слэму не оставил ни полслова,
и флешмоб журчит из санузла.

В небесах гремит телега тёзки,
хор антенн на крыше — буйный сад.
Очень скоро бронзовые доски
с древнего фасада полетят.

Он не заработал на лекарства
в дорогой аптеке за углом.
Ибо под охраной государства
всё равно получит снос и слом.
А пока стоит не без почета
там, где произвольно произрос,
во дворе упрятав за ворота
пару белокаменных берёз.

* * *

Видя сны о той, что рядом
спит и видит вещий сон
про меня, под звездопадом
остановленного садом —
голосом блаженных жён;
видя сны о той, с которой
на земле и в небесах
прожил век объектом скорой
помощи, за плотной шторой,
парой стрелок на часах, —
просыпаться не желаю
и не знаю, что прошло
по обрывистому краю
и разбилось, как стекло.

Как разбитое стекло,
как стеклянное крыло.

...Прожил век объектом скорой
помощи, в её руках,
за берёзой белокорой
рощи, выросшей в песках.
Не участвуя в пиаре,
и едали, и пивали
под развеянным кустом,
не желаючи — гуртом.

* * *

Смолкнет свет у тебя в темноте.
Ночь закончится сразу.
Дни не те или ночи не те?
Не хватает на фразу,
на лексему, на слово, на звук —
угасает в полёте
звёздный час, выпадая из рук,
состоящих из плоти.

Это старый, банальный мотив —
всё кончается, дескать,
недомучась и недолюбив.
Задержаться, помешкать,
чтоб стояла звезда, не упав,
и еловая лапа
ухватила тебя за рукав
в миг падения с трапа.

Теплоход назовётся «Эол»
и уйдёт без возврата.
Скрипок нет, и не слышно виол,
высота виновата.
В хороводе камен и харит
всё как прежде в ажуре,
и настенная лампа горит
в жестяном абажуре.

Притязаньем на бронзу и медь
надуваться негоже.
Недоспать, недопить, недопеть
не получится тоже.
Стар глагол, и мерцает металл
эхолотов и раций.
Это что тебе там наболтал
твой бесценный Гораций?

Полина Иванушкина

Забыть-река

Роман

Глава 1. Рахитичка
Москва Октябрьская

— Имя я украла. И никакой Натальи Сергеевны Тутиной, не было бы, если бы в первое военное лето, в детском эшелоне, шедшем на восток, не умерла Тата.

Пол покачивается, пружинит так, что мышцы сразу вступают в знакомый такт и до краев полнятся усталостью безнадежной ходьбы, и только рукам не хватает привычной тяжести драгоценного груза, который, как гимнасту на проволоке, нужно держать, держать, когда хочется только бросить и остановиться. За окном все мелькает, оставляет долгий растекшийся хвост слившихся красок. Никаких подробностей, широкий мазок. А иногда — наоборот, одни только подробности, глаз выхватывает их из влажной, текучей и перемешанной палитры, пытающейся нагнать поезд. Рыжий кружок в руках станционной женщины. Ресничная линия деревьев по краю слияния с небом. Скелеты башен сотовой связи. Отражение в окне, залитом с той стороны острыми и тягучими, распушенными к хвосту каплями дождя.

Отражение в стекле возвращает Тате высокую старуху, прижавшуюся лбом к темнеющему окну — может быть, станционная женщина даже успела разглядеть эту движущуюся картинку в раме. Старуха шепчет. Имена. Подробности. Время. Тишина. И стук, стук. Кач, кач.

Вагоны проскальзывают дальше, в следующий кадр, рвут пленку.

«Серёжа, родной!

Безумно, бессмысленно, но я тебя все время жду, мне кажется, что ты не сегодня-завтра приедешь. Уже три недели тебя нет. И ни строчки. Схожу с ума.

Эту записку пишу на случай, если ты приедешь, без меня, а я уехала копать окопы.

Сходи в школу на Зеленцовой улице, 16, там есть тройка по эвакуации детей, узнай, куда перевели тубсанаторий, если перевели. Езжай туда и забери Тату и возвращайся обратно, потом вместе придумаем, что делать дальше. Забери ее скорей, им там очень плохо.

Иванушкина Полина Сергеевна — журналист. Окончила журфак МГУ. Работает в еженедельнике «Аргументы и факты». Автор-составитель «Детской книги войны» (М., 2015). Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 10.

Если же я не возвращусь, а это вполне возможно, потому что фронт подступает, то Таточка останется только на твоем попечении, люби ее, как я любила тебя и ее, вас вместе.

Писать некогда, все. Целую»

Имя же, которое дали ей люди, было — Святая.

Так же стрекотали под дощатым и где-то дырявым полом колеса, прогибались по тяжестью столыпинских вагонов рельсы, гудели металлическим вольчьим воем — такой же стоял и внутри — тогда-то и было впервые названо ее новое имя. Святая.

И оно шло ей даже больше, чем Тата.

Горский тубсанаторий эвакуировали спешно — стремительный, разрастающийся наплыв отметок на картах, будто луковые стрелки жидкой рассады все вдруг пробились в одном направлении, накренились на восток. Похватали детей, гипсовые «кроватки» — прообразы космических ложементов, картотеку — больные все были безнадежны, стрептомицин еще не изобрели — и паек на первые дни пути. С запада на восток, простаивая на запасных и успокаивая чахоточных с градусниками под мышками, запеленутых, будто личинки, в свои твердые коконы. Тогда еще было неясно, что вылупятся из коконов не все. Вот эта девочка, держащая в кулачке записку от мамы, «Серёжа, родной!», все, что от мамы осталось, она — нет. А та, что, полуприкрыв жиденькие ресницы, день за днем слушает, как соседка читает наизусть от частого повторения теряющие смысл строки, она — спасется.

Эшелон прибудет в Темниковку в конце лета.

Но это не тот эшелон, что уходил от надвигающейся тьмы.

Вернее, это вообще уже не эшелон. Его больше нет. К месту назначения прибудет единственная оставшаяся от него пассажирка, которую в последних числах августа передали под роспись — человек с портфелем поднял за собой, трогаясь обратно в город, завесу подорожной пыли — из горотдела в Темниковский детский дом для туберкулезных сирот.

Девочка сжимала в пальцах записку. И сказала, что ее зовут Тата.

И все ей поверили.

«Рахитичка!»

Все, что могло что-то значить — метрика, санаторная карта, расписки родных (или чужих) «прибыл-убыл» — всего этого не было. Распылилось по полю вместе с врачами, нянечками, девочкой, день и ночь державшей у груди листок с точным, собранным почерком, как будто ему подвластны были и окопы, и тройки по эвакуации, и даже недалекий фронт и широкий шаг, которым шел муж Серёжа все дальше, дальше от нее... Мамин почерк. У этой девочки была мама. А у меня? Кто был у меня? Кто у меня есть? Кто, кроме сизого туберкулезного ангела с одним крылом на горбу, который так радостно обзывается и брызгает слюной?

«Рахитичка!»

Его зовут Соловов.

А я буду Тата.

Это теперь мое имя.

Осколок, засевший за мякотью уха, будет тревожить ее всегда и, может, однажды убьет, но не это причина беспамятства. И не умысел. Но, может быть, провидение. Слишком много для восьми лет. Слишком. Забыть все. Не оставлять слабых мест. И все, что было до эшелона, она и правда забыла. Подвернулся удобный случай.

Когда вокруг загудело, запузырилась крыша, почернел горизонт в окне, исполосованный виноградинами шрапнели, девочка с жиденькими ресницами видела, хотя от паровоза ее отделяли четыре вагона, как машинист — его молодое тело найдут

наутро, и голова будет опушена старческим инеем — медленно тянет рычаг на себя, как харкает черный истопник и как поезд, начиненный детьми, трясется всем нутром и начинает замедленно течь назад. Поезд сдает, небеса отверзаются, и сквозь оглушающую тишину девочка, которую мы, может, никогда и не узнаем как зовут на самом деле, видит руку, не связанную с телом, пухлую той пухлостью, которая вскоре повсеместно будет лишь симптомом голодной водянки, руку ребенка, выпирающую сквозь остовы железа.

Стирать можно было только целиком.

И выжившая пассажирка, сирота из разбомбленного эшелона, забыла всё.

Но пухлая рука все еще держит записку.

Живая вынимает листок из еще теплых пальцев — и забирает себе это имя.

Тата.

Кем-то же ей надо быть.

И с этого места она помнит все.

Вон уже с края поля бегут.

Больше эта Тата ничего о себе не знает. Только «Безумно, бессмысленно... Целую».

«И "люблю". Она забыла написать в конце "люблю"», — шепчет высокая старуха, качаясь в просвете проносящегося мимо подмосковной станции вагонного окна, и как будто лишь в нем одном есть свет, и на нем одном только фокус.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Маму, которую не помнила (была ли она вовсе?), я ждала всегда, исступленно, с каждым вдохом — вдох ведь не может уменьшиться, а боль стать небывшей. Но так ее ждал каждый, я думаю даже, это вполне могла быть одна мама на всех, собирательный образ, мама-которую-ждут. Совсем редко, но они действительно приходили, опомнившиеся, разыскавшие, вернувшиеся, вымоленные, придуманные; мы видели их поднимающимися к нам, на Детскую гору, эти силуэты, они шли снизу, из деревни. Нам все было видно с веранды, на которой мы грелись под солнцем, с марта по октябрь, в наших «кроватках», и разница между поднимающимися к нам женщинами была только в том, как они были одеты — в обносках, деревенские бабы, или это был полинявший за военные годы городской шик: уставшие, недавно причалившие на станции, пешком шедшие до нас, издалека.

Все равно это была мама.

Нужно было только чуть приподнять затылок, чтобы увидеть тяжело шагающую в гору женщину.

Всегда чья-то, никогда не моя.

Я думаю, даже Соловов, в котором, казалось, не оставалось ничего человеческого, ее ждал.

А вдруг она вернулась с рытья тех окопов, — думала я про свою*, из записки. А вдруг Серёжу — пусть он будет моим отцом — не убили на фронте... Вдруг. Вдруг.*

«Рахитичка!» — отлетает от кладки стен, эхом бьется в полукружьях окон, едва не сбивает Тату с ее пропитанного гипсом марлевого и твердого ложа. Рахитичка. И ни неточность диагноза, ни абсурдность его — в любом обличье — упоминания в Темниковке, доме для туберкулезных сирот, где каждый, кто внутри, если поскрести, нездоров, Тату не останавливают. Она ищет источник крика, смотрит из гипсового панциря, пытаясь зацепиться за привычное, понятное рядом: зимний свет бьет в широкие арки высоких, едва не до потолка, окон, девочки (девочки ли это?) лежат в «кроватках» ногами друг к другу, пахнет грязно и тоскливо — но у нее ничего не выходит, смысл не рождается, и единственное, ради чего остается держать веки поднятыми, усилием, слабым, — вот эти торчащие лопатки на вздыбленной, словно

капюшон готовящейся ужалить змеи, худющей спине в проеме двери, когда он оборачивается, чтобы крикнуть в закрывающуюся щель: «Рахитичка!»

Туберкулум — бугорок, вспыхивающий на кости, ее разъедающий, когда начинается валькириева пляска микобактерий, передающихся с чиханием, с разговором. Украла имя, говорите? Кто? Неужели? Убили? Нет уже три недели? Как тебя зовут? Тата. Да что ты! Апчхи.

Заразили, может быть, разговором.

Может, выдохнули споры в макушку, стоя за девочкой в очереди в молочный. Может, сказалась ослабленность после простуды. Ветер смел их с мамой с угла площади некоего города, возвращались с утренника в детском саду, простыла. Или папа не закрыл окно в детской на ночь, промерзла. Промокли валенки. Инцифирована была соседка с третьего этажа — столкнулись на лестничной клетке. Или испугалась темноты — стресс запустил механизм размножения спор. Зимой мало витаминов. Проклятая нехватка белка. Иммунитет. Воздушно-капельный путь. Бугорки. Да что угодно.

Что-то, что-то случилось. Сад ветвящихся тропок, опрокинутый своими корнями назад. Заразилась, наверное, за пару лет до, в 39-м. Но большего никто никогда не узнает. Она все надежно забыла.

Я помню себя очень хорошо: я появилась на свет в чистом поле, когда чья-то рука протянула мне записку с моим именем. До этого — не было ничего. Но если что-то и было — то я точно не была домашним ребенком...

Помилуйте, но как теперь быть! У нее же нет ничего, кроме этой записки! — Листка с заломанными, как у сунувшейся в стекло бабочки, обтрепанными ежедневным употреблением краями. «Как я любила тебя и ее, вас вместе».

Одна только записка.

И та — чужая.

«Рахитичка!»

Жить нужно и можно в гипсовых «кроватках». Лежать, есть, пить, пИсать в аккуратно чернильным карандашом размеченный и прорезанный лаз, смотреть в окно тоже — из этой колыбели, как будто ты и не вырос с младенчества, как будто в ней можно укрыться, как укрывалась в потном, створоженном запахе маминой груди, как будто все это было.

Если приделать колесики, то жить можно даже на ходу. Движение — жизнь. Все лучшее — детям. Хлеб — народное богатство, береги его.

Как же ему нравится толкать мою кровать, мою кровать с гипсовой «кроваткой», пристегнутой «лифчиком», на колесиках, он рад, этот уродец, мальчишка, тиран, единственный, кому до меня по-настоящему есть дело, так рад... «Рахитичка!» — отлетает от кладки стен, скорость все выше, они уже в конце выложенного когда-то благородным, предназначенная для бархатных домашних туфель немногочисленных владельцев, а теперь истершемся от сотен грубых подошв бывших беспризорников, сирот, вскормленных разбавленным государственным молоком паркетом коридора, и Тата больше не пытается зацепиться за ошметки памяти, убитой контузией: она **теперь** вся здесь, перетекла, как будто раскуклилась, ей даже немножко страшно от скорости. Рахитичка. Тата Тутина. Это я.

И он гонит ее вперед, вперед, пусть на малом ходу.

— Соловову — я не помню его имени, не намеренно не помню, просто в детском доме мы почти не звали друг друга по именам, а местные, темниковские сироты всегда были на кулаках с нами, привозными, еще недавно домашними большей частью детьми — Соловову я надоела быстро, как надоедает игрушка, которая не хочет играть, как заводной

солдатик, в котором сломан завод. Он был ходячий, а я еще долго лежала в «кроватке». Старше меня года на два. Очень скоро он оказался в лагере тех, кто на наш первый в Темниковке новый год, устроенный свежей партией эвакуированных взрослых, воспитателей и врачей, видел наряженную — бедно, дико, смешно наряженную — елку первый раз в жизни, всего года два как их разрешили снова наряжать. Оказался в лагере тех, кто не знал любви, но умел ненавидеть. В лагере тех, кто потом станет безотказным, послушным, исправным солдатом режима, жалким железным винтом. Октябренком. Пионером. И самоубийцей.

Хотя сейчас я и не уверена, что водораздел тогда шел именно по этому признаку: «привозной» ты больной или местный детдомовец... Битва за хлеб равняла нас всех. Лежачих, ходячих, когда-то домашних, казенных, маленьких, больших, мальчиков и девочек.

Из детского дома я больше всего помню вот это: битвы за серый мякиш.

И Софью Павловну, конечно. Ночную няню.

Ноги высокой старухи гудят в такт поездной дрожи. Прижавшаяся лбом к холодному стеклу, сквозь которое глазеет на нее проскальзывающий назад вечер, бесцветный и сразу чей-то и как будто ничей, она продолжает шептать. Сама себе. Или, может, какому-то невидимому нам адресату.

Я никогда не стыдилась того, что украла имя, вместе с той запиской. И никогда не жалела об этом. Я стыдилась другого и мучилась другим. Что не могла ничем той Тате, девочке из эшелона, помочь. Что она умерла в одиночестве, сжимая дорогой клок бумаги. Что мы с ней почти не говорили и я теперь ничего о ней не могу рассказать — что за толк ребенку было разговаривать с полунемой, какой я всегда была...

В окно бьется ночь, но старуха не замолкает, рассказывает, это видно по тому, как движутся ее губы, хотя что можно разглядеть в ночи? В спину толкают командированные в трениках, отползающие от биотуалета, проводницы с брелками в форме трехвагонных составов громыхают подносами. За Татиным плечом неясно, почти неразличимо, так, что кажется, будто там никого и нет, стоит чья-то тень. Но на той скорости, на какой ездят нынешние поезда, она неуловима, и вопрос так и останется открытым до конца. Это поезд дальнего следования Москва—Мурманск. Тата сойдет раньше.

— И сейчас мне кажется, что все, что происходило потом, происходило так из-за нее, из-за той Таты. Из-за того, что я ничем ей не помогла, не была с нею в ее конце, и она так и ушла... не воспринятой.

Хотя мне сложно об этом говорить. О том, что происходило потом.

Об этом должны рассказывать те, к кому я приходила.

Но они ничего не расскажут.

Дар прикосновения, вот что было у Таты.

Хотя руки ее всегда только тихо лежали на чужих одеялах.

Сейчас они касались стекла, покрытого изнутри точечной взвесью влаги, в уходящем в ночь поезде, как будто темнота дышала с той стороны — в эту. Лоб упирался во влажное, в испарине, окно, так что оно продавливало розовую младенческую вмятинку на старческой коже.

Снаружи растекалась вода.

Святая спешила.

Костоеда хорошо лечится настойкой восковой моли на белом вине, а также полынной.

Глава 2. Голодранки

Березайка

К концу самому служение Татино очистилось до такой прозрачной ноты, что в нем ничего телесного и не осталось, и было оно — свечение. Свет возникал самовозгораясь, — как в первобытном трении, нисходящем от луча огне — между ней и тем, к кому она приходила. Возраст ее, хотя еще не библейский, высокий рост, даже возрастом не скраденный, измятые туфли, длинный подол, о черт, святая.

Имя это, первый раз выдохнутое много лет назад под громыхание колес бессонного столыпинского вагона, под блаженную тишину унятого крика, шло ей, шло больше, чем Наталья Сергеевна, Тутина.

«Тут и там» — слышалось в ее фамилии, и она правда так и пребывала — тут и там. Шла пограничко. Переводила через холодную реку. Кому-то казалось, что она лишь правит лодкой, но про себя она знала, что сама по грудь в этой реке.

Впрочем, знание это ее ждущим — и дожидающимся — было лишним, это был лишь ее вечный груз: остров посреди воды, мыски мужской обуви с чужой ноги выглядывают из-под нависшей робы, и куда-то надо деть эту жизнь. «Смерть, смерть», — в ушах Таты.

«Смех, смех, смех один, — хрипит голос с белой и худой койки у стены, заканчивая несмешной рассказ. — Тянет от окна, прикройте, зябну, — начинает голос о другом, и Тата делает шаг к окну, в котором высокое небо над этим последним приютом оплавляет жарой градусник. Тата знает этот сквозняк... Мальчику на койке пожалуй что двадцать, и прежде чем снова приблизиться, Тата привычно уступает место ставшей родной мысли: девочка ее как бы выглядела в этом возрасте? Мысль послушна и приручена, не мешает, и у них с тем, к кому она пришла, еще много времени. Мысль же мальчика переживет.

Тата почти никогда не говорила, просто — была. И в нее перетекал уходящий свет — даже если он был кромешной тьмою.

Так было к самому концу.

В начале света не было.

Святая родилась из тьмы, носившейся над крышами стремящихся во ад вагонов для скота.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Себя и случившееся со мною, вернее, то, что я допустила случиться, я осознала поздней осенью, нашей первой осенью в Темниковке, когда Соловов уже охладел ко мне до ненависти, с какой рвут старым игрушкам конечности, а мне разрешили вставать. Хотя, конечно, это было против всяческой логики: питание было скудным даже и для неослабленных детей, что говорить про нас, «рахитичек»... Но даже когда я встала — несмотря на худобу и слабость — и пошла с девочками (а это все-таки были девочки) вниз, в деревню, и дальше, на станцию, побираться, меняться, и пуговичка папина была со мной — а я уверила себя, что она папина, в п р а в д у п а п и н а, и это была единственная правда, доступная мне — я ее не сменяла, хотя и предлагали сладкую морковь.

Медная с бельмами, вспененная по краям, с утопленной вглубь сердцевиной. Истертое ушко для того, чтобы схватить ниткой. Как будто рукотворная... На аверсе — маяк, и литера «Т» — на исподе. Никаких душных вензелей, растительных орнаментов. Строгая пуговица. Может, и человек был строгий.

Я решила, что Т — это фамилия. Тутина. Хорошая фамилия. Почему нет? Тут. И там.

А про маяк — он был странный — я ничего тогда не решила, не успела решить, просто

берегла пуговицу как самое дорогое, подлинное и неотменимое. Я точно помнила — если это слово уместно в применении ко мне — что пуговица была со мной еще до *записки.*

Морковь нам дали все равно.

Просто догнали и дали. Махнули рукой. Ешьте, голодранки. Бог с вами. С вами Бог.

Некому больше.

Высокая старуха, незаметно качаясь в такт стремлению экспресса, все говорит, счет времени будто потерян. Она видит в тугом и литом, будто поджавшая лапы гончая в прыжке, поезде, идущем без компаса, все те бесчисленные поезда, в размазанных картинах за окнами которых растворились ее дни. Связывает воедино их куски и видит наконец целое. И ей впервые хочется говорить. Рассказывать. Самой.

Татина жизнь оказалась похожа на длинный, длинный состав, грохочущий перед тем как скрыться в тоннеле, на цепочку из одиноких вагонов — и она сама не ехала ни в одном из них.

Где-то низко сигналили. Ждали.

Скоро тоннель.

Ладони от холода чесались.

Генеральская усадьба, отданная сначала под дом для больных сирот, а потом принявшая эвакуированных с туберкулезом кости, владела сокровищем — помимо иных сокровищ: рекой и берегом этой реки. Трусы на Тате такие же синие, как губы, коленки снова сгибаются, река затекает в пупок, под воду уходят плечики, нос, веки... Река сомкнулась. Раз. Глаза можно открыть: волосы-водоросли, а над головой на мелких волнах плывет колыбель... День из провидческих, тех, в которых заложена улитная спираль будущих событий. Два. В ушах становится густо и громко, река бьет Тату в грудь. Три. Вдруг думается, что если все закончится сейчас, то последним воспоминанием будет вот это, то же, что и вчера: как сидит на корточках в реке и опускается с макушкой, как на берегу лупит ее мокрой березовой веткой по лодыжкам Соловов (трусы на нем такие же, как на Тате, синие и со штампиком), но главное, что точно останется навсегда: как вязко сквозит вода через пальцы, липнет и обволакивает, сжимает мысли, это морок какой-то, наваждение, и избавиться можно только — рванув, но на это нет сил, и нечем дышать, и все останавливается, останавливается, чтобы прорваться где-то в артерии, и снова идет по кругу, как начинается с начала счет. Раз. Мамочка, я больше не могу. Два. Солнце сквозь воду больше не светит. Три. Пятки сами отталкиваются от песка.

Река опадает с Таты, как прорванная целлофановая пленка.

День брызжет в глаза.

До отбоя — вечность.

Над водой стоит густой комариный зуд, весомый, как колокольный звон, и ей кажется, что она уже все про себя знает.

Через десять лет, в женском отряде, Тату Тутину не тронут пальцем. Заколдованная. До отбоя — успеть вздохнуть, закрыть веками день, упасть головой на руку... не заснуть. И только звон колокольный висит над островом такой же, неотменимый, и Тата снова считает: раз... Раз. Раз.

В углу барака, зловонном, всегда капает. Кап. Кап. Кап. И намокшая колыбель все время плывет по краю мыслимого мира. Сама. Сама. Сама.

Ванночка. Она утопила ее в оцинкованной ванночке.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Когда я начала вставать, в коридор старалась не выходить. Там был Соловов. Простаивала до сумерек, оперевшись на подоконник, выглядывая женщин, идущих на Детскую гору, провожая облака, свободно идущие за дальний лес, и пока я была в

спальне одна, это было почти покоем. Но так было редко. Чаще за моей спиной кричали напряженно вольфрамовые нити верхнего света, гудели голодные девочки, хвастаясь урванными крохами хлеба, а в проеме погружающегося в сумерки окна текла справа налево серая цепочка теней на тоненьких ножках, в конических колпачках гномиков, сшитых из серых байковых одеял. Взявшись попарно за ручки, они, самые маленькие, стекали с Горы вниз, к людям, туда, где могли встретить ту самую маму-которую-все-ждут, но я никогда не замечала, чтобы они встретились, чтобы укоротился строй. Цепочка в серых колпачках всегда возвращалась неделимой. А может, их, маленьких, водили в ту сторону за подаянием, клянчить, а остальное я придумала... Знаю только, что с каждым годом в Темниковке я все дальше удалялась от трогательной нескладности этих маленьких тел и что шансов встретить Соловова, хищно притихшего за дверью в ожидании меня, было намного больше, чем дождаться маму.

Над моим ожиданием он смеялся, растягивая в клекоте узкий рот.

Из тех, кто прибыл одним транспортом с Софьей Павловной (распределяли без разбору, здоровых среди сирот не оставалось, а в той партии, с севера — так только самые доходяги), с привязанными к запястьям бирками с именами, кто-то к марту лежал в дальнем углу генеральской усадьбы, где было устроено кладбище для детей с Горы; в том году к марту земля уже размерзалась.

Чесотка, трахома, стригущий лишай, малокровие, желтуха, цинга, дистрофия.

Голод. Тушеная капуста и крупяные котлеты.

Суп, похлебку из муки или щи ели одной чайной ложкой, по очереди. Если не бывало и той единственной, то жижу сначала лакали, а потом пальцами вычерпывали гущу.

Спали по двое. В школу ходили посменно, по очереди носили разномастное тряпье. Мальчики надевали девичье и наоборот, голову повязывали наволочкой, полотенцем. Валенки — дефицит.

Пальто, брюкву, алюминиевую миску — все можно было выпросить только в деревне или на станции, куда ездили побираться на подводе, запряженной единственной детдомовской лошадью Пряхой. Кто-то жалел, кто-то гнал, кто-то бросал подачку сквозь зубы, кто-то плакал, провожал до калитки, поправлял сбившийся женский платок на уходящей мальчишичьей спине...

Чтобы не сдохнуть от голода, собирали в лесах вокруг Темниковки шиповник, крапиву, лебеду, подорожник. Жевали, сушили, заваривали.

— От худобы я светилась. Косточку на бедре прикрывала только кожа, и резинка от трусов, не пущенных на общак, — стирала сама, под ледяным краном, сушила под подушкой — врезалась сильно, как будто я стремительно росла, а они становились малы, словно можно было вырасти на тех харчах. Жало, саднило, начало кровить. Я выжила, когда разбомбили наш эшелон. А какой-то врезавшейся в тощий мой бок резинки могла не пережить: инфекция, воспаление, dolor, calor, rubor... Но и это пережила.

Поляки, евреи, финны, татары, поволжские немцы, белорусы, украинцы. Крепкий интернационал.

Перелицованное тряпье, скудность вещного мира. Бережливость, граничащая с помешательством.

За брань, табакокурение — лишение сладких блюд (живой морковки), выговор перед строем. За воровство, вредительство, убийства, изнасилования и побеги — смертная казнь. Нет, конечно, нет...

Нищета такая, которую уже и не замечаешь, ибо нищ каждый брат. Писали между строк старых книг странно уцелевшей генеральской библиотеки, газет, привязывали

железные перышки нитками к карандашу, чернила делали из сажи. Учебники, если были, делили, сталкиваясь лбами над страницей.

— Но не это было страшно. А то, как хотелось всем выжить. И мы отмораживали пальцы на занятиях по химобороне, перечисляли заработанные какой-то самодеятельностью гроши на строительство танков, вступали в пионеры, изучали биографии вождей... Ненависть к врагу. Готовность к самопожертвованию. Дети, товарищ Сталин прислал вам благодарственную телеграмму. Москва, Кремль. Весь этот речитатив, заставлявший нас чувствовать, как мурашки бегут от лодыжек вверх, к плечам, прислоняться друг к другу в строю и брать самую верхнюю и жуткую ноту, меня он страшил. Но я стояла в этом строю. Стояла.

Место для тех, кто остается в Темниковке навсегда, в дальнем углу генеральского имения, было определено давно, сразу же, когда хозяина и хозяйку загнали в реку, а в их дом привезли несколько подвод с беспризорниками, уточнив впоследствии профиль заведения как туберкулезный. Враги народа постоянно менялись, и поэтому поток новоселов не иссякал. И их обратный отток, уже в окончательном направлении, тоже шел и шел, заканчиваясь тут. В бывшем генеральском яблоневом саду, который без верной, умной руки, что обрезала, подкармливала, красила, прививала, снимала со стремянки самые верхние, к небу подвешенные плоды, сметала в кучи сладкую, размятую в пюре падалицу, без нее сад одичал, зарос, ветви протянулись друг к другу и закруглили своды, корни вышли наружу, как выпирающие старческие фаланги, драгоценные золотые яблоки сшибали деревенские разбойники, уносили целыми подолами, но зато земля, земля, впитывающая в себя все, отдохнула и стала жирна и мягка, и в эту землю ложились дети с Горы.

Если случалось, под утро нянечки на старых тачках, помнивших еще те самые руки, которые терпеливо обтирали каждое яблочко и заворачивила его в тонкую восковую бумагу, пахнущую вечностью и покоем, под утро нянечки отвозили холодных детей в сад. Они его, кладбище, так и звали: Сад.

И никто этого слова не боялся, ибо порой эта доля казалась слаще.

Сад, словно безмерная паутина, подвешенная в воздухе, притягивал Тату своим светом, идущим то ли от некрупной, по меркам этого сорта, прохладно-желтой антоновки, лампадками мерцающей в голых ветвях, то ли от осеннего солнца, преданно стоявшего над деревьями, избегая заглядывать в другие уголки истерзанной усадьбы. Сад был виден из окна спальни, и когда Тату возвращали обратно, привозили в ее «кроватке» с веранды, — «Процедуры окончены!» — она поворачивала голову в сторону высокого окна и слушала Сад, гудевший на ветру косогора.

Ей казалось, она слышит голоса.

Прислушивалась, различала знакомые лица, запоминала истории.

Утыканные плодами, как игольница булавками с мелкой и твердой головкой, яблони горели своими фонариками издалека, и Тате казалось, что эта песнь деревьев прорастает в нее — и ее кости становятся тверже. И можно наконец встать и пойти.

От тоски по покойному помогает соблюдение обряда: взять яблоко, идти на перекрестную дорогу до восхода солнца. Взять с собой ржавый гвоздь и этим гвоздем сделать двенадцать дыр на перекрестке. Потом бросить все это — и не оглядываясь, рысью назад.

Глава 3. Маскарон
Вышний Волочёк

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— В дни, когда Соловов не истязал меня и не караулил, мысли мои занимала пуговица, литера «Т» и маяк. Жалкое мое имущество никого не интересовало само по себе, ценности в старой медяшке не было никакой, но, видя мою привязанность к этой памяти, видя это, так легко было уколоть, уничтожить, сломать — тому, кому бы этого захотелось... И я ее спрятала. В глубине Сада, там, куда, казалось, еще не скоро дойдут нянечки с тачками. Тогда мне казалось, что что-то поменяется и я успею пуговичку с маяком выкопать — прежде чем окажусь там сама. Я закопала пуговицу и вспоминать ее теперь могла только кончиками пальцев, когда-то по ночам гладившими чуть утопленный в глубь металла маяк на лицевой стороне и запомнившими весь рисунок, всю тяжесть, все сколы. Язык же помнил соленую прохладу. Я думала о том, что маяков там, откуда меня привезли, не могло быть, о том, что буква на изнанке могла значить все что угодно — и фамилию владельца, и название галантерейной фабрики, я думала обо всем этом, уходя мыслями по тропинке Сада к своей схронке, и мне было уже — возраст определили на глаз, но мне кажется безошибочно — 9 лет, и я ни с кем больше, после Софьи Павловны, не разговаривала.

Кроме Леты, конечно, кроме нее.

«Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находится здание, издавна встречающееся почти во всех городах, больших и малых, именно — работный дом...»

Тате казалось, что мамин голос если бы звучал, то звучал именно так. Как Софьи Палны. Лицо у Таты белесое — холодно, но в плоском и одновременно остром свете эта обесцвеченность не читается. Татины губы складываются вслед за этим голосом в колечки, растягиваются, живут, иногда забегают вперед: текст выучен ими обеими наизусть, на износ, на измор, издание товарищества «Народная польза»: мелкий бисер знаков, черно-белые, тонкой карандашной штриховкой рисунки, прозрачная бумага, захватанная десятками рук; где-то на просвет, возможно, жадный материнский глаз мог бы даже разглядеть тонкие древесные кольца отпечатков их пальцев... Тата знает, что их было двое.

Ночная нянечка появилась в Темниковке позже Таты, и никто про пришелицу, одну из тех, кого волнами прибивало под крышу генеральского дома, ничего не знал. Просто за Урал пришел очередной транспорт, очередной выкидыш войны, кашляя в ладони, притопал к воротам, кто-кто в теремочке живет, вам работники не нужны? Тата долго не могла понять, зачем Софья Павловна прибилась к ним, к детям... Сама же нянечка почти не разговаривала. Слова стояли поперек горла, страшно было рот раскрыть: вырвутся, затопят, убьют.

Но по ночам, по ночам она читала. Софья Павловна в шали с чужого плеча (приехала почти голой, с одной только книжкой) и гладкая, стриженая голова Таты — под ночным светом. Не попадая в такт мерцанию щипящих, меркнущих в длинном и высоком пролете коридора ламп, они наизусть бежали вниз по строчкам. Слова были как в молитве, затверженные и почти лишенные изначальной сути, но по пути тяжко обросшие памятью сопутствующих обстоятельств. Желтые, с изломами, легшими тонкой паутинной сетью, страницы. Желтый туман над Лондоном, желтые желваки Ловкого Плута, желтые залатанные брючины Оливера... Да и сами они, обе, ночная няня и приблудившаяся, приходящая к ее дежурному столу по ночам девочка, обе они как будто нарисованные или это все нелепый и жуткий коридорный негасимый свет...

Тата подтягивает колени ближе к животу, чуть отстраняется от ног Софьи Павловны, прикрытых длинной юбкой, чтобы притушить стыд голодного бульканья в животе. До завтрака еще долго.

— «Оливер громко кричал. Если бы мог он знать, что он сирота, оставленный на милосердное попечение церковных старост и надзирателей, быть может, он кричал бы еще громче...»

— А звали их как?

Голос наверху останавливается.

— Мальчика Дима, девочку Валя.

И больше ничего. Только Диккенс, вот этот, желтушный, которого дети любили так, что когда почти все книжки, журналы, макулатура и просто обрывки бумаг были пущены в дело, в печку, на растопку, на тепло, на пламя, яркое и мгновенное (ради которого и задумывались, творились — но вряд ли ожидали, что его, свет знаний, заменит буквальный огонь буржуек и все исполнится именно так: в доме на Васильевском, в первую блокадную зиму), так вот «Оливера Твиста» они тогда сжечь не дали. И потом уже, по проламывающемуся льду, когда и тащить ничего полезного за собой не могли, то вот его потащили, и выбрались, и спаслись, и на станции Вологда остались навсегда, один за другим, с разницей в четыре часа.

Ночная няня прижимает перегнутого по клеенчатому хребту «Оливера» к узлом завязанной шали на груди и перебирается под стол. Лампы режут там не так сильно, и в тишине становятся слышны волны тревожного, голодного сна, текущие из выходящих в коридор приоткрытых дверей старого дома, который в ночи, под этим неестественным светом, глядит ободранной, злой приютской кошкой (но зимним утром, когда в прострел галереи бьет солнце от реки, он на несколько тактов вдруг вспыхивает и вспоминает себя... Темниковской усадьбе, стоящей мимо всех перекрестьев дорог, в глубине самой зимы, повезло так же, как и этим подкидышам, казенным выкормышам, одиноким шакалятам, потеряшкам войны... Повезло уцелеть. Но не более. Разбитые чашки, из которых никогда не смогут пить).

Тата начинала повторять абзацы первой главы, с нянечкиной интонацией, не пропуская ни слова, как будто держа на коленях книжку, там, у них, в подстольной тьме, и как будто умея читать. Так, как будто видела эту ночную улицу, — тем своим внутренним зрением, которое вскоре еще обострится — по которой Софья Павловна спешила домой из конторы, а на пятом, в узком, горячем окне уже был свет, и рыжий абажур освещал заодно и колодезный двор.

— Вы не виноваты. Софья Павловна.

Ночная няня как будто впервые увидела девочку. Тата была теплая, пропеченная изнутри, разморенная.

— Меня, наверное, Соловов опять бить будет.

— И ты не виновата, девочка.

— Сбежать хочу.

— Стой. Я тебе еще почитаю.

— Все равно некуда.

— Значит, и терять нечего, — голос чуть-чуть поднялся, как будто одолел верхний ярус. — Ты всегда таким мальчишкой была? — сухая ладонь на остром Татином загривке.

— Нет, дорогой завшивела, тут обрили. — Тата замирает и чуть втягивает голову в плечи. — Отросла уже. — Еле движет губами.

— Валя косу через плечо перекидывала, все мальчишки на нее смотрели. Вот такая толстая, в руку.

— А можно я вас потрогаю? — ломается голос.

Палец следит за кожистой дорожкой худенького пробора, очерчивает горестный лоб, рисует нос, ставит точку на подбородке.

— Иди, ложись, я с тобой посижу. Иди, — ночная няня подталкивает вмиг осоловевшую от не знаемого раньше покоя трущую глаза Тату в правое плечо, крестит сухой щепоткой, бегло и нешироко, даже не вспомнив, откуда в ней это движение руки. Мама, бабушка, наверное... Разве у нее была мама, бабушка, Валя, Дима, жилконтора с восьми до пяти?.. Может быть. Наверное. Но все, что есть у нее сейчас, в эту ночь, — это семь гудящих едких ламп и вот эта бритая девочка с книжкой под мышкой, которая не умеет читать, скрипнувшая дверью в конце коридора.

В Ленинграде они ели остатки прогоркшего масла, которым раньше смазывали петли. Дима и Валя говорили похоже на жеваного попугая.

Когда Софья Павловна накрывала сложившуюся, чтобы как будто и во сне занимать меньше места, девочку своей — чужой — шалью, Тата уже спала.

Соловов сорвался со своего наблюдательного пункта, юркнул в темноту мужской спальни, и паркетина под его босой пяткой по-чаячьи вскрикнула.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— И еще, еще я не могу простить себе его, Соловова. Его незамеченного чувства. Того, что оттолкнула его... Нет, того, что просто не пошла даже за ним, когда он так просил, когда так жался ко мне, ждал меня каждое утро и толкал на веранду «кроватку», чтобы я могла дышать и принимать солнечные ванны, и был так предан мне. И потом так жесток. А я его не приняла. Я не хотела с ним играть. Я ни с кем не хотела. Я хотела не быть. И прошла мимо.

И потом мимо меня прошел он, Соловов. Толкнул плечом в сутолоке Киевского вокзала, прямо под часовой башней Арама.

Не могу.

Они прочитали первую главу семнадцать раз.

На восемнадцатом Софью Павловну забрал комиссованный по ранению муж. Они уходили из Темниковки, подпирая друг друга боками и минуя арку с надвратной головой то ли горгоны, то ли львицы, то ли боттичеллиевской Венеры, запутанной в своих волосах: Тата безмолвным часовым провожала их со своего наблюдательного пункта у высокого окна. Муж грелся в ее — с чужого плеча — шали. Они никого не могли теперь согреть. Даже друг друга.

Но когда Тата будет запускать пальцы в пуховый подшерсток на Летиной новорожденной голове, ей будет казаться, что она ведет ладонью по мягкой глади нянечкиной шали и что этой книге не будет конца.

Лоб, солнечное сплетение, правое подключичье, левое. Теплый маленький лобик. И колыбельная — так, как умела: «*Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть и которому я не дам никакого вымышленного наименования...*»

Читать Тата научится уже на острове Ягнячьем.

Мамой ей стал маскарон.

Усеченьем идеи. Огрызком слова. Мэм... Единственным доступным воплощеньем.

Под определенным углом голова над вратами парадного подъезда Темниковской усадьбы улыбалась. Многим обитателям Темниковки казалось, что улыбалась насмешливо. Тем, которые были позлее, казалось, что насмехалась голова над генералом с генеральшей, пущенным с косогора в реку. (Им помогли докатиться до неглубокой воды, а потом в этой воде задохнуться. Коса тонкой и беззлобной хозяйки, одетой в одну ночную сорочку — просвечивали жидкие ребра, не тронутый родами живот — была намотана на рукав какого-то ухаря, который только и дивился что утопленница не брыкалась и не кричала, пока он ее топил). Другие думали, что голова

насмехается на ними самими, запертыми в старом доме, в таком глубоком тылу, что помощи ждать неоткуда, неоткуда совсем.

Тата же знала: голова не усмехается. Маскарон смеется.

Чисто так, беспримесно, не зная будущего — или это будущее обещая. Голова глядела в сторону сквозной веранды, стоящей бочком, выходящей на светлую часть кручи так, что ослабленные дети могли лечиться солнцем несколько месяцев в году, а Тате — стоило приподняться на локтях из «кроватки» — были видны и силуэты, поднимающиеся в Гору снизу, и маскарон над парадным подъездом. Голова в волнах развитых прядей, которые как будто колыхал ветер с реки, улыбалась ей своим гипсовым ртом, и Тата могла забыть о том, как больно щиплется Соловов; о том, что происходит с хлебом (старший, взрослый, отсекает плоть и взвешивает на медных весах кусочек, иногда с довеском; горбушка достается тому, кто сидит во главе, и к следующему приему пищи недавний триумфатор пересаживается в конец стола; за этим строго следят самые жестокие мальчики, на время обеда становящиеся образцом дисциплинированности; а по дороге в кладовую они же налетают на старшего стаей воробьев и отбивают крохи, а самые наглые — утаскивают в глотках и куски); забыть о том, как в Сад одним зимним утром, так, что потом не пришлось долго искать следов — утоптанная в снегу тропинка привела на место — на тачке увезли Лету.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Лета умерла мгновенно и далеко от меня, и я всегда спрашиваю себя, если бы все случилось иначе, могла бы я тогда ей помочь, был бы ли смысл в моем присутствии? Мне кажется, нет — в том понимании, как это происходило потом, но конечно, если бы я просто держала за руку свою единственную в Темниковке подругу, ее бы это утешило. И меня. Но так не случилось.

Лету, сироту с младенчества, так же, как и я, не помнившую своих и проведшую в нашем детском доме, в котором смешались все национальности, заболевания и первопричины, все свои 12 лет, Лету, которая была самой здоровой, смелой и непокорной девочкой в Темниковке, Лету, которую любили мальчики, боготворили такие «рахитички», как я, и уважали взрослые, Лету, которая доверилась почему-то именно мне, безгласой молчунье, разговаривавшей в уме с пуговицами и записками, Лету затоптала лошадь, когда они поехали на телеге на станцию за партией прибывших из города одеял, и в неровном Пряхином ходу друг мой свалился ей под копыта.

Так нам сказали.

Упала с телеги под задние ноги, зашибло.

Как будто для того, чтобы уничтожить то сильное, буйное, чем была Лета Городецкая, понадобилась такая же необузданная сила, какая была в нашей Пряхе, которой мы носили свой последний хлеб.

Пейзаж услужливо подпихивает старухе у окна черные точки — пасущийся вдалеке табун, и эти точки даже можно успеть принять за лошадей, но Тате, все стоящей на своем посту в узком коридоре поезда, не нужны иллюстрации и подсказки. Она сама может воскресить — и Пряху, и Лету. И еще кое-кого, и еще.

Чтобы человек был с вами всегда рядом, пришивать пуговицы надо белыми нитками на восходе солнца, а во время работы все время повторять заговор: «Пришиваю, пришиваю, не скучаю, имярек от себя не отпускаю. Да и будет так».

Да и будет так.

Глава 4. Пуговичка
Окуловка

Маму, казалось, не ждала одна Лета Городецкая.

Светланой нарекали в доме малютки — сама избавила от последних слогов, первые переврав и зачем-то вычеркнув из себя свет, как будто это можно было сделать вот так, по желанию (или так же по желанию снова его зажечь где-то в солнечном сплетении и греться, и греть). Лета сама была светом, даже в своем обугленном имени. Рыжая, бледная, тощая, стремительная, злая на язык и добрая ко всей животи, которая была в Темниковке, то ли в подруги взявшая себе бессловесную новенькую, то ли — в подопечное стадо еще одной безгласой головой, которой требовался кров, прокорм, ласка — и ни за что, за просто так, от горячего сердца. Мама Лете, в сущности, была и ни к чему, она сама была всехней мамой: могла легонько отпихнуть потресканным мыском башмака — щенка или перемазанного трехлетку, бросающихся под ноги, могла закачать на руках до счастливого визга или провала в краткий сон первого схваченного во дворе живого...

Рядом с Татой — спали на соседних кроватях, прощались на ночь строго, по-мальчишьи, пожимая друг другу ладони, выпростанные из-под пошедших катышками одеял — Лета всегда чуть сбрасывала свечение, как будто с кончиков ее пружинящих волос опадало немного электричества. В Татиной изморози, в ее усталости невысказанного Лете было неловко искриться. И она убавляла, выкручивала ручку влево, тушила, ждала. Опускалась на землю и садилась рядом. Тата поднимала от колен глаза, смотрела исподлобья, — Лета знала, *что* невидимое рассматривает та на коленях — и казалось, что где-то у переносицы начинает хмуриться тень улыбки, как собираются в щепоть для молитвы пальцы, как сбегаются к дождю облака...

Второй осенью в Темниковке по дороге в школу чавкало, как чавкало от века каждую осень, казалось, что река по-весеннему разливается и весь путь с Горы становится сплошным рисовым полем, хотя текло, конечно, с небес, Ноевым потопом, и еще, казалось, разумнее было, конечно, идти босиком. Холод приструнивал даже Лету, которую все относящееся к жизни волновало до дрожи. Лужи с наметанной на дно падалицей листьев, зияния подошв, малый ломоть, выданный на завтрак, исчезнувший бесследно в животе и оставивший по себе горький след... Последнее заставляло злиться, мерзнуть, мечтать о масличке на том кусочке. А жар, облачко изо рта дворовой камарильи, ластившейся к ней, даже когда шла с пустыми руками, и то, как за березой вдруг просиял отраженный в дожде бордово-оранжевой каплей последний червивый подосиновик, радовало до зуда в коленках, хотелось вскидывать их еще выше, выше, но вода тяжелила шаг...

Тата брела рядом тихо, не поднимая даже волн, жизнь как будто не задевала ее, не терзала — и не дарила. Мирное соглашение, Темниковский пакт. Я тебя не живу, и ты меня не трогай. Буде. Больше не надо. Минуй. Нет плохого — и хорошего тоже нет. Нет доброго и злого. Нет меня. Я иду за нее, за ту девочку из эшелона, которая должна была быть мной. А кем должна была быть тогда я? Нет ответов, а значит, нет и правды. И смысла — тоже нет.

Только папина — как будто — пуговичка...

Лета, конечно, вносила хаос в мерцающий мир внутри Таты, который более всего напоминал питьевую воду, которую пытаешься унести, не пролив, в ведре, взбираясь на гору... Иногда Тате казалось, что она колодец. Иногда — что ведро.

Второй осенью в Темниковке было так же мокро и темно, как и первой, ноябрь изматывал, брал свое, являлся по утрам, щурился тонкой пленкой трещин на лужах, звеневших хрустальным сервизом из какой-то нежитой жизни... Его, этот ноябрь, нужно было доволочь до школы, спихнуть под парту, донести обратно на Гору,

сложить на ночь под кровать, чтобы утром снова увидеть в окно гримасу белого клоуна из разбежавшихся морщинами луж... «Татка, ну Тат!» — тормошила подругу рыжая, теперь уже не с умыслом и не в отчаянии, а просто наудачу, надеясь, что вдруг ткнет туда, где живое, и она отзовется, или просто выпадет солнечный день. Тата кивала, ускоряла шаг, жалась поближе. Голые ветви Сада за спиной залезали в сизое небо, копошились там, ковыряли, как будто хотели отжать тучи или проведать души, чьи тела спали под корнями яблонь.

Тата Тутина была самой тяжелой из подопечных Леты Городецкой: ей не требовался кров, корм, ласка — ей требовался покой. Забудь уже, господи, как будто говорила Тата — хотя никогда, конечно же, вслух. Но пуговичка все же давала Лете надежду... Если что и было больного и живого, то это была она, пуговичка, виденная Летой однажды — Тата показала, быстро, как крылом махнув, раскрыв ладонь и дав причаститься — и вскорости похороненная в Саду. Лета знала, что Тата о ней тоскует, думает, водит пальцем по одеялу в темноте отбоя, восстанавливая все маршруты старой меди...

Толстый том «Маяки Российской Империи» Лета выхватила краем глаза: огненный локон застил картинку, — резкий поворот головы — но она успела прочитать глубоко выбитые в мякоти обложки буквы, когда тащила мимо, прижимая к животу, пухлую стопку чуть прелых газет, перевязанных бечевой, — на прописи классу. Вернулась, когда ее ухода никто не заметил, — лишь Тата — хотя это было сложно, как если бы в зале, где никто не слушает, но все слышат, вдруг бы замолк тысячесвечовый оркестр. От голода было легко и пьяно, Лета подползла на коленках к плотным, давно никем не двигаемым книгам на нижней, у пола, полке, опыленным лишь сверху, по обрезу, а с титула — незамутненным, и вытянула «Маяки». Листать нужно было внимательно, но быстро, и Лета листала. Нужный — странный, двухъярусный и пузатый — показался скоро, узнала его по кресту. Задержала дыхание на взвизге отрываемой страницы: было не жалко, маяки Российской Империи вскоре все равно пойдут на нужды всеобуча темниковской шпаны...

— Вот, — Лета достала откуда-то из груди тонкий, сложенный вдвое лист, разгладила, положила перед Татой на застеленную кровать так, как конкистадоры выкладывали перед сообщниками карты золотых приисков и тайных индейских схронов... — Это он. — Опомнилась, дала паузу, чтобы несмеяна рассмотрела картинку, и прочитала ей, с выражением, название, подпись под фотографией, справку... Увидела, как облачко дыхания слетело с Татиного чуть приоткрытого от удивления рта — можно было не прикладывать зеркальце: жива! Ликовала.

Обе они не знали, что в поход за звенящей медью пуговички с маяком Тата отправится уже одна. И засыпали, забыв разъединить сцепку рук, висячий мост между кроватями.

Наутро ноябрь больше не щерился и не царапал: Сад оказался укрыт теплым снежным платком. Работа была тонкая и авральная: с неба больше ничего не летело, все просыпалось ночью, в чистое окно было видно чистое небо, и казалось даже, что ногам стало теплее.

А еще через осень Тата увидела поверх черно-белого наброска Сада, поверх сетки ветвей, поверх тонко прорисованных абрисов генеральских яблонь, как в Гору поднимаются за ней. Поняла это безошибочным нюхом, дарованным провидцам и страстотерпцам, — тем же, который выведет из чащи духа острова встречать ее на Тамарин причал, в самом конце пути.

Немоты своей перед свершающимся разделить Тате было уже не с кем. Рыжей Леты больше не было с ней.

Свои вдовьи сильно за сорок женщина несла вверх с умом, слаженно и размеренно, забыв на время подъема о выбившихся намагниченных прядях, подцепив повыше юбку, дыша тяжело, но с расчетом, полагая одолеть Гору за один присест,

экономя силы и не думая о том, как в этот миг выглядит со стороны. Она умела вовремя отключать это беспокойство напряжением другой мысли — «я хочу, и это у меня будет». Сейчас она хотела забрать себе ничейную девочку — ей сказали, четвертый класс, рост выше среднего, нелюдимка.

Так в Темниковку пришла Аглая.

Тата увидела, как та бросила освобождающий жест, добравшись доверху, как поправила весь причиненный подъемом беспорядок в наряде, оценила себя со стороны, переменила руки с кулем — там была одежда для девочки ростом выше среднего — и пошла к веранде. Тата отступила за колонну, чтобы на миг отдалить встречу, понимая бесполезность уловок. Попрощалась с маскароном. С Летой. (Обе они проводили ее молчаливо, одними глазами: женская гипсовая голова чуть свернула улыбку, как будто говорила: все так, все серьезно; Лета Городецкая подмигнула из Сада: конкистадоры!)

Здравствуй, Тата, я твоя тетя.

Тетя сложила на нарядной груди руки, привесила улыбку, которая, ей казалось, могла сгодиться в этом месте (в льняно-седом сумраке раннего осеннего вечера усадьба сама глядела, как беспризорница, сирота, старая приживалка — ранено и устало), но скулы привычно держали въевшуюся маску удачливой охотницы, прилипшие к мышцам черты не хотели сходить с насиженных мест... Потом Аглая поманила к себе, спустив одну руку с пьедестала. «Тата, собирайся». Все с тем же расчетом, с умом, ловко присела на корточки, раскрыла куль, и по тому, как любовно уложены были там будущие Татины вещи, как розовый — бекон на разрезе — нежно перетекал в салатный, как выпячивалась стопка накрахмаленного, синеющего белья — маечка с оборками, трусики числом пять, Тата поняла, что Аглая не плохая, хотя ей и не предназначенная. И еще Тата поняла, что теперь придется взять еще и этот груз — стать дочерью этой тетки. Утолить чужую жажду и прихоть, составить смысл ее угасающего времени, в котором Аглаины женские чары еще были востребованы, но уже как-то у самой стал пропадать азарт...

Аглая не была красавицей, с каких пишут портреты и прелесть ея передается с холста изумленной толпе, но была из породы женщин, на которых клюют, как глубоководная рыба клюет на личинку мясной мухи, купленную звенящим утром в рядах старого Птичьего рынка. Муж всегда потом, зная безнадежность задуманного, с опаской, с глухой надеждой, задумчиво усаживая ее в нескольких метрах от мольберта, удивлялся, как неуловим этот морок, заставивший его бежать за ней все их супружество, как будто за ребра его продеты крюки и веревка, и как непередаваемо это наваждение красками. С портретов жены, которые он писал — с первого же наброска поняв бестолковость происходящего, писал из долга и чтобы Аглае угодить, утихомирить, замилостивить, — смотрела одна из, неособенное лицо, жадная бабенка, тряпки ее больше оставались в памяти: что-то накрученное, цветастое поверх прически, аки попугай, брошки неизменные, иногда вместе с бусами — жадная ворона. Прикрывала всю себя цацками, торговля шла хорошо, клевало. Муж, добытый муж, иногда в приступах злости и боли едко думал, успела ли та принять душ после долгой электрички из своих Кимр или прямо так и попала в его вечные объятия...

Впрочем, совсем старым он не был, но был строг и сед, холост и пропал с первого же взгляда, как только попытался кончиком кисти перенести ее льющийся соком образ — дотронувшись до выдавленного из тюбика масляного червя, охряно-розового, сочного, густого — на холст, и пока только заносил руку, уже внутренне плакал и молил: пропади пропадом эти холсты, имя, членство в союзе, квартира и остановись мгновенье, душу продам, и все, что хочешь, проси, только останься, останься, я не помню уже, когда последний раз раздевался перед женщиной. Даже когда хотел этого — не помню. И она осталась — пришла с улицы, позировать, голодная, — осталась не ради сиюминутного прокорма, но, рыба глубоководная, сразу поняв, что здесь можно будет кормиться до самой смерти старика и потом тоже, если отпишет

квартиру в завещании. А пока он мазал, водил какие-то линии, ничем Аглаины посредственные по сути черты не напоминающие, пытался заговорить руку, чтобы не дрожала, все искал слова, чтобы описать наваждение — «*невольно смолкнув, старцы встали и расступились перед ней*» — и представлял, что под дешевым кулоном, с полным правом разлегшимся зеленой долинкой меж двух светлых, как творог, холмов, кожа, наверное, чуть влажна, и виски ее тоже под сеткой испарины, в мастерской душно, боже, да это же я надышал, неужели она слышит, как тяжело я дышу... Представлял, что, если заснет на его руке, то он ничем ее сон не потревожит, пусть нарушится циркуляция крови и руку отрубят, но пусть она с ним заснет, на рассвете, приникнув. Представлял, как может она пахнуть и как вообще, бывает, пахнет, забыл, я все забыл... Все кисти были перепачканы, мальчик-подмастерье все время мешался под ногами, приносил не то, старик рычал, ревновал, потому что Аглая зыркала на юношу блестящим глазом, и все искал объяснений (что? что? то, как ложится волна волос у скулы, чуть растворенный, как жемчужная раковина, ждущий рот, молочные пальцы, что было не так, откуда это ощущение, что в мастерскую явилась Елена Троянская, почему он выгнал мальчишку, пошел за мытыми кистями сам и трясся всем телом над раковиной, испрашивая смерти, освобождения — или немедленного решения и соития). И еще гнал, гнал мысль, которая в намеке зародится сейчас, а оформится потом, незадолго до смерти, в середине войны (умрет на Аглае, жалкий, влажный, счастливый), мысль, которая, как муха на неукрытый кусок, будет садиться и жалить, жужжать, кусать в сердце, пока он, вперившись взглядом в Аглаин облитый, как глазурью, крепдешином зад, будет присутствовать при одевании: когда она оглаживает волосы у трюмо в темной спальне его квартиры, он думает, что в Ленинграде такие сыты всегда, всегда — меняют хлеб на брильянты.

Впрочем, желания — прижаться к ней животом и придавить так, чтобы хрустнули кости и кисти — это не отменяет.

И Аглая осталась.

Одно искупало Аглаю в этом ее жадном беге по закраинам судьбы: очень жалела детей. Сама была бездетна вследствие перенесенного в Кимрах воспаления малого таза. Обнаружившееся наличие где-то там, за горизонтами, сироты, племянницы мужа, которую тот с начала войны начал искать, раскрыло перед Аглаей, все получившей от старика сполна и не отказывавшей себе и в других источниках, новые горизонты. Аглая начала стареть — и надо было готовить себе достойную старость.

«Серёжу убили на фронте, это я понимаю, если такое вообще можно понять, но мать, куда делась ее мать?! — Видя огнь на чуть растекшемся лице жены, когда он заговаривал о пропавшей девочке, племяннице Таточке, старик всегда начинал ходить по комнатам шире, полы халата поднимались и оголяли его полные, расплывшиеся колени. — Ну почему нельзя было уберечься, не умереть! Кому теперь остался ребенок! Тем более такой болезненный!» — распалялся муж, имевший о дочери брата единственные сведения: Горский тубсанаторий эвакуировался на восток. Аглая старалась не смотреть под полы и выгадывала, где девочку положит, не в их же спальне, освободить кухаркину комнату — тоже плохо, нужен воздух и свет, платья на первое время сошьет наугад, на вырост, и, конечно, обязательно летом на съемную дачу, вот на первое же лето, еще в мае, чтобы и молоко, и речка, и в лото перед сном, и всему ее научит, всем женским хитростям и секретам, и будет наперсница и компаньонка, и замуж выдам, и еще посмотрю, чтобы зять... Затерянная где-то на востоке сирота — племянница мужа рисовала перед Аглаей интересные перспективы устройства дальнейшей судьбы, приятные хлопоты и темы для застольных атак. А может, заглушала начинавший поднимать внутри нее голову страх... Грохотавший бессильно голос мужа возвращал Аглаю обратно к его халату, на котором она старалась не останавливаться взглядом, но все в комнате было так изучено и постыло, что, когда муж на ней однажды затих навсегда, она только погоревала, что девочку одной найти

будет, пожалуй что, трудно, все-таки мужнины связи бы помогли, но она найдет. И получит ее.

И она нашла.

Собирайся, Тата.

И Тата собралась.

Быстро, не прощаясь, забрав с собой немногое, то есть все, что было: обмылок сухаря, что остался у Леты под подушкой, сокровенное лакомство, утешение на сон грядущий, приз дня, и пуговичку, которую успела вырыть из схрона: как собака, раскидывая комья и быстро-быстро вгрызась ногтями в тронутую заморозком задубелую землю.

Не боясь разоблачения. Ожидая его. Надеясь, что придет настоящая мама настоящей Таты и все закончится. Все совсем, окончательно закончится. Но к ненастоящей Тате пришла ненастоящая мама... И оказалось, что нужно тащить новый груз, и так он оказался тяжел, набухший всеми осенними дождями, стекавшими по высоким окнам спальни девочек.

Аглая девочку не узнала. Не могла ни узнать, ни разоблачить — племянницу Таточку и старик-то в глаза никогда не видел.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Потом уже, нескоро потом, я нашла много подтверждений тому своему озарению, которое снизошло, когда я увидела любовно уложенные Аглаей вещи в куле, мне, незнаемой, предназначенные. В ней совмещалось, казалось, несовместимое, и боролось, конечно, между собой. Она могла растолкать гастрономную очередь локтями, а потом уступить место тому, кто и не просил, пропихнуть вперед лайковыми перчатками. Любила жестяные, обернутые чуть промасленной бумажной наклейкой баночки, добытые ей одной ведомыми путями, которые с сочным хряском открывались консервным ножом, и ела подолгу и с аппетитом, каким-то мужским и всегда меня отталкивавшим, но по временам впадала в такую искреннюю аскезу, что казалось — держит пост. Посреди всей этой нашей военной маяты — сводки, помощь фронту, тревоги — ходила на высоком каблуке, напоминая неколебимую Шуховскую башню, ногти в красном лаке, главная Кармен нашего подъезда, ну и тюрбанчик ее цветной и извечный — женщина, полная желаний; а ведь при этом ничего не стоило ей всю ночь провязать носки для каких-то новорожденных из соседней квартиры и потом подложить их под дверь вместе с консервами, оторванными от сердца, постучать, подмигнуть в щелку, кивнуть тюрбаном... Курила в ночную Москву с балкона длинные сигареты, вдыхала жадно, тоже по-мужски, потом пела мне горелыми губами что-то фальшивое на ночь, голоса у нее не было. Меня — я так и не поняла, то ли полюбила, то ли возненавидела, а может, то и другое сразу... Как будто в ней все время шло незатухающее сражение: Кимры ее и столица, гулящая баба и нерожавшая мать, желания души и обстоятельства тела... Хотя ведь многие так и жили, прямо посреди этой линии фронта, проходящей по чему-то трепетному и живому внутри, и это противоречие не отнимало у большинства так много сил, как отнимало оно у Аглаи. В этих ее метаниях моего неучастия, безвольности она не то чтобы не замечала, просто на борьбу за меня у нее не всегда хватало разгону, были же еще мужчины, вечера, туфельки, последний вагон, в который она не отчаялась еще вскочить, сцапать оставшиеся на елке золоченые орехи... А то, что со мной Аглая ошиблась и не буду я ей утешением в старости, она поняла довольно скоро... И моего исчезновения — уже после нашего последнего отчуждения — она, мне кажется, могла даже и не заметить. Мне так хочется думать, что она из-за меня не плакала, не горевала.

— Все собрала, деточка?

Аглая так давно примеряла на себя эту материнскую роль, ей казалось, так была к ней годна, но язык никак не хотел приноравливаться, не справлялся, медлил, и тетка

спотыкалась, нервничала, закидывала голову и опять нащупывала у себя за золотыми зубами определения, и опять все не те, не те. Девочка. Таточка. На последнее Тата зыркнула — и обмякла, гордый воробушек, и жалея этого чужого, неточного, оперенного и взъерошенного попугая, в этих нищих и вековых стенах так дивно яркого своей зеленью юбки, тюрбаном малиновым и черными лайковыми коготками перчаток, и одновременно страшась ее, и ей же сдаваясь... Аглая вынула из раскрывшего зев куля с детскими вещами бордовое, дорогой шерсти, не знаемой Татой фактуры пальто, как будто стадо овец выгнали ей под ладонь и дали погреться, приложила к спинке, причмокнула... — Еще шляпка. Одевайся!

Соловов так и запомнил худую Татину спинку, вставленную в эту богатую шерсть, — как любимую картину в не идущей к ней вычурной раме — спускающуюся за Аглаей с Горы. Тата тоже увидела всю сцену — глазами провожающего ее маскарона. Казалось, что в пролесок спускается подосиновик в фетровой шляпке, мелькая бордовой каплей в брызгах последнего перед зимой дождя.

Ноябрь — листогной, листовей, грудень, ледень, ледостав, полузимник. Коли ноябрь сухой и ясный — то для следующего года опасный. Поздний листопад — на тяжелый год.

Глава 5. Аглая
Волховстрой

У всех, к кому Тата — девочка, женщина, старуха, сразу всё и вся — потом придет, будет преимущество, которого не было у Леты (и не будет у Аглаи), маленькое утешение, мятная конфета от горящего горла — время, чтобы умереть в своей постели. И рассказать.

Иначе бы и невозможно.

Только — рассказать.

Живого вещества, души, сгустка нервных клеток, сиянья Тата не принимала — оставляла тому океану, откуда все то вышло когда-то. Оставляла до особых распоряжений, ни на что большее не имея ни дара, ни полномочий. Но забирала себе — судьбы. Плотный переплет, тугую дневниковую тетрадку, шифр, конспект, карточку из каталога — прожитого и неслучившегося. Ну боже ж мой, право, возможно ли, чтобы это исчезло, истлело, неузнанное, навеки?.. Вот это вот все! Босоножка натерла, кожа вздулась, как будто изнутри в нее, как в парус, дует боль, но любимый сорвал подорожник, слизнул пыль, прилепил его на рану, слюна прохладна на этой жаре.

Или: «В саду, четыре часа утра, поздний холодный апрель, разминаются какие-то подпевчие птицы, чтобы к будильнику вовсю за окном висела стройная распевка солирующих соловьев, — пробуют горло, скелеты деревьев как нотные станы — остаётся только включить ноут и открыть чистый лист, сроки горят, горят, как обычно, и строки тоже».

Разве возможно, чтобы это пропало?

Еще голос из хора: «Плавать научилась на Ахтубе, в июле, в восемь лет: дно в кратерах, только зашла по пупок — вчера приехали, первая вода — провалилась с головой, барахтаешься, не дышишь, дышишь опять, плывешь. Ужас, восторг — прям до мурашек, даже сейчас, вот, потрогайте мою руку».

«Любимые цветы — пионы, такие нетугие розы с распущенными волосами, вольняшки, свободные, не собранные в рюмочку, в поцелуй цветы. «Сара Бернар» — роскошные; ещё оглушительный, дедовский молочного цвета сорт, куст, огромный, как смородиновый, сидел на одном месте сорок лет, и сейчас, может, сидит; только простецкие, худые, травянистые, ярко-розовые, девочковые я никогда не любила».

Все это многоголосье попадало в Тату, оставляя смертных своих хозяев, чтобы

никогда не перестать, чтобы последним костром обжечь черный космос, чтобы... Зачем это — Тата не знала. И почему вдруг — ей. Но делала что умела. Стакан с водой, мокрая тряпочка на лоб, подать бумагу, отрыть что-то в ящике стола, вымыть пол, покормить с ложки. Где как. И везде — главное: слушала. Вбирала. Запоминала. Провожала. От постели уходила звенящей, легкой, хотя, казалось, наоборот, под тяжестью услышанных историй, которые больше некому было доверить — или помираешь один, или не один, но никто не спросит — должна была уже осесть, как баржа.

«Когда разлюбила мужа, вдруг увидела, что он лыс... Вернее, когда увидела его лысину, то и поняла, что разлюбила: на фотографиях-то видно, что она была еще до свадьбы».

«Иногда мне хотелось убить. Чтобы слышать, как там все заканчивается в теле: бульканье, хруст, хрип, чтобы больше никогда, никогда этого унижения, ора, бесссилья. Не убил. Она сама умерла, а я без нее не могу».

«Тамара Семёновна сказала, твой поезд ушел, Санёк, в пионеры тебя не приму, в музей революции ты с классом не едешь — болит до сих пор, хотя Тамара Семёновна в гробу, а я давно не хулиганю».

«В городском парке была танцплощадка, Бони М, Дитер Болен, Скорпионс, я прижимался носом к прутьям решетки, еще теплым с дневного солнца, густо, смоляно тянуло от сосен елеем, крыша ехала, они внутри танцевали, я знал, что в сентябре она сядет с ним, и мои домашние и контрольные уже ничего не спасут, не буду же я на их парту слать самолетики, честно слово (потом на ней женился все-таки я, и с какой же жалостью на меня он долго смотрел на регистрации, мой лучший друг, свидетель)».

Тата не была скопидомом, рачительной хозяйкой, эти чужие слепки бытия носились в ней скорее ветрами, чем прибранные лежали на полках, ей они не мешали, точно не мешали, не заслоняли ее саму, ибо ее самой не было. Не должно было быть.Что важно, она не помнила ухода тех, к кому приходила, но помнила лишь то, какими они были до нее. Финал же сливался в один образ — руки на теплом пледе, голос, она пришла сама или ее позвали, заступила на смену или привели с улицы, и пусть иногда это были и путники, никак не приписанные органами соцзащиты ни к каким пунктам отбытия в вечность, и они пересекались в другом измерении — сути это не меняло... Тату ждали те, к кому она приходила. И она приходила.

Истории эти Тата не рассказывала. Не скоморошничала на ярмарках, не вынимала из рукава тузов в нужном месте разговора, не выдавала тайны исповеди, вообще не трогала — несла. Полная ладья. Не знала, зачем и куда, не знала, как долго, но тянула полные трюмы первых детских словечек, обрезанных на память мягких волос, в конверте без марки скатавшихся в войлок, нетленных дагерротипов, от которых явными оставались только выбитые черным и витым имена фотографов, Петроградская, например, сторона, 17... В качку стукались о борта телефонные трубки, и все это алеканье — «барышня, не слышу, встречать двенадцатого, вернись, у нас сын, у меня от вас пропущенный вызов, я в метро, ты хотя бы поужинал» — плескалось морем голосов, и да, Тата была не Хароном, нет, загробья ей не доверяли, но лодкой его она была, лодкой, на дне которой, на гнутых влажных досках, оставляли поклажу, ненужный *там* скарб с сюжетом, прописанной линией судьбы, черновик, в один миг и ставший единственным, не подлежащим корректуре текстом. Фараоновой пирамидой, в которую заживо с царем погребали жен, воинов, кошек и ростки пшеницы, вот так же и Тата — заживо держала в себе все, что было дорого, прекрасно, ужасно, неповторимо — пока это было, было. Чтоб было и дальше.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— По Темниковке я, конечно, скучала, не скучать было нельзя, потому что впоследствии я так и не обрела никакого иного своего дома: углы все не в счет, разве что у постелей тех, к кому приходила, пожалуй, чувствовала себя на месте... В

Темниковке же — пусть делимый на всех — у меня был очаг (крайняя постель у высокого окна и хранящий его дух, маскарон), и даже несвобода наша оборачивалась для меня своей болезной изнанкой: меня всегда ждали, ведь я нужна была для паек хлеба, книжек со штампом, ботинок, носимых по очереди, я нужна была для галочки, для того чтобы заведенный механизм продолжал вертеться, и в этом было много простого, понятного, пускай не важного, но как-то держащего меня в моем теле: построений, расписаний уроков, одинаковых зеленых одеял, ровных, ровными же спинами пропалываемых грядок за верандой, вечно басимых пубертатными мальчишками стихов к каким-то нарядным датам, и в этом всем был свой ритм и смысл...

Я скучала по Темниковке в дождь. А кто в дождь не скучает?.. Маялись, выли в подушку, прикусывали костяшки, барабанили, не слыша стука, в окно, лежали с закрытыми глазами, долго, когда дождь переставал, пропускали ужин, — те, к кому я приходила, но я в дождь только скучала: по детскому дому, по тому, как далеко был виден из его окон потемневший, сырой и высокий лес, по тому, как в такие сонные, тяжелые утра я просыпалась не от сигнала, а от Летиной руки, лежащей у меня на лбу, словно чтобы сберечь от ударной волны пробуждения, задержать тревогу побудки, выудить, как древнюю рыбу из омута, из моих снов... Я открывала глаза, Лета прыскала и пересказывала потрясшие за ночь усадьбу новости — все время что-то воровали, влюблялись, вершили справедливость и творили преступления — и дальше я уже сама, сама, шла в этот день. Дождь за моей спиной продолжал замазывать серым варом картинку — обрыв с Детской Горы туда, к людям — и моя вахта, мой пост — ожидание мамы — ждал меня до вечера брошенным.

И память этого ожидания, да, она тоже всегда приходит с дождем... Вот как сейчас, когда рисунок за окном быстр, неуловим, как легкий набросок, который никогда не станет плотным полотном и музейным экспонатом, и тем прекрасен, и я снова жду, жду, и так давно жду, что забываю, в чем ожиданье, и лишь инерция нервных синапсов держит меня у окна, в моей памяти, в жизни.

Колокольный какой-то, медью звучащий полустанок, седо-зеленое межсезонье, — октябрь, апрель? — снова женщина в форме бросается поезду наперерез, как будто не тьмы железных вагонов проходят мимо за сутки, как будто именно в этом мчится ее судьба и нужно успеть, остановить, взмахнуть или хотя бы послать тревожный сигнал. Высокая старуха устала, но не присядет, и ей кажется, сказано многое, но сколько еще предстоит? Кто ее слушатель? Внимает ли? Просит ли чаю? Кемарит?.. Перепончатый стук, как на стыке вагонов, когда страшно шагнуть, — так лопается околоплодный пузырь, так рвется тугая кардионитка (умер от разбитого сердца), так прорезывается первый слог, ма-ма-ма-ма... Я ли то, я ли? Седая... Я ли то? Тата ли?.. Кто же я, господи?

— Самым нелепым в Аглае была ее попытка даже не приручить меня — но слепить по образу своему и подобию. — Тата набирает воздуха и продолжает: *— Дочерью ей я не была — но она не могла мириться с тем, что я и не хотела ею стать... Как плененную животинку, отвоеванный край, Аглая хотела меня перекрасить в свой цвет, застолбить, пометить, а я все не шла, упрямым теленком подставляла рожки, глядела исподлобья, когда тетка приближалась ко мне с щетками для волос, отрезами кашемировой шерсти, огуречными масками... Аглая, полная жизни, жизнью созданная и в ней укорененная, так искренне недоумевала, так горько печалилась, что ничего-то мне не было интересно, ни бигуди ее, ни сплетни, ни наука обольщать — соседок с сушеными яблоками (за неимением марципана), что я не цыганила жемчуг, не стучала каблуками ее вытащенных с верха пропахшего лавандой гардероба лаковых свадебных туфелек, не просила тронуть щеки пуховкой пудры, не жаловалась на соседку по парте, не была влюблена в учительницу (в школе я проучилась недолго, так недолго, что никто и не успел заметить, что я не умею читать), не ждала каникул, не просила собаку, не, не, не. Отстала она от меня в один день,*

просто махнула рукой, и мы стали сожительствовать, как два чужих друг другу человека, как в сущности оно и было, — после того как...

Тетка в тот вечер была тяжела, я видела, как трудно ей давался этот загрёб через веселье очередного — стыдного, урванного у военного лихолетья — застолья, как подламывались каблуки, съезжала корона, но приз был высок... У того человека, кажется, что-то связанное со снабжением то ли армии, то ли Большого театра, вдовца, был мальчик, сын, он зачем-то притащил его в нашу квартиру, и Аглая, моя старая Коломбина, мой пьяный стражник и хорохорящийся птенец, трогательная в своей детской настойчивости — «хочу, хочу!» — и отвратительная в решимости наступления, подвела меня к тому, второму, ребенку, которого отец, странно, ничем-то не успел развратить, и толкнула меня между лопаток, капнула какого-то меда за ухо, напутствовала, иди, околдуй, покажи своих кукол... (нетронутыми, к слову, сидевших рядком, на магазинных коробках). И лучше бы он обнажил зубы, протянул мне руку, — или даже взял за локоть — и я бы покорно смирилась, но он, этот мальчик, стоял на краю той же бездны неловкости, смущения, пошлости и первый начал медленно в нее падать, белеть, я боялась, что он заплачет, заплачет первым — и первая закричала. На одной ноте, коротко, громко, зажав ему уши... Тетка к тому моменту уже дошла до стола, и вещала, легко накрыв хрустальное горло узкого бокала ладонью (над городом за окном плыла ночь, по городу, видимые с нашей верхотуры, — лимонные огни, но нас не отпускали спать); от крика Аглая потеряла равновесие, ладонь приняла вес тела, ножка хрустнула, хрусталь брызнул, сине-бордовая изабелла смешалась с Аглаиной кровью, в бинтах она носила свою руку потом еще долго, а тогда — все закончилось быстро, и я гладила ее по запястью над раной, видя, как на идущем на город рассвете — на верхние этажи он проникал быстрее — белеет в одинокой постели ее кожа, и в этом сером свете непонятно было, молода она или стара, но по тому, как тетка молчала, наконец-то молчала, понятно было, что уже поздно, для всего — и для нас с ней, и для нее, для нее одной.

Через несколько дней — просидели их по своим углам, Аглая ласкала руку, материла хозяйствующего ангела фронта — был подписан акт о капитуляции, а наутро я растворилась в поющей толпе, в общем-то и не замышляя этот побег, но давно ожидая часа свободы.

После бессонной ночи — все ждали сообщения по радио, в 2 часа объявили, после долгой прелюдии маршей, сообщавших видения исчезающих за горизонтом полков — мы вышли из дому вместе, впервые Аглая не держала меня за руку и как будто даже не искала взглядом, когда я чуть-чуть стала отставать, со спины было видно, как разжалась в ней пружина, как будто запасной парашют не раскрылся и все, что осталось, это успеть наглядеться на всю эту красоту... Чалму она сняла, неуложеннные, уставшие волосы рухнули, она несла голову тяжело, но свободно... Водки к вечеру в городе было не достать, но дома, я знала, были запасы, и знала, что она напоит весь дом и будет петь, не попадая в слова, и будет плакать, хотя пел и плакал тогда каждый, на каждой подножке трамваев, затопленных в уличной толпе, недвижимых, на каждой скамейке под кричащей о жизни сиренью, в каждом кумачовом окне, в каждом пропахшем постными щами подъезде... И я просто смешалась с толпой.

В ознаменование полной победы на Германией сегодня в 22 часа столица нашей Родины Москва салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

9 мая 1945 г. — тоже объявили нерабочим.

Глава 6. Тифон
Лодейное Поле

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Вся эта железнодорожная история, начавшаяся в эвакуированном эшелоне, продолжившаяся с изнанки часовой башни Киевского вокзала, а затем — в грохочущем столыпинском вагоне и заканчивающаяся — я думаю, она заканчивается — сейчас, эта история, простеганная ребрами одинаковых шпал, пропахшая железом, камертоном отзывающаяся на позвякивание чайной ложечки в подстаканнике с клеймом спальных вагонов прямого сообщения и низким тревожным Тифоном гудящая в груди, она, как все единственное и великое, случайна, и то ли через тетку Аглаю пришел тот случай, то ли через мое одиночество, которое, как кетгутом, латалось стежками верстовых вех вдоль нерва полотна, а потом рубцевалось под воздействием спертого воздуха одинаковых ампирных зданий вокзалов на нитке Октябрьской железной дороги, обжигающего кипятка из титанов мягких вагонов, где я шастала невидимкой, прохладной росы, в которую окунала босые пятки, свесившись из вагона половиной тела и болтая на рассвете ногами где-то под Добринкой, — рожь подступала к подножке — где даже и станции-то не предполагалось: так, спрыгнуть в поле, а чемоданы тем, кто имел роскошь путешествовать с чемоданом, выбросят следом. Сейчас бы сказали, что на поезда я «подсела», и да, я подсела на поезда, на их — это сейчас он бесшовный, так, что ты и не успеваешь мозжечком отметить тот миг, когда у тебя под ногами уже не твердь, а низкий, убийственный пролет между днищем и рельсами, сохраняемый в быстром движении — на их суставчатый ход, который каждые 12 метров возвращает тебя к земле, на стрижовый, беспосадочный полет над ее поверхностью и привязывает тебя хотя бы к постоянности смены, да и какая это, помилуйте, смена, все тот же пейзаж, хоть направо пойдешь, хоть налево: узлы, бабы, крики, лотошники, водонапорные башни, пар, стрелки, утренний туман, ты все время едешь, все время стремишься — но никуда не спешишь и никогда не приезжаешь. Никто тебя не ждет. Зимнее движение. Летнее. Икша. Апрелевка. Ягодин. Белокоровинск. Олевск. Страшов. Долина Очарования. Граждане пассажиры! Пользуйтесь ресторанами и буфетами жел-дор станций, где имеется большой выбор вино-водочных изделий, виноградных вин, широкий ассортимент горячих и холодных закусок, порционных блюд, чай, кофе, какао, пирожки, сдоба, покупайте во всех магазинах и аптеках одеколон «Крымская роза»... Официальный указатель пассажирских сообщений на лето 1945 года, рекламные странички из которого от скуки были прочитаны вслух кем-то из моих попутчиков, я помню и сейчас, ты чья, доча?.. Я никогда не знала, что ответить на этот вопрос, в зрачках моих бегали волки, сама я бежала прочь, как стремится прочь привитый на дичок благородный побег — хотя со мной-то все было наоборот...

Я помню выброшенных на зимний берег медуз где-то в стороне Майкопа — их лежалые тельца, преломляющие февральское солнце, говорили мне о приближении весны. Я помню, как больно было спрыгивать, когда поезд на пружинящем ходу шел в ожидающую его на горизонте ночь, и приземляться где-то на насыпи на коленки. Я помню гул земли, исполосованной прутами рельс, загнанной ближе к ядру, и запах крымских трав, влетающих в бессонный жесткий вагон. Помню командированных на восстановление хозяйства с клыкастыми защелками портфелей, помню шинели возвращающихся, после дождя пахнущие остриженными овцами и порохом одновременно, помню, ближе к концу своего странствования, шляпки, котомки, салфетки на откидных столиках, но я-то, я-то, конечно, все видела вот примерно как сейчас — густым мазком смешанных красок, будто выдавленных из несуществующего тюбика, содержащего зародыши всех сразу на свете цветов...

Я помню, как остра осока под крылатыми мостами над сибирскими реками, где я, такой же береговой улиткой свернувшись, ждала рассветов и попутных поездов — не зная, где моя сторона... Я помню пирожок с яйцом, подобранный с тарелки в буфете Киевского вокзала, боком своим пропеченным ведущий диалог с охряными, медовыми стенами у входа

для пассажиров первого класса, я помню, как следила за недоевшей его темной шляпой, слившейся с толпой в размазанном свете дебаркадера, и то, как долго тот пирожок таскала за собой в бумажке, берегла... Я ездила без билетов, в аккумуляторных и бельевых ящиках под вагонами, невидимой тенью проходила меж пассажиров и контролеров, спала в багаже, пила кипяток, воровала еду у станционных дворняжек, меня кормили поездные бригады и знали все попрошайки, но только я отличалась от последних — мне не нужно было ничего просить, и на день мне было достаточно и знаний, и пищи, — в конце концов, крапива тоже салат, и хотя тело мое и было моим, в отличие от имени, но можно было очень-то над ним и не трястись. И я не тряслась. Трясся путь под мной. Как сейчас.

Переходная площадка между вагонами, затянутая брезентовым суфле, похожа на меха гармоники и ширму кожаных крыльев летучей мыши одновременно. Зимой их залепляет сплошным сугробом, но летом они как будто придают ходу составу, идущему за леса, надуваются ветром с равнин, дышат воздухом строящихся городов и полынных полей. Иногда Тата «надевала» на себя эти крылья, замирая на переходной площадке и распластав еще сильнее выросшие и такие длинные руки по сторонам, пригибая заросшую и немытую голову к груди и ловя ртом воображаемый ветер... Пока не приходила пора прятаться. Прыгать. Бежать.

Непривитый дичок стремился прямой луковой стрелкой — стрела лука и изгиб стрелки железнодорожной, как все рядом, только руку протяни! Прочь из города — и в города. Щёкино, Печоры, Петушки, Ряжск, Сарепта, Сулин. Сгинуть, скурвиться, пропасть — все можно было успеть, а Тата — только росла (и ботинки следующего размера уже ждали ее, забытые кем-то под лавкой вокзала), набухала изнутри, нигде не разорвалась, цельнокроенная. Задубела кожа, сбились в валенок космы, черные дуги из-под ногтей утекали в речки, остатки сгрызала, дышала чисто. В Орле на рассвете бабки продавали лесную чернику, как продавали последние сто лет, от земли пар, коровы ревут за лугами, выставишь язык — а на него солнце упало лучом, тепло и сладко, спишь ночь у какой-нибудь из старух, потом ловишь шалый товарняк. Коленки в синяках, дальний зуб остался где-то на станции Варежка, с Евстафьево за тобой бежал пес, с которым ты ночевала в обнимку под ржавым вагоном в депо, потом лег в сокрестьи рельс, сделался точкой через минуту, потом рывок — и навсегда многоточье... Густое и понятное, несложное бытие — и сложная, текущая параллельно, являющая иногда свои лики внешняя жизнь: начальственная черная «Волга», переложенная на железнодорожный ход, инспектирующая узкоколейки, — из нее однажды помахали, хотя водила был толст, ел батон с попки, печален, и Тата подняла соломенную голову изо ржи на откосе, осоловевшая от дневного сна, сняла ртом черную земляничину, перевернулась на спину, на золотом остался кровавый след от раздавленной ягоды и еще один, девичий, Тата удивилась, но не испугалась, встала с росой, от вечерней прохлады. Над головой прогромыхала со стоном дрезина. Или вот бывшие свитские — и бывшие междунароного депо спальных вагонов — богатые прямоугольники на деревянных рамах, билетик получите в отдельной кассе, винный плюш, запах сигар, въевшийся в шторы, красное дерево, тепло, оставленное в них холеными руками, ласкавшими эти поверхности, — пустила однажды проводница, пожалела, дала карамельку... Тату не гнали сильно, не гнали зло — просто так, как придется, не потому что ребенок — потому что смотрела так, как смотрят умные и сильные в глаза бешеным псам — бестревожно, хотя внутри и прыгало, рвалось, висело на ниточке... Задерживали, наверстывали, летели, по ночам просыпалась от аукающихся голосов — из конца в конец вокзала: «Скорый за номером три миллиона пятнадцать осаживается на третий путь», и дальше оно грохочет за лесом, за морем, за долом. Прожила неделю в городке, сколоченном из железнодорожных останков, мальчишеском рае, на путях, хлопки надуваемого попутным ветром, развешенного между вагонов старого сохнущего тряпья — будили дневной беспокойный сон. Но больше, конечно, все было просто и очевидно — синька неба, легкие, надышанные феррумом, неровный подколесный бой, тонкий вскрик гудка — и грудной рев Тифона,

зов земли, тревожный сигнал, и так по кругу, год за годом, город за городом, полустанок за полустанком.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Я так много ездила и видела, что однажды, когда вернулась в памяти к этой дороге, поняла, что дни и картинки спрессовались в такой плотный брикет «мраморного торта», какой пекла когда-то Аглая, что я не могу вычленить оттуда нитей, не помню названий и направлений, только мерцания, всполохи, жажду... Где-то на станции Солодча чуть не умерла без воды, где-то в Пензе вынесли с подножки в поле барский обед — тефтели под соусом, заливное и компот — вынесли псам, я украла; за Уралом бежала за туманными огнями, отстав от поезда, и не добежала, очнулась от дурного вкуса на губах, в меня лили спирт, хозяйственный, нужный, подотчетный, а я плевала и лягалась, и низко и страшно давил потолок чуть ли не в метре над головой, и копотное низкое окошко, будто к гномам попала: это путевой обходчик меня обошел, спас, выходил, фонарем своим высветил в снегу, доволок в свой флигель... Две недели вязала ему носки, руки помнили с Темниковки, с уроков труда, и слушала байки, он сорок лет в этом домишке осилил и осиротел, прямо вот серебряное копытце... Помню ряску по кайме болот. Трогательные полуторные сиденьица пассажирских вагонов—узкоколеек. Громокипящие телефонные аппараты на грузных столах начальников станций, к которым меня порой приволакивали — с намерением передать дальше, но дальше у них никогда не шло, уходили сами, пятились, как будто-то привидение увидели... Сиплый октябрьский ветер в открытую форточку, уголок нестиранной шторы вальсирует, в дальнем купе кашляет чья-то дочь, я вжалась в стены, в двери, я пульсирую в такт движению, меня даже и не видно, я бледна, как линкруст панелей. Темные кишки подземных переходов в больших городах, выводящие к рынкам, слякоть и гул, спешащие толпы, опять жмешься в стены, сливаешься с их плесневой влагой. Теплый хруст сверчков в масляных фонарях полустанков, их смывает дождь, как смывает все краски. И остается только движение, маятник, тик-так, как ты привык, пассажирский поезд Сорога—Осташков отправляется с седьмого пути... Бывшие монашенки выносят лисички к составу. Широкополая шляпа и талия, перетянутая серым муслином, она присела, чтобы поцеловать мальчика — кудри, солома, ягодный рот — а я уже все пообещала, все, только чтобы попробовать, как она пахнет в той ямке у шеи, куда он сначала уткнулся, а потом убежал. Дачники колоннами, румяные и работящие, просто физкультура какая-то, корзины, ведра, навоз, а вы сколько подкормки вносите? Стиснуть помидорчик им посильнее. Украсть огурец, утопить палец в малине, будет лунка компота. В электричках тесно, тепло, шумно и быстро. С Киевского можно уехать на край света. Переделкино, Крекшино, Нара, Зосимова Пустынь, Малоярославец, Суходрев, Родинка... Встать на углу Дорогомиловской, поймать вечерний луч, упадающий в сторону Тверской заставы, проходя через линзы верхней площадки часовой башни Киевского вокзала, мысленно осилить, пробежать все 56 ступеней вверх, мимо трехтонной гири, мимо запертого в деревянную клеть — как синяя птица — времени, взвиться туда, откуда скоро все и начнется, туда, где в хорошую погоду с изнанки циферблата просвечен и виден ход стрелок — в направлении назад...

Я помню, как мы случайно столкнулись — в самый первый день моего беглячества. Я всегда была рослой, а он — карлик, лилипут, хотя какое значение имеет его рост, рост человека, хранящего время. Это, пожалуй, я его не заметила, налетела. В тот день, 9 мая 1945, на Киевском, куда меня занесло от Аглаи праздной, счастливой волной, разливанным этим соленым морем, выплаканным, выпитым, закушенным.... Карлик с ключом, я пошла за ним, поднялась на башню, хотя посторонним вход воспрещен, и он сказал, что правильно его называть часовник — человек, заводящий одни из последних — теперь уже, из наших дней глядя — механических часов в Москве, и вид этот на город — промеж густозамазанного, слюдяного, матового гигантского стекла циферблата, мимо стрелок, идущих в обратную сторону, таких огромных, что

могли бы поднять и карлика, и меня, и может быть, даже унести назад, туда, где можно было бы изменить: ему не рождаться, а мне, Тате, не умирать — вид этот и это механическое чудо, смазываемое маслом и заводимое ключом в красной деревянной клети, как будто время можно запереть и спрятать, все это вошло мне под ребра и осталось там навсегда. Я сползла с башни и отправилась по страницам железнодорожного расписания на 1945 год, своим длинным и невредимым телом ставя зарубки в пунктах прибытия и отправления, выпуская себя на волю, примериваясь к своему имени, слушая — ладонью — как дрожит в сгустке железа натянутой тетивой проложенного в склоняющейся к путям, обжигающей крапиве приближающаяся махина судьбы.

Уже Лодейное Поле, точка на карте, — ладья, лодки, пики, сабли — стоим три минуты, да и три тут нечего делать, 5.20 утра, от пути из варяг в греки осталось всего ничего — речка Ловать, так и текущая неспешно, и поля — поля все на месте, не дающие речке утечь туда, куда стремились варяги, жмущие ее по бокам, а смена *сейчас* другая, вечерняя проводница спит, а эта выскочила без жакета, так, в блузке, курит, сует бабке, тянущей с перрона руки вверх, мелочь за промасленный пирожок, трогаемся, запирает дверь, прислоняется лбом к мутному стеклу, плачет одними глазами, не мигая.

Тата так и не присела за ночь, рассвет — самое время, когда чаще всего умирают. Треть пути за спиной.

— Странно, что все эти длинные пути, прибои дорог не вынесли мне к ногам никаких окончательных встреч, а все самое главное произошло снова в Москве, когда железнодорожный бег мой был завершен.

Временами меня тянуло к Аглаиному дому, квартире, где — я знала — меня еще ждала моя комната, заваленная ее тряпками и пустоглазыми куклами, из которых я выросла еще даже до того, как их запаковали в мягкую бумагу на фабрике. Наши окна горели высоко, терялись в сливочном вечернем свечении башни, мне было не страшно, что меня опознают в темноте, я гляделась такой *тогда* каланчой, что ту девочку, что убежала отсюда в сиреневом мае несколько лет назад, во мне сложно было углядеть, и я просто стояла и слушала гул улицы, хлопанье подъездной двери, обрывки разговоров, сплетен, долетающий лай выгуливаемых собак, бубнеж консьержа. Потом уходила. Спокойная, что все на месте. Аглаю не видела ни разу, но чувствовала, что тетка там, наверху, пудрит нос, пьет свое вино и тоже выглядывает в ночь. Мне было важно знать, что с ней все в порядке — насколько это вообще может быть с человеком, как будто это я была за нее в ответе, как будто это я взяла ее тогда под крыло, а не она увела меня прочь из Темниковки. Я уходила — и несколько лет возвращалась, через месяцы, притягиваемая вольтовой ожигающей плечи дугой вины и страха, и как раз в такой день краткого возвращения — отряхиваешь железную пыль дорог, выходя из арки одного из вокзалов, отряхиваешь платье, жадно ведешь носом на запах сдобы у тетки под колпаком — в толпе меня задели плечом. Случайно, не больно, мимолетно. Обернулась. Прошли друг друга взглядами. Боже мой, да я на две головы теперь тебя выше, мучитель, — и дальше идешь так же ровно.

Рахитичка.

Всего-то лишь заняло это миг, и ничто не поменялось в окрестном движении, центробежном стремлении ног, но я знала, что обречена. И знала: в квартире, в башне, тетки уже нет. Это был последний мой круг. Веревка стянулась, узел мертв.

Аглаю Воскресенскую (забрала у мужа даже фамилию) хоронили, в общем-то, подъездом вознесшегося в небеса, лишь немного укорененного пенсионерками по первым этажам, молодого и важного дома на излете зимы. Душа мается, ни тепло, ни холодно, всюду бреши и следы, так и Аглае было беспокойно все эти последние дни: мальчик ласковый, юный, терпкий, соломенные вихры, еще младенческие как будто

ямочки, жилка голубая у рта, Аглаина лебединая песня, даже спать с ним не хочу — лишь укрывать на ночь спинку, поить бульоном, сынок скорее, чем любовник, какая-то седьмая вода из Кимр, присланная с бандеролью: встретила и никуда не отпустила, какой еще институт, зачем это надо. Этот ангел и сам не понял — не было у него умысла, не было, был лишь жар, пламя проклятых брюлек, купленных художником всея союза для жены, и вой в крови, так, наверное, мать выла на опостылевшую свою кимрскую, за 70 рублей в месяц, жизнь, вот его бес и попутал. Не ушел даже далеко, так и сидел рядом с подушкой на Аглаином лице и раскрытой шкатулкой, плакал потом, не от вины или загубленной жизни, а от того, что некому его будет укрыть на ночь в адовых казематах и что она все поняла, когда раскрыла глаза, все: он с подушкой над ней, но даже тогда, поняв, — не упрекнула взглядом, как будто заранее простила все, что он сейчас совершит.

Мальчика Коли Пылаева, ясно, у гроба не было, не было и начальника больших театров, не было той кавалькады мужчин, той вереницы их тел, того колеса огненного, что вертела Аглая, обжигая пальцы и никак не согреваясь. Не было. Забыли. Испугались. Постыдились. Были в командировке. Рот ручкой прикрыли, постонали на красные образа — и дальше в путь. Не было и Таты. Аглаю она третьим крестиком, галочкой поставила у себя в душе после девочки из эшелона и Леты: вот и ее не проводила, как же так... Просмотрела... Не приняла ее жизни — и не восприняла ее смерти.

Могилку уже припорошило последним жидким и скупым снежком, в доме успела опуститься пыль, опечатку сняли довольно быстро, и это свалившееся на Тату московское богатство (Коленьке тетка не успела подмахнуть, хотя собиралась), этот простор и закрома, углы и тишина, лишь сильнее высветляли Татино одиночество и сиротство, как вечерний луч падающего откуда-то из-за замоскворецких лесов солнца, подсвечивающий мягкое серебро крылышек моли, доедающей втихаря плюшевые прокладки на аглаином зингере, которым она никогда не трещала.

Машинку Аглая, тогде еще Сорокина, выписала от матери, из Кимр, умела шить, но не пригодилось, устроилась лучше, и вот тетка — за серой оградкой, Коленька Пылаев — за железной, а кованое кружево подстольной части зингера пахнет рельсами, уходящими в ночь.

Тата сложилась, залезла в железную нору, как в Темниковке пряталась под столом вместе с Софьей Павловной, и толстая и медленная, давно стоявшая в девстве педаль от ее веса вошла в качение. Оно напоминало сразу и баюкание младенца, и гончий, перевалочный бег вагонов за горизонт, на пике своего усилия отрешающийся — и отрешающий — от всего. Выдох. Выдох. Утро еще не скоро, твоя станция затерялась в лесах. Спи, спи, я подоткну тебе спинку.

Кач-кач.

При шитье смертной одежды работать вперед иголкой, узлов не делать, нитку зубами не перекусывать, полотна на колено не класть, слез на ткань не ронять. Класть с собой пояс — неподпоясанным никогда не отправлять.

Глава 7. Соловов
Подпорожье

Вот в этом покатом ходе, таком плавном, что движение ты ощущаешь скорее внутри, чем снаружи, они и появляются. Двигаются через время, через тебя. Выскакивают, как пружинные паяцы, грустные клоуны, трепещут на ветру. Кровать — набалдашники с облупившейся синькой, продавленный панцирь — вынесена в поле и над ней ловец снов на яблоневой ветке или поплавок в легком течении воды: лето, дача, мушки, на кадрах фотопленки всегда остающиеся размазанными хлопьями снега, слепят мерцанием и неповторимым звуком тварной короткой жизни, или еще

что-то такое подвешенное и пребывающее в мелком ритмичном движении, может быть, колокольчики... Лица. Они возникают на радужке, стыдливо, как одеждами или обложками, прикрытые усталыми веками, мигают и растворяются в этом движении... Тата не знает когда, кто и в какой момент — пока не дернут за невидимую леску. Не надо усилий воспоминания — они сами приходят к ней в свой черед, как в свой черед река несет мимо берега то осенние листья, то потерянную панаму, то труп врага...

Иногда ей кажется, что среди тех, к кому она приходила, были какие-то специально предназначенные ей люди, что из услышанных историй должен бы сложиться какой-то рисунок, как вплетенный в ковер ниточный ритм, цветочный бордюр складывается в эпохальный сюжет... Но нет, ответа не будет, смысла не было и нет, кроме одного, и вот он просто приходит на память, вернее, выныривает на ее поверхности, чтобы оттуда маякнуть — да, вот он я, здесь, целехонек (или целехонька), не первый и не последний, просто скрижаль с начертанными письменами, один из тех, к кому... Или одни.

Чаще всего почему-то являются Дудины.

Тата проводила их где-то еще в 90-х, в подмосковной больничке, чьей достопримечательностью они были: жили долго и несчастливо и умерли в один день, поди такое поищи, да вон там, в угловой, на четыре койки, две пока пустуют, а эти все делят что-то, хотя уже и батюшка к ним приходил, и дети с какими-то бумагами прибегали, и сиделку им даже наняли, хотя они ее что-то не больно, а вон Тату, ну, поломойщицу нашу, привечают, да, ну ее многие ждут, это понятно, она такая, нездешняя вся...

Дудины являлись Тате не силой хватки своей за жизнь, были и похватче, просто им, наверное, думает Тата, там беспокойно — и очень скучают они друг по другу. Тата слышит этот их каждодневный крик — поводы всегда находились, слушает, потом прикрывает уши ладонями. За окном леса становятся гуще и прохладней, хотя их верха уже трогает вставшее солнце, и Тата думает, что им просто не дает покоя этот ее поезд — они ведь тоже однажды приехали к своей судьбе по железке. Только они-то ехали на юг. Отпуск, Крым, курортная любовь.

И Тата слушается их и дает дудинской истории прозвучать, на один перегон сворачивая свою, и начинает там, где Таня, тогда еще со своей девичьей фамилией, увидела дудинскую всплывшую после полуминутного небытия из-под воды голову, из-под волны. За эти полминуты он стал родным: потерянный и обретенный. Еще полминуты назад случайный. Когда увидела его макушку, облепленную мокрыми волосами, — подумала остро: рубашки. Гладить его рубашки. Не ЗАГС, не младенцев, не тихую старость. Гладить рубашки. Скинутые только-только движением плеч в ждущую стирки кучу, — пояснице, голой, прохладно — и можно уткнуться носом в запах, пока он не видит, рыщет по кухне или в душе. Упереться ногтем в твердый воротничок, что весь день давил на кадык. Пока комкаются рубашки, пока еще не названы имена и нет слов, а на дворе — самый первый день, еще до конца творения и до его начала, и только твои рубашки — явны и явлены, и можно исследовать тьму и дальше, пока она не поглотит нас. Гладить его рубашки, вдыхать их и гладить — большего Таня от судьбы не ждала.

В номере — махнул через балкон, строгие санаторные порядки, второй этаж, жгло в пятках не столько от высоты, сколько от предвкушения — Дудин всю Таню запихнул в себя, высокий, большой, только днем спасенный ее мыслью из пучины, из геенны, из вечности без нее, потом выплюнул, как кит Иону, отдышался, полез за пачкой сигарет в задний карман скинутых на подступах к казенному ложу брюк... Таню случившееся не оцарапало никак, хотя косточки согрелись и пели, и тоже захотелось курить, хотя вообще — никогда, но то, что заставило ее заскулить тихонько под одеялом, когда за Дудиным, будущим мужем, хлопнула фанерная дверь в душ: парусом парившая на жарком сквозняке кремовая его рубашка, которую тянуло схватить зубами за загривок и нести, как кутенка, не отпуская. И всегда потом, даже после скандалов и сцен, чувствовала эту знобящую боль под тугим свертком кишок —

гладить рубашки, твои рубашки, полные соли и табака, промытые от них и развешенные на ветру, и снова набирающие из морского — московского — воздуха и соль и табак, и соль и табак, и всю предрешенную жизнь.

В сентябре Дудины расписались, и до самого финала Таня волчицей охраняла свое, отгоняла всех домработниц, жадно рвалась — гладить его рубашки.

Он же в жене ценил иное.

Как была верна, как была стыдлива, как никогда у нее не болела голова. И еще любил наблюдать, как в любви она уплывала за буйки, гребла где-то внутри себя, мерно и сосредоточенно, к горизонту, как будто отрабатывая урок, но смиряясь с его всенепременной наградой: как пятерочницу тяготят похвалы на собраниях звездочки, так Тане неловка была эта победа, эта сладость в конце. Дудин, плывя рядом, любил смотреть на небыстрые пролеты глазных яблок под прозрачыми веками. Жену заводили его рубашки. Дудина это забавляло.

Главным было — не принести на них запаха чужих духов.

И он справлялся.

Они оба справлялись.

Даже когда кровь, казалось, пойдет горлом от взаимных упреков и обид.

Они оба справлялись. Дудин любил в Тане себя. Таня в Дудине — его рубашки.

Это прочное равновесие дало им сына, дочь, квартиру в сталинской высотке и мраморный камень, один на двоих.

Дудин на памятнике был в кремовой.

Но это никому уже не было важно.

Тата снимает ладонями с век напряжение рассказа, утро за окном непрозрачно, теплый пар от теплоцентрали, на горизонте машины испускают облака в пробке перед переездом, ломаные цветные квадратики в очереди, из пролесков — тихий туман. Ей нужно вернуться. Вернуться к своей истории, продолжить ее и завершить. Ее слушают, вот он, невидимый слушатель, ждет... И нужно собраться, лечь на курс, приноровиться к ходу вагонов, которые контрапунктом идут через всю ее жизнь, и продолжить, ибо Московская и Тверская уже позади, и Ленинградская на исходе.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Те, к кому я приходила, всегда со мной. Я не знаю зачем и не узнаю уже. Они заполняют меня — легкие, мозг, суставы — и пожалуй что да, я прожила все эти десятки жизней вместе с ними — но я так и не знаю, прожила ли ту, которая была суждена девочке из разбомбленного эшелона. Что было написано ей? Что мне? Соловов называл меня мертвой, Аглая боялась моего холода, но те, кого притягивало ко мне в их последние минуты, знали, что их не обожжет и что их собственное тепло тоже останется. Не останется тела, но останется тепло, да... Может быть, в этом и есть задумка, этот круговорот, взаимообмен, этот мой страх жить — и их страх пропасть бесследно... Вот как сейчас пропадет за взвесью дождя станция Подпорожье, пропадет вместе с бабой-ягой — горб, нос, золотой зуб, седые патлы, васнецовская кисть, с пуховыми платками, вместе с женщинами в кроссовках и непромокаемых куртках с ржавой, водяной морошкой, копчеными и тоже как будто ржавыми рыбинами, потными, в каплях, бутылками пива (все здесь промокло, изнутри, мы трогаемся, и видно, как они со своими тележками бегут хорониться под козырек автобусной остановки, над которой полощется одинокая чайка), они пропадут, как будто их никогда здесь и не было... но я-то знаю, что они здесь были и будут всегда — как морошка в северных лесах.

Тронулись. Было Подпорожье. И нету. А я?

В Аглаиной квартире Тата не осталась после той ночи на зингеровой педали. Квартира была не по росту, не по душе. Да и старик Брусилов так быстро упал к ней

в руки, что ничего иного и не оставалось, кроме как поселить нового жильца на верх башни, а самой искать съемный угол.

А ведь это Лета как-будто выхватила его спутанную кудель из толпы! Его безумный и напряженный — а в сердцевине такой изумленно детский — взгляд среди мелькания множества спешащих зрачков, — потом думала Тата, — это она, защитница сирых, направила меня тогда, это ее совершенно был жест — хватать не раздумывая и тащить, кормить, отпаивать, греть...

Наутро новой — послеаглаиной, послежелезной — жизни Тата спустилась с башни, и безумец был уже там, непоодаль, высиживал век на лавке, сцепив руки на щуплых коленях и едва заметным глазу движением раскачиваясь из стороны в сторону. Старик Пётр Фёдорович, больной и влюбленный, у него был позавчерашний хлеб, и он, оказалось, совсем не ел. Тата присела у его ног на корточки... Два городских сумасшедших, два странника во времени, не приписанные ни к какому порту, два нелюдима и одиночки... Взяла его за руку, потащила на верх Аглаиной башни, поселила в «своей» комнатке — и старик пришелся ей как раз впору. Куклы, сидящие в своих коробках, ему не мешали, напротив, он как будто разговаривал с их невидимой владелицей, которая в его воображении была совсем не Тата. Имя ее прозвучало позже: Тата посчитала на пальцах и поняла, что Оленька играет со своими куклами в тенистом мраке очень давно, и что когда Брусилов видел ее в последний раз — перед неслучившейся свадьбой, — ей было не сильно больше, чем Тате сейчас, и она еще и не выросла даже из этих угольных глазок, шарнирных ручек, газовых юбок, игрушечных сервизов, вся сама такая же была — зефирная, зонтик от солнца кружевной, альбом, легкое дыхание. Брусилов и тогда уже был немолод, Тата так много ни прибавить, ни вычесть не могла, но всю историю из его невнятного бормотания, обращенного к играющей с Татиными куклами Оленьке, иногда прерывающегося просветлениями (все время жаловался, что у него растет третья рука, просил мази, или сельтерской, или экипаж, но мог и вполне здраво бухнуть: «Сама-то когда последний раз ела?» — и под ресницами сразу вдруг становился стариком, а не тем ребенком, которым был в окружении кукол и призраков), все-таки сложила. Ел только хлеб, который таскала ему изредка Тата со своих смен, из больницы (умерить бег ног сразу не могла и потому ходила по улицам, до изнеможения, узнавала еще не узнанный город и все время сворачивала в узкий переулок к старому, мощному, вросшему в землю дому, который не сколупнуть было никакому новому ветру, ибо нужен такой дом — всегда: там то богодельничали, то сходили с ума, то рожали будущих октябрят, теперь вот сделали — тубдиспансер; Тата по окружью заглядывала в его окна, в которых иногда проступали серые тени иссушенных силуэтов, и чувствовала, как ее призывают из тех окон, как когда-то звали ее из темниковского Сада другие. Пётр Фёдорович сушил в Аглаиной духовке сухари из этого казенного хлеба, Татиного служивого пайка (то мыла там полы, то стирала простыни, то мешала государственные щи). Ему больше и не надо было, птичка божья — и всю Оленькину историю Тата сложила по словам, по намекам и вздохам, и вопрос был не в том, что именно с ней и Пётр Фёдоровичем произошло (во вросшем в землю доме Тате много и позаковыристей рассказывали), а в том, куда ей все это теперь деть...

Пётр Фёдорович жену свою несбывшуюся ласкал в уме и нежил — как дитя (тоже не случившееся), он ведь толком ее и не узнал за время до назначенной свадьбы; была она вся кометой и всю его галактику исполосовала своим светом, истрепала этими вот перчатками до локотков и краешками туфель на изогнутом, как горбинка носа, каблуке, иногда показывавшемся из-под льняных, прохладных, в тонкую голубую полосочку платьев, и характером смешливым и не женским, а так и оставшимся — как у мятущегося подростка: ярость и бунт, пунцовые щеки, хлопанье дверей, родители только и успевали бледнеть и извиняться. Хотя против свадьбы Оленька не то чтобы что-то имела — просто не держала ее в голове, ее занимал вселенский миропорядок, но Пётр Фёдорович был друг, семьи и ее, они вместе читали, и он дышал незаметно ее затылком над книжкой, и книжка, устройство божьих дел, где одни всегда

страдали — и другие почему-то страдали тоже, волновала ее больше устройства собственной судьбы. Семнадцатый год все подкатывал, шел волнами, свадьбу по мелким, потом никем не помнимым причинам откладывали, Пётр Фёдорович худел, ушивал свадебный сюртук, а потом вообще как-то не до сюртуков стало. Ушел с белыми, с Оленькой, зашитой в карман у сердца, и поди ж ты, нет больше ни Оленьки, ни карточки ее той, у пруда, где она удит рыбу с мостков, подоткнув платье, босая, и вполоборота пеняет Пётр Фёдоровичу, что он трусит мочить ноги и возвысить голос против несправедливостей мира сего — трусит тоже. Нет ничего, а сюртук его свадебный, преуготовленный, есть. Висит над Татиной кроватью. Тата иногда чистит его Аглаиной щеточкой, особенно нежно обходит то место, где была Оленькина карточка — возвысившей голос, тогда как Пётр Фёдорович, вернувшись с проигранной войны, затерялся, сошел с ума, был непригоден даже для записи во враги народа, и репрессировать его было — лишней тратой ресурсов адовой машины.

А вот Оленьку — Оленьку да. Смысл имело. На таких зазубринах машина и обкатывала свой ход.

Оля Остудинская написала в Кремль, самому, письмо некрамольное, беззлобное, но яростное, почерк старательный, гимназический, написала в порыве про Бог есть любовь, даже переписывать из-за кляксы не стала, сразу отослала, вся подобранная, рассерженная, пылающая (жила у знакомых, учила чужих детей, родителей схоронила). А вскоре и ее саму отослали. Пётр Фёдорович выл, но не искал, еще с переворота времен совершенно утеряв навык жить. Она нашла его сама. И это его подкосило даже больше ее пропажи...

Оленька писала, сглатывая буквы, пытаясь соразмерить множество слов и смыслов — и узкое горлышко дозволенного просочиться на волю через жерло лагерной цензуры, и Петр Федорович смог почти все из этих строчек разгадать (напряжением памяти о своих мытарствах на гражданской войне и вообще российской истории): воюет Оленька за послабления для монашек, ей назначен штрафной изолятор, и она любит Петра Фёдоровича (намеки — будто тонкой нитью, продернутой через канву вышивки ришелье). И это любовное признание, вот в таком письме прозвучавшее, говорило, что с человеком *там* произошло что-то непоправимое, что-то сродни откровению, и признание Петра Фёдоровича перевернуло, свело с ума... Жанна Д'Арк, Данко, маленький отважный боец, девочка, вооруженная кружевным зонтиком, островецкая дева, идущая с кулачками на шинельных людей...

До этого места Тата добиралась несколько месяцев. Старик засыпал в своем бормотании на Татиной девичьей кровати под своим свадебным мундиром, она уходила, чтобы прибежать где-нибудь между сменами (жалованья хватало как раз заплатить за снятый у старухи Назёмовой угол в тихом дворике, отгороженном от ядра города лишь розовым особняком, когда-то бывшим притяжением дворянской жизни, а сейчас молча служившим по какой-то культурной надобности горланящим кумачовым людям), выложить в изножье кровати (старик далеко от кукол не уходил) свой паек, слушать, собирать слова в предложения, предложения в строки, строки вставали во весь рост, и Тата видела, как Оленька, с совершенно ясной головой, требует от истуканов — усы, приклад, циркуляр — чего-то своего, бунтовского, книжного, вечного, как дышит она на кирпичного цвета распухшие пальцы и как потерявший рассудок Брусилов плачет где-то на углу Новодевичьего, жалуется прохожим, спит на скамейке... Потом отряхивала морок, укрывала заснувшего старика и шла в коммунальную свою клеть.

Ночевать в Аглаиной квартире, даже с Петром Фёдоровичем, не могла. Аглая смотрела из углов.

В углу у Назёмовой было шумно, но Тата отгораживалась от старухи, от быта, от всей населенной квартиры так, как она умела, — невидимой занавеской, нырком в себя, стеной воды. Но всегда возвращалась, точно чувствуя время и место. Всегда вовремя.

К Петришвили — один звонок, к Званским — два, Николенко — три и так далее, хвост списка растворялся уже в каких-то пресмыкающихся числах; к ней самой — нисколько. К старухе Наземовой — семь, а к ней самой: ну, семь с половиной что ли?.. Чего стоит ее отгороженный занавеской угол, так напоминающий плацкартное купе? Разве что лишнего полунажима натертой кнопки...

Звонили к старухе. И то, как долго та возвращалась в свою клетушку (глухой коридор протянулся вдоль Тверской во чреве спрятанного во дворе Музея революции — бывшего Английского клуба — придатка, флигелька с дверьми бесконечными, раствоpенными, нетуго прижатыми, какими-то сквозными, вечно шастающими дверьми), то, как долго она возвращалась — даже дольше, чем диктовали и возраст, и палка, и норов, — Тате сказало: вот оно. Вот оно. Вот.

Вошла не старуха.

Занавесочка Татина тронулась, брюки на Соловове оказались со стрелкой, и стрелка эта поразила Тату больше всего, больше цветов даже — так и не подаренных, ушел с ними — жутких мертвых гвоздик, больше даже, чем вся его речь:

«Ты это... Ты ничего не подумай, Тат, — Соловов почти не занимал места в ее плацкарте, но ей показалось, что из комнаты вдруг откачали весь воздух, а до станции еще долго, очень долго, и окна все равно не дадут раскупорить. — Мне на заводе семьдесят рублей положили, — он хватал воздух, как рыба, бессильно, наполняя им больные легкие — в панцире вздыбленных ребер и торчащих костистых лопаток. — Не думай, Тат! Угол получше снимем, мастер адресок дал. Я тебя пальцем не трону. Не то что! Пяточки целовать буду, ты только иди, не держи зла. — Соловов, такой же тощий, каким был в детдоме, такой же злой — но сейчас еще и несчастный, и решившийся одновременно, держал гвоздики перед собой и то ли прикрывался ими, то ли протягивал ей... Он всегда был несчастный, Тата это знала, но сейчас он почему-то этого не скрывал, перестал скрывать, как будто силы ему нужны были для иного. Чего? Тата пыталась добраться до конца его речи прежде, чем туда доберется он — и как будто что-то исправить, как будто что-то еще можно было исправить... — Ты прости, что там, ну, тогда, в Темниковке, я прям чумной стал, как тебя увидел, ты меня как за жабры взяла, я ж сразу все понял: ты на меня смотришь, а видишь дверь за моей спиной, или не знаю, что ты там видела...» — Соловов мялся, почти сипел, у него как будто резался голос, или он впервые говорил человеческой речью.

«Да я же не слышала его голоса, только хохот», — подумала Тата. Ей казалось, что лучше бы он и сейчас гоготал, только не слышать эти слова, только не эти.

«И у тебя ещё волоса такие были на голове, острые, тебя бритую привезли, и мне щекотно ладони было, когда я тебя трогал, ты ж не уворачивалась, ты тихая, но что я, дурак что ли? — Соловов глотнул воздуха и начал заново, как будто пошел на второй круг, хотя понятно было, что что-то не так, Тата — не так, никак... — Ты не думай, мастер хвалит, и деньжат, говорит, потом побольше будет, ты потерпи, Тат, ты меня не бойся, вон у тебя волос какой теперь, мне потрогать хочется... — Он сделал шаг. Что-то еще вдруг изменилось в его голосе, в изломанной фигуре. Все пошло вверх — чтобы скоро оборваться. — Я тебя беречь буду. В обиду не дам. У меня ж никого. И у тебя. Только старик этот придурочный... Вызнал все! И я неприкаянный, только мне и бежать не от кого, только как от себя... — Здесь голос его совсем очистился и затвердел, Соловов перешел на звон, стоящий у Таты в ушах. Он сделал шаг, он открылся — и услышавшего оставалось теперь только приручить — или убить как свидетеля... — А я ведь тебя не забыл. По ночам на голову одеяло натяну, как в младших группах, и представляю, что ты рядом, что видишь меня, жалеешь... Так хотел, чтобы ты со мной играла или хотя бы пуговичку свою показала, как Летке... Щупал свой затылок, нас же тоже всех обкарнывали, и все гадал, у тебя такой же? Вспоминал, как ты не обернулась, когда тебя тетка уводила из Темниковки, как ты в том ее фартовом пальтишке ушла, она тебя за капюшон держала, как добычу, а я думал, улетела моя рахитичка, улетела ласточка... Спал в ту ночь в твоей постели, девки ржали, но мне все равно было... — Воспоминания мучили его, ботинки, взятые у

товарища по общажной конуре, жали и жгли. — А теперь ты как живая стоишь, только волосы отросли... Ты ж живая, Тат? Ну, посмотри на меня? Я же тоже живой! Я тебе, смотри, что принес. — Соловов засуетился, и на это ушли последние его силы, развернул плотную желтую бумагу, и оттуда выглянули два каблучка желтых же туфель, или Тате так показалось, **ее** мутило от страха, от неизбежного... — Что, нет? — голос Соловова вдруг обрушился безнадежно, и Тата поняла, что скоро, скоро они доберутся до конца. Пауза была слишком длинной, но она не могла себя заставить ничего сказать, и голос его пошел вверх, вверх по нарастающей, до визга, до финального обрыва в пропасть: — Что, нет?! Нееет... Ну что ж, все ясненько, ясненько нам! Да! Не нравится тебе? Нам не нрааааавится! Куда уж! Разве ж мы такое носим! Мы ж полы по больничкам моем, да пальчики у нас бархатные! А с таким отродьем разве мы возимся?! Только это я, я живой, а ты — мертвая! Стоишь, смотришь, а сама мертвая! Как Летка твоя Городецкая! Да я б ее еще раз туда пихнул, под Пряшку, если б мог, мертвая, мертвая, дура, рахитичка-ааааааааа!!!»

Он швырнул туфли в Тату — старуха Назёмова потом толкнула их на рынке — они глухо грохнули об пол. Бантики, почему-то подумала Тата. Бантики. Бантиков она никогда не носила. Где же он их взял? Заработал? Украл? Сам выбирал или помогали? Голодал из-за них? И то, что это Соловов, оказывается, толкнул Лету под копыта Пряхи, а не она сама оступилась, не поразило так, как то, что он ее, Тату, любил.

А я не поняла ничего... Любил, ревновал. Мучил, убил...

Дура. Бесчувственная. Мертвая, — думала про себя Тата. Даже Соловов лучше меня, даже он. Живой. Даже Соловов мог любить. Так сильно, что даже убил Лету мою — чтоб мы больше не могли по ночам наводить между кроватями висячий мост сцепленных рук...

И еще Тата подумала, что он обязательно вернется. Знала это. Не знала только, когда.

Брюки со стрелочкой. Тата засыпала за занавеской и пыталась забыть. Старухин храп не мешал. Брюки со стрелочкой. Стрелочкой. Стрелочкой.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Если сейчас пытаться разбираться, выстраивать по порядку, искать связи всего со всем, то я понимаю, что Пётр Фёдорович Брусилов, полжизни которого прошло в затмении, и показал мне, зачем я... И хотя суть происходящего мне открылась позднее, это полнейшее неведение промысла не помешало мне тогда, когда я прибегала к старику между дежурств, досшивала в лоскутное одеяло его историю и чувствовала, что вместе с ней закончится и его время, как будто мы встретились только для того, чтобы он передал мне по наследству свою любовь и историю Оленьки, это неведение не помешало мне все сделать так, как надо. Это сложно объяснить... Это, возможно, работа театрального режиссера — и художника декораций, и драматурга, и даже рабочего сцены: оживлять... А может, музейного хранителя... Или — писателя? Писателя, да... Но я не умею писать. И читать едва научилась только, когда попала *уже* на свой остров...

Но я всегда умела слушать.

И сейчас меня греет, что то, что осталось от старика Брусилова, сейчас движется вместе со мной, по моей надобности, туда, где, наверное, и обрела вечный покой его Оленька. Нет, не весточка и не последний поклон. Но — шов, иголка и нитка, которые их соединят.

Я — этот шов.

Больные, укушенные бешеными животными, и душевнобольные перевозятся в отдельных изолированных купе при сопровождающих их лицах с оплатой полной стоимости предоставляемых мест в купе, независимо от числа едущих.

Глава 8. Осока
Свирь

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Почти все встречи с теми, к кому я приходила, были, чтобы сказать сразу общо, обставлены декорациями то больниц, то приютов, ночлежек, вытрезвителей — самых разномастных коммунальных человеческих пристанищ, в которых я работала поломойкой или на кухне, стирала белье, или изредка меня брали в няньки, сиделки, не более, я всегда стелилась ближе к земле, там, где уху хорошо слышно. Это все такие места, где подобные встречи предрешены, но что удивительно: когда те, к кому я приходила, теперь берут голос, напоминают о себе тонким стуком изнутри, как будто не рожденная еще пяточка тихонько отталкивается в своем плавании от стенки носящей ее матки (да, это точный образ, я полна жизнью, но не будущей, а прожитой), я вижу этих уходящих людей не в те сумеречные, предрассветные часы, когда их истории переходили в меня, оставляя от них одну оболочку, которая к вечеру будет тверда и оплакана, нет. Я вижу их в те пиковые мгновения, которые случаются в самой захудалой, стоячей судьбе, в те вспышки озарения, близости к богу, какой он ни есть, которые подсвечивают — аврора бореалис — и проявляют ход дней, я вижу их в явлении провидения, в сути их, в глубине... Вот как Толика я помню — помню в любви его, сияющей над горбиком саксофона.

Мальчика Тата выбрала сама. Никто ее не звал. И он, мальчик с виолончелью, был самым *долгим*.

Тата всего-то в два раза была его старше. Шестнадцать и восемь.

У старухи Наземовой, во флигельке за Тверской, говорили, что Тата нелюдимка, что разговаривает с сумасшедшим стариком, который живет в башне, а других только слушает, что дружит с мальчишкой...

Конец, Толику предстоявший, был явлен пока только напряжением как будто атлетических, набухших икроножных мышц, кричащих — мнимо — о здоровье: симптом первый и настораживающий, но Клавдию ничто не настораживало до последнего, когда слабость растеклась уже по всему телу сына, дотолкалась до периферических сухожилий. С трудом сгибать слабую руку в локте, занося ее над грифом, а потом, промахиваясь, устанавливать пальчики на струнах, не понимая, от чего так выходит; Толик чах у Таты на глазах — болезнь прогрессировала очень быстро. Пах он макушкой своей геркулесовой, волосы слежались за ночь, Тата запускала ладонь и медленно вела расправленными пальцами, от шеи вверх; он терся головой о ее ладонь, как трут рожки о бок матери лосята. Поняла про него все чутьем, поняла, однажды утром соберя воедино картину: и спину его старческую, переломленную этим бархатным виолончельным гробиком, ему не по росту, и ступни слабые, выглядывающие из коротких школьных штанишек, и лоб этот, будто прижизненно обрамленный нимбом. Клавдия с Толиком были ее соседи, жили в дальней по коридору комнате, накладка их на коммунальный унитаз была цвета цикорного напитка с молоком, Клавдия такой устраивала себе каждое утро, занимая своими бедрами всю и так тесную кухню, пока мальчик в темноте коридора навьючивал одежды, ранец, виолончель... Тата слышала перестук его слабых ножек вниз, в подъезд, в котором остро пахло озоном, снегом, черным утром, видела, не подходя к окну, как он волочет на себе весь этот скарб, и даже перелицованное пальто ему тяжело, и как восседает поверх всего добра мать, самая тяжелая его ноша. Влюбленный и в юбки ее, и в цикорный напиток, безответный, ненужный, больной ребенок...

Клавдию интересовали мужчины. Толик — нет, Толик лишь занимал место в углу ее койки (спать один отказывался, хотя второй класс), причинял некоторый расход и так шаткому Клавдиному бюджету, ну и да, любовь эта, собачья, раздражала, попадалась на каждом углу, ее хотелось пнуть туфелькой с помпоном, надетой из

расчета на пришлых или хотя бы коммунальных мужчин. Отпихнуть, как кутенка. За музыкальные неуспехи и зря потраченные (с прицелом на единственного мужчину — преподавателя по классу виолончели, доставшейся Толику от умершего соседа) три рубля на музыкальную школу Клавдия сына била тонким ремешком от платья, которое некуда было носить; он даже не скулил. Принимал благодарно, как объятия. Ремешок не оставлял следов, в комнате было тихо, об этом даже Тата не знала, но знала главное — и что надо кашки сварить до того, как убежать в больницу, Клавдия наверняка забудет, и спросить про уроки, и сходить вместе в дом в глухих переулках окраинного района. Дом был их с Толиком тайной.

Этаж оставался один, хотя подразумевалось два, вместо второго было небо и редкие рассохшиеся балки. Никто не помнил хозяев, и Тата с мальчиком любили угадывать, что здесь было до них. Платье кукольное, обгоревшее — самой куклы не было; голубой ковер с грустными оленями, подъеденный по углам то ли водой, то ли огнем, то ли временем; нотная тетрадь. Дом, казалось, когда-то добротный, порядочный, видимо, семейный. А может, конура старьевщика... Тата с Толиком пробирались через расщелину окна внутрь, виолончель втаскивали за собой, обдирая ей кожу, окидывали взглядом знакомые предметы, ждали появления новых. Сидели так, наконец в тишине, до конца урока, который виолончелист счастлив был провести без глухого к музыке Толика. В тишине, под светящимся небом, инструмент лежал у мальчика в ногах, в эти минуты он не испытывал к нему ненависти и не вспоминал о своей ревности к музыкантам, соседям, всем прочим мужчинам, любым, кто не он. Играть Толик не любил, но бока у виолончели были так же круты, как у матери, и не отстранялись, эта лакированная загогулина в его судьбе была даже терпима, когда не нужно было извлекать из нее звуков. Ладони мальчика забирала себе Тата — вместе с его ношей неразделенной любви. Это были единственные часы из оставшихся, когда ему было легко.

Болезнь быстро пошла тяжело, Клавдия похудела вместе с сыном, под конец трудно было дышать. «Сухотка, чертова сухотка», — бормотала на похоронах мать проступавшими через помаду черными губами. Чуть в яму не упала, осень, слякоть, она в туфельках, наутро снова пила цикорный напиток. Виолончель сдала в комиссионку, и Тата долго еще думала о том, что Толик мог бы весь уместиться в этом футляре, весь, вместе со своей любовью. Она представляла себе его фигурку, спокойно спящую внутри, ладони под щекой, и сама засыпала без борьбы, чтобы утром бежать на смену, а вечером — к старику в поднебесье Аглаиной квартиры.

Замуж Клавдия вышла к концу того года. На кухне, где запахи еды стояли, казалось, толщей, колеблемым морем, и не выветривались даже при открытой форточке, стало еще тесней. Муж пел по вечерам в их дальней комнате. Нет, не артист, но любитель. Тата в такие вечера выходила на лестницу. Втягивала запах лип или снега, словно спрессованный в куб аромат, запертый в подъезде, прислушивалась к гулу центральной улицы — шины, говор, шарканье — и представляла, какой тоненький должен был оказаться голосок у Толикина инструмента... Она ведь так и не услышала его виолончель.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Да, было и по-иному... Кто-то выговаривал свое, больное дома: кабинет, тяжелые шторы прикрыты, но вечерний сентябрьский луч режет старый паркетный пол пополам, в нем тихо и неостановимо, как в песочных часах, оседает бархатная пыль, голос, одетый в велюровую пижаму, рассказывает что-то лучу, и я знаю, что под окном дачи рвется в сгущающееся небо высокий куст фиолетовых сентябрин... Кто-то звал меня, приводил за руку, просил поговорить с родным и безутешным. Кого-то я вычисляла сама, видела эту ненасытность, эту жажду и страх, слышала этот долгий, никогда не рассказанный текст, и сама шла навстречу. И никто никогда не спросил меня про меня. Это понятно, я этого и не ждала. И я нерасплесканной донесла свою историю до этого часа. Но теперь я говорю.

Соловов пришел, когда Толика уже не было.

И старухи не было в тот ранний вечер в их комнатке, должно быть, злилась на скамеечке у подъезда. И вообще квартира была странно притихшей, фонари на улице то зажигались, то гасли, будто никак не решаясь понять, пора или нет, сдало ли солнце вахту или можно еще сэкономить, а может, просто ослаблялся контакт... Улица стихла, чтобы вдохнуть, напружинить — и разлиться спешащим вечерним многоголосьем. На кухне уплотнялся запах вечерней еды, Тата спала, вернувшись от Петра Фёдоровича после смены, поджав к животу колени, как спала всегда, зародышем.

Паркетина на пороге по-чаячьи вскрикнула. Предупредила. Тата села на кровати, с ногами, еще не проснувшись, но все поняв. Запах шел впереди него, перебивая и жареный с морковкой лук, и селедку, и сбежавшее у многодетных армян молоко. Так пахло на вокзалах, под скамейками, иногда в скитаниях по железным дорогам, когда ей дышали в затылок преследователи, иногда — пропащие люди, иногда — добрые. Проспиртованные, как узкий пузырек духов. Соловов, груженный, как баржа, но твердо шедший к цели — и то ли набравшийся для придания себе решимости идти до конца, то ли, уже набравшись, созревший к поступку, — на Тату не посмотрел. Прикрыл дверь, оперся о железки кровати для верности рывка, распрямил одним движением домик ее коленей... Тата набрала воздуха, чтобы хватило на дольше, и нырнула глубоко.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Вот это мне всегда было дорого. То, как обводит горизонт темная речка, — под мостом видны мелкие кувшинки — как тонут невысокие, безлиственные березы в болотах, подступая к самому полотну, и даже одноликие униформенные строения железнодорожных станций, полные командированных, приезжих, пришлых, отбывающих, — меня это греет, греют все эти заоконные текучие картины; но еще больше сейчас — те безбилетницы, что успели все-таки немножко проехать в туалете вслед за своими мальчиками, в Петербурге, говорят, какой-то чемпионат, и еще говорят, что через суфле на переходной площадке по-прежнему можно проникнуть беспрепятственно в поезд... Это все хорошо. Это мне дорого. Люди не сделали мне ничего плохого. Даже Соловов. Что он по сравнению с тем, что сделала я.

Соловов отлип. Как в кулак себя собрал — втянулся из нее весь обратно, нанизался на хлипкий позвоночник. Все эти несколько минут так и просмотрела молча в его сжатое, без единого мускульного движения плачущее и перемещающееся над ней лицо. Только когда выпустил из сцепки рук, прикрыла веки, услышала, как восходит молния (быстрый стрекот смыкаемых зубьев), отпустила ненужную мысль: «Штаны-то со стрелочкой» — и подтянула колени обратно к животу.

Больно не было, пахло ряской. Сперва на мгновение, а потом все отчетливее в комнате стал прорисовываться берег речки Осоки, в которой они плескались в Темниковке, Тата ныряла с головой, теряя под водой себя — и обретая, выныривая обновленной, а Соловов ждал ее на берегу с прутиком и визгом — плавать совсем не умел, воды боялся.

Тата вынырнула на миг. Он не мог этого видеть, уходил худющей своей, рыдающей спиной, но жест бы его ужаснул: не тем, что он Таты был — тем, что нянечки: взмах ее, ночной няни, на сон грядущим, бредущим в негаснущем коридорном свете темниковцам... Осенила.

Вода в комнате прибывала.

Кап. Кап. Капкапкап. Шшшшшшш. Плюх. Квартира наполнялась звуками, возрождалась к вечерней опере. Текло из незакрытого крана на кухне через стенку, сочно шмякались ледяные капли об оббитую общажную раковину, в которую чистили картошку, умывали сопли, смывали детские горшки, шумно плескалось что-то в ванне, наверное, армянская семья из дальней комнаты замачивала детей, симфония воды затапливала уши, и Тата не разлепляла глаз — слушала, плыла...

С берега к воде было — скатиться, Тата так и ушла в нее, покатым бревнышком, не разгибаясь, вода обняла нежно, как в детстве. Ладошки чешутся от холода, уходят плечи, нос... Река смыкается над головой.

Вода всегда заставляла Тату чувствовать себя живой. Можно задержать дыхание и почти умереть, а потом вынырнуть, увидеть дивно задуманный мир, двоящийся от капель на ресницах, размноженный, как на фасетках стрекозы, и на миг подняться на цыпочки и даже выше.

Если подняться на цыпочки — и даже выше, с ангелова крыла видно, как вода горит.

Чернобог — он же Хладолет, Ежибабель, Мужичок с ноготок, Триглав, Зюзя, Мороз, Колодий.

С брюхом ходить — смерть на вороту носить.

Глава 9. Башня
Кедрозеро

К старику Брусилову за последними пазлами истории, чувствуя, как он уходит от нее, Тата приходила уже отяжелевшей. Рост ее скрыл изменения в талии, на службе никто ничего не заметил — она и так все время была переломленной пополам, лицом в пол — а старик, догадавшись, только взгляд свой на ней стал останавливать дольше и чаще спрашивать, ела ли она и что. «Тебе надо, надо, поешь».

В последнем Оленькином письме Брусилову говорилось о блуждающих маячных огнях, венчавших купол храма, не видимых ни с какой точки острова, плоским блюдом лежащего на холодном море, но хорошо просматривающихся с акватории — так что ни одно судно не заблудится и пришвартует своих жертв, буде они живы в его утробе... Что еще писала Оленька, Брусилов зажевывал, переходил на французский, на что-то намекал, будто бы по цензурным соображениям, и Тата сложила это все в себя — рядом с девочкой, расширяющей стенки матки — чтобы вспомнить спустя много лет.

К родам старика уже не было.

Просто перестал есть даже те крохи, которые приносила ему Тата. Откладывал их все для Оленьки. Прятал. Копил. Тела своего не помнил — и мук своих тоже.

Оленька не писала, но он догадывался, что ей там, на острове, голодно.

Карлика звали Арам.

У часовой башни Киевского вокзала Тата появлялась теперь по базарным дням, только бисеринки пота, схватывающие лоб по границе волос (отросших за беременность, но все равно еще открывавших шею), говорили о том, как тяжел груз. Ни стыда, ни страха — живот вызывал у нее недоумение. Даже не житейское, взрослое беспокойство: как рожать, как растить? А юный, трепетный вопрос: как же оно там, откуда и что внутри — сродни удивлению болоньевым плащам или космическим ракетам — впрочем, это будет много позже. Карлик Арам бросал взгляд на небольшой, низкий (по чему коммунальными старухами было решено, а обсевшими лавочку у подъезда высотки подтверждено, что младенец женского пола), как раз на уровне его глаз, Татин живот: взгляд не выражал ничего — по отношению к животу; и шел заваривать кипяток.

Они молча кивали други другу, два избранных, два иных.

Тата встречала иногда таких, и всегда они друг друга узнавали: по горькой спине, по настороженности, заложенной между лопаток. Встречала раньше — и первая, конечно, была Лета, хотя у Леты между лопаток был пух — и встретит ещё... Истории были у каждого, характеры — тоже, но вот этот сквознячок, тянущий как будто из-под незаделанной щели под дверью в другое измерение бытия... Он был не у всех. Многие из иных пытались законопатить эту щель, боролись, уставали... и потом все равно, поняв бесплодность попыток, несли на хребте этот дар и груз... У Арама вот даже горб от тяжести вырос.

Принц наследный, никак не годный к бабичьему делу, часовник из башни, в конце войны, в день бегства Таты от тетки случайно приветивший ее на вокзале, — сразу признавший свою, чужую, — роды принимал он.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Карлик Арам. Карлик Арам... Вот здесь подступает сразу же к горлу. Потому что и история моя здесь начинает восходить к своей высокой ноте, и суживаться, и хрипеть... Все самое главное случилось со мной в мои восемнадцать — а дальше почти ничего и не происходило (мытарства казенные последующие не в счёт) — после того как я родила девочку в последний день лета 1951-го года в часовой башне вокзала.

Выбеленный — серебро по тёмной бронзе, патиновый лик — и скрюченный, он был даже, пожалуй, не стар, сейчас я думаю, Араму было за сорок, но для меня тогда и в силу нашей разницы в возрасте, и из-за его внешности он был почти таким же стариком, как Брусилов, просто последний проходил по какому-то совсем мафусаилову ряду... Арам по средам, спустившись с башни, посещал женщин, по субботам делал визит на стихийный крестьянский развал за заставой, а больше... а больше ничего. В этом он был похож на меня. Жил в каморке, сколоченной из досок в устье раскручивающейся кверху спирали лестницы, и там же (последние недели я приносила на базарчик что-то из Аглаиных шкатулок, меняла у баб на яблоки, помидоры, козий сыр, потом отдыхала в темноте деревянного араминого шалаша, он приносил травяного чая и мёда и ни о чем не спрашивал), там же улитка в моем животе начала в один из таких дней расправляться, стараясь выпрямиться, стать струной внатяг, тетивой... И это тоже меня не испугало, нет, и не причинило боли — но как же это меня удивило...

Я не могу идти дальше, не воскресив толком Арама.

Армянский княжич, любимый немолодой матерью до испарины, до сбоя сердечных ритмов у отца, свирепого на поле брани и в присутственных местах, а дома, в детской комнате, сидевшего не дыша, одним целым сердцем, глядящим из распахнутого мундира. Сынок упал со средней яблоневой ветви: розовый цвет, до яблок ещё все лето, нянька спит в ее тени, маясь мигренью, мухи, открытый рот, а мать так глубоко в своей книжке, что не заметит, как мальчик полез... Упал, и уже через несколько месяцев (ходит, может ходить!) стало заметно, как в сторону пошла расти ветвь позвоночника. Потом расти перестала и вовсе.

Лекари. Знахари. Аметистовый перстень с пальца княгини. Снадобья. Свечи. Псалтырь. Сорокоусты по всем горным монастырям. Черные бабки. Отец переехал в отдельную спальню. Иногда, впрочем, по ночам, рассчитывая, что жена спит, стоял над ее изголовьем, пересчитывая складки у рта, все ли на месте. Разумеется, не спала. Смотрела на двух бледных экранчиках закрытых глаз неостановимую, цветную, выпуклую ленту: штанишки чертят кругленький зад, сын лезет обезьянкой вверх, осыпая кору, карабкается быстро, три, четыре, может, секунды, а потом пропускает сучок, тапер дает звук трескающегося дерева, падает спиной назад, и всю картину заволакивает густо-розовым дымком (нет, кровотечения не было вовсе) осыпавшихся яблоневых лепестков. Другой план в этой сцене — зрительный зал. Он в воображении матери так же явен и неотступен: свеженькая, едва разрезанная книга, новые стихи петербургских поэтов, доставили вечерней почтой, и она сама, престарелая счастливица, безмятежная, потерявшая от счастья страх, в яблоневом цвету... Нескольких секунд не хватило.

После несчастья княгиня отправила всю фамильную библиотеку — увезите долой — и стала ждать. Сроку дала себе год. Через год спина Арама кривилась дугой. Тогда мать выпила все оставшиеся от тщетной лечобы склянки, верной и точной рукой (уже без единого камня) отправив себе в рот сердечные капли, чудесные настои и мелкодозированные обезболивающие яды. Отец и сын уехали на воды. Вернуться уже не смогли. Родину, там, за горами, заволокло темно-розовым туманом, белое смешалось

с красным... Отец умер от своего большого сердца, получив отказ в хорошем (на стойке отеля) месте в Париже. Арама спустя несколько лет — родственно-казенных волн — вынесло в Кишинёве, потом снова прибило к родному берегу, но там повсюду, в каждой встречной безумной кавказской старухе выглядывала мать, и, вынырнув в последний раз в Москве, пугающийся сам своего отражения и голодный, он пристроился заводить часы Киевского вокзала и третий десяток лет их заводил. Это была его башня из слоновой кости, бойница и дозорная вышка, из которой он смотрел на город, медленно осыпающуюся яблоню, женщину в темном где-то в прицеле калейдоскопа: тяжелые перстни, тяжелый взгляд, запах парижских духов в ямочке шеи мамочки и острые битые склянки — задела, падая, рукою... Розовые лепестки и острые осколки складывались в узор, бесконечную перспективу, и это и была в сущности точная метафора его души: облако любви и незаживающие раны, и эта карусель крутилась в его голове вместе с плавным ходом заводимых им шестеренок башенных часов.

Были еще одни часы. Карманные. Отца.

Когда Тата тихонечко в углу заскулила, они побежали быстрее, заскреблись, застучались под подкладкой, как будто хотели карлика растормошить. Скорей, Арам, скорей. Ставь кипяток. И рубахи, где чистые рубахи? Тазы? Что же ты трусишь, горец и принц? Вон девочка-то какая цельнокройная и литая, как корпус от часов, она, пожалуй, и толики так не напугана, как ты. Этот день оправдает все годы твоей истуканской службы у подножия времени, Арам, и, может быть, наконец-то сломается эта чертова карусель.

Мамаааааааааааа!

Ребенок появился с ударом длинной стрелки, слившейся с малой.

Головы на площади на миг задрались к тонкому разорванному облаку над башней. И снова слились в серое море, застрочили точками, запятыми, направленными линиями. Соловов где-то посреди своих грохочущих станков мелким движением повел тощими лопатками, собирая их вместе, и снова вернулся к работе внутри огромного стучащего механизма, сам его винт, промазал по пальцу, сломал деталь. Тук, тук. Стрелки высоко наверху пошли на новый круг. Тик-так. Время как будто подстраивало оптику, делало зум-зум. Речка Осока прошла волной, разливалась. Вот центральная сцена: усталая, с широкими зрачками, Тата аккуратно, как телок, берет варенье с краешка ложки (Арам варил сам, кислую антоновку брал у каких-то рязанских мужиков), смотрит на откричавшую девочку удивленно, с наклоном головы, как когда-то глядела на картинку с маяком, оживая... Как это может быть?! Как? Это мое? Все мое, собственное? Тата медленно окунает мизинец в банку и несет его ко рту. На мокрой, притихшей девочке у груди остается пунктирный след густых капель. Одну, янтарную, Тата капает ей в ротик.

...Когда детей в каморке у лестницы стало двое — Тата и девочка, спящие годами за подкладкой часы царского генерала были выужены из прорехи и завернуты в тряпку (старую карликову рубашку, шитую на заказ, Тате она была бы смехотворно мала, а маленькой оказалась как раз простынкой), утянуты свивальником крепко прямо у девочки под попкой. Бери, пригодится. Вам теперь обеим много чего пригодится.

Сглаженные годами за подкладкой округлые бока генеральских часов, прижатые старой рубашкой, чуть давили на кожицу внутри свертка. Маленькая натертость будет держаться еще долго, иногда щипать. Даже пройти не успеет.

— Ле-та. — Скажет Тата куда-то перед собой, облизывая с пальцев сладкие капли.

— Лад-на, лад-на, — эхом откликнется, согласится карлик. — Будешь хорошая...— слово потонет во вскрике, карлик скулит: пролил кипяток, обжегся, и то ли закончил предложение, то ли выругался.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Мы возвращались домой, в Аглаину квартиру, куда я перебралась в последние недели беременности, отдав старика Брусилова, тело его, тем, кто пришел за ним, а

себе оставив его свадебный сюртук (и несколько оброненных слов про маяк), в квартиру, где я грустно грызла сухари — в них превращались булки, на которые хватало Аглаиного наследства (еще масло, заварка), — вытирая пыль с зингера и глядя на город, пробуждающийся, спещащий, отходящий ко сну. Свет внизу не гас никогда, и смотреть это кино можно было бы бесконечно. Я догрызала летние сушеные яблоки, макала их в крепкий чай и пропускала наплывавшие мысли о том, что вот-вот произойдет со мной и моим телом, как воздух пропускает луч, как пропускает его вода... Я не готовилась к предстоящему. Плохо ела, поднимала тяжести, спала на спине. И когда все случилось в свое время, как-то счастливо в физическом смысле разрешившись и ничем почти меня не задев, я, конечно, вынырнула из своего кокона — так, по горлышко, только чтобы хватило поворота головы. Оглядеться, съесть варенья, поспать до вечера, потом до утра и обеда, увязать девочку в узел — редкое личное имущество, как пуговичка или записка — и толкнуть Арамову дверь плечом. Тяжелая, дубовая и столетняя, она подалась с трудом, мы протискивались в нее с кульком, карлик стоял, задрав голову к башенным часам и придерживал дверь. На площади круговые течения тут же подхватили нас, понесли, выплеснули где-то за пределами вокзальной сутолоки... Я не знала тогда, что в этот день в Арамовой каморке спала в последний раз — и что следующий свой сон, не бред, увижу в кабинете с качающейся лампой, высоко подвешенной за тонкий проводок.

Они возвращались домой вечером первого сентябрьского дня, когда море астр уже отвалило свои волны, но в воздухе еще звучал этот колокол, дающий гудок к началу труда, отсекающий усталость отдыха от будущих побед, летний зной от внезапной прохлады осеннего вечера. Трамвай был почти пустым, из пассажиров была только Тата с прижатым к подбородку кульком и застрявшее между сиденьями солнце. Паучьи ноги электрических рогов отбрасывали по сторонам свои тени. Где-то в кульке тикали нагретые новорожденным теплом часы. Старый трамвай, облезлая краска, шел долго, казалось, без остановок, звенел тихо, как будто стараясь не потревожить девочку, задевая иногда ветви кленов, зеленое золото, шел куда-то своим путем, пассажирки качались, подскакивали иногда вместе с содроганиями вагона, плыли в одном ковчежце... Высотка наконец явилась из-за поворота, девочка пукнула, нужно было сбросить с себя отупение тряски, ее размеренность и отрешенность, и — выйти из трамвая. Хотя бы выйти из трамвая. И начать жить.

То, чего Тата боялась больше всего. То, чего не умела. Она так ловко бегала от своей собственной жизни, так долго боялась смерти меньше, чем бытия, что сейчас ей стало непривычно горячо там, под выпирающими ключицами, что-то давило у ребер, гнало, тянуло, тревожило... Девочка закопошилась в кульке, выпятила попку, точно легшую в ладонь, толкнулась макушкой к Татиному подбородку — как делала это в животе, только теперь так неудобно было ловить эти движения, собирать в охапку, держать в узде. Подъезд, старухи, от этой картины разбитые тут же параличом, долгий — гулкий и прохладный — подъем, гладкие ступени и ступни, Аглаино пыльное, вековое, темное трюмо в коридоре — и отражение (высокое, закачаешься) в нем. У нее, оказывается, зеленый кошачий глаз, и у девочки в свертке такой же, чуть криво подстриженные волосы, острые локти, топорщащиеся в стороны и пытающиеся совладать с грузом, и мокрое по переду широкое платье. Тата чему-то улыбнулась внутри, как тогда, когда Лета принесла страничку из «Маяков Российской Империи», и в зеркале тоже приподнялся уголок рта. Под расстегнутыми пуговицами, оказалось, было молоко. Желтые, масляные капли. Девочка нашла его сама, как находят соски слепые кутята, подтолкнула Тату, направила, потянула носиком в ту сторону, бесшумно сглотнула, а на втором глотке снова спала. Тата отняла ее, высвободив вытянутый, закушенный сосок, подоткнула дочь Аглаиными махровыми полотенцами, скатила бочоночек в продавленную ложбинку в диване, подумала и придвинула еще стул.

Вернулась к зеркалу, совсем спустила плечики, не включая света, в сумраке вечера, разбавленном блуждающими огнями города, рассмотрела все удивительное

устройство принадлежащего ей тела, видимое впервые: выпирающие тирешками ключицы, узкие, подростковые, гладкую теплую ямку в основании длинной шеи, литые, звенящие колокольца (некрупные, как яблоки сорта грушовка), полные желтого меда. В мелькнувшем холодном свете (не фары, не фонари — высоко, не луна — облачно, но свет был, был, Тата видела этот отблеск, видела явственно) на миг проявилась и застыла на молочной груди густая капля.

В следующий раз соседи — любопытные со скамейки не добрались, не посмели, но та, с уже прямоходящими близнецами, которой Аглая подкидывала носки из шерсти и консервы из дальневосточных рыб, робко позвонила в круглый матовый звонок — увидели Тату в заполненный идущей из квартиры мглою неясный проем приоткрытой двери.

Хлеб и кефир она приняла молча. Откуда-то из глубины шло усталое хныканье.

Запираемая изнутри дверь стукнула чуть-чуть сильнее, чем можно было бы ожидать от прежней Таты.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— С Летой я вочеловечилась — наверное, это верное слово, и наверное, его пора произнести. Но как трудно мне это давалось — и как дорого в итоге далось. Я шла к себе ощупью, боясь воплотиться — в теле своем, материнстве, шла, как по тонкому льду, нащупывая, как глухонемые нащупывают буквы во рту, как ищут белой тростью лежащую перед ногами землю слепые, как дислексики воскрешают на бумаге образы ускользающих букв... Я и сейчас чувствую, что кружу вокруг главного, ухожу в дальний угол, где не так много лиц и звуков, и где есть время, хотя бы небольшая отсрочка... Я возьму эту паузу и расскажу еще про себя, что не успела, — чтобы взять разбег перед главным.

Шмыгать по узкому ходу за ее спиной давно перестали, перебор колес тоже утих, утомившись, как утихают ближе к концу уходящие в знаемый, жданный час налегке, храп из второго купе свистит, как из носика закипающего чайника, и в этой обволакивающей Тату тишине, которая не минус звук, но звук растворенный и незамечаемый, давний, монотонный и неизбежный, постоянный и похожий в каждую секунду сам на себя, без вариаций, старуха у окна настораживается, даже в плотности дорожного воздуха (и вот опять, опять сколько сравнений, которых не избежать: и как сифонило в щели, и как пахли немытые женские тела, и как медно, будто в ангеловы трубы, били о железо запоров сапоги конвоя) выслушивая свое: жадный, обессиленный плач, сводящий с ума. Неотменимый, как перестук под брюхом вагона. Тревожащий, как протяжный тифон. Лишающий сна.

— Я сама никогда не замечала, что со мной что-то не так — я имею в виду область прикладную, житейскую, свою врожденную словесную слепоту. В Темниковке мы больше боролись за хлеб, чем грызли гранит, а после я и не ходила толком в школу, и моя неспособность читать, она всегда была на периферии моего внутреннего зрения, как, впрочем, там же были и буквы. Они всегда оказывались по краям, по полям страниц, разбегались, и чтобы поставить их в ровный строй, всегда нужно было совершить зрительное, волевое усилие — дававшее в итоге лишь слитный, беззазорный ряд пленных пехотинцев, которые все как один принесли присягу хранить молчание. Стоило мне чуть ослабить хватку, поменять угол атаки — обычно приструнить значки удавалось, если подходить к ним сбоку, зависать над страницей справа или слева, заговаривать их, упрашивать стоять смирно, — как они снова рассыпались, будто несчастья из ящика Пандоры, и силы собрать их обратно появлялись у меня снова очень нескоро. Я щурилась, легонько двигала по часовой и против наши нарезанные из газет прописи и библиотечные книжки, разглаживала страницы, мусолила карандаш, дула на буквы, как будто надеясь, что эти пляшущие человечки с тонкими стволами надстрочных ружьиц и нижних петель послушаются, прекратят свое столоверчение —

но нет... Мои прописи походили скорее на иллюстрацию, чем на письмо, и единственным человеком, которого поражали мои отношения с текстом, с каждым его элементом — буквами, строчками, абзацами, даже пустыми полями, которые никогда для меня не были белыми, а всегда по ним скакал какой-нибудь вольноотпущенный или беглый запятой заяц, — была Лета Городецкая. Лета, научившая меня узнавать в лицо буквы и так и не дождавшаяся, чтобы я смогла освоить науку расшифровывать письмена. Все это оставалось для меня тайной, и даже вырванная из «Маяков Российской Империи» мятая страничка, даже эта страничка никогда мною при жизни Леты не была прочитана.

Я прочитала ее уже на Ягнячьем острове на озере Малом. Сама. Когда никого из Лет со мной не было.

За мою Лету мне дали десятку, как давали за анекдот или за колоски.

И мне показалось: как мало.

А буде кто, стреляючи из пищали, или из лука по зверю, или по птице, или по примете, и стрела или пулька вспловет, и убьет кого за горою, или за городьбою, или кто каким нибудь обычаем кого убьет до смерти деревом, или каменем, или чем нибудь не нарочным же делом, а недружбы и никакия вражды наперед того у того, кто убьет, с тем кого убьет, не бывало, и сыщется про то допряма, что такое убийство учинилося ненарочно, без умышления, и за такое убийство никого смертию не казнити, и в тюрьму не сажати потому, что такое дело учинится грешным делом без умышления.

Глава 10. Окиян

Медвежья гора

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Мы были совсем одни. Махина согладатайства даже не успела раскачаться — как нас и след простыл...

Не знаю, как могло так случиться, что плотный невод тех времен, эти общежитные сети, пропустил нас, двух обреченных друг на друга рыбешек, какими жили мы — до поры: незамеченными всеми инстанциями с корежащими слух аббревиатурами, забытые многочисленными интересантками со скамеечек, даже карлик Арам не пришел нас проведать... И мы действительно прошли в игольное ушко: никто нас не трогал. Не интересовался, не требовал справок, клятв на красном, не напутствовал в счастливое будущее и не привлекал к ответственности, не гнал. Не думаю, что это упущенье системы, нет, она никого не упускала, мне видится здесь морок сродни тому, какой нападал на преследующих меня иногда в моем беглячестве по станциям и полустанкам, ослепление наподобие того, что постигало всех инспектирующих вагоны кондукторов, гипноз, которым я могла остановить в ее порыве даже безудержную Аглаю... Не потому что была бесплотна, но потому что и не была, видимо, вовсе.

Все, что посылалось нам извне, — хлеб и кефир под дверью; и это было почти как пять тысяч рыб на горе Елеонской, так как хватало этого приношения очень надолго — до следующего хлеба и кефира, и я знала, что это не дух святой (тогда скорее — Аглаин) посылает нам пропитание, а сердобольная мать близнецов из угловой. Как-то она меня разглядела, чары рассеялись на ней. Это она потом будет стоять у верхней ступеньки лестницы, когда я выйду из квартиры, отходя дальше от шума утекающих вод за моей спиной, надвигающегося, как сходящий сель, к обрыву лестницы. Одна.

Эта женщина закричит. А я так и не узнаю ее имени.

Это она приведет людей.

Полнота, какой раздувает бока весенним рекам, какой поднимается в тепле дрожжевой хлеб, какой распирает в налитой доверху, всклянь, жестяной кружке

жирное молоко... Так Тата была полна, до краев. Когда Лета — нечаянная радость — засыпала и позволяла положить себя на Аглаин диван (и теткин дух с опушенной перьями «лодочкой», болтающейся на пальцах левой ноги, как будто обиженно подвигался к подлокотнику, смещался, уступал место, признавая право за живой девочкой на это мягкое ложе), Тата ложилась рядом на пол. Она не исчезала в неприходящем сне, хотя не спала очень давно. И хотя ребенок и был на расстоянии руки, вот же ведь — плотные валики хороших Аглаиных полотенец подоткнуты под спинку, стульями приперт мягкий обрыв, — Тата наново начинала представлять себе дочь. Прижата спинкой к материнскому животу, так что точечки пяток как раз упираются в Татины подогнутые колени, затертый затылочек ложится в ямку между ключицами и подбородком... и ребенок — как скрипка в этом мыслимом Татином объятьи, страдивари, доставшийся беспризорнице, драгоценная тяжесть, которую Тата ощущала затекшими, под щекой сложенными руками, наконец свободная от нее — и без нее беспокойная. Сил заснуть не было, и Тата успокаивалась, засосав глубоко за щеку большой палец, ощупывала в воображении сначала дочерину стопу, никогда не знавшую веса собственного тела, с прорезанными, будто стекой, — из Татиной белой плоти иссеченными — пальчиками. Шла выше, к коленям, на которых, если Лета засыпала на животе, — так меньше гудели кишки — при пробуждении круглели розовые вмятинки. Вот еще слабый, недельный, цыплячий зад прижимается к Татиному пупку на измятом животе, цепочка бисерных Летиных позвонков помещается между молочных сосков, и чащей пахнет, берлогой, детеныш это звериный, пахучий, мой, никому, никому, зубами за холку, вылизать испарину ото сна иссохшим языком, перевернуть, мизинец пропустить в уголок губ, помочь ухватить кровящий сосок и дышать, дышать, тихо, в такт, кач-кач. Крылышко мое, пушочек, морковина сладкая, Лета. Тата слышала море внутри, море слов, не знаемых раньше или знаемых, но доселе плотно соединенных с обыденным миром вокруг — звери, предметы, овощи — и вдруг прораставших смыслом иным. Это море плескалось где-то у мозжечка, и Тату качало волною, или это была пьяная усталость нескольких дней без сна, звенящая, резкая, как зимний свет в полдень, свет на краю — света... Бусинка моя, яблонька, вспоминала Тата свой нищий сокровенный быт, пуговичка.

И только лицо, маленький старушечий лик, Летино лицо от Таты всегда ускользало, и она никак не могла его восстановить в своем бдении, как будто к вечеру дня творения кончалась глина, как будто истончались самые последние слова, и уже не хватало даже дыхания, чтобы вылепить самое дорогое.

Тогда Тата поднималась на полу на колени, упиралась ладонями в Аглаин диван и тихо-тихо дышала над дочерью.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Я называю это провожанием. Нет, не прощанием и не прощением — ничего такого я не делаю: провожанием. Тот, к кому я пришла, уходя за черту все дальше, цепляется за меня взглядом как за маяк, и ему становится виднее происходившее по эту — для него уже по ту — сторону. Виднее фарватер судьбы. Резче тени. Вернее акценты. И дело тут вовсе не во мне. Не в слухе дело, но в речи. В том, откуда они начинают. Сами, вдруг сразу нащупывая точку. Начинают не с начала и не с конца, не с заслуг и не с потерь, но всегда с того самого места, где, ритмично выпирая под кожей, толкаясь изнутри через сетку капилляров, бьется неотпульсировавшая пуповина самого дорогого — или самого страшного, что по сути оказывается одним и тем же, и я знаю, что, когда придет время резать, резать будут вот по этому, самому живому. Может быть, и даже самому незаметному, даже порой забытому, может быть — единственному краткому мигу. Но бывшему и искупившему собой все. Как будто бы рисунок судьбы, перед тем как раствориться получивший зрителя, слушателя, вдруг обретает всю резкость, всю композиционную ясность, которых был лишен в долгом забеге и утомлении пути. Я вижу это как ткацкий станок с запутанной работой — и вот те же самые руки, которые все запутали, разматывая клубки, вдруг уток подтягивают

к долевой, и складывается картина. Те, к кому я прихожу, знают все про себя сами, но я чувствую, что мое присутствие помогает им это осознать, принять — и отпустить, уйти налегке... Все подробности каждой истории остаются во мне, просто облепляя первобытное зерно, драгоценное семечко слуха, и я знаю, что после того как мы простимся в их освобожденных от груза руках останется одно. Гран надежды.

...Воздуха... Открыть бы окно. Впрочем... Я не знаю механизма свершающегося, не знаю, на что во мне откликаются уходящие и почему для них так развидняется прожитое... Я могла бы сказать, что проливаю свет, что я сама свет и есть — но нет, я не свет, я лишь лампа. Не текст, но обложка для книги. Я та скважина в скале между камней, в которую шепчут тревоги и тайны, а затем залепляют травой, замазывают подножной глиной, земля уходит в землю, а это — нет, не уходит, но освобождает и остается. Кажется, я так боялась глотнуть собственной судьбы, узнать предназначенное только мне, так привыкла считать себя ничьей девочкой, укравшей имя и живущей чужое (как будто от этого мое остается в целости и невредимости, словно положенное в камеру хранения на вокзале), я так устала видеть наяву, как вынимаю записку из руки той Таты, устала ждать, что что-то снова случится, что не жить свое, зажмуриться было единственным выходом, а подлинная — и каждому неотменимо сужденная — смерть была для меня всего лишь концом всех тревог... Я не боялась ее — и она не хотела меня. Мы были на равных. И вставая за спинами тех, к кому я приходила, она давала мне силу жизни, а я возвращала тем, кого провожала, простор, чтобы подняться над сценой и увидеть всю картину с высоты.

И я забирала у них еще кое-что.

Старуха не плачет. Не умеет — так, как умеет проводница из второй смены, в слезах отъезжающая от станции Свирь. Кто-то задевает снова Тату, легко и случайно, она придвигается еще ближе к окну. Не кусает губ, не давит ребрами всхлипов, не краснеет жилками глаз — так, как умеют в четвертом купе, в третьем. Как будто нарушено сообщение сосудов: внутри больно, снаружи — не видно. Нарушение, какое-то нарушение проводимости соков, как если бы крона цвела, отрезанная от корней, или наоборот, корневая подземная сеть вила бы свои узловатые гнезда без лиственной шапки... Сеть морщин на Татином лице можно рассматривать, как рассматриваешь генеалогическое древо, где поименовано все человечество, ее морщины — единственные следы невыплаканного. Время оставляет на ней узоры.

Тата помнила расписание, и пока раскачивалась в своем рассказе, шла к его высоким точкам, успевала сопоставлять мысленный график движения с названиями станций, куда так скоро прибывал поезд, но сейчас, сейчас она немного забылась, отстала от внутреннего табло, поезд едет сам по себе, а она течет в своем рассказе — сама, и что там за Свирью — зеленый лубочный теремок станции Медвежья Гора? Или мы идем уже вдоль Белого моря? Тата течет по своей истории, не держась ни за гладкие перильца под окном, ни за слушателя, если он есть, ни за хронологию событий, позволяя картинам вспыхивать на подкорке проявленным изнутри обжигающим светом. Да если и говорить, как есть, то дальнейшее, случившееся в Аглаиной ванной, действительно никому, ни нам, ни старухе, не известно доподлинно — правды никто никогда не узнал.

И вся история так и осталась — всплесками, брызгами, преломляющимися в свете раскачивающейся лампы в каком-то высоком и темном помещении, ржаво-зеленой, под потолком. Мерцаниями на водной глади.

Тата двигает губами, разбирает неразборчивые письмена за окном. Она потерялась в пути, как будто отстала от поезда, хотя продолжает стоять на серо-белой, в полоску, хлопковой дорожке на дребезжащем полу, но.... дойдет в своей истории до конца. Потому что это путь до конца, она знает.

И глупо, по-детски, сама себя на этом поймав, пытается отложить первую развязку, обойти самое главное, можно, я сначала гулять, а уроки потом? Дайте кипятку, пожалуйста, и подстаканник...

Вот по еще одной воспринятой душе сейчас звоночек, локомотив вписывается в поворот, та просится к горлу — и Тата легко пропускает ее вперед, дает место чужой истории, шепчет себе под нос. Потом — еще одну, потом — еще... Как будто можно отсрочить время. Как будто поезд можно развернуть вспять.

На восточной стороне есть Окиян-море, на том Окиян-море лежит колода дубовая, да на той колоде дубовой сидит Страх-Рах. Я тому Страху-Раху покорюсь и помолюсь. Создай мне, Страх-Рах, семьдесят семь ветров, семьдесят семь вихоров, ветер полуденный, ветер полуночный, ветер суходушный, которые леса сушили, крошили темные леса, зеленые травы, быстрые реки, и так бы сушилась, крушилась обо мне чадо божье (имя речется: Лета). Ныне и присно и от круга до круга! Тако бысть, тако еси, тако буди!

Глава 11. Бессонница
Сегежа

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— С девочкой своей — поднимала шумящую голову с затекшей руки, внутри кольца которой она спала, — я поняла наконец, что было с ними со всеми. С Летой Городецкой, с Солововым (выгнанный мастером с завода за пьянство, он спустился под землю, в метростроевцы, и был раздавлен желто-зеленой гусеницей вагона типа «А» в кишках строящейся станции Октябрьская), с Аглаей, с карликом Арамом, Оленькой, Петром Фёдоровичем... Вот что с ними происходило: широко, щедро, скупо, зло, жадно, самовлюбленно, на разрыв и бережливо, раз за разом — или в последний раз, все по-разному — они любили. А я — нет. И потому они жили. А я — нет.

И потому они умерли.

А я — нет.

Эти две вещи стали очевидны мне одновременно. Что любовь и есть жизнь. И что это — не для меня. Не потяну такое... Я не боялась смерти, небытия, была к ним готова, как всегда готов к поверке рекрутированный солдат, отбывающий срок арестант. Но жизнь, требующая от тебя всех соков, сосудов, включенья, — это было мне непосильно.

А Лета звала меня — к жизни.

С пахнущим мною младенцем, испускающим звуковой сигнал на какой-то дельфиньей частоте, в меня стало входить это живое, животное, человеческое, незнакомое раньше — страх. Страх один во мне теперь только и был. Потерять Лету... И ничто не объясняло его. Он исходил у меня из пор кожи, пах изо рта, тек пОтом, расширял зрачки до заполошной, отечной черной дыры... Когда она плакала — и когда спала. Когда она дышала. И потом, когда не. Уронить этот груз. Разбить вдребезги, в щепки — и никогда не собрать. Этот кулечек в Аглаиных полотенцах, расшевеливший во мне росток любви, заставлял меня чувствовать себя живой — но это было слишком, я же знала, что случается с теми, кто живет: они теряют самое дорогое.

Лета пришла ко мне и принесла с собой прозрачные лоскутики кожи на бисерных мизинцах и все остальное уменьшительно-ласкательное, которое обдало меня восторгом и ужасом с головы до ног, сложила к моим ногам эти дары и велела: иди сюда. Будь. Становись. Воплощайся. Покорми меня, наконец.

А я не смогла. Испугалась.

...Я так отвлеклась. На Дудиных, на Ясну, на мальчика с виолончелью. Мощу впереди себя рельсы и шпалы чужих историй, чтобы подальше уйти от своей, даю кружные пути...

Но я сейчас расскажу.

Расскажу.

Поезд бежит теперь в ареале воды, все ближе к Бело-Синему морю, как будто сеть свою рыбацкую, соленую, накинувшему на окрестные земли; на станциях, стерегущих безлюдье по пути на север, можно втянуть носом запах — и сразу учуять: едем к морю. Даже когда запах этот ничего общего не имеет с морем, ни с синим, ни с белым, ни с живым, ни с мертвым...

Где-то пахло тухлыми яйцами — вдали чадил сероводородный завод. Где-то облако железного запаха плотно, неуступчиво стояло над прижавшимся к дороге поселком: пристанционный человек испускал недостаточно жизни, сгустка теплого духа, чтобы перебить кровяной, который исходил от напитанной железом воды в алюминиевой, тонко брякающей посудине или от вылупившегося глаза мутного уличного фонаря. Откуда-то вдруг тянуло водорослями — возможно, всего лишь из соседнего купе: открывали банку консервированных ламинарий. Иногда пахло межсезонным дождем, пролившейся водой. Часто вкус воздуха в открытой форточке не имел вообще ничего общего с той холодной морской глубиной, к которой стремились вагоны. Но Тата знала. Знала. Вода всегда делала ее живой. И она улавливала это в растекшейся за окном поезда черноте, иногда процарапываемой хвостатыми огнями пролетающих полустанков.

Сейчас расскажу. Сейчас. Расскажу. Сейчас.

— Бессонница поселилась с нами третьей. Шла четвертая неделя нашей жизни в Аглаиной башне. Я пила соседский кефир и грызла впрок насушенные Пётр Фёдорычем сухари, Лета — тянула синее молоко из меня, бессонница тоже питалась мною. Я не заметила этого момента, оборота событий, когда тягостная, неодолимая необходимость хотя бы на полминуты закрыть глаза, забыться, не качать, не тревожиться, не стоять у обрыва диванчика, на котором поселилась моя девочка, когда эта усталость стала полной своей противоположностью — невозможностью перестать быть, бдить, отключить тревожный тифон. В минуты тишины, когда Лета так же беспокойно, зеркаля меня, перенимая мои не привычки, нет, мои инстинкты, возилась, мусолила кулачок, искала носиком грудь, потом по-врослому, как в радиопостановке, тяжко вздыхала, кемарила и, казалось, мне можно было наконец отдаться этой животной тяжести кратковременного материнского забытья, сна не приходило — и я слышала, как меня начинал поедать червь.

Длинный, как многосоставный товарняк, он набрасывался на мой мозг. Этот закольцованный состав тревоги, не приписанный ни к одному порту, не имевший перед собой никакой цели, громыхал во мне, скрежетал видениями, повторяющимися ритмично, словно по неумолимому расписанию двигаясь внутри моей головы, а Летин плач, уже в яви не длящийся, все еще стоял у меня в ушах, создавая шумовую завесу, звуковое оформление всего, что происходило со мной в том сентябре... Маленькая, такая маленькая. За нее страшно. Себя — страшно. А что, если пропадет молоко? А кефир? А если с ней что-то случится? А я — я тогда опять все забуду? Или в этот раз нет? Маленькая... Мамочки... Мамочка, как мне страшно... Все истончалось, все вокруг — воздух, город за окнами, мои запястья, прозрачными становились отражения в зеркале, невесомыми предметы, и только моя ноша все тяжелела, и одновременно с этой прозрачностью я начала замечать, как предметы, обстановка Аглаиной квартиры, меж которых был проложен мой тоже замкнутый на себе маршрут с девочкой на руках, — зингер, эмалированный чайник, нетронутая конфорка, теткин любимый диван с придвинутыми стульями, темное зеркало в коридоре — все эти предметы стали отгораживаться от меня. Открещиваться, отрекаться, как от чумной, как будто стараясь не дышать одним воздухом... Сервант, куклы в коробках, шифоньер, дверное полотно, глазок на этой двери, все они стали замыкаться, больше не быть частью незаметного и целого, а становиться отдельными непознаваемыми вещами в себе, будто заворачиваясь обратно в магазинную обертку, выставляя между собой и мной плотную, зримую, физически ощутимую, мутную пелену, водную взвесь, которую можно было, казалось, потрогать рукой... Ты чужая, пришелица, это другое

измерение, ты не здесь. Меня пугали эти превращения, но я боялась не старой мебели, я боялась себя.

И город внизу, его крыши, тоже стал уходить от меня как будто в слюдяное окошко.

Молоко было, оно как-то исхитрилось протечь по руслам, иссосанным тревогой. Лета пила меня, и тревога пила меня, и усталость искала, где еще откусить. К октябрю я не спала много дней.

Смерть входила с этой тревогой, знакомым путем.

И я сама, я, которой у себя никогда не было, стала исчезать, истончаться, а по Аглаиной квартире теперь передвигалась бессонная и больная девочка-мать, нарезая Аглаино жилье на паркетные абстракции: коридор, кусок кухни и спальня — с ребенком на руках, которого тоже поглощала слюдяная тьма.

Лета была живой, живее меня, и поэтому умела приспосабливаться, выживать, как умеют звереныши. Она заражалась моей тревогой, сопротивлялась ей и кричала все громче, чтобы спастись, чтобы разбудить меня — ей казалось, наверное, что я сплю, и это был, безусловно, род сна, хотя судили меня потом без скидок на всю эту целлулоидную пленку, в которую обернулось вокруг меня все, — да я и сама никогда себя этим помрачением не оправдывала. Это я была виновата, и только я, ничто больше, и при чем здесь бессонница, температура, аффект.

Я училась жить уже потом, тоже, как зверь — только осиротевший после своего малыша... Лета по памяти учила меня быть живой.

Латунные кругляки набалдашников, прохладная, покрытая испариной медь, тугой водопад из широкого крана, гладкая светлая плитка Аглаиной ванной держались особняком в этом заговоре вещей, отступивших за передний край сознания. Яркий, отраженный от белесых стен свет лампочки под потолком как будто делал предметы ближе, и они не спешили спрятаться в свои оболочки, оцарапать отдельностью, непринадлежностью Татиному миру... Но это высвобождение тоже длилось недолго, первые минуты. Лету Тата купала не в афродитовой, кипенной ванне тетки, та была слишком велика, а в маленьком корытце, где Аглая замачивала белье. Девочка смотрела на все это священнодейство с махрой и обмылками, не мигая, не выражая протеста и удовольствия, но Тата от звука разбивающейся об оцинковку струи, плеска воды в ванночке, выхлестывающего через бока отлива действительно как будто наводилась на резкость, потом расслаблялась, успокаивалась, это была ее передышка, ее приближение к себе, как будто на мгновение все становилось в порядке. Потом махровый распаренный кулечек утаскивался на диван, город внизу горел мутной ночью и одиночеством, Лета сопела в некрепком сне, Тата — грызла свой кулачок, чувствуя, как горит голова, как она тяжела, словно пшенный колос в августовском поле, и безнадежна... Мамочка, миленькая, что же мне делать, она такая маленькая.

— Молитва моя была направлена тому же адресату, что и раньше. На поле возле разбомбленного эшелона, у окна в Темниковке, под качающимся надо мной Солововым, в башне у Арама... И пелена, что с каждым днем заволакивала сильнее все вокруг меня, единственным нетронутым оставляла этот голос внутри, пробивающийся сквозь водную завесь, мутную пелену моей родильной горячки. После Леты я никогда больше не творила эту молитву. Мне не о чем было больше просить. Но я помню ее и сейчас. Помню так, как читала ее в тот вечер начала октября: на улице темнеет, зябко, но где-то вдали над городом, там, где он перетекает в лес, а тот — в следующий город, а за ними — уже край земли — там еще лежала нежная, как тюль, синяя полоска, отрез светлеющего неба, невидимый тому, кто не смотрит пристально, да, она еще оставалась там, когда мы переступили порог ванной, пустили воду и я по-прежнему молилась, как делала это безостановочно в последние дни, про себя, вот этими словами: «Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть...»

Нет, конечно, нет. Не эту.

Я говорила так:

Тата Тутина — это я.

Тата Тутина — это я, мамочка.

И я здесь. Есть.

И дальше было все, как было каждый вечер всего сентября и начала октября. Мы вступали в белокаменное царство Аглаиной ванной, устраивались в своем корытце, я на коленях на полу, локоть — откуда во мне было это движение? — первобытным жестом опускала в изжелта-прозрачную воду, проверяла, чтобы не горячо, и если Лета плакала, то в появляющейся испарине, засеивающей воздух, она быстро успокаивалась, а я не могла даже шептать, и как ей, наверное, страшно было в этом моем молчании, не разбиваемом и полноводным ударом струи о дно цинковой ванночки. Я купала ее на руках, положив лысенькую, со сбившимся на затылке пухом головку себе на раскрытую ладонь, придерживая правой снизу, с ребрышек, скоро перетекающих в мякоть, а там можно было поймать и беспокойные пятки... От тепла воды я нагревалась снаружи сильнее, чем и так горела внутри, лихорадка эта, не убив меня, сама разрешится потом, даже никакого пенициллина и не понадобится, а тогда мы купались, и Лета лежала у меня на ладонях, я качала ее почти потерявшим осмысленную первооснову движением, кач-кач, движением, ставшим автоматическим, как машинально берет старик от изножья кровати клюку, собираясь в недолгий путь до клозета. И этот такт, вдруг образовывавшийся в пространстве бесконечно длящегося затакта, и вода, в которую можно было нырнуть и выйти новорожденной из пены, укачивали меня саму: тревога разжимала свою хватку, я качала, Лета плыла в моих руках и все длилось и не кончалось, и шум водопада меня, одуревшую от бессонницы, отуплял, обволакивал, баюкал и тоже вел свой ритм, капельный контрапункт, и я плыла по этой воде, ныряя к самому дну речки Осоки, слыша тугой звук высокой холодной струи в раковине на коммунальной кухне старухи Наземовой, а по волнам впереди меня текла библейская корзинка с младенцем, спущенная на воду в камышах и спрятанная от соглядатаев, готовых нас разлучить, и я все спасалась бегством, уходя водою от жизни. Кач-кач, а-а-а-а. Кап-кап. Плыви.

Это я избавила Лету от неизбежных расставаний, потерь и всего, что еще могла причинить ей жизнь. Отпустила от себя. Сдалась первой. Вручила водам.

Тата Тутина — это была я, мамочка.

Это сделала я.

Просто разжала объятье.

Вода всегда заставляла Тату чувствовать себя живой.

Как тогда, на берегу Осоки: вязко сквозит вода через пальцы, липнет и обволакивает, сжимает мысли, это морок какой-то, наваждение, и избавиться можно только — рванув, но на это нет сил, и нечем дышать, и все останавливается, останавливается, чтобы прорваться где-то в артерии, и снова идет по кругу, как начинается с начала счет. Раз. Мамочка, я больше не могу. Два. Солнце сквозь воду больше не светит...

Красный перчаточный ободок на руках. Расширенный зрачок в зеркале над головой — если провести запястьем по запотевшему стеклу. Дрожь усталости, толкавшая часто сердце так, что на обвитых нежно-голубыми венами сосках видно, как эта пульсирующая сеть бьется изнутри сворачивающейся кровью, льющей под кожей через край, как вода, начавшая переливаться из оцинкованной ванночки и пока еще впитываемая махровыми полотенцами на полу, но уже стремящаяся к щели под дверью, чтобы найти себе путь прочь, прочь из ванной, из коридора, прочь — к людям, на лестничную клетку, всех растолкать, пока Тата спит, обхватив себя за коленки, и ныряет в своем сне на дно темниковской реки, где Соловов ждет ее на берегу, и в воде можно заснуть, устав и наплакавшись, заснуть, мамочка, разморенной от тепла и тишины, уронив руки во все еще теплую ванночку, где не было больше Леты, и они теперь были обе свободны от страха.

Все наконец-то потеряно. И можно и дальше не жить.

— От любви умирают. Все умирают от любви.
Но мне предстояло воскреснуть.
И стать Святой.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск прибудет на нужную Тате станцию — желтые окна неспящего зала ожидания, лужи в продырявленном асфальте, круглосуточные киоски, дошираки, таксисты, море, лежащее в темноте за городом, за полосой старых дач — прохладной ночью то ли конца осени, то ли начала весны в начале десятых годов, когда Тате — почти 80.
И обратного билета у нее нет.

А буде такое убийство учинится от кого без умышления, потому что лошадь от чего испужався, и узду изорвав рознесет, и удержати ее будет не мощно, и того в убийство не ставити, и наказание за такое дело никому не чинити, для того, что такое дело учинится без хитрости.

Глава 12. Святая
Надвоицы

Дар размещался у Таты под краем реберной дуги. Так она ощущала его. Разворотом хвоста рыбы-Ионы, щекотным его взмахом, когда в нее проникала еще одна судьба... Дар забрезжил еще со стариком, когда его история только начала проворачиваться у Таты внутри, устраиваться поудобнее, отвоевывая себе место у кишок и смерти, а позже стал Татой всей, утробой ее, пустой и гулкой, с гуляющим в ней эхом, перекликивающимся чужими голосами — как бывает, в высоком соборе нота с хоров идет вверх, под купол, задевая по дороге и таща с собой на небо еще много звуков, не предназначенных торжественной мессе — всхлипов, шмыганий, соплей, куда за свечку передать... Так в Тате мешалось маленькое с большим, высокое с низким, чужое со своим.
Тени от уличных фонарей в ночных окнах, догоняющие старые трамваи, — вид от изголовья детской кроватки, сквозь прутья.
Отдающий острым морозом лай собак — вдали, перелаивая хруст снега под чьими-то сапогами.
Бочонки порыжелого боярышника, пережившие зиму, снегирями краснеющие на снегу и весной сдающиеся под напором зеленых стеблей.
Старуха, трясется, один глаз залеплен, пластырь крест-накрест очков, но при этом берет и лосины, прямая спина, толкает по парку кремовую, обтекаемую капсулу колыбельки с правнучкой, дает всем понять, что делает молодым одолжение.
Иногда Тате кажется, что доверенные ей картины делят на крошечные пазлы весь большой и неведомый мир, покрывают его по кусочкам обрывками рисунка, и все, что перетекает в нее, только для того и рассказывается, чтобы восстановить в деталях панораму человеческого пути и сделать так, чтобы она, Тата, тоже захотела в это сыграть. А иногда ей кажется, что все намного проще и выглядит только тем, чем является — до того, как начнешь накладывать поверху свой трафарет. Просто тем, что случается с тобой лишь однажды. И какая, господи, горечь это заканчивать. Какая горечь не узнать, будет ли дождь или вёдро в тот день на неделе, когда тебя не будет. Какая горечь тогда, жизнь назад, не остановить ее, единственную, обреченную тебе, хотя что было проще: цепанул за край плаща, развернул резко, так что ребра выдавили насильный выдох и «ох», зажал своим подбородком ее макушку и держишь, и не отпускаешь, и в этот последний четверг она сидит здесь с тобой, и плащ ее с улицы мокрый висит в уголке палаты, она шепчет что-то про то, какой ливень был в

семьдесят втором, когда вы познакомились, склоняясь к самому твоему лицу... Но ты ее тогда не остановил и теперь пересказываешь тот неслучившийся день вот этой чужой высокой старухе.

Как горько. И потрясающе. Безвозвратно.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Иногда мне казалось, что дар мой был дан мне для забвения, вернее, его попытки, дан как милость, которую мне пытались оказать через тех, к кому я приходила, ибо остающиеся мне истории других людей прижигали, как зеленкой, ранку от моей... но лишь на краткий миг. Это не было забвением, нет. Странным образом рана моя не врачевалась, а наоборот, горела сильнее, как, добравшись до дома из зубоврачебного кресла, обнаруживаешь, что ломит все тело, хотя, когда рвали, было терпимо: это отходит наркоз. С каждым приближением к чужой смерти — и к чужой жизни — у меня отходила заморозка, я просыпалась, как мертвец, оживляемый в сказке, вочеловечивалась... и думала, что это Лета присылает мне эти импульсы, добирает то, что не успела, добывает из меня тепло, шевелит...

Наш взаимообмен с теми, к кому я приходила, шел по руслу — расступались воды — где от меня текло безразличие к смерти, а ко мне — бесстрашие жития. И сейчас мне кажется, что хранящееся во мне и есть я, ибо что от меня останется, если не это? Разве же был во мне иной смысл? Разве был какой-то смысл — сам по себе — в эшелоне, в Детской Горе, в Аглаиной ванне, в этапной теплушке, где нарекли Святою, был ли смысл в острове Ягнячьем и пожравшем его пожаре, в веке моем, проведенном у чужих постелей, и вот в этом поезде, идущем туда, откуда все, возможно, и началось? Разве был? Или не был?

Я выговариваюсь ветру из форточки (открыта ль она?), ибо ко мне никто не придет, чтобы воспринять мою историю (как повитухи принимают новорожденных), я расстаюсь со своим легко, и одно меня мучит: кому останутся все они? После меня. Те, к кому я приходила.

Этот вопрос для меня по-прежнему не отвечен.

За себя же я не боюсь. Мне осталось рассказать не так много. И немного еще прояснить для себя.

Если в тройке по эвакуации детей на Зеленцовой улице, дом 16, Серёжа передал записку не для меня, и писала ее не моя мама — а это было именно так, — то... откуда же взялась все-таки я?

Кто же я, господи?

Человек, который задавал вопросы — позднее Тата запомнила слово: товарищ следователь — пах так же, как те мундирные люди на полустанках, что в беглячьей юности хватали ее за шкирку лохматых рубах — и выпускали изумленно и обессиленно. Но никаких указаний на то, что они где-то вблизи железной дороги, не было, были они по-прежнему в городе, хотя Тата ловила этот знакомый кровяной привкус феррума, слизывала с губ — видимо, залетал из последующих месяцев, предвестником, тренировочной схваткой — и человек этот, который задавал вопросы, товарищ следователь, уж отпускать ее точно не собирался.

Тата была невиданным зверьком, такие тут редко. Сама ребенок, ребенка убила, и вот третий день в забытьи, в полусне, анабиозе. Не ест, не пьет, не стенает, даже не просится в сортир. Окуклившаяся гусеница. Или разбуженная мумия. Прерванные потуги, как будто застрявшая в переходе между мирами...

Мысли были непосильны для человека, и он мучился от того, что они пытались прорвать мозговую его оболочку и сойти на язык, требовали себе слов и определений, он мотнул головой, и Тата как раз в этот момент и очнулась совсем: откуда-то от слепой желтой лампочки под потолком (сквозняк едва ее касался, длинный шнур терся и скрипел, казалось, что они где-то на станции, дальней и не числящейся в расписаниях) она вдруг увидела стопки неразличимых бумаг, железный шкаф, красную

печать, мотающий своей лысеющей головой мундир... Ощупывая каждым вздыбленным волоском на коже пространство случившегося, Тата открыла рот, чтобы спросить, — и звук вышел пищащим, как будто собаке придавили лапу и давят дальше...

— Очухалась — и славно. Наталья Сергеевна.

— А где Лета? — Голос Татин срезался, хрипнул, на последнем слоге устремился наверх, к лампочке, или, скорее, к куполу и заполнил собой всю комнату, став хорами.

— Дочка твоя где, хочешь спросить? Как-как, говоришь, ее звали? — От слов человека в углу еще сильнее понесло станционным, сквозным, Тате показалось, что в комнату сейчас врежется этот воющий за окном скорый, нескончаемый, сколько же там вагонов, господи прости?

— Мне покормить, — подняла руку к горлу. Обхватила шею.

— Ну вот, в документах все указано: справка о захоронении в деле за номером... — Сухой перебор числительных, лампочка качнулась над головами, залапав пустоту по темным углам... Тата вдруг поняла, что в груди давно не жгло и не жало, не кололо молоко.

— Мне покормить... — Подумала, может, ее просто не понимают, она неясно объясняет, не привыкла говорить сама, только слушать. И стала старательно говорить: манка есть? Если жидко развести, то маленьким можно — заспешила, словами запечатывая разрастающуюся тревогу, — нам у грудничков так делали...

Лампа еще раз отъехала в сторону и в углу осветила источник расставляющего точки между фразами звука — машину с зубами в несколько рядов и женщину, которая сдвигала ей зубы изредка в бок. Казалось, манка могла быть у нее, но та в своей темени в паузы пыталась разглядеть заусенец.

Тате никто не ответил.

В этой тишине она сложилась пополам, спрятала голову в колени и тихонько двинулась — из стороны в сторону, маятником. Человек поймал взглядом стрелку часов: дело пошло.

Где-то далеко просигналили.

Теперь Тата — уши зажаты коленями — явно слышала поезд. В голове у нее вдруг все сложилось, гудок привел в упорядоченное движение броуновский хаос в ее голове, и Тата поняла, где она.

Поезд шел за ней.

Грузили как скот.

Вагоны и были предназначены для скота.

И пар, шедший из множества промерзших ртов, окутывал перрон, как, казалось, коровник на рассвете летней ночи, в котором дышат теплые матки — мухи только, обступавшие плотно, были из снега. Вокруг баб наверчено столько — тряпье, мешковина, все с чужого плеча, сплошные прорехи, — что толком и не разобрать ни возраста, ни срока. Тата села на корточки у отваливаемой крашеной красно-кирпичной краской деревянной створы, а затем в вагон вошла, как в воды ныряя. И ничто не трогало: ни рязанские, мордовские лица, увязанные в платки, ни расхристанные лики продажных женщин, ждущих, где снова можно будет продать, ни тающий на последних слогах и аукающийся сам с собой голос из станционных громкоговорителей, на каждом перегоне будто бы один и тот же, по которому — единственному — можно было угадать направление, в котором стучал состав, ни печечка эта, солеею выступающая посреди всего столпотворенья.

К печке Тата не жалась: общежитное тепло нагрузило голову, усыпило, качало — поезд тронулся рывком и пошел тяжело, никуда не спеша и иногда будто замирая между станциями, как пропущенный удар сердца, словно исчезая на эти секунды с радаров и полотна дорог — качало от слабости. Скорый суд и следствие отупляли, давали инъекцию забытья в гомеопатической дозировке, но — только иногда, и сейчас, когда к тоске Тата стала приноравливаться, когда боль жала, как разношенные ботинки меньшего размера, уже привычно, когда, усаживаясь у движущейся двери, она

и тоска занимали рядом место, сейчас Тата, разморенная натопленным дыханием женщин вагонным воздухом (творожный запах сопревших подмышек, плавящееся уголье, озонированный мороз) и перетоком — рельсы-рельсы-шпалы-шпалы — под ногами, наконец обмякла, затуманилась, закемарила, уложив лоб на руки, сложенные на острых коленях, глядящих в отгороженное деревянной, покатой, как у гроба, крышей небо над Подмосковьем, постепенно оставляемое позади.

Поезд шел к Мелкозерью, а на нижних нарах, набитых широкими полатями, словно перевернутыми в горизонт стойлами, кто-то мычал в родовых муках.

Паровоз наметил себе путеводной звездой маленький серпик на черном небе и одинокий, не отвлекаемый дневными циркулярами путь и тянул, тянул состав через густеющие леса и развалившиеся полустанки, и бабы все отвозились, поделили пол и стены, и место у печи, и портили воздух, молились на сон грядущий, материли конвой, кто-то умолял воды, кто-то — смерти, и сдерживаемое — стиснутыми зубами — мычание у противоположной Тате стены сначала мешалось с храпом, горячечным стоном, безумным проговором любимых имен во сне, стуками поклонов старообрядной старухи, которая все клала их поближе к печке, вызывая, наверное, для надежности самого Перуна, мешалось с треском вокруг огня — лопались угли, — гоном ветра в щелястые поры, покрывалось низким тоном тифона, сигналящего луне... А потом прорвалось.

Лопнуло единственным взвоем, и отныне никакой иной звук не проникал извне в медленно перекатывающийся — позвонок за позвонком, шпала за шпалой, холм за холмом — вагон, допотопным страшным жрищем двигающийся к мелким озерам, и не исходил вовне. Никого не впускать, никого не выпускать. Воды, воды! Натаяло по стенам, размерзлось: собрать наледь в жестянку, выловленную под нарами, скипятить на краю огненного зева. Нижнее, то есть верхнее, с груди, что почище, белье у гулящих собрать (на рязанских и вовсе уже не было никакого белья), и всем теснее, теснее, и в ком когда-то все рвалось и латалось, тот и пособить может, словом или делом, тот же, кто еще не рожал, — причаститься ужаса тайн, а так вообще чем не развлечение в дороге, и ночи бессонной не жалко, только что ей за это будет — и нам?.. Скинутыми тряпками обложили роженицу, сводом тел укрыли от сквозняка, от мычащей были только светлеющие в выплесках огня ноги и между ногами — первозданная тьма, а остальное было укрыто тряпками и ночью.

По тому, что из сомкнутого рта не исходило ни мата, ни святых имен, а только рык, из утробы, словно роженица чревовещала, казалось, что родящая — из приличных, городских, правоверных, может, сказала что не так или не тому дала... Сполохи огня, стрекозы, носились над арестантками, сбившимися в один конец вагона, едва его не накреня, касаясь темных лбов, бессонных глаз, беспокойных рук, которые никак не могли помочь дитю появиться, а состав, словно оставленный без присмотра кемарящим конвоем, все тянул и тянул через леса, и еловые черные ветки стучали о борта все длящегося ковчега, то ли пытаясь его задержать, то ли благословляя, и никто им не мешал, жмущимся у печки друг к другу в общей доле и деле — только Тата, не просыпаясь, все сидела в своей беспризорной позе одна, промерзая.

Мычание, перешедшее в рык, за полночь снова вернулось в глухой утробный звук, она была, видно, первородка: все усилия добровольных повитух никак не близили конца, и — этого было, конечно, не увидать из вагона, но из кабины паровоза уже заметили этот перелом: наледь на окнах стала как будто острее, и над горизонтом звезды, затухая, начали отдавать в позднюю зимнюю рассветную синь, когда — внутривагонный цельнокройный звук стал сбоить, давать паузы, как сбоил сам состав, затихать, как будто приближаясь к станции назначения. Женщина теперь только гудела, и ребенок бился плотно, как вставляемая и холостящая пуля, потуга за потугой, словно насекомокрылое, которое никак не может пробить свой кокон, взмах за взмахом, и когда кто-то из баб, подсчитав, перевалился в нужную секунду через долинку между скрытыми мокрыми тряпками грудями и высящимся животом,

надавил и вытолкнул наконец, мать тут же засучила голыми пятками по стремящейся в небо лесенке рассвета — сердце не выдержало, а младенец был весь тут как тут.

Он закричал, и от знакомого звука Тата оторвала лицо от ладоней.

Вокруг было все то же, качка, ход, тьма, только скученность распределилась иначе: алтарем и свечкой была не печка, а светящееся красным светом тельце в руках у баб. Мать не была уже ничем: ей прикрыли глаза и забыли. Первый крик младенца вошел Тате витым, каленым, наждачным гвоздем через ухо — и вышел через другое.

У ребер, поодаль солнечного сплетения, потянуло, напряглось.

Мать унесли к вечеру, когда обходили с кипятком и хлебом, нахлестом сапога откатывая ворота теплушки, высекая оркестровый, горнящий, всепобеждающий звук соитьем ведра и черпала. Тело матери не вызвало замешательств, но второе, спеленатое в хорошие, почти чистые, широкие, как парус, панталоны, на минуту остановило привычный ход дел, раздачу, плеск остывающего кипятка. Тот, что был главным, даже на мгновение ухо поджал к плечу, словно затек мыслью. Распрямился, велел младенца пока бдить, а на станции сдать.

Станция была в горушку, да с горы, да за болотами — вот и она. К полуночи — в штабном вагоне рыжелая керосинка, высоко поднятая над аккуратными бумагами, осветила будто исхоженное птичьими лапами расписание — должны были быть.

Встали, почти приближаясь.

Беда, гражданки справедливо осужденные, беда, зечки: буран.

Куль в тепле подбрюшья у одной рязанской просыпался, ворочался, искал носом, ныл, но пока не перекрикивал паровоза.

Громада сугроба пролегла поперек путей, из паровоза высыпали, кутаясь, потом от работы раскутывались, бросили на пути конвой, там насыпало еще, и еще, и еще.

К рассвету младенец рвал глотку.

Размачивали в кипяточке последний хлеб и через другую парусину вкладывали соску в рот, закачивали, вырывая друг у друга из рук; кто-то из деревенских предлагал задушить, все равно без мамки не жилец, те, что из второходок, блатных, щипали дур за грудь — а гражданину начальнику что скажем? Меченый младенец, раньше надо было думать! А теперь — держи отчет! Сдавай на станции! Багаж! Согласно квитанции!

Крик утомил до безразличия, резал уши, только когда возобновлялся после недолгих пауз, когда младенец выдыхался, откидывался и бессильно и коротко спал, чтобы потом начать требовать сразу с высокой, зудящей, как циркулярная пила, ноты.

К вечеру снова отвалили — усталый и злой сапог — двери. В отвале, как в раме, стояли задубелые куртки, за спинами их была снежная даль, подведенная тонким штрихом густо-синего горизонта, по стыку простора и откупоренной полости варился надышаннный пар изо ртов обоих полов. Внутри тайной вечерей обступили панталоны с младенцем, держа их сразу всеми руками, в которых он бился, как в сетях, голодной рыбиной. Хлеб. Кипяток. Уголь. Закончились. Поверка. Оправка. Стоим.

Младенчика бы покормить — голос безумной богомолицы, вдруг отрезвевший, развалил застывшую сцену и ушел с ветром в занесенное поле.

Хрястнула дверь.

И был снова вечер, и было все то же.

Уголь истлел давно, ребенка зарыли в еще держащий последнее тепло пепел, панталонные свивальники его слились с тьмой.

Грелись движением; раздеваясь, ложились кожа к коже и заворачивались в одежды; наледь по стенам стала колом так, что не отдерешь.

Голоса у младенчика уже не было, кто-то плакал над ним, капая обессоленными слезами прямо в лицо, кто-то совал ему в рот свой послюненный мизинец, чтобы насасывал, бабы поматерей, поопытней, в этих краях не в первый раз, притихли, прощаясь с ним, как с собой: спета песенка. Пар изо ртов больше не шел, дверь не отваливалась, тьма стояла, как в утробе, первобытной пещере, и саблезубый тигр был

уже не страшен со всеми его литерными статьями: смерть предстояла самая древняя, устройством своим несложная, без человеческих нововведений.

Не мерзла, не погибала одна Тата. Горела. Липко было под рубахой, под грудью, на животе.

Коленками нащупывая путь, раздвигая слипшиеся в холодных объятиях вокруг печки тела на полу, двинулась к тем нижним нарам, в глуби которых был ребенок, обложенный самыми большими колхозницами.

Возлегла. Нащупала личико, рот, просунула в уголок мизинец, чтобы легче было захватывать, пощипала, чтобы проснулся, вложила сосок в уста, чуть надавила: пошло. Сейчас, к третьему дню, шло не желтое, как масло, молозиво, а голубое и негустое, нужно было только насасывать, младенчик возился, мусолил, сил вытягивать из железы жизнь не было, и Тата ему помогала, тихонько поддавливала, держала головку, не давала засыпать, и младенчик понял наконец, чего от него хотят, вцепился деснами за кругом альвеолы, нажал, еще нажал, зло и сильно, втянул в себя, сглотнул, напрягся всем телом, потом расслабился, и начал работать, стер заживший после Леты сосок снова, и на последнем, еще не наевшись, но смертельно устав, глотке заснул, забыв закрыть глазки.

Тата вернула его чуда не видевшим, но слышавшим его чмокающее явление бабам. Одна грудь помягчела.

Но другая была полна.

Тата нашарила жестянку, в которой топили снег, и тугой, остро режущей ночь струей (деревенские ошалели от звука в своей дреме, перетекающей в холодную смерть: родная буренка приснилась) спустила туда молоко.

Через еще три дня на горушку тяжело вкатывался откопанный от снега и поредевший за время простоя состав, в котором только в женском вагоне не было убыли.

Бабы наелись.

Столетняя машина тюремной почты, связующей как внутри, так и с миром, работала исправно: весть обогнала и потерянный столыпин, подгоняемый ветром из поля, и голос, аукающийся на станциях, и самую Тату, бывшую теперь лишь номерком, единицей учета. Поезд еще только осаживали на дальнем пути горвокзала, голос в раструбе еще только упивался своим многоточием — «...центральная, альная, альная» (название Тате ничего не сказало), когда на Ягнячьем уже шептали из камеры в камеру ее новое имя:

Святая... Святую привезли!

И одежды их сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле и белильщик не может выбелить.

Глава 13. Агнцы

Идель

Остров Ягнячий на округлом озере Малом с твердью был соединен по воде деревянным мостищем, который как раз покрывал половину озерной — мелкой, серой, рябкой — глади.

Словно радиус навели: взяли небесным циркулем за середину — исправительно-трудовой лагерь, окружье прочертили по чуть сдавленному в талии берегу Малого, наконец линию прочертили широкую, низко посаженную, вколотили деревянные сваи в дно — и принялись исправлять.

Ну, то есть, конечно, исправляли там еще задолго до пришедшего в середине зимы этапа со Святой Татой. И задолго до тех, кто был до него, задолго.

Исправляли сначала не выборочно, не отдельные социально-опасные элементы,

а брали выше и скопом, даже не исправляли земные грехи — искупали их: мужской монастырь на Ягнячьем поставили еще в те времена, когда лодки выходили в эти воды промышлять мелкую рыбу. Остров так и прозвали, потому что иногда на дневный улов всей рыбацкой артели можно было выменять новорожденного ягненка у соседских пастухов. Пастухи первыми монахами и стали (утопили одного рыбаря при неправом дележе), сами же, оставив живность на большой земле, устроили на Ягнячьем скит и принялись отмаливать свою земную жизнь, ну и рыбарей, и все Мелкозерье заодно. После уже, когда потек к старцам люд, заложили монастырь. Отару на острове не завели, стены поставили прямо заподлицо с берегом, как будто бог и творил этот клочок земли специально под размер монастыря, но лик агнца (с нежными вихрами под малыми рожками и человечьим лицом) оттиснули над въездными воротами, в арочках, кельях... Ворота одни только пока стали из камня — остальные стены и постройки каменными пошли потом, и к нуждам Татиного века громада крепости подошла как ничто. Вскоре монахов, живших невеликим хозяйством, свели в воду, со стен содрали что было, и на трех розовых рассветах с невысоких холмов окрест читалось, как плотно заштрихована чашка озера Малого черными, с развевающимися подолами, обернутыми к небу монашьими телами, как будто чаинок напустили в кисель.

Мост выдержал и подводы, груженные награбленным (волокли даже мощи пастухов, согласно описи), в одну сторону, и нестройный арестантский шаг в обратную — не дрогнул под их весом. Мост однако подновили, а позже, когда другого пола стало прибывать, колония оформилась как женская. Отары осужденных гнали по мосту, и встречали их от берега Ягнячьего, вдали, в точке намеченной крепости, ни под какими законами не ходящие кошки, плодящиеся у озера еще со времен рыбарей. Кошки знали лазы в старой кладке и не боялись колючки.

К Татиному этапу мост снова обветшал, и она ступала над деревянными прогалами, в которые смотрела вода.

Лик агнца отметил ее высоко торчащую из строя голову при проходе арки — Тата ему кивнула как своему.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— На работы меня определили в библиотеку, занимавшую колокольню-расстригу. Приставили к швабре, ведру, тряпке для пыли, изредка доверяли стопки книг. Наверх вела витая лестница, поднебесный ярус, откуда ветер должен был разносить звон по всему Мелкозерью, был забит крест-накрест горбылем, и там я клеила, подшивала, латала старые книги.

Возраст многих из них внизу, на выдаче, измерялся свеженькими пятилетками: монастырская библиотека была тщательно просеяна, но у меня здесь, наверху, еще попадались раненые бойцы с других фронтов. Тома в бархатистых обложках, тонкой бумаги, на непонятных языках, которые и кожицу-то свою носили так элегантно, что даже не разбирая написанного в них, лишь благоговейно открыв, я представляла, как какой-то никогда не виданный мною мир начинал клубиться под куполом заколоченной горбылем колокольни. «Нижний» мир был весь новенький, и те книжки, которые попадали ко мне с порванными страницами, были мне яснее: топорщащихся, словно шею себе в сторону свернувших букв и многих точек, делавших строку похожей на вышивку, глянутую на просвет, в них не было. Но картинки, если были, то были злыми либо какими-то очень уверенными в себе, и даже если книжка попадалась про сельское хозяйство (кто-то брал от скуки, кто-то надеялся вернуться и похозяйствовать), то вредительство колхозного жука описывалось как преднамеренное преступление и с таким же пылом обрисовывалось. Но картинки не так влекли меня, как сами слова. В колокольне своей, наверху, я сидела при керосинке, светало поздно, темнело рано, днем только прорубался свет из щелей и ложился полосами, туманил стопки, выхватывал согнанную мной пыль, спускающуюся обратно из-под купола, и, свое

отмыв, переклеив и перелатав, я подбирала ноги поближе и начинала разбирать про жука.

Та-та-мы-ла-ра-му.

Лета Городецкая в ухо шептала мне имена букв.

Теперь от меня никто успехов в чтении не ждал, не выслушивал мое мучительное бормотание, и такой простор стоял над озером Малым, на которое я выглядывала, сдвинув одну мной только знаемую горбылину, что значки в строчках наконец встали смирно, как на поверке, откликались четко, и мне казалось, что я наконец командую ими, одним взглядом своим заставляю маршировать так, чтобы буквы выстраивались в слова, словно это именно я — строгий начальник ИТЛ на острове Ягнячьем.

Я читала вслух и представляла, что читаю все это маленькой Лете.

Колоколенка моя, заточенье малое внутри большого (первому радовалась, второе не тяготило — где мне еще было быть? где-то же мне надо было быть...), пусть и не была такой высокой, как в здании вокзала, но все же напоминала мне башню Арама.

В проемах, где должны были вымахивать, раскачиваясь из стороны в сторону, юбки колоколов, тоже были агнцы — не всех успели замазать мокрой глиной, а в раже, в котором забивали верхотуру горбылем (звук теперь над озером если и разносился, то снизу, длинный, гудящий: рельса о рельсу — побудка, поверка, отбой), не было никакой возможности повсеместно сводить овечек, рисовать вместо них звезду. И эти ягнята, заточенные вместе со мной внутри горбылей, и были моей отарой, и слушали про жука, внимали чьим-то речам со съездов, прослушивали доклады института ихтиологии и еще иногда — как я скучаю по ней и волнуюсь, как хочу лечь рядом, умостить ее под мышкой и втянуть сладкий, земляной запах своего ребенка. Отара моя согласно кивала головами — ибо им давно никто не колоколил, а мне мое носить молча было невмоготу.

Возвращаться в отряд — монастырская белесость стен вся покрыта будто бы густо-густо наведенной, до бордовости, марганцовкой, пахнет сыростью, непереваренной капустой, кагалом — на вечернюю поверку, зная, что впереди пустая ночь (день ужимала, как могла, библиотечным бытом, то латая книжки, то относя их на выдачу, то разбирая строчки там, где накануне была оставлена закладка), всегда было самым тоскливым. Но нужно было пересилить себя, ступить в эту холодную воду, в этот воздух нашей широкой камеры под сводами братского корпуса — и потом глубина и холод ночи становились терпимыми, воды катились сами по себе, нужно было только ждать утра, проваливаясь в дрему, выныривая из нее и уходя снова на дно. Из темноты, в одном лишь, над дубовой тяжелой дверью, месте очерченной по краю светом слабой электрической лампочки без «щитка», откуда-то сверху, где чернота была чуть слабее, потому что за решетчатыми нашими окнами не могло быть такой же тьмы, как внутри них (наверное, облака с озера шли мимо и отражали дневную, накопленную ясность), уже когда проваливалась в свой поверхностный сон, на меня выступали маленькие, шершавые, гнутые рожки — и Лета кивала мне головой.

Заточение я переносила легко, от Темниковки или дома Аглаи Ягнячий отличался только большей строгостью режима и полнотой растворения во времени и пространстве: винтики внутрилагерной системы крутились так слаженно, и так мало было в ней непредсказуемого и человеческого (от него — только стыд и усталость, а страха давно не было), и все больше было процентов, восклицательных знаков, аббревиатур, инструкций из центра и правил внутреннего распорядка, которые съедали весь язык, подминали под себя обычную речь и разум так, что мы были избавлены от самого страшного человеческого труда — думать, как прожить день.

Другие женщины меня сторонились — как заразной, чужой: то ли из-за детоубийства, то ли из-за того, что чудес на острове я не являла, молоком не текла, но кличка моя шла со мной, и то, что я ее не оправдывала, тоже заставляло смотреть на меня исподлобья и обходить стороной. Отменить же ее они тоже не хотели. Низвести, разжаловать, свергнуть... Может, ждали все-таки его, главного чуда... «Вот

бы Святая нам тут все порушила — и айда вести водой к берегу, девки, вот житуха-то, а!..» — галдели иногда, сплевывая между зубов, как будто подначивая. Меня не брали ни в бунты, ни в междоусобные склоки, ни в песни общие, ни в сплетни, ни в поцелуи. Меня даже тиф обошел стороной, погнушался — а наших почти всех покосил, и я носила за ними тазы, подтирала, и библиотека наша стояла в тот месяц пустой, выдачи не было, читатели мерли, и было в общем ЧП, но и то пережили.

В один из этих пустых дней луч из-под надозерного облака вдруг так высветил полку, что я сразу рванула ее, *пролистала, нашла — мои «Маяки Российской империи»... Сама даже не зная, что ищу. Пальцы вспомнили... И ладонь Леты рыжеволосой, и пуговичку, и Сад, и конкистадоров... Том этот ни разу не попадался мне раньше, за все месяцы в библиотеке, и я не удержалась, чтобы не поднять голову к облаку и лучу, текущему из узкой арочки-бойницы. Кто? Кто его послал?*

Страницу со своим маяком я вырвала, сложила, спрятала, как тогда, в одежду и больше ее не выпускала из рук — берегу до сейчас, здесь, за пазухой, у груди, которая млекопитала.

А потом на воды озера Малого нашел огонь.

Тюрьма на Ягнячьем горела три дни, и пламенем своим освещала все Малозерье — можно было вечерами экономить на освещении.

Горящая чаша воды.

Началось в ночи: может, заснул солдатик на посту с папиросой, или масло капнуло из керосиновой лампы, или, скорее, уголек прыснул из печи — никто не знает. Может быть и так, что раздул кто этот огонь (кто же?): много бумажного пепла стояло над плацем, где обычно были поверки. Разгоралось хорошо и повсеместно, как в топке, расходясь волнами от колокольной спицы, как из очага. Караул встал сначала в ружье, потом — за ведра, тушили и сиделицы, скопом вывалившие из отрядных келий на воздух, не успевшие надышаться газом, а потому только злые со сна, заполошные. В рельсу била Тата. Огонь наседал, открыли въездные ворота, чтобы был доступ к воде, а как зечки совсем проснулись, прозрели, то и тушить свою тюрьму бросили, и в растушеванном облаке чада, стоящего над озером Малым, видно было, как исчезали за задником прорисованной углем сцены — и рыжие лижущие мазки по краям — спины бегущих расхристанных женщин. Как радостно и быстро шли они, мелькая голыми пятками, по дальней воде. И если кто оборачивался, то зажимал от ужаса рот. И крестился.

Святая смотрела им вслед.

Ей-то и разницы не было, где быть.

Мост схватился сразу и горел хорошо, а когда наконец рухнул в четырех местах, провалившись, как двугорбый верблюд, Тате с Ягнячьего показалось, что пуповина оборвалась, перерезалась, перестала. И нет больше никакой связи между островом и землей, и теперь можно совсем наконец раствориться, не быть вообще нигде.

Затихло только на третий день — и ни земля никуда не исчезла за это время из-под ног, ни Тата. И даже арка ворот не сгорела.

Никто не погиб от огня. Только пара не верующих в Тату баб потонула в озерной ряби. Кого-то покалечил караул при попытке к бегству, но многие добрались до берега, растворившись затем в народе и пойманными бывши не были, — заключенных женщин на острове не осталось.

Одна Тата.

«Чудо, Святая, чудо, господи, помилуй!» — еще долго стоял голос беглянок над озером Малым.

Агнец надвратный кивал.

Ей одной. Благословлял жить.

«Начальник Гидрографической части архангельского порта объявляет мореплавателям, что с 1 числа августа по 16 ноября, с захождения по восход солнца,

будет производиться опыт маячного освещения на церкви Секирной горы, назначенный на нынешний год только в 3-х окошках тремя лампами, так что свет будет на пространстве от линии на Север от Сосновой губы, чрез запад до направления на острова Ромбаки. Мореплаватели приглашаются замечать его вообще, не закрывает ли его туманом; о степени пользы доставлять сведения в Управление Архангельского порта, означая, когда и с какого места как огонь виден».

Глава 14. Повитуха
Кемь

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Там, на Ягнячьем, я увидела назначение случившегося в Аглаиной ванной. Это Лета меня выталкивала наружу, из нежити моей, нездешности, тьмы, будто я застряла в родовых путях и шла потугами в темноте и страхе — к тонкому оконцу света в конце. Вот так выталкивала, собою, всю себя мне принесла в дар... А я девочку свою в горячке, бессоннице и тревоге, объявших меня, оставила в водах — спасая от такой же тьмы.

Вышло — что в залог будущей жизни.

И вот путь этот, начавшийся давно, привел меня сюда. На Островецкие острова. Наживлена пуповина, налажены мостки...

Вот уже и осаживают нас, на первом. В форточку мою тянет солью, волной, беззвездным вечером. Я сойду, а состав еще потянет на север и к ночи будет в конечной точке, областном центре.

Долго вел меня этот путь.

Сразу после освобождения (скостили немного, последние годы была в Явасе) я пошла, конечно, сразу к Араму.

Сохранившиеся у меня за все разбирательства и пересылки, не сменянные ни на что и никем не отобранные — не потому, что берегла, а потому, что не держалась за них — карманные часы карлика из башни Киевского вокзала были мною задешево проданы на толкучке у станции с рук мордве. Ехать я решила по билету, хотя и навык иного не был утерян. И нужно было, чтобы еще хватило на теплые вещи (бушлат и мужские валенки с калошами — выпускали ранней осенью, снега еще не было, и недорого брали) и булочку, сырок плавленый в пути, кипяток бесплатно.

Часовая башня меня тянула. И еще я знала, что должна проводить Арама.

Поезд пришел к трем вокзалам, кирпично-зелено-молочной площади, поздним утром, когда в городе все засели по присутствиям и суета сошла на нет, даже и на площади упорядочилось движение, ночевавшие на вокзальных лавках окончательно расправили затекшие члены и раздобыли завтрак, день потек. До Киевского Тата шла пешком, на нее оборачивались — высоченная, в мужском, идущая сквозь — и Киевский ее встретил целехоньким. И башня, и часы.

Арама же она не узнала. Только размером своим он выдал себя.

Карлик состарился за эти несколько лет на два десятка, обглоданный своей хворью — впилась в позвоночник, в самый горб — до яблочного огрызка, до соляного столпа, источенного по закраинам ветром, и стал похож на сухую ветвь покореженную — как та, с которой упал. Боль еще не пришла, и он продолжал заводить часы, сам хорошо понимая всю глубину и бессмысленность этого жеста.

По небу текло, под ногами спешило. Тата поднялась на самый верх, минуя изнанку часов, клетку, в которой был заперт механизм, и линзу окна, высматривающую город. Картина была той же — только погоды сейчас стояли другие, ну и шляпки тоже. А так — то же. И стекло толстое и мутное, через которое открывалась с одной стороны даль заставы, за которую уходили, отдавая Араму последний гудок, поезда, с другой — столичные шпили, и еще накрахмаленные облака, в которые те упирались, и река.

Сделав работу, карлик, обессилев, лежал. Завод требовался ежесуточно, и

протирки маслицем, и порядок чтобы был в башне, и режим. Когда Тата явилась, поднялся на локте, узнал, достал кипятку и заварки — варенья из яблок от рязанских мужиков теперь не варил, пили впустую — Арам сразу ощутил, что значит эта встреча, ибо сквозняк из-под Татиного плеча никуда не делся, он никогда никуда не девается, хотя может затихнуть и так сильно не дуть... Весь своим собственным сквозняком продутый за полвека насквозь, Арам дело Татино, ее провожание знал (хотя и не знал ничего про Лету, про все, что последовало после их последней встречи), и ему явно было, что для него самого значит ее приход.

Тата пробыла недолго, до следующего дня. Мыла гриву ему, стригла ногти, варила совсем прозрачный бульон (курицу на последние деньги взяла на заставе, и еще туда одну новенькую луковицу, и он даже дал себя накормить, выпил полчашки), впустила воздух в застоявшуюся каморку, перетрясла постель, соорудила мягкое из подушек — Арам спал, привалившись боком, гнилой горб не давал толком лежать... Проводила. И частичку своего бесстрашия перед смертью ему отдала.

И гран — на кончике ножа, как кристаллы снадобий, которые безумная мать давала ежеутренне Араму — его любви взяла себе тоже.

Таинство сопричастия.

Время Арама заканчивалось, и совсем скоро для него оно перестанет совсем, и так явно, так физически явлено это будет, что от этой мысли он вдруг ощутил на своих пальцах машинное масло, которым смазывал — масленочка алюминиевая, жесткая кисть — шестеренки башенных часов, и тоску по труду этому привычному, но еще больший — покой, и покой этот шел перед Арамом в розовый облачный рассвет в огромном башенном окне. Стекло дробилось и складывалось в калейдоскоп: яблоневые лепестки, цветные склянки, драгоценные камушки с перстней — и золотом отрисовывало все прожилки между деталями встающее за городом солнце.

«Как дочь назвала?.. Как ты сказала?.. Где ж она?.. А... Ты-то еще поживи, поживи...»

Времени больше не стало.

Тата накрыла Арама своей шинелью, купленной в Явасе, которая охватила его всего, закрыла так легко сейчас подавшуюся дубовую дверь в основании башни и вышла прочь.

Город ждал ее, зябкий, спешащий, с пролившимся к обеду серым дождем.

Ни якоря, ни маячка у нее не было.

А время было все впереди.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Место свое я определила сразу — просто вернулась к тому, что знала, где была нужна — и потом от него не отступала. Мыла полы, кипятила и утюжила, разносила стопки пахнущего влажным жаром белья, сдавала ключи старшей сестре, считала расход хлорки на ведро, поднимала со складов наверх коробки с растворами, таскала матрасы, черпала гнутым алюминиевым половником вермишель — труд мой всегда был об одном: санитаркой ли, нянечкой ли на кухне, в прачечной или в палатах, век свой я провела вот так. Как знала. Незаметно, но так, чтобы быть поближе к тем, кто может во мне возыметь нужду.

Тогда, от Арама, я вышла в город и где-то в старом центре, под тополями, темно блестевшими от влаги, в сыром, чуть подсвеченном от неба голубом дворе набрела на жилконтору и выпросила себе и угол, и кусок хлеба. С прежним дворником как раз прощались всеми подъездами.

Гроб стоял на двух табуретках, закутанные в женские шали дети таскали у старух карамель, дворничиха шептала покойнику в дорогу проклятья, а утром я заступила на его место. Раскладушку мне поставили прямо в каморке, где хранился инвентарь; окон в ней не было, этаж был половинчатый, полуподвальный, единственный проем света был вверху зарешеченного стекла, впускающего облака только ближе к обеду, на час. Я появлялась во дворе первой, в грозном обличье всех своих жестких фартуков,

негнущихся рукавиц, ершистых метел; и ток осенней воды, и хруст первого снега, и слякоть под калошами серых валенок на мужскую ногу, и воробьи болезные и дерзкие, голодные, множественные, потемневшие от непогоды, были мне этими плотными — только гляди размахивай метлой или лопатой — всесезонными утрами, когда гул в руках перекрывал всю течь мыслей, единственными спутниками.

Белье четвертой степени загрязнения перед стиркой подвергается бучению в щелочном растворе. Палка, которой тащишь его из бака, — уложено гладкими рядками, как спящие в норе щенята — осклизла, белье неподъемно, но уже безопасно. Стафилококк. Синегнойная. Микроспорум. Малоценные книги при дезинфекции сжигают. САНПИН Тата выучила твердо. Руки в красных, как будто проказных, шершавых пятнах, жилы вспухли. Каждое пятно говорит о своем: фекальное, кровяное, бурой мочи, здесь просто рыдали в подушку всю ночь, муж так и не пришел навестить, это — вышел послед, ребеночек здоровый, только роженица оставит его казенному дому... В теплом и душном пару перед Татой мешались истории болезней, имена, даты, она их не гнала, и из влажности больничной прачечной, из капель, подвешенных над оцинкованными чанами и деревянными лоханями, как пустынный мираж, ткущийся над источником, смотрело на Тату Летино лицо, которое теперь видно было с подробностями рисунка кожи. Руки в кипящие баки. Тереть — не перетереть. Наверху, в палатах, рождались, умирали, пачкали простыни, и так до скончания века.

Ее кулачок можно было поместить в кольце своего мизинца, так мал.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Пол моего окна в жилконторе выходило на раковый институт, и с середины весны уже, когда я выползала бороться с лужами, мне видно было, как после обеда больничный двор чертили иногда слабые закутанные тени. Скоро я работала там. Делала что умела. И за комнату смогла платить — над подвалом. Потом работала еще много где — там, где находил себе приют намаянный человек.

Грудь мне удалили в этом же институте. В лифчик слева я стала подкладывать детские пеленки, мягкую фланель или сбивала тугой ватный ком. Она была небольшой, и ваты из шуршащего коричневого аптечного куля хватало надолго.

После этого я поняла, что такого, как было у Дудиных или у других, я на земле не проживу, потому что все телесное, казалось бы, долженствующее после Темниковки с ее гипсовыми кроватками с прорезями для мочи, общими для мальчиков и девочек тряпками, после этапа и замерзающих вповалку на нарах немытых арестанток, после виденного мною на Ягнячьем, когда соскучившиеся женщины шли друг к другу, прикрывшись только ночью, в отряде, после всего этого все телесное, казалось бы, должно было просто быть мною незамечаемо — но вышло иначе, наоборот, и стыд, умноженный воспоминаниями о том, что было с Сололовым, был тем, что вызывало во мне мое тело. Поэтому после операции я и вовсе себя в этом смысле забыла.

Хотя ведь к тому времени уже и ждала этого — тепла, человека, живого, своего, и мне казалось, что если встречу, то не струшу, не сбегу, не покалечу заново... Хотя и не встречала такого — от которого бы стало так же горячо за ребром, как Соловову, когда меня только определили в Темниковку.

Но было ясно, что если не будет такого, то другое — да, я смогу. Уже могу. И хотя возможность любви телесной, семейной, парной я для себя отвергла, вся она протекала сквозь мои пальцы, и было ее вдосталь вокруг.

Вочеловечивалась я постепенно. Просто шла за теми, к кому приходила, — туда, куда они меня вели. И любила вместе с ними.

И шишкастые эти корни георгин на шести сотках, перевитые, выпирающие, темные, напоминающие головы горгон или безумных стариков.

И становящуюся миндальной под солнцем (и больше всего атласную на спуске к коленкам, а на спинке — бархатную) кожу трехлеток, вывезенных впервые в Анапу и глядящих на море, сидя на руках у матерей.

И запах нагретого песка в Серебряном бору, мешающийся с опавшей хвоей и поднимающийся от каждого шага. Еще не изъезженная, зимняя дача. Жучок, поевший любимую книгу и забытый в ней виноградный лист. Чай с мятой из термоса. Нетерпение — в предчувствии долгой прогулки за грибами, выпекшегося пирога. Господи, сколько всего здесь есть...

Что-то у меня было свое, что-то — заемное, переданное в дар, подсмотренное в щелку, воспринятое и мной тоже пережитое. Я провожала уходящих, и страха становилось все меньше. А жизни — больше.

И как же по ней я скучала, по Лете. Как.

Супница рейхенбахского сервиза, мелкий желто-голубой ситец по фарфоровому полю, пухлая и широкая, как баба-грелка на чайник, с двумя удобными ручками, похожими на ухваты для крестьянской печи, всей своей основательностью являла скол целого эпоса, и супница — на подступах к Измайловскому парку, на земле в разводах весенних луж, крытой цветастыми столовыми клеенками, — Тату к себе и приманила. И Тата сразу поняла, что не в сервизе дело, а во владелице. Товару у нее было чуть — селедочница, графин с жадно хватающими воздух синими карпами (во рты предполагалось заливать горькую), две тарелочки с хвойным узором, две кофейные претончайшие чашечки, элфэзэ, тот самый блокадный кобальт. Но супница была главной, потому остальные предметы были — лишь предметами из разных сервизов, а одинокая супница была — знак. Символ. Жест. И по всему понятно было, что хозяйка на развал пришла в первый раз, и что, скорее всего, потащит большую часть добра обратно домой и никогда не вернется, и что расстаться с супницей — это и кусок из себя с мясом вырвать, и отсечь наконец ноющее, решительно, одним махом. Это было ближе к девяностым, когда Тата траченную жизнью эту испитую тетку с низким голосом восприняла — через супницу рейхенбахскую, три зеленых рубля за нее отдав. И владелица, конечно, все про себя рассказала.

Провожала до метро, сегодня единственный день чистая, трезвая, спеша все договорить, и Тата сама ходила круговыми дорожками парка, прижимая супницу, завернутую в газету, к пустой груди, и тетка, забегая перед Татой, устав смертельно от авоськи с селедочницей и прочим, проверяла вещицу время от времени, как плохо укутанного в морозы ребенка, то тут подоткнет столичную прессу, то там.

Это же папа, это же папа, когда из плена сбежал, маме принес.

Он в темноте сеней — рекой сразу пахнуло из приоткрытой щелки, соловьями майскими, рассветными, туманом — встал, весь каждую минуту жданный и со сна сразу узнанный, не в лицо, не в запах его чужестранный, не в рост, но по тайне явления, и супница в вещмешке вместе с ним была спущена в подпол, но разглядела жена ее — стоящую, с аккуратно протертым гимнастерочным рукавом глянцевым боком, важно средь влажных кадок с малосольными огурцами и яблоками, как ваза или предмет интерьера, только следующим днем, когда отлежали друг другу бока, выжали весь воздух из подвала, проголодались... Мать босая прокралась в кухню, сказала домашним и посмотрела страшно, прихватила одеяла, подушки, хлеб, соль, самогон, картошку, таз с водой и ушла в подполье, в колхозе сказавшись больной. Котелки с горячей кашей забирали у откидной крышки лаза, утром и вечером, квас живой, сухари — старики бегали, старались. Съели все яблоки.

Мыла она его, проходя каждую складочку на теле, как ребенка. Ноги, которые добежали до нее, отирала волосами: распустила узел из-под платка, давно никем не виденный гречишного меда поток разлился и засветил подполье. Спала, положив ему голову на живот, утыкаясь пятками в мокрую стену. Зябли. Грелись кожей друг друга. Крышка подвала была подогнана плотно, вскрики ее колотились о нее, падали назад; женаты были всего недолго, а ушел он два года как. Потом снова спали, она тревожно, вздрагивая, как младенец, он — бестрепетно, потому что еще по дороге, посреди брусничных этих кочек, все для себя наперед решил. Снова ели яблоки. Глаза привыкли к полутьме, освещенной огарочком, взгляд уходил по ней вглубь, где еще

женихались и в каком-то заволоченном одуванчиковым пухом облаке прыгали в реку с обрыва; уходил вдаль, где кончится война; и в сторону тоже уходил, в чужую сторонку, хотя здесь ей пришлось и поднажать, и тогда только услышать про супницу.

Понимаешь, я не крал. И нести ее неудобно, и тебе без надобности, и мне в пути ни к чему. Воду ею, да, с болота черпал, из проталин, а так — нет. Но такое дело... Я вот думал, это все к чему? К чему я к тебе продираюсь, жить хочу? Стреляем к чему, все эти наступления, сводки, каски эти за чужим рвом? Мы ж совсем забыли... К чему. Мы еще до того как все началось забыли, зачем все... Зачем живем. А вот чтобы супница. Чтобы скатерть, и абажур, и живот твой мягкий... И суп, да, и суп чтобы в ней. Борщ, селянка, щи крапивные со сметаной. А у них, знаешь, едят тушеную капусту, без меры. И тоже жены, и тоже скучают... Я, не поверишь, рейхенбах этот, у них манифактура такая порцеленовая, для богатеньких, на крайнем тыне (попался один хутор по дороге, не обойти никак) разглядел, видать, городской горшок-то тоже до крестьянской избы проделал кружной путь, но что гадать, война, все бывает. Ну и до ночи я хоронился в лесу, потом краем прошел и супницу прихватил. Нет, не крал. Я ее как светильник высоко поднял, высоко нес, светил себе ею. А теперь тебе свечу... Я, Тань, пойду завтра, ты не плачь сильно.

Уходил заполночь, так же дверь она ему приоткрыла, и так же темна была ночь, воздух уличный шибанул в нос, но запах он уносил ее, густой, яблочный.

Проводила его за три реки.

А сама осталась с супницей. И пальцем ее никогда не тронула.

К осени слухи по колхозу поползли. Жена кадрового офицера, муж, защитник родины, пропал без вести, а она... Ходила тяжело, отекала, опускала ступни в реку, чтобы унесла тяжесть, остудила. Ждала теперь не мужа с войны, а ребенка. Колхоз ее затравил, старики молчали, тряслись дома, гладили по голове, после, мне с годик было, наверное, мать прихватила меня, и мы поехали на новое место (бабка насильно упихала в котомки рейхенбах), где никто не тыкал носом, что родила без мужа. Мы долго мыкались с места на место, но мать так от этого стыда и утихла наконец, успев, правда, узнать, что нашли медальон отца в братской могиле в сутках пешим ходом от их дома, а реабилитации дожидалась я одна, но это было уже неважно.

Весь стыд тетка уместила в рейхенбахскую супницу, которую таскала за собой с места на место, пока не донесла до блошинки на Измайловском рынке. Цирроз ее был уже терминальным, но видно было, как порозовели от рассказа у нее щеки, как будто воздуха впустили в затхлый подвал. И слова все вышли.

Тата прижала потесней запеленатую супницу и пошла, не огибая луж, к метро.

У турникетов тетка догнала и молча сунула ей в карман трешку.

Поезд дальнего следования Москва—Мурманск.

— Мне шло к сорока, а может, и перевалило за (как неразличимы отсюда, из этого узкого качающегося коридора, словно капитанского мостика, навешенного над волнующимся морем многих жизней, эти ничего не значащие вехи: мне сейчас сразу и семь, и семьдесят семь). Так вот, шло, а может, перевалило — просто для представления точки на шкале — когда явственно что-то для меня поменялось: как будто состав выдыхаемого воздуха стал иным, будто на реке вскрылся лед, хотя вода осталась прежней... Не то что притерпелась к тоске по Лете, она как раз была и есть неизменного свойства, как какой-нибудь эталонный грузик из палаты мер и весов. Не то что освоилась в своем одиночестве — оно всегда было моей неотъемлемой частью, как мизинец или, скажем, подошва стопы. И дело свое я воспринимала не как службу и не как служение, и не было оно для меня ни смыслом, ни трудом — спросите дождь, что он думает, когда проливается... Все это было мной и со мной от начала, так долго, что я, как верблюд, несущий свои горбы через пустыню, просто шла дальше, не высматривая оазисов и не тяготясь песком под ногами. Но что-то во мне поменялось.

Я уже все для себя определила про свое устройство. Быт особо ко мне не цеплялся: за комнату было чем платить, работа была, а многого мне не требовалось.

Где-то в то время я сменила юбки, которые носила то чуть выше, то чуть ниже колен, на платья; шить приходилось специально, на мой рост не найдешь, но заказать пару платьев в несколько лет было незатруднительно даже для меня: кургузая, вся какая-то втянутая внутрь себя, так что наружу выступали как будто корни суставов — и еще то папироса, то булавка во рту — портниха этажом выше брала заказы, и перетерпев первую и последнюю примерку — озябнув в лифчике с фланелькой — я иногда поднималась, взяв еще кулек баранок в булочной, к ней с очередным отрезом этих сплошь синих, серых, заячьих каких-то, неразличимых тканей и заказывала у нее наряд на будущий год. Та смотрела несколько секунд пристально, оценивая на глаз расхождения с изначальной выкройкой (их не было, я и сейчас несу спину прямо), цокала языком, брала свою мзду, прямо в темном линолеумном коридоре, прихватывала сушки — и вручала мне готовое через несколько дней.

Ела я — и ем — что-то подсобное, не требующее сложной готовки, пью чай, заваривая в него траву, что попадется под руку: чабрец, мяту, смородиновый лист. Сплю мало. Иногда головные боли — но это и не удивительно: контузия, ношу с собой цитрамон, но это скорее для виду, потому как цитрамон не помогает. Иногда у меня водятся деньги, ибо почти не трачу, иногда — нет, ибо раздаю. Но я не о том, не о бытовом. Вспомнила важное... Я несколько лет как освободилась, когда заметила это. Другое. Только выйдя на новую вершину, можешь оценить проделанный маршрут: и я увидела, что со мной перестали случаться обстоятельства, в которых я носимой ветром щепкой пребывала до следующего порыва, но теперь я-сама-жила. Пробовала. Пыталась. Делала шаги в этом направлении. Подталкиваемая в спину карликом из башни, висельницей из библиотеки Ягнячьего острова, ночной няней, замкнутыми на себе, как электрический контур, Дудиными, мальчиком с виолончелью... Давай, давай, дыши, шагай, смелее...

Ничего, если смотреть со стороны, не поменялось в моих днях. Я не завела на каждом кресле (да у меня и кресел-то не было, ни одного) по кошке, не взяла приютского ребенка, не ушла в церковь, не развела огород и не записалась в ДОСААФ... И со мной не появилось человека, который тоже стал бы мною... Нет. Но теперь каждый день не был набором обстоятельств — он был глиной, даром, чашей. То, что было во мне лишь заемным, чужим, вся эта радость бытия, все это беспокойство о земном, все — проросло наконец во мне... И ко мне стало приходить свое, мое собственное, только мною знаемое. То, что не нужно держать, а можно просто позволять этому длиться, наклоня голову к плечу и дивясь; то, что можно увидеть, только не боясь это заранее потерять, то, что может стать твоим, только если заведомо отказаться от всех прав обладания...

Гриб березовый, шляпка блестит, как натертый паркет, от дождя, плоский нож осоки прилепился с краю, как выпавшая прядь к потному лбу... Девчонка, внучка портнихина, пяти лет, вдруг полюбившая меня, мы с ней чаевничали — из граненых стаканов — вечерами, она таскала мне от бабки (порой мои же) баранки... Воробьи, которые стучали мне клювиками в окошко — и забирали наутро крошки... Я знала, что не смогу сделать своим, приручить, забрать домой — как котенка с улицы — никого, но и любовь от этого почему-то не уменьшалась, а, не взятая в скобки собственности, была полна... И я совершенно безвозмездно влюблялась.

Всегда было в кого. Девчонки эти, только-только из училища, на дежурстве, за шкафом с навороченными порошками*, готовыми к выдаче, строчащие что-то на изнанке больничных бланков, краснея — а на пересменке прыскающие со смеху, одним им понятному. Пассажиры в метро синей ветки в опахалах прозрачной, одинаковой газетной бумаги, он читает у нее, она — у него, а выходят не вместе. И малолюдные замшевые дворики в центре, и засыпающие на ходу мамы с бежевыми колясками (огромные колеса, как у кареты с тыквой), и если сидишь на лавочке у церкви, жуя свою булку с яблоками, то видишь, как из врат после службы вытекает, подталкивая прихожан в спину, какой-то летучий покой — и рассеивается к Сивцеву Вражку... Всегда было в кого, во что, теперь всегда. Они, все они, обе Леты мои, и Арам, и Пётр Фёдорович, все они меня вытащили на*

свет божий. Из мрачной пустыни. Вдохнули жизнь. Перерезали пуповину от смерти. Ну все, давай, сколько можно, живи. Ваша станция, женщина. Приехали.

От островов Островецких меня отделяет теперь только вода, черно-серебряная глубь, вплавь никому не уйти. Пенистый и пресный ветер обдирает губы, рвет с них слова, кажется, воды вот-вот расступятся.

И я все пойму.

Ты послушай-ко, млада-милая, что я буду тебе сказывать, горюшиночка наказывать, я в остатние во последние: ты сойдешь да, млада-милая, ты на тот да свет на будущий. Тебя станут звать да, млада-милая, станут звать да за Забыть-реку. Ты послушай, млада-милая, ты в остатние во последние: ты не езди за Забыть-реку, ты не пей-ко Забытной воды. Ты забудешь, млада-милая, ты свою родную сторонку, ты забудешь, млада-милая, ты меня да горюшиночку со своим да малым детушкам.

Глава 15. Маяк
Островецкие острова

Пристань Лизин причал.

— Усталость подбиралась ко мне долго и издалека — так еще в конце июля различаешь зачатки осени: как будто смурнее утра, сдержаннее на рассветах птицы, лист, еще не желтый, отрисован по краю резкой, строгой чертой, и все тяжело этой усталостью силы, как небо налито теменью и влагой перед грозой, как женщина полна своим младенцем на последнем сроке. Я давно отмечала вкрадчивые лапы этой усталости, оставлявшие отметины на моем теле. Тело дряхлело, и вот сейчас меня хватает только на последний рывок — но я совершенно точно знаю, что это не усталость души, нет. Я совсем себя не тратила за эту жизнь... Ни на детей, ни на любимого, труд мой отнимал — до ломоты — только руки, ноги, еще поясницу, но себя я не тратила... Ведь от меня никто ничего не взял, и никакого следа не пошло от меня. В меня только клали свое, докладывали, отдавали... Я чувствую себя одновременно и звенящей колокольней, под завязку полной историй, и немой рыбой, бестолково открывающей рот, и девочкой, которая не может осилить слогосложение и прижимается низко, чтобы разглядеть букву с торца — в надежде понять, что та значит... При-чал. Там написано «Лизин причал», над качающимся берегом Островов. Даже у самого широкого моря есть край, даже у самого дальнего острова — берег. А уж в наши-то дни и подавно... При-чал. При чем, чайки, чай... Слово, приколоченное перед «причалом» — деревянные горбылины съехали крест-накрест и входить под них, как во врата — узкое, короткое, ветер слизывает его, и оно ускользает, да и важно ли это, если вот он уже — причал, можно сходить, суденко наше полощет коричневая, в молочной пене волна, но усталость, которая тоже делает вместе со мной последние рывки, вот сейчас, когда качка успокоилась и я обрела твердь под ногами, чуть-чуть отпустила. До следующего броска.

Это осколок. Он толкается, как ребенок в утробе, просит выхода. Слишком долго сидел, мучился, ждал. Как в темнице. Он тоже устал. Он и так терпел очень долго... Я иногда прижимаю ладонью то пульсирующее место за виском, где прошел невидимый под волосами шрам, но разве можно задержать роды?

Когда стало очевидно, как вконец я устала, состарилась (но не так, как многоликие провоженные мною старухи, у которых по многу лет кололо сразу в пятнадцати местах и оставшееся им время занимало перечисление симптомов, нет: эта дряхлость навалилась совсем решительно, как будто отключают, плавно поворачивая ручку влево, центральное отопление и одновременно распускаются сдерживающие тебя внутри струны, и ты знаешь, что есть всего несколько дней до наступления холодов), так когда это стало очевидно, я расправила на коленях Летину, то есть теперь мою уже, на Ягнячьем выдранную, страницу с маяком, сверила еще раз с пуговичкой,

на которой был выдавлен его абрис, прибрала за собой, отдала ключ хозяйке, денег как раз хватило на билет на поезд и еще чтобы пересечь пролив — ну и вот.

Если не глядя провести пальцем по краю пуговички, описать дугу, под подушечкой оказывается не покатость, а как будто волдыри застывшей лавы, которой кто-то пытался придать правильные черты... Вспученный контур, вспененный круг. Даже с зазубринкой. Кто ее оплавил и зачем? И кому предъявить теперь это доказательство бытия?

Храм-маяк в наших краях один, и я знаю, что прибыла по назначению. И как будто свечу себе вглубь, в начало своего пути блуждающими огнями давно ждущего меня на лицевой стороне пуговицы маяка.

Это присвоенное имя, это рождение мое, Таты Тутиной — Натальей Сергеевной я была лишь на редких бумагах — из тлена и пепла развороченного эшелона с туберкулезными детьми, эти небывшие мои (где?!) детские годы, эта пуговичка моя и чужая записка — все это как заглавная буква в начале строки. И вот сейчас, когда нужно ставить точку в истории, оказывается, что буква эта же — и в конце. И я держу ее на ладони. Литера Тэ.

Причал живет солено, ярмарочное копошение под близко нависшим небом, пир во время чумы, газельки увозят японских туристов в ухабную глубь, паломники смиренно идут к монастырю пеше, и на человеке, который ее встречает — как будто телеграмму дала, хотя не было никакой телеграммы, и не знает Тата о нем ничего — никто не задерживает взгляд, как не задерживают его ни на зацепившихся за тяжелые купола облаках, формой каждому напоминающие свое, ни на снующих туда-сюда лодках под бензиновым мотором. Плоть от плоти острова, дух его, вросший в землю. Леших так изображали на бересте, разве что без рожек, и очень тих. Проросший сединой и травами, невесомый, мозолистый и бессловесный, в чем-то камуфляжно-туристском, заблудившийся стройотрядовец из 60-х. И глаз, глаз крыжовенный, глубокий, светящийся на солнце, кошачий, бывают такие степные дикие коты... Изгой, робинзон, хранитель древностей, древность сам, реликт, как будто забытый на острове студенческим десантом в прошлом веке и блуждающий по его земле в своей умозрительной параллели... Никто не задерживал на нем взгляд. Ни водители газелек, ни экскурсоводы, ни японцы, ни паломники, пассажиры последней «Метели». Примелькался, знаком, всем известен, местный тотем и блаженный. Все хотели задержать взгляд на Тате, которая была как раз острову в масть и оттого, казалось, должна была быть неприметна: и одетая, как многие богомолицы, и строгая, и одна — но наоборот: тянула на себя взгляды.

«Что у тебя?» — только спросил, шагнув к воде, дух. Сошедшая на твердь старуха, еще переживая внутри качку, щурясь, примеривая дыхание к местному воздуху, раскрыла большую ладонь. Пуговичка с маяком. Развернулся, хлопнув резиной старых сапог, почесал внутрь острова, куда-то сразу наверх, в зелень.

И она пошла за ним.

Вокруг все было так, как и рассказывал Пётр Фёдорович, знавший эту землю из писем Оленьки. Стариковское бормотание на каждом шагу обретало явственные подтверждения, как будто время не тронуло главного, а неглавное, будущее, лубочное, в Оленькиных письмах не учтенное, Тата умела отметать, делать поправку на век.

Были знакомы и ломоть этот земли, утопленный в северном море, как надломленный хлеб в жидкой баланде, и сбежавшие к заливу покореженные березки, словно не смеющие вырасти здесь прямо — пригнутые к земле, изломанные, руки тянущие сказать. И влажное сизое небо, проплывающее над оседлыми, приземистыми, как добротная крестьянская утварь или шишкастые колени великана, башнями монастыря. И блуждающий огонь, выхватывающий отражающую небо гладь до самого горизонта, откуда ни приплыви, хотя приплывают в основном от бывшего пересыльного пункта. Все было на месте.

Тата знала, что ей на маяк. Французское это причитание сумасшедшего старика, понятое каким-то шестым, подкожным, там, где крепятся корешки шевелящихся волосков, чувством туда и вело. И пуговичка туда же. И дух.

«Подожди, — говорила она кому-то, следуя за ним. — Подожди», — тянула руку к виску.

Землянка (крыша — продолжение лесного мха, густой слой его, переливчатый, от серебряного до густо-болотного, через всплески изумруда, драгоценные темные точки голубики, желтые вкрапления плесени) изначально была устроена для нужд хозяйственных монастыря, то есть произрастала под горой третий век, потом пошла на потребу лагерю, а потом в ней окопалась ученая компания (дух и сам не помнил, кем он в ней был), от которой он отбился. Засел в ней лесной человек, успевший подвизаться на острове и на стройке, и на кухне, и в архивах, и на пленэре плотно, и его решили не трогать, за постройку не биться, тем более что худа была и бестолкова, а человек смирен. Отбился от своих, застрял на острове, то рисовал его, пока не кончились привезенные с собой краски, то искал что где мог, слушал, поначалу еще слушал старых людей, собирал тогда еще едва не в каждой луже по весне всплывавшие артефакты то монастырской жизни, то чаще — лагерной, выходил иногда к людям за прокормом, мелким приработком, сдавал в лавку акварельки свои маленькие, писанные на обрывках, а потом перестал, остался сторожить лес и камни в нем, все как один бывшие могильными. С ума сошел, — говорили в поселке; блаженненький — добавляли. Воспринимали как явление природы. Как иногда бывают похожими на человеческие лица узловатые пни, рисунок мха или завивы ветра на сухом песке — так он был похож на оплакиваемый остров, неотделим от него, а потому неприкосновенен. Обидеть духа было делом немыслимым, но и всерьез его не воспринимали: не молиться же, в самом деле, дождю и не интересоваться самочувствием пены в прибое.

Но зато он и знал многое.

И человеческой своей ипостасью успел впитать все, что слышал от тех выживших, кто приплыл сюда однажды в брюхе, как сельдь в утробе кита, усаженный туда ночью, пересчитанный, под лай собак, качающийся в секущем ветре фонарями. Впитал все следы, что успел прочитать на камнях у деревьев, все выцарапанное на прогнивших, оторванных досках бараков, на коричневых огрызках канцелярских бумаг и перекрашенных монастырских сводах — везде, где проник невесомым дуновением ветра. Имена, цифры, списки, способы, речи, обрывки фраз, даты. И нечеловеческой сутью своей усвоил многое. Корни слышал, которые оплели скелеты, спеленали их в темноте. И маяк, достающий едва ли не до Архангельска, высвечивающий своими выпуклыми линзами акваторию всей окрестности, как делал это от девятнадцатого еще века, когда навигацией рулили монахи, говорил с ним, подавая сигналы лучом. И воду знал, по которой многие хотели уйти (не ушел почти никто): она иногда приносила — с одним из небольших рейсовых теплоходов — важных людей.

Тата была важной.

И пуговичка ее была важной.

Дух ее знал.

Держал в руках ее сестер. Четыре крупные пуговицы с арестантского ватника, коих в морошковом ковре, устилающем лесные могилы, было как грибов, — и только эти четыре были такими, на особинку: человек постарался, придал им лик... Свое обличье. Маяк на них, стало быть, хозяин — маячник... Должна быть и пятая сестра, дух знал. А имя — имя было стежочками нашито на стеганке рядом, и дальше уже и труда никакого не надо было — знать, что за этим именем придут. Потому что нет-нет да и приходили. За именами. Корнями. За оставшимися меж корней, узлов кричащего красного леса.

А то, что с теплохода, с «Метели», старуха сойдет и пуговичку будет сжимать в кулаке — ну то нюх просто, нюх, глаз змеи, слышащей ход подземных вод. Элементарно, Ватсон.

В землянке — ягодный скит под высокой горушкой с маяком строился без размаха, экономя как будто лесные пяди, вписываясь в ландшафт — двоим было не провернуться, и духов быт валился на Тату прямо с черных стен, обступал плотно. В нем не было ничего для жизни, как будто дух и впрямь не питался, не наливал кипятка в миску, не вытирал тряпьем рук, не спал на твердом, обняв себя руками и убаюкивая, не хранил грибных запасов на зиму — все это, видимо, делал, но оно, земное, зряшное, было неважно и утоплено в глубь земляного наката, а из стен выступало другое: акварельки на шматах обоев (обои были у поселковых, они их даже иногда меняли, выбрасывая обрезки), из которых шагал своими каменными коленями монастырь, красным, то ягодным, то маковым, заливало по весне и лету дальние острова, бесчисленное море все ждало кого-то из тумана. Свой, от руки нарисованный образ, Бо-го-ма-терь-за-печ-на-я (Тата сняла губами буквы, решила, что запечная, как сверчок, это почти что земляночная, как будто местночтимая, на одном пятачке земли, святая, ангел этой дыры). Черно-белые карточки, свернувшиеся по углам, ставшие почти свитками, папирусом, берестой, вот-вот дадут семя в землю, прорастут именами: лица были повторены дважды, профиль, анфас, белым процарапана фамилия, инициалы в нижнем правом углу, и только редкие плотные снимки с длинными бородами, в монашеских рясах, в труде — мастерские, рыбные сети, грибные корзины — были похожи на привычные человеческие фотографии, всего карточек было много. Чьи-то старые письма выцветшим карандашом на мягких картонках, по тону похожие на прибрежный песок, — где сколотые сосновой иглой, где прижатые в уступе земли камнем. А еще просвирница, старой меди монастырская дорогая вещица, выступающая из верхнего угла, с местным рисунком печати: тонко прочерченный контур двухъярусного высокого храма с тяжелой головой, широким глазастым куполом, испускающим свет. Храм-маяк.

Нашла.

Вон он, маячит своей голгофной золотой головой над горушкой, трудится, стоит на месте, бдит, соединяет.

Зазубринка с пуговички у Таты в кулаке чиркнула по коже, ткнулась, царапнула — Тата сжала ее посильней и увидела, как идеальный круг безликого пока и безымянного металла, срезанный с отцовского ватника плоскостью чужого ножа, опускается в огонь, оплавляется, подставляя свое размякшее ложе под резец творца, и обретает лик: храм-маяк с печати для просфор переходит на широкую пуговицу, все же недостаточную по размеру, чтобы уместить весь рисунок, и тонкая завивь по кайме повисает в воздухе. Тата видит виньетку впервые — а вот маяк на двух ладонях, на пуговичке и на просвирнице, совсем один. Образ и слепок. Контур и оттиск. Кто-то оплавил казенную пуговицу, оставил на ней след... Кто-то, кто дал ей, Тате Тутиной, имя-свое-я-украла, жизнь. Дух ссыпает Тате в подставленные лодочкой ладони четыре одинаковые пуговицы, и остается еще что-то, имена, подробности, но он молчит — и Тата сомневается: и впрямь ли слышала на причале его голос, продутый ветром. Он молчит, но картонку, многажды сложенную за жизнь, гнутую по ребрам, расправленную чужой ладонью, как знал, зачем приплывет старуха с этого рейса, достает не глядя, выбирая из нескольких других.

Однажды они приходят. За именами. Однажды приходят.

Тата, выйдя — нагнулась под притолокой — на свет, сочащийся от высоты деревь, читает по складам письмо маячнику (заключенные сменили монахов на навигационном посту храма*)*, переправленное своим человеком из женского барака и найденное духом лет тридцать спустя в схроне, в гнилом бревне, под горой, в йодного цвета грязной стеклянной пробирке с плотно притертой пробкой — так что влага листочки и не взяла.

Почерк узкий, надо все уместить.

«Серёжа!

Подумала сегодня, что преимущество твоего положения еще и в том, что письма твои приятны глазу, а мои выходят все криво и коротко (только не сегодня, сегодня

важное) из-за этого обмылка грифеля, который мы приспособились оформлять хлебным мякишем для удобства (хотя удобство по-прежнему сомнительное). Но я не с упреком! Пусть тебе будет хорошо в этой твоей высокой башне! Новостей нет. Разве новость, что Любу Мухортову Оглобля опять увела на ночь? Есть одна только радость и оказия: неожиданно совершенно берут у меня письмо, и я эту радость спешу скорее тебе передать. Не знаю, получится ли найти слова.

У меня так легко сегодня на сердце, Серёжа! Невероятно звучит это, понимаю, потому что страшно все, что вокруг, даже когда ты к этому, казалось, привык, и еще страшнее то, что впереди, но как же мне легко сегодня и радостно! Почти безмятежно. Как, знаешь, когда щуришь уже один глаз, но голова еще под одеялом, и по запаху понимаешь, что на кухне оладушки под полотенцем, жаркие, и все дома и ждут только тебя... Тебя, ты, твой... Как же забыто, размазано, изничтожено у нас тут: здесь говорить о чем-то своем только, собственном, необщем даже смешно, здесь даже смерть твоя не принадлежит тебе! Но нет, все-таки я твоя, ты меня себе присвоил и держишь. Перепад ото лба вниз, его так люблю у тебя, и запах, ты всего сильнее пахнешь у крыльев носа, от этого сложнее всего оторваться, от этого запаха, когда пора. Еще люблю как ты спишь, хотя всего один раз мы спали вместе — ты помнишь, как нам невиданно повезло, какой выпал случай! — и я проснулась раньше и видела, как ты свободен даже во сне, не то что я, сжимаюсь, как мышка, обнимаю сама себя, дрожу, и не от холода... А ты спокоен и волен, и я мыслью держусь за тебя, как за крепкий дуб, питаюсь твоими корнями, даже сейчас. Знаешь что, Серёжа, родной, знаешь, что я думаю? Я представляю, что мы станем делать, когда все закончится. Ведь закончится же, да? Ну, мы, предположим, убежим. В Англию, к примеру, ты остановишь проплывающий корабль, ну, просигналишь им как-нибудь сверху, и мы сбежим. Нас возьмет к себе порядочная семья, старик и старуха, и у них будет незамужняя дочь, больная и требующая призрения, они оставят нам все состояние и эту старую девушку, и мы подружимся, и будем ее опекать, я посажу в саду далии, какие росли у нас, а тебе буду печь оладушки по воскресеньям, когда у нас снова появятся воскресенья. Нет, почему же, каждый день буду печь, мы ничего не пропустим! Утром я впущу солнце в нашу спальню — обои в желтеньких розах — и буду смотреть, как ты спишь, и оладушки, конечно, сгорят, а я буду тихонько дуть на твою челку, так, что она начнет тебя щекотать, ты проснешься, нахмуришься, опять забыв, как мы здесь оказались, потом вспомнишь, рассмеешься и сграбастаешь меня к себе. Серёжа, ну да же? Так же будет? А потом мы снова уснем, и нас разбудит плач, и я думаю, это будет девочка. А имя? Как мы ее назовем, как мы ее назовем, нашу дочь? Ты думай. Люблю тебя сегодня так, как не любила раньше, так, что сжимаю челюсти от неистового желания прижаться и целовать, когда о тебе думаю, а думаю я о тебе всегда, и то, что со мной происходит сейчас, мне видится так, будто Бог наконец нас углядел и простер к нам свой луч, ну прямо как ты пробиваешь тучи светом этих своих линз, сбегающим с горы. Блуждающий огонь... Серёженька, мне кажется, мне сегодня кажется, что мы заблудились, но сейчас наконец пришли туда, куда должны были, или зачем вообще все это было иначе... Мне сегодня легко так на сердце! Во мне живет надежда. Давай ее так и назовем. Надя Торадинская. Красиво и со смыслом, правда ведь? Ну разве нарочно так придумаешь? Нет.

Идет Обглобля, кончаю.

Л.»

Странным было то, что эшелонная записка, чужая перепись любви, присвоенная Татой, давшая ей имя в самом начале, сейчас, в самом конце, как будто обретала себе сестру: только теперь в руки шло, возвращалось по-настоящему свое, на этом картонном обрезе выплывало из толщи — и снова именовало... Подпись, Л., — это Лиза. Дух многое знал и, оказывается, умел говорить, а где-то и Тата сама сопоставляла, вставляла в прорези его рассказа какие-то недостающие куски из лагерного бытия, хранившиеся в памяти еще из писем невесты Петра Фёдорыча. От Лизы осталось

только это письмо — ни возраста, ни происхождения, ни внешности дух не мог описать, но Тата и сама видела: и как мать, спеша, засовывала в чей-то склад ладоней (кто была их посыльной? вот эта же Оглобля, подрабатывающая связной? или другой корыстный человек? или, наоборот, добрый?) домашние еще шелковые чулки, чудом сохранившиеся на пересылке, а в чужой карман — так же спеша — пихала картонку, и как другие сообщения передавала на лоскутах, оторванных от подола, на каждой драгоценной тряпочке, химическим карандашом. Как крашены были барачные доски голубой краской, выедаемой соленым ветром сразу после свежего подновления, и те стояли седыми, с вечно разлитой широкой лужей посередь плаца, и выкрикиваемые имена бились о его края, а штабной дом двоился в глазах смотрящего, глядя в грязную воду. Где они встретились? На пересылке, густо замешенные в трюм? Здесь, на ягодном скиту, когда женщин пригнали обсиживать брусничные кочки? Или он зацепил началом своего бессрочного срока несколько времени там, в бараках, до перевода на маяк, и они выглядели друг друга поверх перекличек и разводок на лесоповал? Лица темные-темные, сушеная корка, потому что не отмыться, потому что летом на плацу солнце лепит на тебе свою маску, пока ты стоишь смирно и всеми лопатками чувствуешь, как глубока та обступающая тебя вода, от которой воздух приносит соль, и как верна лежащая перед тобой смерть. Или, скорее всего, они могли встретиться в клубе, все красное-прекрасное, и вся лежащая за морем страна, проворачиваясь с глобусом, стремится вперед, а ты, самый недостойный ее сын или дочь, должен трудом искупить и прослушать политинформацию, — а сам глазом следишь, как луч света от экранчика, на котором бегут кадры ударных строек первых пятилеток, падает, прорезая насквозь, на ее ухо под неровно обрезанным краем темных волос, подсвечивая мочку и пустую дырочку в ней, хотя нет, дырочку ты, пожалуй, сейчас додумываешь, это потом ты ее наизусть, на вкус запомнишь и отдашь все, что у тебя есть, и останется только вынуть из живота потроха, чтобы редко-редко взяли у тебя сложенную вдесятеро бумагу, прикрыли твое отсутствие, — минуты, с гермесовой скоростью пролетевшие — спиной заслонили, пока ты берешь ее лицо в свои ладони — вот так, едва ли не на марше, в пересменке, под соснами, которые не держат небосвод, но могут убить, и совсем один только раз было, что возлегли вместе и успели все узнать, впитать и запомнить, и не было в этом — литургия оглашенных — ничего животного и горячего, да на это не было и сил, но было это сразу узнаванием и нежностью, как младенца суточного распеленываешь в первый раз, возвращением на мгновенье к себе и отрешеньем от мира, и даже поверх суеты и тревоги этой, что застанут, накажут, сдадут, поверх тяжело гудящего голгофного рельса, отмечающего очередной дневной срок, поверх тьмы — было это все встречей, прощаньем, предтечей.

Родов на Острове было мало — от худосочности немногие вынашивали. Служанки, рабыни... Кто зачинал от любви? А выносившие — не все выживали. А рожденные — не все выхаживались. Вычет за вычетом, убыль и простор. Глаза тоже сдавали последние годы, и Тате казалось, что это миопийный мираж: искривленный, выгнутый дугой горизонт, согласно и географии места — почти что и полюс, схожденье меридианов. Не нужно и подниматься к чешуйчатой шишковине на храме, чтобы оттуда, с галереи, опоясывающей глаз маяка, разглядеть простор, разлегшийся во все стороны — море сосен, перетекающее в море соли. Тата и так видела. Преломляла все услышанное — как пояснение к тексту, примечания в конце книги — от духа, от которого не ждала доказательств, но вбирала архивные сводки, чуть-чуть рихтовала картину, хотя родство свое с ними ощущала не документальным открытием, а связью пуповин и предназначений — Тата преломляла все услышанное, как ломала и увеличивала, несла дальше свет линза Френнеля в глазу маяка, толстый, ступенчато устроенный, цельный кус горного хрусталя, лестница в небо, в котором всегда было — зеленое и всегда — синее, если смотреть на просвет, и только иногда — золотое и белое, и было совершенно ясно, что сталось с нарушителями режима: бесфамильная Лиза умерла родами — допенициллиновая барачная инфекция ее освободила, а Сергей

Торадинский, смотритель маяка, за запрещенную связь был низведен, определен в неотапливаемую банку карцера на нижнем ярусе храма-маяка (грелись телами, тел было больше в десяток, чем в воскресный день, на Пасху, и стояли свою литургию — лежа), бежал морем — и вознесся с рыбацкого карбаса, крашенного имперским серым и мастью личащего сизой волне. Вознесся выше галереи, выше гнутых журавцов, двенадцатью реберными дугами изнутри распирающими купол, выше всего зеленого и всего золотого, и выше Лизы, проросшей корабельной сосной, и выше девочки, по воде отправленной на материк, в детприемник.

Бестелесность их, непринадлежность родительских тел самим себе давала им и бесстрастность — и Тата догадалась, что мать не успела в своей горячке (бредила, губы запеклись, богоматерь Запечная приняла) напутствовать новорожденную — в изоляторе для живородящих. Успела лишь примотать к ее запястью пуговицу с ватника отца (уже ближе к концу всего этого Лиза зацепилась прядью за ножку пуговицы в их тесном объятьи, рванула, когда отрывалась, когда пора было от Серёжи отрываться, пуговица отскочила от его груди, и она умыкнула ее с собой, даром и оберегом). В ушко пуговицы продет шнурок, плетенный из Лизиных волос; на материке же кто-то внимательный удивленно снимет с Татиной ручки шнурок, спорет с него оплавленную пуговицу, опустит ее в бумажный конверт, подклеит в конце тоненького личного дела (имя — Надежда, фамилия — Торадинская), уляпанного синими штампами, и потом кто-то еще безразличный, но не злой отдаст однажды подросшему младенцу его единственное наследство.

А отец, принимая в горло волну, не жизни желал никогда не виденному своему ребенку, ибо нельзя было такого ни своему, ни чужому здесь желать, а желал — отрешенности. Неуязвимости для страстей. Для боли. И для любви. Чтобы руки не мерзли, не пришлось глотать камни, чтобы сердце не лопалось на колках струной, чтобы не оплакивать никого и никого не ждать. Боже упаси ее выжить, Боже упаси мою дочь, говорили, Лиза родила девочку.

Богоматерь Запечная, слышишь?

— Что вело меня все мое время, оселок, по которому шла заточка, стало мне ясно только сейчас. Здесь, на Острове, ноги по щиколотки тонут в сыром береговом песке. Сцилла и Харибда мои, рождение и умирание, долевая и уток, между которыми я всю дорогу шла челноком. Каждая воспринятая уходящая жизнь возрождала во мне мою собственную, а мое рождение — я теперь это понимаю — случившееся дважды, в лазарете на Острове и в поле у разметанного эшелона, все время толкало меня к смерти: боже ее упаси выжить, Господи, если ты слышишь, и я ее везде находила, она тянулась ко мне сама. И это желание обезболить, обесчувствить, ввести в анабиоз, залить лабораторным спиртом, чтобы однажды, когда станет можно, когда наконец не страшно, эту колбу с законсервированной жизнью разбить, — оно тоже врожденное... Обыкновенная магия, родительский заговор, оберег от беды. Замри, умри, воскресни. Многажды делала все из этого списка — кроме, толком, последнего. И кажется, что и времени лучше не будет, да и вообще никакого больше уже не будет. Есть только сейчас. Чайки эти, режущие голос, холодный чистый песок, увядшее мелкоцветье, прорастающее в воде, меж камней, и сходящее на пустой берег, вперед все далеко-далеко и серо-голубое, и маяк затеплят нескоро, и в царство другое, где не мерзнут руки, не лопается тетива в сердце, не ешь камни и не рожаешь в муках, не оплакиваешь, ибо не теряешь, и не ждешь, ибо не расстаешься, войдут те, кто найдены будут записанными в книгу. И все те, к кому я приходила, — приходили на самом деле ко мне. Пётр Фёдорович, и архитекторы Дудины, и Костик с Ясной, и Анна Арсеньевна, и Толик с виолончелью, и Лета, моя Лета. Которую я сама — вот сейчас явно вижу — заговорила от жизни, уберегла, как хотели уберечь и меня... Боже упаси ее выжить, если ты есть.

Мне осталось сейчас одно. Решить, что делать с именами, записанными в книгу — потому что в книге истерлась обложка, но важен же — текст. Передать. Продолжить цепочку. Вот что.

Осталось только решить.

И — воскреснуть.

Высокая, прямая на фоне сгорбленных, придавленных годами блеклых березок, сходящих к воде, фигура — мазок облачно-серого над горизонтом, шея, ниже темное платье — точно вписывается в раскрытую на гигантстких коленях палитру: шматы текучего серебра по верху, над горизонтом, опрокинутое в небо ледяное море, замкнутый контур бурых лесов, северная ягода, желто-иссушенная точка с самого края... Бесконечность, вечность, простор. Подходящий пейзаж для конца. И начала.

Когда настанет час, за Татой придут.

День будет, может быть, зимний, может, такой, как сейчас. Деревья облиты водой, вода застыла, и под наплывом ветра звенит стеклярус.

Их будет длинная цепь. Они идут за руку, чтобы не шагнуть в тьму по обочинам, краям, как шагают ангелы на новогодних гирляндах, мешая друг другу золочеными нимбами и звеня... Как идут дети в колпачках гномов, возвращаясь неделимой цепочкой на Детскую Гору. Или как идут конвойники по этапу, руки их за спиной, их строй тесен. Как сходят в воду по сигналу, и не умеющий плавать Соловов ломает ряд и падает в реку первый, щенячьей грудью, ошпаривая Тату, кожу с нее снимая холодными брызгами... Так ходят болящие, меряют коридоры оставшимся временем, так ходят ночные думы в тяжелых свинцовых ботинках, так протекают через город тучи, чтобы разрыдаться на окраине, в конце строки, и больше уже не грозить.

За Татой придут, когда настанет час.

Она почти никого не узнает. Ни кричащих архитекторов, ни мальчика с виолончелью, ни старуху, которая делала так много заходов к смерти, что, когда наконец ушла, никто этого не заметил, и многая, многая... Не узнает почти никого, хотя на земле оставалась единственной, кто еще их любил. Узнает лишь младенца женского рода, двух месяцев отроду нет, но сморщенное личико успело раскрыться, как распускается тугой бутон. Дочь. В корзинке, плывущей по водам. И не будет в водах никакого цинкового нутра, но будет только прощение и ожидание встречи.

И Тата пойдет с теми.

А пока отяжелевший подол полощется по волне, ногам холодно, желудок хочет горячего, веки — спать, жив каждый сосуд, каждая венка. Кто-то из-за спины, от земли, с глуби, трогает Тату за плечо и, не дожидаясь поворота ее головы, все вслух решает:

«Рассказывай».

И она начинает — с себя.

«Имя свое я украла».

Дмитрий Румянцев

Голубятня

* * *

Ну посмотри: какая ночь сегодня!
Свод облаков, как пальмовая ветвь...
Вот месяц на осляти едет в смерть,
но то не смерть — сияние Господне...
Такая ночь! Машины мчатся прочь.
Во тьме горят ночные габариты.
Идут дома по улице разбитой.
Идёт домой — по лицам — пьяный дождь.
И светофоры пробивает дрожь.
Когда умру, я буду вспоминать
вот это всё — канун великой Пасхи,
тогда сниму обугленную маску
и, новое лицо, пойду гулять
с масличной ветвью, с новым (вдруг) лицом,
с знакомою округою и другом.
Под новым небом встанем полукругом
с женою, сыном, мамой и отцом,
с желанным домом, Критом и Москвой,
с собакою, служившею мне верно,
и свет небес качнётся белой вербой,
глубокой верой, тайной, тишиной,
голубкою и глыбью неземной,
и, зажигалкой чиркнувши с осечкой,
мы встанем все горячей светлой свечкой
навек светить в чертог пресветлый Твой!

Румянцев Дмитрий Анатольевич — поэт. Родился в Омске в 1974 году. Окончил философский факультет Омского педуниверситета по специальности «Культурология». Автор книг стихов «Сравнительное жизнеописание» (Омск, 2011), «Нобелевский тупик» (Омск, 2011), «Страдающее животное» (Омск, 2013). Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Омске.

* * *

опять троллейбус, словно жук, по тёмной улице ползёт
и от жужжания внизу фонарь, как крохотный ожог
опять ночному мотыльку он светел, что ерусалим
опять, скиталец и летун, я сам себе необходим
но вновь за окнами любовь нетрезвой девушкой поёт
и я ей нужен не любой, а только так, чтоб наперёд
и барселона, и мадрид, и листопад, и звездопад
она поёт, и тьма бежит за частокол резных оград
и солнце вешнее встаёт который раз над иртышом
и сердце кровь во мне куёт о том, что это — хорошо
что, как лампадочка в руке её — вечерняя луна
уже бледна. на языке — одна любовь и тишина
коснись меня и избалуй, полночным пением пьяна,
как будто это — поцелуй, оставленный на времена
когда расходятся круги на сонных лужах, что друзья
когда старинные враги за мной, как тени, семенят
и распадается на прах и пепел будущая жизнь
и в обескровленных руках, как метка чёрная, лежит...
но я сказал — над камышом светило вешнее встаёт
троллейбус дребезжит — жуком. весна. и девушка поёт
и для кого-то нужен рай, а мне и так — везде эдем
скорее утро начинай, звезда, что светит в вифлеем...
как будто всюду — первомай, и радостно, и звёздно всем

* * *

Вот ворона кричит надо мной
старый клич похоронный.
Кто бы ведал: какою ценой
я *не слышу* вороны?

Воронёный холодный обрез,
что на сердце наставлен,
каждым звуком рождает порез
металлическим камнем.

Остановится сердце моё,
очевидно, когда-то,
и душа полетит с вороньём
безвозвратно.

Но не хочется так — через грех
и космический холод,
есть в душе для движенья наверх
белый голубь.

И когда наступает момент
разрушения плоти,
он приносит масличную ветвь
над потопом.

Что, ворона, кричишь о своём
как всегда так некстати? —
есть высокие в небе моём
голубятни.

Так что хватит кричать над страной
разошедшимся психом,
никогда ты не будешь со мной
и подавишься криком.

Так о смерти кричи на своём
языке на закате! —
есть пресветлые в небе моём
голубятни!

* * *

и спросили меня: как вы нынче живёте?
— как Беттина Брентано на коленях у Гёте —
гениально, а впрочем, чего гоношиться,
можно жить и с трагедией жизни ужиться,
можно жить, точно дети — предчувствием чуда,
тем, чему помешать не сумеет Иуда,
тем, когда нет ни эллина, ни иудея,
словно Ерусалим или та же Халдея
окружает, где звёзды стоят над порогом,
и одна, ярче всех, выступает залогом,
что и счастье, и хрупкое небо найдёте,
как Беттина Брентано на сердце у Гёте!

* * *

Собака бегает по снегу, гоняет кошка воробья,
и разлинованному свету, как юнге, видится Земля.
Здесь хорошо, здесь леший бродит сквозь злую оптику луны,
здесь всё стоит на огороде печное чучело зимы,
ещё снежинка не погасла в твоей руке, в твоей руке,
и если кто-то после счастья идёт с собой накоротке,
то он, конечно, чудо встретит и, может быть, произнесёт,
и зимний вечер, мокрый ветер его по судьбам разнесёт...

и всё случится!..

* * *

После Бога слова не сказать, не связать, как после Аушвица.
Остаётся чистою тетрадь, что воды студёная криница.
Долго к ней звериная тропа вьётся-вьётся, в руки не даётся,
ты по ней иди и отступай в дальние края первопроходства.
Пусто ещё будет на земле от простого золотого снега,
снова густо веточки аллей трогают за ворот человека.
Уходи в глухо-и-немо-ту расставаньем выверенным, честным,
оставляй нетленной красоту следом — многоточьем поднебесным.
Ведь на то и сроки новых зим на снегу оставят отпечатки,
чтобы ты любовь искал по ним, исправляя грусть и опечатки.
Это всё, чем выпало предстать перед облаками — их амвоном,
чтобы вновь неизречённым стать, дорожа небесным новым домом.

молитва

рубиновые звёзды над Кремлём, а нам так хорошо с тобой втроём
глядя, глядеть в небесный водоём, пока сынишка спит и грёзу видит
под песню о Медведице Большой, наедине с заплаканной душой,
немного неба зачерпнув ковшом, питая страсть и власть возненавидя
одна лишь страсть и власть на свете есть —
сжигать внутри сердечной мышцы взвесь
и лишь одна на всех благая весть — которая пророчит всем спасенье,
а всё иное — тундра и напасть, дай нам взойти, подняться, не упасть,
былинкой прорасти и не пропасть, слизнув наш ягель языком оленьим.

Ксения Драгунская

Странноприимный огород Амор Каритас

Фрагмент романа «Туда нельзя»

На взлетной полосе очередь, в небе толкотня и пробки, любознательные девушки спешат в Занзибар...

Лучшие умы человечества летят повидаться, поговорить, как победить страшные болезни, ненависть, нищету, сохранить планету, дать всем работу...

И переводчики, нагладив белые рубашки, устраиваются в тесных кабинах, пьют воду, пробуют микрофон, отверзают свои усталые уста...

И музыканты тоже летят, ведь музыка должна украшать мир, умягчать сердца и примирять всех со всеми.

Пассажир вышел из самолета, пробил паспорт, и вот он уже не пассажир, а гость, интурист, чужестранец, командировочный, гастролер...

Терминал огромный, новехонький... Все такое большое, а народу мало.

Так, первым делом — в сортир.

Ух ты... Направо мужицкий, налево бабский, а посередине — общий холл с тучей рукомойников и зеркалами от пола до потолка.

Выходит, мужики и бабы должны вместе начепуриваться и прохаркиваться?

Европа.

Страна, известная своими демократическими традициями.

Тихо играла задумчивая музыка, кругом зеркала, и пожилая индианка в бирюзовом сари не спеша расчесывала длинные волосы, во всех зеркалах отражаясь.

Это было странно, как будто не жизнь, а какой-то фильм.

Бывший пассажир вошел в мужскую уборную и остановился резко, чемоданчик больно стукнул колесами сзади по башмакам.

Там была пеленальная комната.

Это в смысле, что мужик может один с младенцем? Путешествовать? Перепеленать, если что. Ну, счас не пеленает никто, памперс, там, то-сё... Мужик один может с

Ксения Драгунская родилась и выросла в Москве. Драматург и прозаик. Автор нескольких книг прозы и множества пьес, переведенных на множество языков и поставленных во множестве театров России, ближнего и дальнего зарубежья.

Предыдущая публикация в «ДН» — пьеса «Дождись дождя» (2019, № 8).

младенцем. А мать где? Так, ладно... Открыл дверь — просторно и чисто, столик, раковина, навалом влажных салфеток, пахнет чистотой и так... Пахнет как бы в смысле, что все нормально, спокойно, что мужик с младенцем долетят, доберутся куда надо... Хорошая какая пеленальная комната...

То, что много лет старался забыть, что выжигал из памяти — алкоголем, сексом, работой, — оказалось живехонько и так больно заколотилось теперь внутри, где-то там, посередке, что прижал ладонь к горлу, прислонился к прохладной стене... Негритос в аэропортовской спецовке заглянул в лицо: «Ар ю окей?» — «Сэнк ю, мерси». Чуть не забыл, зачем пришел.

Мыл руки в огромном холле. Играла красивая задумчивая музыка, как в грустном фильме с хорошим концом. Индианка все еще расчесывалась. Вспомнил, что индийцы — вроде цыган, а уж индианки и подавно. Чуть не спросил: «Бабушка, погадай, может, что хорошее скажешь?» Их отражения встретились взглядами в огромном зеркале, и она ласково улыбнулась, кивнула, прикрыв фиолетовые глаза.

«Все будет хорошо, надо потерпеть...»

Потерпеть... Всю жизнь уже не прожил, а протерпел...

Нарисовался шустрик Ризя, Резниченко, старшой в группе. «Ты че такой? С лицом чего? Укачало? Давай поблюй и не тормози, уже звонили, автобус ждет...»

И пока автобус, груженный прилетевшими музыкантами, крутился под эстакадами arrival /departure, он все оглядывался на сияющее в светлых весенних сумерках здание терминала.

Пеленальная комната. В мужской уборной.

— Наташа. Наташа. Наташа. Не ори. Не ори. Не ори. Ты орать звонишь? Дай мне сказать. Короче. Прилетаем в Парижик. Всё чики-пыки. Идем устриц поесть, как люди.

А к сифудам положено белое сухое вино, чтобы не было белкового отравления. Сухенькое. И все. Полетел наш голубь. Профилактику от белкового отравления проводить. Уже без всяких устриц. Вот я как знал... Мне еще на прилете в сортире его рожа не понравилась... В самолете нормальный был, а после сортира — как с катушек съехал. Каштаны подбирал с мостовой — они, видите ли, красивые... Чуть под машину не попал... А когда городовые подошли, кричал: «Вив любеффь!» Там пацан какой-то на мосту, нелегал из Румынии, попрошайка со щенком, так он и щенка целовал, и пацана, по сто евро им в шляпу кидал... Жуть кромешная...

На второй день нас уже стало напрягать. На третий мы тебе позвонили, помнишь? Помнишь? Ты же отклоняла. Потом эсэмэс кинула. Ты эсэмэс свой помнишь? «Не лезьте ко мне, чикайтесь сами». На пятый день нам улетать, а на руках тело. Труп. Знаешь, все хорошие, когда трезвые и далеко. А рядом и в запое уже как-то не очень. Угу... Не знаю. Неинтересно. Ну что, в самолет его тащить в невменозе полном, позориться? Взяли тело, переместили по дешевке в китайский квартал в гостишку, кредитки, паспорт, мобильный в сейфе заперли... Очухается же когда-нибудь, переломается. Ну, в крайнем случае — нет. Там хорошее русское кладбище. Вот не надо, а? Предательство — это когда звонки отклоняют. Да, Наташ, да. И когда своих коллег и родину позорят, тоже, кстати. Что ему дома не бухается? По месту постоянной регистрации?

Не ори. Дай мне сказать. Все улетели, а я с ним остался. Врача русского нашел, с капельницей, в гостишку вызывал. Сраму натерпелся, денег потратил... Ты же даже не позвонила ни разу...

Я уже оттуда через знакомых нарыл бабу одну, у нее в деревне, в глуши, какое-то частное ЛТП. Передержка. Ну, как приют собачий, но вместо псов — мужики. Реабилитационный центр для мужчин в кризисной ситуации. Дотащил как-то до Москвы и туда отвез. К бабе. Он там. Ну, мало ли... Нет, бесплатно. Может, там

хозяйство, пашут на бабу эту, а может, бордель. Гы-гы-гы... Не ищи, не найдешь. Вот если он сам захочет, он тебе позвонит. Все. Все, ладно? Я кровь сдал. Мне эта командировочка до остатних дней сниться будет... Все, пробка поехала, пробка поехала, давай, пока-пока, целую-скучаю-пробка поехала-пока-пока-целую-целую-отбой...

Ой, блин, как заколебали вы все, друзьятки...

В просторной, чистой и пустой избе — три окна, непокрытый деревянный стол и большая плазма. За столом друг напротив друга сидят Собеседник (облезлый, вылинявший, истерзанный запоем человек, тот что в аэропорту в пеленальную комнату заглядывал) и Собеседница — женщина неопределенного возраста в тюбетеечке и стеганой куртке, похожей на ватник. На пустом столе — глиняная миска огурцов. Оба едят огурцы. Женщина так и хрустит, один за одним, человек жует не спеша.

— Хорошо, — говорит женщина. — Что вы любите, я поняла. Это здорово. Я тоже многое люблю из того, что и вы. Теперь расскажите, что вы ненавидите, что может вас выбесить. Вот прямо чтобы — «бесишь, сука».

— Выбесить? Да многое. Долго говорить. Не люблю, когда на часах без тринадцати минут два. Вот как увижу тринадцать часов сорок семь минут — за себя не отвечаю. Тяжелое нести не люблю, конечно. Посуду мыть. Не люблю, что мужчина по определению всем должен. Ханжей терпеть не могу. И чванливых тоже. Знаете, кто с тобой в одной общаге макароны жрал, а теперь не здоровается, потому что у тебя автомобиль не той марки... Не люблю, если у кого фамилия на Ко. Мне от них один гемор... Порожняк какой-то мучительный.... Почему вы смеетесь? Вы не на Ко, случайно?

— Я на Че. Смеюсь, потому что мне кажется, мы подружимся... А у вас-то откуда такая чудн*ая* фамилия?

— Не знаю... (Ему ужасно надоело, что все прикапываются к его фамилии. Сейчас-то еще ничего, а в детстве и юности — вообще беда.) — Не знаю. Может, кто-то из моих предков с какой-то царевной набедокурил, а может, так... Царевны какой-то пес, или конь, или шут гороховый...

— Хорошо, — кивнула она.

— Хорошо?

— Конечно. Теперь я задам вам три вопроса. Если вы не можете или не хотите отвечать на все три, выберите один и ответьте. Только честно. Что могло бы вас исцелить? Что для вас больнее всего? И ради чего или кого вы готовы на все?

Долгая пауза. Человек смотрел на ватник своей собеседницы. Моргал глазами. То казалось, что это простецкий ватник, то вдруг — что дорогущая вещь, из тонкого материала, с едва различимым вышитым узором, а на узоре огурцы и лягушки. Еще поморгал глазами. Да ладно, какие огурцы, какие узоры — обыкновенная стеганая куртка, почти ватник.

— Ручка есть? — спросил человек. — Листок?

— Нету. Я же не записываю, просто разговариваем.

— Что, прямо в целом доме нет листка бумаги?

— Зачем мне, я и так все помню.

Собеседник оглядел избу. Стол и миска с огурцами, а по стенам — плазма и карты — Народной Республики Болгария, транспорта Манхэттена, Москвы 1913 года, атлас грибов Российской Федерации. Еще график какой-то, от руки.

— Странно. Такая культурная изба, а ни карандаша, ни листочка.

— Да тоже мне, проблема, — она взялась за мобильник. — Сейчас нам всё принесут.

— Не надо.

— Почему?

— Потому что, пока будут нести, я уже передумаю.

— То есть? Этот ответ на вопрос перестанет быть актуальным, пока несут бумагу и карандаш? Или вы передумаете отвечать вообще?

— Блллль... Блин. Извините.

— Ничего страшного.

Пауза.

— Ладонь давайте. Что? Боитесь, по запястью полосну и дёру? Не полосну. Нечем...

— Да нате ладонь, тоже мне, напугали...

Она протянула через стол руку, и пальцем у нее на ладони он написал слово. Она поняла. Быстро и пристально, цепко поглядели друг на друга, но он опустил глаза, спрятал, она еще смотрела на его серое, измученное пьянкой лицо, на редеющие каштановые с проседью волосы.

— Это правда?

— В смысле?

— Вы не можете даже произнести это слово вслух? ТАК болит?

— Сука, бесишь!

Тут же осекся и съежился, провел ладонью по лицу сверху вниз, сказал тихо:

— Извините.

— Ничего, — она смотрела на него грустно. — Все хорошо.

— Что хорошо-то?

— Вы приняты. Сейчас вас проводят в вашу избу. Познакомят с соседями. Выдадут сапоги и ватник.

В избе, куда привели, было натоплено и вкусно пахло щами. Толстый дядька в линялой ковбойке протянул руку:

— Белогнутов Андрей Михайлович, дежурный по вашей светлости. А ты Царевнин, знаю уж. Ну и фамилия... Счас суп есть будешь.

От глиняной миски пахло изумительно, да и есть уже захотелось — несколько дней ничего не ел, пока «болел», потом отходил от «болезни».

А как прихватиться? Руки гуляли капитально — ни ложку до рта донести, ни миску взять, чтобы выхлебать.

— Смотри-ка, что делается! — кивнул за окно Белогнутов.

Царевнин повернулся к окошку. Ничего особенного не происходило, у ворот пришвартовалась машина «рено» типа «дастер», вышла полная немолодая блондинка, накрашенная густо.

Про себя Царевнин тут же прозвал ее «Гастроном».

— Ты ешь, а я на подмогу, — сказал Белогнутов, надевая ватник. — Ешь, говорю, приду — проверю!

Царевнин осмотрелся — поди, камер понавешано... А и хрен бы с ним... Наклонился и выхлебал, вылакал щи, как барбос, зубами подцепляя куски мяса. В животе стало тепло и на душе чуть получше.

Царевнин посмотрел в окошко.

Там показывали немое драматическое кино — Гастроном, активно и сердито жестикулируя, наступала на мелкого, тщедушного, но очень прямого паренька, стриженного прической «каре». Паренек пятился, но ничего не говорил — держался прямо и молчал. Аршин проглотил и воды в рот набрал, одновременно. Гастроном ругалась, наверное, матом, а из открытого «рено-дастер» громко радовали слух песни Стаса Михайлова. Подошел толстяк Белогнутов, спрятал мелкого паренька себе за спину и стал что-то говорить Гастроному, отчего златозубая дама и вовсе осатанела и принялась махать кулаками у широкого, щекасто-очкастого лица Белогнутова. В машине Стас Михайлов сменился Таней Булановой. Подошел очень высокий

белесый малый и долгой рукой с огромной ладонью обнял и Белогнутова, и мелкого. Царевнину понравилось, что мужики так стоят друг за друга. Они поорали немного, и Гастроном села в машину, яростно шарахнула дверью и увезла прочь жалобные плачи Тани Булановой. Осанистый паренек со стрижкой «каре» повернулся по-другому, и Царевнин увидел его немолодое потрепанное лицо.

Вернулся довольный Белогнутов:

— За Июнькиным жена приезжала. Творческая интеллигенция — котов сдает для киносъемок или там если реклама. Вспомнила про мужика, когда говно кошачье выгребать некому стало... Не отдали!... Да ты все съел! Ну что за парень-молодец! — обрадовался Белогнутов, как добрая няня в детском саду, Царевнину даже показалось, что он его сейчас по голове погладит. — А Июнькин-то какой крепкий — не забоялся бабищи своей, так мол и так, никуда не поеду.

— А он кто?

— Божий одуванчик. Судьба у него была трудная, а теперь здесь. Навсегда. Он в озеро наше влюбленный, не разлучится... Сам тебе про все расскажет, если подружитесь. Ладно. Ложись кочумай. Тебе теперь первое дело — спать. Отхожее место за домом слева, а на крайняк ведро в сенях имеется. Так что спи на здоровье.

— Я не могу спать, — неожиданно для самого себя признался Царевнин. — Боюсь.

— Это что вдруг? Чужие здесь не ходят, а наши мужики хорошие, скоро познакомишься.

— Боюсь, меня бесы утащат, — признался Царевнин.

Это была правда. Однажды ночью, когда не мог уснуть, стонал, ворочался, пытался молиться и давал страшные зароки, из мучительной полудремы явились какие-то отвратительные рожи то железные, то шерстяные, и говорили — ты наш, всё, ты наш, ты Богу не нужен...

— Придешь утром, а от меня одна одежа осталась. — Царевнину стало жалко себя.

— Это с какого переляку они тебя, дурака, утащат?

— На органы.

— Тю! — засмеялся Белогнутов. — На кой им твои органы, там, поди, от органов труха одна.

Царевнину стало обидно за свои органы и еще жальче себя. Чтобы не заплакать, он спросил:

— А как это озеро называется?

— По-всякому. Тут столько разных народов побывало, каждый по-своему звал... А еще береговая линия сильно изрезана, затонов, бухт много, каждому затону отдельное имя дадено. Так-то! А теперь спать. И руки чтоб поверх одеяла, — подмигнул.

«Цирк какой-то, — подумал Царевнин. — Спектакль».

Этот Белогнутов явно не такой валенок. А старается показаться валенком, потому что считает валенком его, Царевнина, ведь Царевнин тоже старается показаться простаком и алкашом из подворотни, для безопасности — чтобы никого не раздражать своими никчемными в этом месте знаниями и «московством». Царевнин знал, что чистый московский выговор и грамотность могут быть опасны для жизни.

Царевнин обрадовался — уже может раздумывать. Эта радость успокоила, она была сильнее тревоги, что кончились пилюли, которые доктор дал в дорогу.

Он легко заснул в тепле и спал хорошо, снилась чушь, но нестрашная — два милиционера, какие раньше были, в голубых фуражках и в форме, ныряют в озере, ухая и фыркая, а на берегу, на чистой мягкой траве стоят дети и смеются, и большие меховые собаки тоже улыбаются, машут хвостами.

Утром умывался в сенях ледяной водой — понравилось. Пришел Белогнутов проводить на общую кухню. Царевнин пожал ему руку и сказал:

— Андрей Михайлович, я музыкант из Москвы, со мной на гастролях во Франции запой приключился, подвел я очень, и друзья меня сюда определили, в назидание.

— Починим! — заверил Белогнутов. — А я из Питера, преподаватель истории и географии. На пенсии, конечно.

— Вы мне скажите, пожалуйста, — это мы все где?

— В Огороде, — серьезно сказал педагог. — Это такой Огород.

«Где я?

Ризя! Ты куда меня засунул, Саша-Ума-Катя-Ася? Что это за богадельня? Какой-то, Боря-Лида-Яша-Дима-мягкий знак, санаторий, профилакторий общего режима. Песочница для мальчиков пятьдесят плюс.

Походу, я тут самый молодой. Детская площадка «Ветеран». Колхоз «Старый конь». Турбаза «Лузер». Дачный поселок «Неудачник». Огородная артель. Мужской бордель для одиноких баб Нечерноземья. Кстати, это вообще какая область? Никто не знает. То ли Тверская, то ли Смоленская, а то и вовсе — Псковская. По номерам машин не поймешь: то одно, то другое. Глухой угол.

Эта баба, что собеседование проводила, она кто? Врач? Психолог? Психологов ненавижу. Сестра-хозяйка? С ней как говорить вообще? Ты ей что про меня наплел? Она приезжает, привозит харчи и лекарства, если кому надо. Тут кухня-столовая есть в отдельной избе с большой террасой. Готовим по очереди, когда на печке, когда на плитке, и две микроволновки есть. Еще есть баня и «салон», или «штабной вагон» — пустая изба с большой плазмой. Правда, похоже на детсадовскую дачу, только на стене террасы объявление: «Просьба найденные в лесу боеприпасы на территорию не приносить». Самый запад, Ризя. Эти края всегда под раздачу попадали. Последние лет пятьсот. В болотах до сих пор самолеты лежат, ржавеют. Мины — эти просто как грибы. Интересные места, для тех, кто понимает. Ризя, вы меня надолго сюда определили? Нет, я не протестую, я просто спрашиваю. Вообще жить можно. Избушки наши разбросаны по пригоркам, рядом озеро большое, такой загогулиной, как звать, никто точно не знает, тут один чокнутый целыми днями на озере зависает, не рыбачит даже, а так... Дружит. Постояльцев сейчас человек десять, я пятерых уже знаю, вроде нормальные, и совсем не все алкаши. Работать не заставляют, только самим себя обслуживать, готовить, стирать, порядок поддерживать, ну и огород. По вечерам телевизор и настольные игры. Я тебе письмо пишу от руки, потом сфотографирую и при случае, как поднимусь в поселок, на станцию, тебе отправлю на мыло. Там интернет хороший, четыре джи прямо со свистом летает, и вообще — цивилизация, магазы, почта, сбербанк, аптека. Тут красиво и тихо. Чтобы пересидеть, очухаться — самое то. Вот я и пересижу, а там видно будет. Ты платил за меня много? Я верну. А передержка эта? За деньги? Верну все! Точно, передержка, только вместо собак — мужики. Прости, что так подвел на гастролях. Прости, друг. Наталье передай как-то аккуратно, что я к ней не вернусь и искать меня не надо. Ну давай. На днях отправлю это письмо. Ризя. Ты мне друг, скажи честно. Просрал я свою жизнь? В хлам просрал?

Или еще не совсем?»

Царевнин сфотографировал письмо.

Кончался март, пахло водой, оттаивающей землей, костром, слышалось, что где-то работает пилорама.

Постучавшись, заглянул Белогнутов, протянул два крепких яблока.

— Свои яблочки, наши. Храним грамотно, секрет старинный знаем... Ну что, пойдешь в штабную? Наши «мафию» затевают...

Довольно скоро Царевнин прекрасно освоился, или, как говорят про псов и котов, — «прижился», и жалел только, что не может репетировать, упражняться, инструмента нет. Беспокоить Ризю, гонять в такую даль — надо же и совесть иметь когда-то, и так попил уже Ризиной кровушки... Хорошо Июнькину, «ебанату кальция», как называет его мужлан Буйвидас, — уходит в луга, в поля и танцует, под свою внутреннюю музыку, хоть до упаду. Июнькин обожал танцевать, с детства прилипал к телевизору, когда передавали балет или народные танцы, ходил в хореографические кружки, а папа его, милицейское начальство в маленьком южном городке, считал, что мужик без погон — не мужик. Папа устроил сына служить в армию не куда попало, а во внутренние войска, зэков охранять. На этом почетном поприще с Июнькиным что-то произшло. «Из армии вернулся головушкой прискорбный. Не то побили, не то секретность какая, — рассказал про него Белогнутов. — А потом еще четыре женитьбы перенес. От этого тоже с головой лучше не становится...» После армии, ко всему прочему, Июнькин утратил способность к деторождению, хоть и сохранил пригодность для супружеской жизни. Это удачное сочетание, а также немногословная кротость, привлекали к нему, мелкому, как подросток, крупных, крикливых и властных теть постарше.

Теперь Июнькин привязался к озеру, смотрел на него, сидел на берегу и что-то ему рассказывал, смеялся и купался с апреля по ноябрь, не простужаясь. А то уходил в луга и танцевал под свой внутренний тамтам.

Парники большие, даже мужлан Буйвидас, самый высокий в Огороде (подобранный хозяйкой на невольничьем рынке возле Мытищ), спокойно стоял во весь рост. Круглый год свежие огурцы, помидоры, перцы — поди плохо? Следили за чистотой и порядком на территории, за печками, дровами и колодцами. Жили мирно, только толстяк Белогнутов и пожилой ловелас Маркович не здоровались и не разговаривали друг с другом. Знойный, с седыми кудрями в синеву, Маркович измерял годы в женах. Никто почему-то не говорил ему, что выражение «три жены тому назад» придумал Воннегут и чтобы он не больно-то важничал.

А если и случались ссоры-споры среди постояльцев Огорода, то исключительно на микологические и ихтиологические темы: какая рыба как называется, какие грибы съедобны, а какие нет.

Ближе к лету в окрестностях появлялись копатели и монетчики. Копатели искали в лесу боеприпасы и «поднимали» останки бойцов. Были официальные поисковые отряды и просто любители старого оружия. Монетчики шерстили окрестности дачи помещика Алатовича, искали старинные монеты. Но копателям со стариной везло больше — говорили, что недавно был найден сборник Гёте 1914 года издания и немецкий солдатский медальон 1941-го. Наверное, какой-то отец благословил своего сына этим сборником с готическим шрифтом. В свободное от огорода и хозяйства время постояльцы присоединялись к копателям или монетчикам, рыбачили, мастерили или предавались своим увлечениям: опальный журналист Мухов обожал реанимировать старые радиоприемники и магнитофоны, а его сосед — контуженый спецназовец Генварёв — любил готовить. Два раза в неделю парились в бане. Иногда помаленьку выпивали, кому можно. За выпивкой или у костра беседовали, рассказывали, кто как ранился, резался или обжигался, кто откуда падал и как тонул, у кого какой чудила в армии был сержант, у кого какая сука теща... Кто как убегал на машине от гаишников, у кого какая машина в каком году как ломалась... Рассказывали анекдоты и небылицы. Когда анекдоты и небылицы кончались, просто хвастались, врали или жаловались — про женщин. И всегда все разговоры — после бани, у ночного костра на берегу, на привале в лесу или разбирая старый автомобиль — все разговоры приводили к женщине, устроившей этот запоздалый мальчишеский рай с карасями, щенятами, кострами и поисками кладов. Кто она? Врач? Изучает их, что ли? Предприниматель? Скучающая богачка? Откуда у нее семь изб плюс штабная плюс кухня плюс баня? Это

же какое богатство! А красный «рэнглер-рубикон»? Неизвестно. Никто даже толком не знал, как ее зовут. Спецназовец гнал телегу, что она — потомок тех испанских детей, которых доброе советское правительство вывезло от фашистов, и что зовут ее по-испански Амор Каритас. Царевнин удивился, почему Белогнутов и журналист Мухов (эти-то двое наверняка знают) не объяснят остальным, что Амор Каритас — благотворительная организация или вообще экспонат в музее, образ, и человека так звать не могут.

И сам тоже не стал объяснять.

Всегда спокойная, приветливая, она всех называла «хорошие мои», неважно, обращалась ли ко всем или к кому-то одному. Говорила тихо, поэтому ее и старались услышать. Летом в льняной, расшитой васильками тюбетейке, осенью и зимой — в чем-то вроде хевсурской шапочки, в валенках или резиновых сапожках с хохломскими узорами, так, дачница за рулем красного «рэнглера-рубикона». Никто даже не знал, сколько ей лет. Решили — от сорока до шестидесяти. Бабы сейчас и не такое умеют. У них не поймешь. Примочки там всякие. А она вообще бойкая такая... Царевнину она казалась ровесницей, за сорок, да.

Рассказывали:

что она бросила умирающего старика-отца;

что она отказала жениху прямо в загсе, и он повесился;

что с ней не общается, за что-то обидевшись, единственный сын,

и вот она якобы хочет искупить вину всех баб перед всеми мужиками и устроила этот Огород.

Царевнин понимал, что это фольклор, устное народное творчество.

Следующим сегментом «огородного» фольклора были истории про первых постояльцев. Тут возникали разночтения — одни считали, что первым постояльцем был беглый монах Иероним Отродьев, другие — что немецкий дальнобойщик Фитцнер. «Иероним Отродьев — это уж слишком», — сразу решил Царевнин. Но и про Фитцнера тоже не очень понятно... Якобы немецкий дальнобойщик Фитцнер, боясь проезжать весовой пост на перегруженной фуре, свернул с трассы на грунтовку и прямо под знаком «Осторожно, дикие животные» сбил косулю. Опасаясь, что его «примут» егеря, инспектора или просто неравнодушные граждане, Фитцнер не поленился выкопать и зашвырнуть в ближайшее болотце дорожный знак, а сам, тщательно заперев вверенное ему транспортное средство, груженное доверху заграничным дефицитом, взял на руки пораненную косулю и двинулся напролом через лес, надеясь встретить добрую русскую женщину, и не ошибся. По одной версии, Фитцнер и Амор Каритас вылечили и выпустили грациозное животное, по другой — зажарили и съели. Ну ведь пурга же, дивился Царевнин. Какой немец попрется по грунтовке объезжать пост весового контроля на трассе? Начнем с того, что нормальный немец и фуру перегружать не станет. Да и вообще — напролом, через леса и поля, прется лирический фриц с пораненной косулей... Картина маслом! Вот же ахинея, думал Царевнин, но не спорил.

Третьим сегментом уже не огородного, а окрестного фольклора был местночтимый святой с красивым именем Блаженный Пролетарий, но тут царила такая непролазная путаница, что Царевнин и не пытался вникнуть.

У Амор Каритас был дом в соседней деревне, за мысом, в другой бухте, и в Огород она наведывалась в неделю раза два, узнать, как все поживают, не надо ли чего. В «штабной» избе на стене висел рукописный график, на котором Амор отмечала по пятибалльной системе «плачевность» постоятельцев: внешний вид, настроение, коммуникабельность, связи с родными, планы на будущее.

У Царевнина в день прибытия были одни нули, но скоро исправились на твердые троечки. Привозила и гостинцы из города — сладости, зарядки для мобильных, лекарства. В райцентре на самой крутой улице Ленина у нее была мансарда. А кто там

еще жил с ней в этой мансарде — неизвестно. Некоторые пытались называть ее «матушка», но какая она им матушка, если кому ровесница, а кого и помладше? Пытались называть «сестра» — тоже что-то не то, по-церковному как-то, а она не из этих. Так что называли все-таки за глаза — Амор Каритас, как ни крути. А вслух — «уважаемая». На «вы».

Однажды играли в жмурки, бегали и ржали, как дети, она приехала, села в сторонке, грызла орешки, улыбалась невпопад, потом, не простившись, уехала...

За чаем после бани Маркович стал гундосить, что это оскорбило его мужское достоинство. Что мы, дескать, в жмурки, а женщина смотрит.

— Голышом? — спросил Белогнутов (он не играл), но не Марковича, а всех.

— Еще чего! — тут Маркович совсем обиделся.

— Одевшись, — объяснил мужлан Буйвидас.

— Тогда — в районный суд, — серьезно решил Белогнутов. — А если бы голышом — то в Гаагский.

Секунд пять молчали, а потом хохотали как безумные.

— Да может, она и не видела ничего, — подал голос Июнькин. — Смотрела вроде на нас, а видела что-то свое. У меня с ней так однажды было. Зашел в «штабную» спросить что-то, разговорились. Она смотрит так жалостно, будто все понимает, меня и понесло. Все ей вывалил. Что никогда никому, ни попу, ни маме, потому что — невозможно. Она кивает, кивает, а потом вдруг поморгала-поморгала и говорит: «Ой, извините, я прослушала, задумалась что-то».

— Это она нарочно так сказала. Чтобы, если ты потом пожалеешь, что рассказывал, чтобы ты не стеснялся, — объяснил Белогнутов.

— Играется в нас, как в куклы, — нахмурился опальный журналист Мухов.

— Всю бы жизнь в меня так игрались, — Июнькин улыбнулся, глядя кротко, как Соня Мармеладова.

Он был страдалец. Поговаривали, что бабы его не раз в карты проигрывали.

Царевнину хотелось называть Амор Каритас сестрой. Думал даже — вот была бы у меня такая сестра, жизнь бы по-другому сложилась. То есть вообще сложилась бы... Сестра... Но получалось по-монастырски как-то... Однажды заметил, как она посмотрела в спину парню, мастерящему новые ступеньки в деревянной церковке у озера. Коротко, бегло взглянула на худую, загорелую, в свежих комариных укусах спину... «Ничего себе... Сестры так не смотрят...»

И дал ей тайное, только для себя, имя.

Несестра.

Итак: Белогнутов, Буйвидас, Генварёв, соблазненный и покинутый Гриша-анестезиолог, Июнькин, Маркович, Мухов и Царевнин — обитатели Странноприимного Огорода Амор Каритас, и каждый обитатель достоин отдельного романа.

Иммерсивно-интерактивного спектакля-бродилки... Душераздирающего сериала...

Научного исследования...

Или сказки.

Белогнутов был хороший. Опекал вновь прибывших. А уж мужлан Буйвидас, забияка и матершинник, белобрысо-седой каланча, который тоже защищал Июнькина от жены, находился, как говорили в советские школьные годы, под положительным влиянием Белогнутова.

История появления мужлана Буйвидаса в Огороде — «кино и немцы». Рабочий крупного завода за Уралом, Буйвидас никогда не бывал в Москве, но каким-то невероятным образом оказался на вылете в Домодедово, где до помрачения рассудка

возмутился расценками на упаковку багажа. С криком: «Да ты, такой сякой, мать твою разэдак, хоть знаешь, какие у нас за Уралом получки?!» — Несчастный набросился с тумаками на парнишку-упаковщика. Крик, визг, скандал...

— Ты с какого дубу рухнул, хуепетало? — вежливо спросили его в аэропортовском отделении милиции. — Что ты к пацанам прикопался? Они, что ли, расценки устанавливают, тундра ты неогороженная? Не умеешь вести прилично, так нечего вылазить из своего Кислодрищенска, еще залупаться тут.

У Буйвидаса в печенках сидел его скучный, нищий и некрасивый родной город, но если этот город обзывали чужие, а уж особенно ненавистные москвичи, его переклинивало. Хорошо, полицейских трое было.

Намяли ему хорошенько бока и сказали в утешение:

— Радуйся, тундра, что не в Америке живешь. В Америке кто на полицейского попер — пулю в лоб без суда и следствия. В КПЗ тебя определить, или договоримся?

Буйвидасу удалось договориться.

Без денег и мобильного он пошел по шоссе куда глаза глядят и, увидав через поле церковь, свернул на боковую грунтовку, прибавил шагу.

Может, в церкви работу какую дадут или так, советом. Жене бы позвонить, чтобы с ума там не сходила... Ну, попал...

В церкви было пусто и темновато. За свечным ящиком копошилась бабуля. Буйвидас неумело перекрестился на какого-то святого и изложил бабуле свою беду, попросил мобильный, позвонить жене.

— Прямо и не знаю, — пригорюнилась бабуля, как будто для того чтобы дать человеку на три минуты мобильный, требовались какие-то особые знания. — Батюшка главу администрации с днем ангела поздравлять уехал, сперва официальное поздравление, потом банкет, сам понимаешь, быстро не будет... Голодный небось? А мы с тобой сейчас делом займемся. Кошек у нас на заднем дворе развелось, очень воняют, а матушка на восьмом месяце, токсикоз... Сейчас пойдем с тобой, я приманю, они меня знают, а ты их в мешок с камнями, я и мешок и камни-то приготовила уже, в мешок с камнями и задами-задами, чтоб никто не видал, на речку... А я тебя кашей накормлю.

Секунд тридцать Буйвидас переваривал это заманчивое предложение, глядя с высоты своего роста на голову в благочестивом белом платочке. Это в какой книжке, что в школе читать заставляли, пацан бабку топором по чайнику угостил?

— Да отвянь ты, короста, — сказал Буйвидас и пошел прочь.

Пересчитал оставшуюся в карманах мелочь и, когда ноги стали заплетаться от усталости, сел в маршрутку и через полчаса оказался в ненавистной и страшной Москве.

Позвонить никто не давал, хоть плачь. Буйвидас понимал, что в Москву стекается много шантрапы и жулья и люди привыкли бояться друг друга и не верить. И все равно обидно было.

В закоулках длинного подземного перехода услышал музыку — чудно! Пошел на звук. Женщина играла на скрипке, а некоторые прохожие клали деньги в раскрытый футляр, кто мелочь, а кто и бумажку. Музыка понравилась Буйвидасу, он стоял и слушал, задумав попросить у женщины позвонить — она наверняка добрая, злой человек не может играть такую красивую музыку, а то, что женщина хмурится, — так это от старания. Поди вот поиграй на скрипке, это только кажется, что легко! Дождался, когда женщина опустила скрипку и стала пить из термоса, и рассказал ей про свое жесткое попадалово. Женщина хмурилась. Достала мобильный. Долго в нем ковырялась, подняла глаза и сказала Буйвидасу адрес московского представительства его родной губернии.

— Иди туда, обязаны помочь.

Буйвидас принялся благодарить.

— Стольник возьми, — она кивнула на скрипкин футляр. — Два возьми.

«Хорошая какая, — думал Буйвидас, — верняк приезжая. Москвички такие не бывают».

Ступенечки, ведущие к двери представительства малой родины бедняги Буйвидаса, были средь бела дня огорожены решеткой, решетка заперта.

«Ё! — Буйвидас забеспокоился о родной губернии. — Может, стряслось чего? Доигралось начальство? Упразднили, а то и слили с кем, для отпимизации?»

О приемных и неприемных часах он даже не подумал.

Хотелось есть, пить, присесть, умыться, в сортир... Все в Москве стоило денег. И очень хотелось позвонить домой.

Буйвидас присел на лавочку в сквере. Наискосок через сквер шагали два совсем молодых парня с упряжкой мелких собачонок, жевали на ходу и смеялись.

— Пацаны, дайте мобик, домой позвонить, — попросил Буйвидас.

Парни переглянулись, достали из бумажного пакета гамбургер, протянули Буйвидасу и удалились танцующей походкой.

«Пидоры ведь», — смотрел им вслед Буйвидас. Но гамбургер съел.

Буйвидас не знал, что не во всех церквях предлагают убивать кошек за тарелку каши. Не знал, что есть церкви, где и помогут, и накормят или просто скажут, где переночевать. Даже переговоров вести не надо — бывают церкви, где прямо в прихожей висят объявления «К сведению бездомных граждан». Ведь бездомный, как ни крути, тоже гражданин нашей большой и дружной страны.

Когда он задремал от усталости, из внутреннего кармана куртки вытащили паспорт...

Каюк...

Буйвидас проболтался в Москве трое суток и понял:

Здесь все боятся друг друга.

Никому ни до кого нет дела.

Половина уличных московских попрошаек — рабы, половина — мошенники. Случайному человеку, реально попавшему в беду, среди них не место — убьют. Или мошенники, или «смотрящие» при рабах.

В полицию обратиться — тоже тема. Знаем. Плавали.

Хоть топись или вешайся.

«Трое суток в Москве едва не стали для Буйвидаса полным трендецом», — наверное, именно так бы выразился какой-либо молодой автор из Буйвидасовых уральских земляков...

Амор Каритас подобрала Буйвидаса на невольничьем рынке возле Мытищ — увидела в толпе мужиков из Средней Азии высокого и белобрысого, выделявшегося, как выделяется потерявшийся породистый пес из всей бродячей стаи.

Амор съехала на обочину и окликнула его через окошко. Он подошел, заглянул, наклонившись.

— Что случилось? — спросила Амор.

— Уважаемая, дайте по мобильному домой позвонить, — произнес бедняга намозолившую язык фразу.

Потом он с изумлением вспоминал, что Амор включила аварийку, посадила его рядом с собой, дала телефон, но даже не заблокировала двери.

Буйвидас объяснял жене случившееся, стараясь не материться при чужой женщине, от этого получилось дольше, потому что приходилось подбирать слова, а Амор всё слышала. Выходило, что возвращение на родину в ближайшем будущем уральскому горемыке не светит. Когда он, шумно, протяжно вздохнув, протянул ей мобильный, Амор сказала:

— Могу отвезти вас в одно безопасное бесплатное место, перекантоваться, сколько надо. Подумайте.

Тут и думать было нечего.

— Вы по хозяйству умеете? — спросила она.

— Вроде не безрукий.

Она уже включила левый поворотник и смотрела налево, чтобы влиться в поток.

— Только сначала вам придется заехать вместе со мной в деревню под Переславлем, там у знакомых детей праздник.

Что за Переславль такой? Где это?

— Придется так придется, — с достоинством ответил он.

И поехали с ветерком — Амор открыла все окна в машине, Буйвидас понял, что воняет, мучительно стеснялся и молчал все полтора часа, что ехали до детского праздника.

Въехали в распахнутые ворота на участок с соснами и чистой травой. Топилась баня. В беседке накрывали стол с самоваром.

Тут и там мельтешили разновозрастные дети, некоторые, и пацаны и девчата, были на удивление красивы. Глаз не отвести. Большая бревенчатая изба со всех сторон оклеена, обвешана, окутана, украшена детскими рисунками.

— Сегодня праздник детского творчества, — объяснила Амор. — Его проводит мой большой друг, художник-кукольник, Николай. Это его дом. А вот и хозяин!

Буйвидас увидел хозяина и испугался — заразился, что ли, от гамбургера пидорского? Пятьдесят с лишним лет прожил на свете Буйвидас и никогда не обращал внимания на мужиков, вернее, не отличал красивого мужика от некрасивого. Пофиг было. А тут прямо обалдел, увидав хозяина в льняной латаной рубахе и тертых джинсах — богатырского телосложения, уж никак не меньше ростом, чем сам Буйвидас, смоляная бородища начинается прямо от высоких скул, а глаза карие, теплые, смеющиеся и грустные одновременно.

— Здравствуй, светлая моя, ненаглядная, — хозяин поцеловал Амор в плечо, поручкался, не задавая вопросов, с Буйвидасом, и стали втроем выгружать из багажника коробки со сладостями и фруктами.

Даже прожив безмятежно уже несколько месяцев на Огороде, Буйвидас вспоминал дни в деревне под Переславлем как счастливейшее время. Парился в бане, купался в мелкой быстрой речонке с чистым песчаным дном, разок сходил по грибы — полчаса, и ведерко подосиновиков, помогал по хозяйству, сидел вместе со всеми за столом, слушал шутки и умные разговоры, которых большей частью не понимал, но было интересно. Гости у Николая не переводились, день и ночь топилась баня, жарились на мангале шашлыки, кипел самовар. Собирались и москвичи, и ярославские, и вологодские — эта деревня, полная художников, поэтов и ученых, была им вместо дачи. Кто бы сказал, что деревня может быть такая, ни за что не поверил бы! Николая тут называли просто Борода, а он всех вьющихся вокруг женщин Манями или Дусиками, чтобы не запутаться в именах. И Амор тоже называл то Маней, то Дусиком, а то вдруг — Агафья Тихоновна, и все смеялись. Буйвидас понял, что это не настоящее имя, а погоняло, кличка, прозвище, но, наверное, не обидное, потому что Амор улыбалась в ответ. Гости уезжали и приезжали, спиртные напитки лились рекой, но никто не орал, не матерился, не лез драться, а бабы не закатывали пьяных истерик. Все были просто веселые. Какие-то другие люди, другая порода, не те, к каким Буйвидас привык. Даже москвичи были другие, не похожие на тех, кто встречался бедняге на улицах — здешние все порывались собрать ему деньги на билет домой, а узнав, что украден паспорт, принимались искать пути скорейшего восстановления документа.

— Владимир поедет на Огород и проведет там столько времени, сколько

необходимо, пока за ним не приедут родные со всеми бумагами, — твердо сказала тогда Амор.

(Буйвидас прожил на Огороде почти год — была волокита со справками, потом хворала жена, потом рожала младшая невестка, потом не могли оторваться от работы сыновья...)

— Все нянчишься? — язвительно спросил носатый дядька с детским прозвищем Пуся. — Авось поможет?

Амор пристально без улыбки посмотрела на него:

— Долго объяснять.

Буйвидас смотрел на хозяина, на этого самого Колю-Бороду, в вытертых джинсах и латаной рубахе, на его руки по локоть в саже и понимал теперь, что никакой он не красивый — ну подумаешь, высоченный и бородища... То, что так поразило Буйвидаса, когда увидел Колю первый раз, — была свобода. Свобода и есть красота, а взять ее негде, или есть она в человеке, или нет. Никогда в жизни не видел Буйвидас таких свободных людей... И надо же — в каждой закорючке, в сучк*е*, в шишке видит этот чудак душу, жизнь, рожицу, существо, лесовика, бабку-ёжку, чертяку, кикимору, не пойми кого... Вся терраса Колиной избы была заставлена его «куклами» и завалена материалами для будущих существ.

За завтраком Буйвидаса послали в избу что-то принести, и он поразился бардаку и бедности. А еще сильнее поразился, глядя на портреты и фотографии необыкновенно красивых женщин. Так и стоял, таращился, не услышал, что вошел Борода и усмехнулся:

— Красивые? Мамочки наши...

И под пивко («надоели мне все, давай, мужик, посидим в тишине») рассказывал Буйвидасу, что смолоду был крайне охоч до бабьей красоты, но и бабы до него охочи были, однако ни одна не выдерживала безалаберности, бардака и бедности.

Семеро необыкновенно красивых детей от трех законных и трех — так... Видеться с детьми не всегда дают, спасибо, сюда на несколько дней отпускают, когда праздник... Буйвидас скумекал, что все это безудержное веселье и толпа гостей круглое лето — от кромешного одиночества. Ему стало жалко этого красивого, щедрого, веселого с виду и такого грустного, несчастливого человека. Захотелось рассказать про свои обломы с бабами, но не знал как, потому что никому никогда не рассказывал. Хотел тоже спросить, что это за огород такой и кто такая Агафья Тихоновна, но постеснялся.

— Забей, Колян, — только и смог сказать.

Когда уезжали, Борода провожал за ворота, говорил Буйвидасу:

— Оставайся тут, мужик. Какая разница, где время коротать? Доживем с тобой до белых мух, а там видно будет...

— Вы до белой горячки тут доживете, — строго сказала Амор.

— Ты, Агафья Тихоновна, как замуж за меня надумаешь — эсэмэску брось. — Борода, наклонившись, заглядывал в окошко машины, улыбался, а глаза печальные.

— На Фейсбуке запощу. Пристегивайтесь, Владимир, дорога дальняя.

И долго, долго под молчаливую (без слов) красивую музыку ехали по холмам и равнинам, мимо пустых деревень, и Буйвидас дивился красоте и заброшенности средней России, которую раньше никогда не видел, все смотрел и смотрел в окно. «Земли-то, земли сколько пропадает... А в войну, небось, столько людей за нее полегло...»

Ехать было хорошо, молчать и ехать под музыку, как будто он смотрел какое-то интересное кино про себя...

И Буйвидас никогда никому не говорил — ни про художника, ни про «Агафью Тихоновну», ни про «долго объяснять», ни про долгую дорогу под музыку. Ни в Огороде не говорил, ни потом, дома...

— Литовец? — спросил Белогнутов, услышав фамилию Буйвидаса.

— Русский, — огрызнулся тот. Привык, что докапываются. — Фамилие такое.

— А ты не стесняйся. Литовцы крутые. Это счас с гулькин нос странишка, а так-то очень крутые. Великое княжество Литовское, хоть слыхал? Твои, между прочим, эти края триста лет под собой держали.

Буйвидас оглянулся, словно надеясь увидать вокруг каких-то «своих». Своими были мужики из горячего цеха и семья. Никаких других своих быть не могло.

— А что ни слова по-литовски, не твоя вина. Предков, небось, в сороковом в теплушках за Урал командировали?

«Отвали», — чуть было не схамил по привычке Буйвидас, но вдруг не схамил. Промолчал неожиданно.

Никаких рассказов о своих предках он припомнить не мог.

Вся материна родня была русская, местная, уральская, а с отцовской стороны... Тоже русская. Только какой-то двоюродный дядя или дедушка в жилетке... В жилетке... Прадедушка, прадядя... Жилетка с вышивкой... Усатый дедок откладывает в сторону короткую трубку, сажает на колени... Говорит непонятное... Ажуолюкас, лапинюкас... Смеялся от этих слов, а дедок повторял...

— При Советах-то просто было, — развспоминался тем временем Белогнутов. — Купил билет за семь рублей и поездом — в Вильнюс. Хороший город. Любили мы в молодости это дело. Даже слова некоторые помню. Лабутис. Приветик, значит. Ачу — спасибо. Пянас — молоко. Ну и блины картофельные, конечно... Лучше нигде не едал.

Буйвидас озадаченно замолчал. В белобрысо-седой голове его, которая располагалась довольно далеко от земли, закружился хоровод непонятных смешных словечек и кружился несколько дней...

...Полол огород, комары жрали, заразы. Тронули за плечо. Выпрямился. Белогнутов молча протянул спрей от насекомых. За спиной у Белогнутова, подальше, в стороне от тропинки, рос любовно обложенный камушками дубок. Буйвидас завис, глядя на деревце.

Белогнутов протягивал баллончик со спреем.

Буйвидас таращился на дубок.

— Чего ты? — спросил Белогнутов. — Дубочек наш, посадили вот...

Буйвидас молча тыкал пальцем в дубок и вдруг обалдело сказал:

— Ажуолюкас.

Белогнутов и Буйвидас подружились.

Контуженый спецназовец, бывший школьный учитель по ОБЖ Генварёв в семейном плане человек вполне благополучный — действующая жена и вменяемая дочь держат во Ржеве магазин нижнего белья и купальников. При каких обстоятельствах попал в Огород Генварёв — никто не знает, вероятно, однажды приехал на рыбалку, познакомился с постояльцами и с той поры ежегодно проводит на Огороде несколько месяцев, как в санатории, а то и зимой зависает на подледной рыбалке, помогает по хозяйству, следит за общественным порядком и может весьма чувствительно осадить, если кто задумает безобразничать. Жена и дочь Генварёва передают для Амор Каритас гостинцы — купальники расцветок «взбесившейся лососины» с непременными стразами. Напутствуемые сдержанным вздохом, пляжные наряды перекочевывают то к молодой попадье, то к начальнице почты, в амбулаторию или к сотрудницам сельской администрации.

Генварёв никогда не говорит о войнах, горячих точках и спецоперациях. Не любит смерть. Его интересует животрепещущая жизнь — вечно он то спасет от кровожадного аиста котят, то подберет и выпестует выпавшего из гнезда щегленка, а однажды принес полную корзину избавленных от утопления щенков и подъехал к Амор с предложением взять на Огород.

Амор вздохнула.

— Ну что, хорошие мои, — сказала Амор, обращаясь не то к щенкам, не то, по своей привычке, называя во множественном числе единственного собеседника-постояльца. — Это что же у нас теперь — псарня будет?

Сама при этом вынимала щенков по одному из корзины, носом трогала мокрые щенячьи носы и улыбалась, как девочка.

— И Абырвалг у нас уже есть, и тетя Мотя...

Абырвалг был крупный кастрированный кобель, этакий шебутяга, раздудуй и бестолочь, с которым, до утраты им причиндалов, не было никакого сладу, а тетя Мотя — рыжая брехливая сучонка, ласковая и смекалистая.

— Ладно, оставим на месяцок, подкормим, придадим товарный вид, а там видно будет.

В маленькой деревянной церковке на берегу служили всегда, а в старом, огромном недоремонтированном (денег все не хватало) храме на горе в соседней деревне — по особо торжественным дням, или чохом, оптом венчали всех желающих.

Надо было видеть Генварёва, выбритого тщательнейше, отчего еще заметнее был шрам на перебитом носу, принаряженного, с корзиной щенков на крыльце храма.

— Щеночка на счастье, — командовал батюшка, Генварёв вынимал из корзины пузатого щенка, украшенного цветной ленточкой, и какой-либо нарядный ребенок лет семи передавал толстуна молодоженам.

Умиление одно, хоть плачь!

Генварёв любит жизнь, потому что только человек, любящий жизнь и ее жителей, может любить готовить и угощать.

Генварёв обожает готовить.

Но не умеет.

Готовит он зверски — плохо протушенные, полусырые свиные уши в апельсиновых корках, холодец из куриных пупков, а если суп — то просто длинная горячая трава, пахнущая рыбой. Из водорослей, что ли, скомстролил?

Все недожаренное и подгоревшее, как в школьной столовке.

Приготовление этой немыслимой пищи — целый ритуал. Утром Генварёв парится в бане, наряжается в брезентовую робу, на голову натягивает резиновую купальную шапочку для гигиены, чтобы волосы не попали. Не мужчина, а персик. Без подготовки увидишь — заикой останешься.

И погружается в свою авторскую кухню.

К счастью, он принципиально готовит только на открытом огне, так что хотя бы зимой обитатели Огорода почти совсем не рискуют... А уж с апреля по октябрь, раз в месяц, будьте любезны, из мужской солидарности и чтобы не нервировать контуженого, вся огородная братия хорошенько запасается мезимом, панкреатином и прочими гастрофармами и чапает на ближний край деревни, где в бывшей школе — большой избе с двумя отдельными входами — живут Генварёв и опальный журналист Мухов.

Пришли. Уже издали пахло недожаренным и горелым. В здоровенной кастрюле, похожей больше на бельевой чан, булькал очередной дикий изыск. Большой деревянный стол под сосной Генварёв и Мухов устлали районной газетой «Пламя».

Маркович сел толсто нарезать ноздреватый серый хлеб, вкусноты неописуемой, это Амор Каритас надоумила подкарауливать на станции хлебовозку из поселка Лесной, где в еле дышащем военном совхозе своя пекарня. Хлеб, крупная соль, зеленый лук длиной с пионера, огурцы — настоящий бобылий пир. Амор убедительно просит не пьянствовать, а выпить помаленьку не возбраняется. Почти никому уже нельзя по разным причинам.

Гомонили и потирали руки, рассаживаясь за столом под сосной, и кто-то спросил:

— А Белогнутов-то где?

— Белогнутов не придет, — сказал Мухов. — У него жена умерла.

— Дела... — покачал головой Буйвидас, и все тоже посочувствовали.

— Враки, — внес ясность Маркович. — У Белогнутова нет жены.

Маркович и Белогнутов не любили друг друга. Оба питерцы, никогда не здоровались и не разговаривали. Стареющего красавца с седыми, в синеву, кудрями, Марковича бесило в тюлене Белогнутове все — даже фамилия. Что это такое — Белогнутов? Белое — это одно, а гнутое — другое. Просто как в поговорке — не сравнивайте широкое с кислым.

— Жены у Белогнутова не может быть по определению, — сказал Маркович.

— Озвучьте, — вежливо попросил мужлан Буйвидас.

Он очень уважал Белогнутова за обширные разнообразные знания, монументальное спокойствие и неконфликтность. Под влиянием Белогнутова с Буйвидасом происходили чудесные перемены. Из хмурого, отчаявшегося бессильной злобой пролетария, загодя знающего, что правды нет и не будет, все равно везде и всегда облапошат, он превращался в основательного крестьянина — немногословного, спокойного, внимательного к земле. Теперь в те моменты, когда прежний Буйвидас полез бы в драку, Буйвидас нынешний, со значением глядя в глаза оппоненту, говорил вежливо и негромко:

— Не провоцируйте меня на агрессию.

Буйвидас уважал Белогнутова и теперь вежливо попросил:

— Озвучьте. Что за определение такое? Половой инвалид? Монах? Пидор? И вам все это откуда известно?

— Дорогой мой, — ласково сказал Маркович. — Вам это совершенно ни к чему.

— Кажется, что-то давнее. Какая-то стародавняя кратковременная жена. Или вообще — невеста, — поспешил уладить Мухов.

— Дьявол! — взвизгнул Маркович.

Он глубоко саданул ножом по пальцу, порезался. С причмоком облизнул левый указательный и поднял вверх. Текла кровь. Сходу промыли водкой. Марковичу щипало, он тряс всей левой кистью, и выражение лица у него было, как у маленького. Пока Мухов и Генварёв искали допотопный, колесиком, пластырь, залепляли пострадавший член, улизнул Буйвидас. Пошел проведать старшего товарища, уговорить не грустить одному, посидеть со всеми — полегчает.

Наконец расселись, устаканились. Хлебали и нахваливали густое невнятное варево под рюмочку-другую. Разговаривали, как обычно, про гаишников, армейских сержантов, ожоги, ранения, жену и тещу. Про детей, у кого они водились. Мухов рассказал, как ему в восьмом классе привезли вельветовые джинсы «Рэнглер», а он продал их за шестьдесят рублей (деньжищщщи!!!) и устроил для приятелей пир с коллективной потерей невинности. Генварёв рассказал, как в конце девяностых гонял в Тольятти за запчастями для «жигулей», всякий раз едва жив оставался. Анестезиолог Гриша промолчал про то, как, присланный на практику в сельскую больницу Ивановской области, каждую ночь баррикадировал двери и окна на случай нападения женщин.

Стеменело. Ни Белогнутова, ни Буйвидаса не было.

Заговорили о Белогнутове. Это бывает. Небось, сто лет назад развелись, разосрались в дымину, а теперь вот вспомнил молодость-то, и кажется, что ангел, а не девушка... Задумались каждый о своем, примолкли. Стало слышно, что играет радио. Загрустили что-то. У Мухова подозрительно покраснел нос и заблестели глаза. Мало ли отчего может прослезиться взрослый одинокий мужчина? Рюмочка, запах близкой осени, красный осиновый лист на черной воде в дождевой бочке, трогательная мелодия попсовой песенки...

— У меня тост! — Мухов встал. — Все хорошо, — сказал он и увлажненными глазами оглядел своих товарищей. — Нам очень повезло, что мы попали сюда, на Огород. Надо просто ценить то, что дают, радоваться каждой минуте. Жизнь удивительно

хороша, и еще столько всего важного можно и нужно сделать. Будем жить, будем трудиться, надеяться и мечтать, а если вдруг чума или ядерная катастрофа — Генварёв научит нас, как выжить, и мы будем жить дальше, и любовь и счастье найдут нас.

Загомонили, потянулись чокаться, Генварёв пообещал научить...

Выпили, помолчали каждый о своем и решили прогуляться, заодно навестить Белогнутова, поддержать, так сказать, в минуту печали. Взяли фонарики и пошли в теплой темноте по траве и песку. Маркович по пути молча свернул к себе. Навстречу гуляла местная молодежь, и кто-то, сильно акая, пересказывал фильм Джармуша «Ночь на Земле».

В этих краях здорово акают. Аканье заразительно. Даже Буйвидас со своей уральской скороговоркой начал как-то приакивать. Еще в этих краях строят сараи с террасами. Местное ноу-хау. Вдоль длинной стены сарая на южной стороне делают навес, под ним — пространство с грубым дощатым полом и веревки, чтобы сушить травы, кто в них понимает, или белье.

В таком сарае с террасой и двумя маленькими окошками — торцевым и боковым — и постояльствовал Белогнутов. Окошко светилось. Все пришли и неловко толклись у двери, глядя на стены, плотно оклеенные всевозможными картами далеких стран и городов, в существование которых слабо верилось.

В сарае сидел на топчане и лил слезы над своим выдуманным ангелом Белогнутов без очков, а домовитый Буйвидас у электроплитки шумно ворошил в сковороде картошку на сале и приговаривал, что вот сейчас мы картошечки поедим, чайку с травками заварим, и жизнь наладится, и все еще впереди...

Утром Маркович пришел к Белогнутову. Дверь была открыта.

В глубине сарая, у торцевого окошка, Белогнутов возился на широком подоконнике с чем-то мелким. Близорукие любят кропотливое.

Согласно деревенской этике, ломиться в открытую дверь не годилось, следовало постучать в косяк. Маркович постоял, разглядывая толстые доски и потрескавшийся дерматин, уже нацелил было костяшки правой руки на косяк, но Белогнутов, не поворачиваясь, буднично и негромко спросил:

— Чего тебе, Морковка?

И это были первые слова, которые Белогнутов сказал Марковичу спустя сорок с лишним лет.

Маркович, престарелый ловелас, вальяжный, измеряющий время в женах («три жены тому назад»), робел, пока шел от своей избушки к сараю Белогнутова. Робел, потому что боялся разговора, боялся раскиснуть, размякнуть душой, но и жаждал этого раскисания. Теперь же, когда Белогнутов назвал его детским прозвищем, раскисание начало сбываться.

— Знал ты, что я к тебе приду? Знал? — шепотом, почти нежно, спросил он в широкую сутулую спину в клетчатой рубашке.

Белогнутов неопределенно повел плечами и продолжал, не оборачиваясь, возиться с мелкими железяками.

Маркович готовился обняться и поплакать вместе над тем, что жизнь, которую в молодости они жили наперегонки, прошла; девушка, серьезно любимая Белогнутовым и безумно влюбленная в Марковича, умерла, предварительно превратившись в бабушку; все пролетело мигом, «как взмах ресниц», а оба соперника встретились в непонятном деревенском приюте для одиноких мужиков.

— Отчего она умерла? — спросил Маркович.

— Надо полагать, от смерти, — спокойно ответил Белогнутов и помолчал. — А смерть наступила от рака желудка. Умерла в Канаде, в хорошей клинике, в окружении детей и внуков, так что не переживай.

Надо было уходить. Глупо стоять так. Рядом с дверью в сарай росло много лесной

малины, она так и лезла в сарай, словно страшилась близких холодов. Кончалось лето, последние, перезрелые, темные ягоды осыпались на траву. Маркович подобрал ягоду, съел и придумал узнать у Белогнутова, как он здесь оказался. Как, дескать, дошел ты, дружище, до жизни такой, полюбопытствовать бодрым голосом, но Белогнутов спросил первым, по-прежнему равнодушно, не оборачиваясь:

— Турнули детишки-то?

Имея в виду нескольких разбросанных по свету детей Марковича, которым до него не было никакого дела, как, впрочем, раньше и папе не было до них. У Марковича и Белогнутова было много общих знакомых, и какие-то слухи о жизни одного недруга то и дело доходили до другого.

Внутри Марковича поднялось знакомое, молодое чувство, как тогда, как прежде, когда Белогнутов начинал его дразнить.

— Ремонт, — вздохнул Маркович. — Капитальный. Две квартиры купил, теперь соединяю. Югославы возятся... Ленивые, дети юга... Конца-края не видно... А санатории все эти осточертели, да и туризм тоже... Я, знаешь, Андрюша, люблю простой деревенский отдых. Милое дело. Как выдастся свободная неделя — за руль и по малым городам России. Да что города! Знаешь, сколько у нас в средней полосе поселков, всех этих «Красный Май», «Октябрьский», «Лесное», где нет вообще ничего, а у женщин глаза, как у бездомных дворняжек? Я их так и называю — Найды. Найды вы мои...

— Мудак ты, Леня, — равнодушно сказал Белогнутов, встал и взял с полки потертый тощий бумажник. — Пошли, помянем.

Маркович и Белогнутов пришли на станцию. Лето кончалось, но было еще очень тепло, и окружающий мир только и ждал, как бы услужить желающим выпить на природе. Какие-то просторные пеньки, или заботливо сложенные и позабытые, потемневшие бревна, или приступочки, ступеньки, мостки у ручья, неходячий «жигулёнок» с удобным, как стол, капотом — все словно шептало: «Присядь, дружок, выпей на травке, погрейся на солнышке, сливу, сливу с ветки сними, сорви с грядки огурец...»

Маркович и Белогнутов пили водку на мостках у ручья за почтой, закусывали колбасой и хлебом. Маркович расчувствовался, слюняво целовал Белогнутова, просил прощения и клялся, что ничего не было — он увел невесту Белогнутова прямо из загса, и они всю короткую белую ночь гуляли по городу и разговаривали. Маркович объяснял невесте, что не любит ее и никогда не полюбит, а выходить замуж от отчаяния за нелюбимого в двадцать-то лет — рано и вообще глупо; с Белогнутовым, педантом и занудой, она быстро заскучает и, порядочная, из хорошей семьи, будет всю жизнь честно тянуть невыносимо тоскливую лямку, испортит себе жизнь, а он, Леня Маркович, уже осознал свою крайнюю блудливость и не может жениться на такой девушке, чтобы тоже не испортить ей жизнь. Погоди, милая, говорил он, пройдет время, все у всех наладится, мы будем прекрасно общаться, дружить тремя семьями, собираться и петь под гитару песни Визбора. На том и расстались и не виделись больше никогда...

— Ведь я нарочно попросился при распределении на Север. Какой ты молодец, Андрюша, что нашел ее в соцсетях. Она на меня не обижалась? Не обижалась, точно? Она точно хорошо вышла замуж? Умерла в Канаде? Точно? Ты не врешь? А то, что я тут с тобой не дружил и нос воротил, так это потому, что вину свою большую чувствовал, всю жизнь чувствовал... Я когда тебя здесь увидел... Весь валемидин потом ночью выхлебал... Я ведь сперва чуть ли не спасителем каким-то себя возомнил... А уж потом... С каждым годом все поганее вспоминать было... Вершитель судеб хренов... Эх, Андрюша...

Последнее августовское тепло, мотыльки, дворняжки, весело матерящиеся у магазина дети и мысли о том, что скоро помирать, умиляли, наполняли пьяного Марковича сладостной печалью.

Маркович расплакался по-настоящему, и Белогнутов приобнял его, протянул большой, как кухонное полотенце, носовой платок с картой мира...

Два крепко подвыпивших пред-старика возвращались в Огород, поддерживая друг друга. У двора, где сарайчик Белогнутова, остановились.

— Ладно, — неожиданно трезво сказал Белогнутов и вместо объятий протянул Марковичу руку. — Хорошо, что поговорили. Но ты, Морковка, в гости ко мне не ходи и ничего там себе не фантазируй. Обижаться не обижаюсь, но дружить с тобой не хочу.

Город Долгие Холмы
Улица Ленина дом 7 квартира 17

Stoby Winery Makedonsko Crveno
Вино защищенного географического указания
(что за мура еще?)
Региона Тиквеш красное полусухое
1 liter 11% vol

А фотографировать бутылку, этикетку, перед тем как выпить, — не мура, не бред?

Ну ладно, это все так, проверка связи...

С чего начать? В детстве мне очень хотелось разговаривать. С кем-то поговорить. С кем-то взрослым, но умным и хорошим, кто выслушает и поймет. И я говорила скороговоркой, боясь, что перебьют или отвернутся, зная, что ничего никому не интересно.

(Двойное, даже тройное отрицание, возможное в русском, но недопустимое в английском языке.) My mom was an English teacher... В детстве нестерпимо хотелось поговорить, рассказать...

Теперь от меня просто исходит молчание, как холод от промерзшей, еще не укрытой снегом земли в ноябре.

С чего же начать?

С чего начать, когда пора кончать, ха-ха-ха...

Амор Каритас видела из окна поворот реки, деревья городского парка и колесо обозрения. Помолчала. Диктофон записывал молчание. Амор выпила вина и заговорила:

— Да, дело к занавесу. Я не кокетничаю, но после моей смерти может возникнуть путаница, пойдут кривотолки, особенно вокруг моего огородишки. Так я называю этот приют, передержку для мужчин в кризисной ситуации. Как, почему и зачем я в это ввязалась?

Долго объяснять. Долго объяснять, с чего начать, пора кончать...

Околоток, детство, Москва. Снаружи родной околоток весьма респектабелен — близость театров, до Кремля пятнадцать минут пехом, желтая твердыня Петровки, 38, английская школа на задах большого дома для дипломатических работников. Но внутри, поглубже, в проходных дворах между Цветным и Садовым, в путанице переулков Самотёки, где «угловые»... Раньше были непременные «угловые», мутные, пахнущие пивом магазины. Там всегда соображали «на троих», а потом двое били одного, обычно очкастого задохлика... Однажды на ступеньках «углового» сидел алкаш из сословия грузчиков или подсобных рабочих, в сатиновом халате на голое тело, и горько, горько плакал, а покупатели ходили туда-сюда, спотыкаясь о его тщедушность. Старик или мальчик? Сожгли голубятню, единственную отраду состарившегося, одинокого мальчишки, в жизни которого ничего не сбылось и не произошло. «После школы — домой, нечего болтаться там», — говорила моя строгая мама. «Там» — в колтунах переулков, в проходных дворах, выводящих к Центральному рынку, к Цветному... «Там», где можно увидеть что-то не то, не положенное домашней девочке, школьнице, маменькиной дочке... И все равно — неположенное лезло в глаза, резало

слух матерным визгом тетки, гонявшей примостившихся под старым вязом дворовых выпивох...

Был дворник татарин с перебитым носом и хроническим фингалом под глазом, его мелкая дворняжка умела плясать на задних лапках, и до чего же утешительно после какой-нибудь «пары» по алгебре-геометрии, после унижения у коричневой классной доски встретить татарина с собачонкой, дать ей кусок сдобной булочки и радоваться, смотреть, как потешно перебирает лапками дворняжка и как ласково глядит на нее хозяин... И еще... Чей-то переезд из дома возле лесенки к центральному рынку, пожитки и мебель уже на улице, ранний март или поздний февраль, сырое московское небо, и двое пытаются прихватиться как-то, чтобы сдвинуть с места старый, облезлый рояль. Эти двое — не грузчики, они доброхоты, надеющиеся сколотить на бутылку, но оба так иссосаны пьянством, что не хватает общих сил сдвинуть несчастный инструмент ни на сантиметр, падает мокрый снег, и один из двоих бедолаг начинает играть на рояле грязными, израненными пальцами изумительной красоты, играть какую-то невероятную музыку под мокрым февральским снегом... Долговязая девочка с ранцем и холщовым мешком для «сменки» слушает, смотрит и преждевременно рано выносит пугающую жалость...

Нет, не то, ерунда какая-то... Да, жалость к пьяницам, ведь у каждого — тайна, обманутая надежда, несбывшаяся мечта...

Жалость к пьяницам и вообще к мужчинам, но нет, нет, не оттуда началось...

Амор хмурилась. Диктофон записывал молчание.

Зазвонил мобильный.

Амор остановила запись.

Звонили из сельской администрации. «Огородник» Мухов учинил дебош на ярмарке.

Каждую среду возле станции, на специально отведенном месте, разворачивалась ярмарка продовольственных и промышленных товаров — продукты, бакалея, мыло, удочки, пустые банки и крышки, свежие ягоды и живая рыба, грибы и отменные трусы. На машине с белорусскими номерами привозили сыр.

Сыр!

Мухов окончил факультет журналистики московского университета, был распределен в многотиражку Останкинского молочного комбината и очень увлекся историей советского сыроделия. Его заметки о сырах попали в «Вечернюю Москву»! Мухов стал получать командировки по лучшим сырным цехам необъятной родины. Однажды под Новый год для этого любимого москвичами органа печати Мухов написал вот такую статью.

СТАТЬЯ МУХОВА О РУССКОМ КАМАМБЕРЕ

Трудовыми подарками встречают наступающий Новый год работники Останкинского молочного комбината! На сей раз столы москвичей и гостей белокаменной украсятся сырами мягких сортов — рокфором и камамбером.

Существует достаточно большое разнообразие мягких сыров отечественного производства. Наиболее известными являются Смоленский, Дорогобужский, Медынский и другие.

Рокфор среди мягких сыров занимает особое место — те, кто встречаются с ним в первый раз, смотрят на сыр недоверчиво. Подозрение вызывают бело-голубые прожилки плесени на поверхности сыра.

Между тем таковы особенности классической технологии выделки рокфора: в определенный момент в сырную массу вносят культуру плесени penicillium roqueforti. При этом головку сыра прокалывают во многих местах иглами, потому что плесень хорошо развивается лишь при доступе воздуха. По мере развития внутри сыра именно

плесень придает ему необычный, изысканный и сильный вкус, наряду с характерной мраморно-голубой поверхностью.

Так что не следует опасаться плесени рокфора. Напротив, отсутствие ее означает, что сыр незрел и пока не обладает необходимыми качествами.

Несомненно, рокфор — один из вкуснейших сыров. К тому же он улучшает пищеварение и возбуждает аппетит.

Чтобы привыкнуть к рокфору и стать его ценителем, необходимо некоторое время. Примерно так же происходит с оливками и маслинами — надо отведать их несколько раз, чтобы вникнуть в солоновато-горький вкус.

Ломтики рокфора рекомендуется подавать в качестве холодной закуски перед обедом и ужином. Сыр очень хорош к сухим винам и пиву.

Что же касается камамбера, то приходится признать, что все попытки работников Останкинского комбината возобновить его производство не увенчались успехом. Секрет выделки знаменитого русского камамбера безнадежно утрачен, и многочисленные экспедиции сыроделов, историков и журналистов, неоднократно снаряжавшиеся в заброшенную сыроварню помещика Мышляткина в Ярославской области, таинственным образом исчезли навсегда-навсегда...

Был восемьдесят седьмой год. Гласность набирала обороты. Начальству очень понравилось, что молодой журналист не мямлит вяло — дескать, имеются отдельные недостатки в производстве русского камамбера, а бескомпромиссно рубит с плеча — секрет утрачен, елки-палки!

Начался стремительный карьерный рост Мухова, он стал золотым пером отечественного пищепрома и командировался теперь не только в сырные, но и в колбасные цеха. (Знакомства в цехах очень пригодились ему в самом конце восьмидесятых и начале девяностых, когда в стране стоял если не буквальный голод, то кромешный дефицит всего.) Другой бы сделался на этой почве предпринимателем-кооператором-бизнесменом, но Мухов оставался журналистом, верным рыцарем и золотым пером, борцом за русский камамбер. За годы гуманитарной помощи и дружбы с Западом родные сыровары изрядно подрасслабились, и, когда грянули санкции и ответные санкции, а на прилавках появились невнятные брусочки не пойми чего с надписью «сырный продукт категории "В"», у Мухова просто сорвало крышу. Он ходил по «Пятерочкам» и «Дикси» и кричал покупателям бумажных сосисок и мылоподобного сыра:

— Люди, остановитесь!

Писал в инстанции. Затевал петиции. Ездил на частные сыроварни, дегустировал и неизменно оставался расстроен. Секрет русского камамбера был утрачен безвозвратно. Изрядно осточертев родным и близким, чокнутый на сыре Мухов оказался в Огороде.

И сегодня на ярмарке, понадеявшись на белорусский камамбер и перепробовав все что можно, разорался, с тупым отчаянием повторяя «мыло» и «мыловары», скидывал сыр с прилавка, чем нарушил общественный порядок и травмировал добрососедские отношения с братским народом. (До Беларуси в этих краях было меньше ста километров.) Белорусы не сказали Мухову, что расстраиваться не стоит — сыр польский, контрабандный, и хрен бы с ним, а просто взяли Мухова за грудки и профилактически как следует потрясли.

— Валерий, держите себя в руках, — строго попросила Амор Каритас, когда везла пострадавшего сырного рыцаря от здания сельской администрации в Огород. — Вы не один, в конце-то концов. Несколько происшествий, и Огород будет расформирован. А среди постояльцев есть люди, которым действительно некуда идти. Или придется расстаться лично с вами. Как с Калидакиным в прошлом году.

Мухов дико виноватился и от этого пытался наезжать.

— А что я сделал? — по-мальчишески, как школьник перед учительницей,

огрызался Мухов. — Калидакин девчонку с трассы привел, так еще и... ни с кем не познакомил, жухала... Вы турнули, а он только человеком становиться начал. Водку отучился котом занюхивать...

— Калидакин перенес две белые горячки, он фактически умственный инвалид. А вы — интеллигентный человек, мастер слова...

Мастер слова сердито хохлился и смотрел в окошко.

Пошел слух, что в следующую субботу повезут на танцы. Ну что значит — повезут? Видно, попросил кто-то, подплыл вежливо — скучновато живем, нам бы на культурное мероприятие... А кто попросил, кто придумал ехать на танцы — непонятно. Никто не сознавался. Грешили на Марковича. Словом, в субботу Огород выезжает на танцы, на вечер «Кому за...», в поселок Октябрьский, в дом культуры камвольной фабрики. Все шутили друг над другом, изо всех сил притворяясь, что на фиг им эти танцы, делать, что ли, больше нечего, ерунда какая-то, но всем стало интересно и весело, как в молодости, и возникла очередь на утюг и гладильную доску.

«Мы едем на танцы!!!»

Маркович сказал, что в Тунисе есть такой обычай — если хочешь с кем-то познакомиться, вставляешь цветок в петлицу пиджака или за ухо, как сигарету. Это знак, что мужчина в свободном поиске. Буйвидас давай плеваться, что это пидорский обычай. Маркович сказал Буйвидасу — вам, милый друг, конечно, виднее, что пидорское, а что нет... Буйвидас сказал — «не понял...» Так сказал, что Белогнутов поскорее встал между Марковичем и Буйвидасом, приговаривая «тихо-тихо-тихо». Мухов и Царевнин договаривались посмотреть у Царевнина шмотки, ведь Царевнин попал в Огород с чемоданчиком приличных вещей... А Генварёв спросил с неожиданными для контуженого спецназовца здравомыслием и язвительностью:

— Вы там как танцевать собираетесь?

— Ногами, — остроумно ответил Буйвидас.

— Ага, — кивнул Генварёв. — Ты, братела, когда последний раз танцевал? В прошлом веке?

Все приумолкли. И правда, ДК камвольной фабрики — это тебе не жук чихнул, не дискотека для чикильдяев при сельской администрации — придут серьезные женщины с самыми лучезарными надеждами, а «Огородники» лицом, значит, в грязь?

— А этот на что? — сообразил вдруг Буйвидас. — Эбанат кальция?

И Белогнутов погрозил ему пальцем. Белогнутов запрещал Буйвидасу пренебрежительно говорить об Июнькине, хоть в глаза, хоть за глаза. «Он много горя повидал, — говорил Белогнутов. — Надо уважать его за страдания».

— Это я любя, — поспешил исправиться Буйвидас. — Ну он же по части танцев нормально волочет? Пусть подучит маленько. Вальс там, все такое...

Вечером на общую террасу вынесли старый большой кассетник и колонку. Июнькин велел мужикам разбиться на пары. Начался дикий ржач. Когда вдоволь поржали, Мухов предложил, что Июнькин будет представительствовать — один танцевать со всеми женщинами в ДК камвольной фабрики, а прочие обитатели Огорода просто познакомятся.

— А если белый танец? — напугал Генварёв.

— Да, — сказал Июнькин. — Во-первых, есть большая вероятность белого танца. А во-вторых, я не поеду. Мне не надо ни с кем знакомиться.

Никто даже не удивился и уговаривать не стал — все знали, что Июнькин любит озеро, оно среднего рода, не мужик и не баба, не будет мучить, не пошлет ни на базар, ни в людей стрелять, сдачу проверять не станет и под трибунал не отдаст...

Июнькин включил музыку — вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Мужики построились парами, лицом к лесу, Июнькин встал перед ними, лицом к воротам.

— Плечи расправили, головы подняли, слушаем музыку, смотрим на меня и думаем о хорошем. Молодой человек, вы к кому?

Все обернулись. В воротах стоял светловолосый, синеглазый красавец баскетбольного роста.

— Батя, ты че, танцуешь?

— Володька? — не поверил глазам Буйвидас.

Оба заорали от радости и стали обниматься, а все смотрели, и играл вальс.

Наверное, когда-то таким прекрасным, пышущим душевным и физическим здоровьем был и сам Буйвидас, пока тяжелый безотрадный труд, выпивка и общая пришибленность несправедливостями жизни не превратили его в долговязого сутулого барбоса.

Сын привез документы, по которым папаша мог приобрести билет на родину. Буйвидас желал ехать немедленно. Послали за Амор Каритас. Сын фотографировал Огород и обитателей и объяснял, что мать, жена Буйвидаса, мамаша Буйвидас, велела ему нагрянуть без предупреждения, застать врасплох этот непонятный приют, мужской монастырь, в котором, конечно же, черт-те что творится...

Прощался Буйвидас со всеми наскоро, только Белогнутова крепко обнял, а Амор поклонился и неловко поцеловал руку.

Вышли за ворота и пошли вдвоем в сторону станции. Отец и сын. Разговаривали и смеялись.

Царевнин смотрел им вслед.

Смотрел и смотрел им вслед.

Несестра подошла, глядя в сторону, как бы случайно дотронулась до плеча, словно погладила, утешая...

Царевнин шагал в цивилизацию проверять почту и уже в конце пути, возле церкви, где вечно шел ремонт и визжали пилы, увидел Несестру — она бегло разговаривала на пальцах с молодым слабослышащим плотником с тощей бородой. Царевнин поздоровался, и она мимолетно кивнула в ответ... Но едва прошел с десяток шагов, услышал — окликнула по имени. Пошли навстречу друг другу.

— Здравствуйте! — она протянула руку еще издалека. Любит здороваться за руку. — Как вы? Всё в порядке?

В порядке ничего не могло быть в принципе. Но бывало ведь и похуже.

— Спасибо, все хорошо, — сказал, чтобы не «грузить».

Она пристально смотрела на него.

— Продвинулись вы как-то? Нашли его?

— Нет, — Царевнин замялся, и Несестра с досадой стукнула кулаком воздух.

— То есть я кое-что выяснил, где его можно найти... Но еще не связывался... Думал, потом, после...

— Потом, милый мой, не бывает. Никакого «потом» нет на свете. Потом — это непоправимая горечь и ничего больше. Он в Москве или где? — строго спросила она.

— В Москве.

— Уже хорошо. А ведь мог бы вообще оказаться... Где-то там... не знаю где, и по-русски не понимать...

Она нахмурилась.

Помолчали.

— Послушайте, — она строго посмотрела на него. — Вы готовы сегодня уехать в Москву? Ведь вы из Москвы? Или нет? Есть где остановиться?

— Да... Нет... Я жил с подругой, у подруги, но это больше невозможно... Да найду я где остановиться! — вдруг решительно сказал он. Решимость и желание действовать

словно дремали в нем где-то, а теперь проснулись, расправили плечи и сказали: «Эй, а ну-ка быстро!»

— Сейчас поедем в Огород, соберете манатки, и я отвезу вас на поезд в Хóлмы.

Именно так, с ударением на «О», назывался районный центр Долгие Холмы, второй, между прочим, город в губернии по величине, с троллейбусами и многоэтажками. Поезда на Москву оттуда ходили хорошие, быстрые.

— Странная все же у вас фамилия, — сказала Несестра, пока тряслись по грунтовке до трассы. — Откуда вы? Ваши предки? Не знаете?

— Из Грузии. То есть, прадед и прабабка откуда-то переехали в конце двадцатых, кажется... Родили дедушку. Дедушка подрос и поехал покорять целину. Отец родился уже в Саратовской области. Совхоз «Декабрист». И я там родился. А когда мне было лет десять, знаете, были такие комиссии, ездили по всей стране, собирали одаренных детей... Меня тоже отобрали учиться в Москве, в интернате... Ужасно скучал по дому, по родителям и младшему брату, а потом приезжал и... С каждым годом мучился все сильнее — очень любил их, а говорить не о чем...

— Переехали в Грузию в конце двадцатых, — повторила Несестра.

— Бабушка с дедом знали по-грузински, любили грузинскую кухню, меня в шутку учили грузинской азбуке и словам... Когда я подрос, стал на них обижаться. И далась, типа, вам эта целина! Сидели бы себе под Тбилиси... Потому что, знаете, когда попадаешь в московскую среду всяких таких вот подростков, молодежи... «Я из Тбилиси» звучит гораздо лучше, чем «Я из совхоза "Декабрист"».

— Времени нет! — вдруг громко и даже сердито сказала Несестра, и Царевнин чуть было не замахал руками — мол, если нет времени у вас, то и не надо меня никуда везти, прекрасно доберусь на перекладных, но она продолжила о чем-то своем:

— Есть один огромный, затянувшийся миг, понимаете? Все здесь, рядом. Все и всё...

Когда ехали по городу до вокзала, Царевнин смотрел на дома, троллейбусы и рекламные щиты и чувствовал, что соскучился по большому городу.

— Ну, в добрый час! А если что, всегда можете вернуться. Огородничать.

— Спасибо вам!

Крепко пожали друг другу руки.

Он открыл было дверцу и услышал:

— Куда? А пунькаться на прощание?

Взяла за рукав куртки и легонько потянула к себе.

«Целоваться, что ли?» — молча растерялся Царевнин.

А она кончиком носа несколько раз потрогала кончик его носа и сказала серьезно:

— С вами хорошо пунькаться. У вас окончание носа круглое. Удобно.

«Вот кто реальный эбанат!» — подумал Царевнин. Подумал радостно, даже восхищенно, почти с нежностью, и тут же этого испугался.

— Вот, — сказала она. — Теперь идите.

— Можно спросить?

Она кивнула.

— Зачем вам это?

— Пунькаться? — безоблачно уточнила она, и он увидел, что она прекрасно поняла, о чем он спрашивает. И она увидела, что он заметил, что она поняла.

Пожала плечами и улыбнулась грустно:

— Долго объяснять.

Рано утром Царевнин уже был в Москве.

Ольга Иванова

Из цикла «Гость»

1. любовь

подошла из-за угла
не спросясь — кого позвать
по взаимному согла
или так упаковать

молвит ворон невермор
с солью-хлебом или не —
полюбэ голодомор
или буря в стакан*е*

палка-палка-два-струна
пряник речи окаян
а на выходе она —
типа море-окиян

стопудово хлебану
бо не п*о* верху бега
а нырок на глубину
типа дайвинга, ага

и, задорности не без,
я скажу тебе одно:
вижу там все седмь небес,
а не илистое дно,

и не ракушку твою,
а души твоей жемчу... —
и когда тебе пою,
и когда тебе молчу.

и когда чем свет кощу,
и когда в ответ костишь —
это я тебя ращу,
это ты меня растишь.

Ольга Иванова (наст. имя — Яблонская Ольга Евгеньевна) — поэт. Родилась и живет в Москве. Окончила Литинститут им.А.М.Горького. Автор семи поэтических сборников, один из которых, «Ода улице» (М., Тверь, 2000), вышел под псевдонимом *Полина Иванова.* В подборке сохранены авторская пунктуация и орфография.

2.

...и катастрофу — дотворил,
и спич — договорил...
и в речи сбивчивой — в ответ —
казалось, смысла нет.

но ей — бессмысленной вполне,
как флейта — на войне,
над этой мукой — убивать —
века — торжествовать.

3. офелия

какой безжалостный эрот,
с каких нездешних эльсиноров
ей подогнал твой детский рот,
и датский сплин, и дерзкий норов —

уже слетающей к реке,
от осознанья обомлевшей,
прижавшись к тающей щеке —
своей, от боли побелевшей...

где нагота осуждена —
негоже длить голиму драму...
на кой дорога, раз она
не приведёт к *иному* храму!

———————————

кого сомненья не гнетут,
и локоть — выше — эполета,
там — оправдание — не тут,
иди туда, мечта поэта! —

да маякнёт когда-нибудь
[в нетварной Книге сокровенный] —
и цепкий взгляд, и царский путь,
и хищный профиль незабвенный...

4. жизнь
**вместо эпитафии*

на кончике божественной уды
изъят из индевеющей воды
и выброшен [зато каков полёт!]
неслабой рыбой, бьющейся об лёд,

на край её голимой полыньи,
не видя — где чужие, где свои,
по ходу позабыв о двойнике
[на том же самом вздёрнутом крюке],

всё, кроме пчёл, оставив на потом,
хватая задыхающимся ртом
земной юдоли воздух неживой,
уже ничей, и сам уже не свой,

и всё же с в о й — до вспоротых кишок —
послушай, что скажу на посошок:
с того крюка дорога — прямо в рай.
невероятный мой, не умирай!

5. update

...и что же там было? —
два-три заката,
да пламенеющая щека та,
да лжица господская — мимо рта,
да голоса райская лепота,

да детское мужество всепрощенья
в незримом пекле Его прещенья,
да в необъявленной мировой —
солдатик зеленоглазый твой,

во всеоружии благородства
упёрто стоя середь уродства,
да пара вёсен — из неземных,
да огребухи века — за них,

одна каштановая аллея,
где ты брела, от любви шалея,
одна лазоревая звезда,
да та невидимая узда,
что так и не вывела никуда,
хоть вольной воли была милее...

Марина Важова

Любаха

Повесть

1. Батя

— Любка, посмотри, ушел отец?

Голос матери. Бежать скорее: ведь если он ушел, то на фабрику за получкой. И тут Любаха — не последний человек. Сам он получку не донесет и вообще не придет сегодня домой. Будет шататься по своим друзьям, «дружочкам», пока не завалится где-нибудь.

Если Любка упустит его уход... Но такого уже года два не бывало, чтобы она не пошла за батькой. Поначалу крадучись, по другой стороне улицы, с нарочно взятой корзинкой, в которой мамка приносит яйца от погорелок. Потом — ближе к фабричным баракам — следом идет как ни в чем не бывало. И почти у самой конторы догоняет и, забегая вперед, веселую рожу строит. Мол, ты ведь понимаешь, батя, я полностью на твоей стороне, тоже люблю погулять и к «дружочкам» с тобой могу сходить. Но маманька просит... Ты ведь знаешь, больна она, чахотка, ей масло нужно, ви-та-ми-ны. А ты у нас один. Так что не обижайся, слышь? И за руку его берет, будто он маленький, а она большая.

Батя, он что? Он ничего и никогда. Слова грубого или упреков от него не бывает. Вот рассказать что смешное или душевное, тут он мастак. Или утешать. Никто так не может утешать, как наш батя. Мамка прямо говорит: «Ты меня одним утешением взял». Еще отец петь любит, почитай, слова всех песен знает. Кто бы ни запел — куплет да припев, а остального не помнят. А батяня все помнит, будто в его голове записи сделаны. Голос не сильный, но правильный, мелодию не врет. Только теперь, если он дома поет, стало быть, пьяный. А тогда нам не до песен, прикидываем, как месяц прожить.

Ведь батя только с получки и напивается, а так — ни боже мой. Мастер он хороший, начальство его ценит, чуть что: «Иван Казимирович, зайдите к главному инженеру поскорее». А это значит лишь одно: у главного инженера что-то стряслось, и только наш отец ему способен помочь. Потом премию бате дадут. С премии Любахе всегда гостинец. Конфеты, к примеру, или слойки. Да и так, без премии, если батю не упустить, обязательно в продмаг зайдут. Только отец скажет просяще: «Любах, тебе

Важова Марина Александровна — художник, член СХ России. Родилась в Ленинграде в 1953 году. Окончила Институт им.И.Е.Репина Академии художеств СССР (1985). Автор книг «Сны Петербурга» (2003), «Он меня больше не любит» (2010), «Сны и знамения» (2011) и др. Живет в Санкт-Петербурге и Выборге.

ирисок, а мне две кружки пива, идет?» Пива можно, оно недорогое, и мамка сердиться не будет. Лишь пошутит, как вернутся: «Ну что, заговорщики, натрескались?»

Только как же это мамка может шутить? Она ж померла, еще до войны. Чахотка ее успокоила, совсем успокоила. Скромненький крест на старом кладбище, могилка у самой речки Смоленки. Так ведь и батьки нет. Бомбой его в сорок втором зацепило, когда за лошадью подбитой пошел. «Все, девки, скоро сыты будем. У Ижорской заставы конягу подстрелили мессер*а*. Надо скорее бечь, пока не пронюхали, мясцом запасаться». Вот и добегался. Сам сгинул, так и не нашли, не схоронили. Люди видели, как все было, рассказали. А то бы числился в «безвестипропавших».

И как он в эту байку поверил? Ведь ребенку ясно — никакой лошади в помине нет. Все они уж давно съедены. Нет, не все, оказывается. Лошадь маршала Буденного на законном отдыхе, у маршала на даче травку щипала. Вернее, сено, ведь зима. А тут приспичило ее переводить. В целях государственной безопасности. Через весь город вели — и ничего. А как к заставе подходить стали — мессер*а* внезапно налетели — и ну стрелять. Прямо в голову той лошади, она повалилась и лежит. А сопровождающий искать телефон принялся, чтоб доложить о кончине. Потому никто и не знает про лошадь, что секретная она.

Вот враки, слушать невозможно, до чего батька поглупел после мамкиной смерти. Верит в сказки, да еще сам их придумывает. Только нам-то как теперь? Мне, Нинке и Насте? Мы ведь одни, ни отца, ни матери. Крестная в круглосуточном дежурстве на седьмой ТЭЦ, остальные все эвакуировались и самовар с собой взяли. Ни еды, ни горячего, ни дров, а ведь декабрь только — до весны далеко. Холодно, холодно-то как! Дует отовсюду. Остается только лежать под ворохом тряпья и ждать. А чего ждать-то? Ведь не придет никто, так и замерзнем.

Нет, кто-то идет. Шаги по лестнице. А если пройдут мимо, что тогда? Кричать, звать надо. Вдруг это санитары проверяют, нет ли мертвых по квартирам. Только крика не получается. Сип и тоненький вой. Шаги все ближе, идут сюда, слава богу. Лишь бы дверь открыли, мимо не прошли. «И-и-и-и...» Вот дверь заскрипела, и такой родной, такой знакомый голос:

— Ну что, Любаха, чего ты распелась?

Все же батя, родненький, вернулся живой и несет что-то в руках — Любахе несет поесть. Ну, теперь жить будем, теперь все плохое позади. Батя жив — наврали про бомбу, — лошади кусок достался, запах вкусный такой по всей комнате. Где там Нинка, Настя? Вставайте, лодырницы!..

— Давай, Любаха, садись, поедим. Кашу будешь?

— Батя, ты?

— Я, я, а кто же еще? Так будешь кашу? Вчера просила, вот и сварили. Пшенную с тыквой, как ты любишь...

Сорока-воровка кашу варила,
На порог скакала, гостей созывала.
Гости не бывали, каши не едали,
Сорокину кашу Любахе отдали.

Нет, не батькин голос, хоть и знакомый. Но ведь кто-то рядом сидит, ложку ей в руку сует, а в другую — хлеба кусок. Хлеб настоящий, сухой, а душистый! Как до войны. И каша в миске почти рядом с лицом. Там масло — его Любаха хорошо видит — желтое, не совсем растаяло, но это еще и лучше: можно ложкой зачерпнуть и съесть так. Вкуснотища!

— А другие уже поели?

— Поели, Любаха, все поели, одна ты осталась. Давай ешь, ведь вкусно?

— Очень вкусно, очень. Спасибо.

Но батей называть не стоит. Скорее всего — не батя это вовсе. Знакомый человек, наверно, тут и живет. И добрый. Вон сколько каши принес, ей и не съесть сразу. Да и спать так охота...

— Ну, поспи, поспи, Любаха.

По голове так легонечко погладил и ушел вроде. Полежать тихонько, будто спит. Если ушел, надо встать и посмотреть, оставил он кашу или нет. И где он ее взял, а главное — хлеб! Хлеб довоенный, свежий и мягкий такой. Если с собой унес, плохо. Вряд ли еще раз принесет, ведь голод кругом, ой какой голод! И холодно, ноги-руки заледенели...

— А наши все где? — надо спросить, вдруг не ушел еще.

— Ромка в армии, Вовчик на теннис ушел, — неожиданно отзывается. Значит, сидел тихонько, прислушивался. — Оля с классом в Питер на экскурсию поехала, а Томася на работе.

Все каких-то незнакомых называет — точно не батя. Это его родня, а мои-то, мои: Настя, и Нинка, и Ленка, она на торфоразработках, редко приезжает. А вдруг приехала? Табачку привезла, самокрутки крутить будем, накуримся, чтобы есть не так хотелось.

— А Ленка-то не приехала?

— Какая Ленка? Что ты, Любаха, никакой Ленки у нас нет, спи. Я пойду, тоже лягу, после ночной поспать надо. Так что ты не очень-то шуми. Я зайду еще.

Тихо. Ушел, значит. Теперь скорее встать и поискать, куда он кашу и хлеб положил. Вот только встать никак не получается. Тряпья на нее столько навалено, что не выбраться. А ты не торопись, Любка, не спеши, потихонечку. Вот одну ногу вытащила и с кровати спустила. Теперь другую освобождай. Ну, вставай, вставай! Что ж ты расселась, искать надо, куда еда спрятана. Руками оттолкнись от кровати и иди. Да господи же, совсем от голода обессилела, ни встать, ни подняться! Так и помереть недолго. Ладно, полежать немного, сил набраться и вставать. Встанет, встанет, всегда вставала и сегодня встанет. Только отдохнет сначала.

Им, большим, хорошо. Рабочая карточка — это двести пятьдесят граммов хлеба. Почти в два раза больше, чем Любахина иждивенческая. Скорее бы работать пойти. К бате на фабрику ученицей — сразу рабочую дадут, а потом и усиленный паек, как крестной, за то, что она сутками со своей ТЭЦ не вылезает.

Вот придут они с батей в отдел кадров, а там уже про нее знают и ждут. Смена, что ли, пришла? Это Марья Петровна так Любку зовет — сменой. А теперь и правда смена, раз ученицей берут. С батей, конечно, было бы лучше, но у него дело тонкое, надо учиться много, чтобы все знать. Он ведь наладчик, а это все равно что инженер, только еще почетней, рабочие профессии все почетные.

Можно на красильщицу выучиться — ткани красить в разные цвета, а можно на ворсовщицу, они больше получают, там работа вредная, пыли ворсовой много. Зато молоко дают. В цеху станки в три ряда стоят, и за каждым две работницы. Одной никак не успеть, станки работают быстро, тянут ткань с рулона на рулон, а сверху железными щетками потряхивают, концы у них крючком загнуты, ворс поднимают и начесывают. Следить надо, чтобы ткань равномерно шла, да чтобы в ворс ничего не попало и пропуска не было. Внимательно нужно смотреть, а чуть что — останавливать и исправлять. Но Любаха справится, лишь бы взяли. Там, кроме хлеба, затируху дают, бывает, что и с кукурузной мукой. Да масло раз в месяц полстакана, из чего — непонятно, но все же на нем можно картошку мороженую поджарить. Только вряд ли она осталась, эта картошка, еще до зимы всю подъели...

Сейчас вздремнет, силы восстановит и пойдет искать, где хлеб и каша. Сказал, что зайдет еще, да обманывает, наверно. Зачем ему худая, бессильная девчонка, вся в поносе

и вшах? Или это у Нинки вши и понос? Все путается, ничего голова не держит. Вот ведь как получилось... А мечтала о балете, в кино сниматься. Все они, фашисты, измором хотят взять, да только не на тех напали, не отломится им ничего. Ничего. Ничего...

* * *

В отличие от брата Серёжки и сестер-двойняшек Томы и Лёли, Маруся всю жизнь прожила с бабушкой в городе, а к маме надолго приезжала только летом. Так совпало: мамина новая семья, отсутствие жилья и Марусина внезапная тяжелая болезнь. Мама с новым мужем, дядей Сашей, переехали в областную глушь без врачей и школы. Бабушка вцепилась в Марусю и категорически отказалась ее отпускать. А смерть братика Лёвушки, названного в честь пропавшего без вести бабушкиного сына, подтвердила ее мрачные опасения. Лёвушка умер от крупозного воспаления легких, принятого по ошибке врачами скорой помощи за дизентерию.

Эта смерть упрочила бабушкины позиции, и никто уже больше никогда не заговаривал о том, чтобы Марусю маме отдать. Хотя и школа в поселке появилась, и медпункт. Тень годовалого брата, умершего из-за неправильного диагноза, высилась не только над Марусей с ее пороком сердца, но и над новорожденными маленькими двойняшками, которых бабушка, не будь их двое, обязательно бы забрала себе.

Все детство мама для Маруси была как праздничная фея, которая возникала внезапно и своей волшебной палочкой начинала творить чудеса. У Маруси появлялись новые платья, сшитые мамиными руками, хорошее покупное пальто, а не потертые на обшлагах коротковатые пальтухи, переданные от дальних родственников бабушки. Но главное, конечно, не вещи — бог с ними! — главное, что какое-то время она ощущала мамину любовь, окрашенную чувством вины и потому особенно нежную.

Мама жила на Карельском перешейке, и сначала нужно было доехать до Рощино, а это больше часа пути, потом дождаться автобуса и ехать еще часа два. И тогда только доедешь до мамы. Под конец ничего уже не помогало, и Марусю тошнило и рвало прямо в новые пестрые рукавицы. В таком состоянии ее вытаскивали из автобуса — мама и вытаскивала, приговаривая: «Все хорошо, хорошо, приехала моя детка». Но это в зимние каникулы. А летом ходило больше автобусов, они были новыми, и Марусю не так укачивало, особенно если удавалось сесть спереди и неуклонно смотреть вперед, на дорогу. Зато потом — целое лето! И чего только в это лето не происходило! Вольная воля, простор и никаких тебе запретов: туда не ходи, сюда не смотри. С мамой все было проще, все было по душе.

Для сестер Маруся — образец всех мыслимых достоинств: и красавица, и отличница, и певунья. Ореол ленинградской жизни только усиливал ее совершенства. Сестренки смотрели ей в рот: она засмеется — они хохочут, она в печали — им не велено даже подходить, лишь издали сочувствуют.

Другая параллельная жизнь с частицей «бы», счастливые, но быстро пролетающие дни, слезы при расставании, мамино лицо за окном автобуса, увозящего ее, Марусю, в будничную и такую правильную действительность...

2. Карточки

— Чего ты шлындраешь туда-сюда, черт длинный! Всю квартиру выстудишь!

Это Настя, она еще может встать, у нее пока силы остались. И есть она может. А Нинка уже не может. Ноги безобразно распухли, лежит третий день, а паек ни за что не отдаст. Выть начинает сразу, как Любка из булочной приходит: свою долю требует. Понюхает, в руках подержит и под подушку запихнет. Уговаривала ее Любаха в долг дать, все равно ведь не ест — ни в какую. Визжит, злые слезы из глаз так и текут, руками-спичками за подушку держится и трясется. Ничего не стоит у нее все забрать,

да жалко Нинку. Хоть и старшая она, но с детства какая-то малахольная, видно, от мамки легкие слабые, все по больницам и санаториям. Так что они в одном классе учатся, хотя Нинка на три года старше. Вернее, учились, теперь какая школа... Они погодки: Нинка, Настя и Любаха. Батя все мальчика хотел, а после того как три девки родились и мамка болеть начала, свои мечты оставил, на работе «горел».

Теперь Любаха, хоть и самая младшая, но самая главная. На ней весь дом держится. Нинка долго не протянет, она уже второй день сухая лежит, не ест, не пьет. Как помрет, они с Настей склад под подушкой поровну поделят и наедятся, может, хоть раз. Только когда это еще будет, а есть сейчас так хочется! Думается, вот только бы один разок до отвала наесться, а там можно и опять поголодать. Лишь бы паек увеличили.

Ходят слухи, что американцы второй фронт откроют, тушенки и рыбных консервов навезут. Прямо с самолетов скидывать мешки будут — вот потеха! Мешки летят, как бомбы со свистом, а ты и рад. Говорят, в железных банках леденцы монпансье. А банок таких — несколько вагонов. Это все Любаха в очереди за хлебом наслушалась. Там и не такое рассказывают. Еле достоишь до своей пайки, тут же на месте и съешь. Остальное сестрам несешь с тяжелым сердцем, ноги совсем перестают двигаться.

Раньше им Ленушка карточки отоваривала, но за это они отдавали ей весь табак. Она пристрастилась курить, чтобы голод заглушать, да только ведь табак можно на хлеб поменять или на сахар. Так что теперь Любаха сама продукты приносит. Ей все равно не лежится, в голове как будто шарманка крутится, ноги сами куда-то идут. А Ленушку на торфоразработки забрали, она теперь в военной форме и дома почти не бывает. Они, Саватеевы, все такие — везунчики. Хоть и родня, но с гонором. Ленумшка среди них еще самая добрая и веселая, а остальные в эвакуацию уехали и самовар с собой взяли. Последний самовар был, и тот увезли...

— Черт длинный, чего без толку студишь комнату, житья от тебя нет!

Что-то Настя сегодня не такая бойкая, и голос слабый. Самое поганое дело — лежать. Если залег — конец близок. Так все говорят, только потом сами и ложатся. Глаза такие стеклянные становятся, неподвижные. Даже не верится, что еще на прошлой неделе про Самарканд рассказывали, тоже туда собирались, как только блокаду прорвут. Это соседка, тетя Вера. Осталась квартиру сторожить, да неделю назад на саночках медбрат ее вывозил, в простыню закутанную. Еле видно, что человек лежит, будто тоненький матрасик.

Любаха ни за что не ляжет. Утром, еще затемно, она воды принесет с Ковша — самая близкая прорубь, ее курсанты-матросики пробивают. Потом по пустым квартирам порыщет — где еще мебель какая осталась или книги, чтобы печку-голландку затопить. Они теперь в комнатке крестной живут для экономии тепла. Как затопит, согреется вода, заварит чай — и завтракать пожалуйте. Сегодня на роль чая сгодилась дубовая кора, которую в коридоре на шестом этаже за батареей нашла. Горечь ужасная, конечно, но цвет, как у чая, и полезно для десен, а то зубы все шатаются. Нинка пить не стала, а Настя полстакана выпила, да Любку все ругала, что отравит их она когда-нибудь своими чаями.

Карточки на столе, сетка еще с вечера в кармане старенькой облезлой кротовой шубки — Ленушкино наследство, у Бологовских никаких шуб отродясь не водилось. Настя не велит брать все карточки, а только на день — потерять можно или украдут. Но сегодня Любаха возьмет все. Уже договорилась с одной надежной женщиной, у нее сестра хлеборезкой работает и сможет весь хлеб до конца месяца выдать сразу. Об этом все постоянно говорят. Вот, мол, не сегодня-завтра карточки отменят, пропадут они, а хлеб — неизвестно будет ли. Только вперед не дают, строго запрещено. Но если сестра хлеборезка, то ей никто не указ. Они там все крепкие, сытые, голосами грубыми народ осаживают, а сами крошки подбирают — и в рот. Женщина, конечно,

не будет даром стараться: одну из трех паек придется ей отдать. Но лишь бы получить, а там разберемся. Может, на меньшее удастся договориться.

Любаха придет домой с тяжелой сеткой. Эй, крикнет, Нинка, Настя, вставайте, лодырницы, посмотрите, что я вам принесла! Настя заругает сначала, но потом спасибо скажет, как поедят они вволю хлебушка да с горячим чаем. Тетка, та обещала настоящего чайку в пакетик отсыпать, сестре ее раз в месяц дают, да она чай не пьет, все больше спирт разбавленный. Только бы не забыла тетка, только бы с кем другим не договорилась — охотников много.

По узкому переулку, по темнеющей в свете наступающего дня тропинке, балансируя на обледенелых помоях, — к заветному огоньку угловой булочной. Неясной массой народ колышется, кашлем и приглушенным разговором обозначая свое присутствие. Сегодня не надо спрашивать, кто последний. Надо тетку искать. Договаривались держаться ближе к скверу, где народу поменьше, а то застукают, и может скандал получиться: все так хотят — хлеб вперед получить. А вдруг Любаха ее не узнает, вдруг тетка переоденется в другое пальто, платок сменит? Даже сердце заколотилось, под горло забило от ужаса, что такое может случиться.

Вот кто-то черный стоит, неподвижно, как замороженный. Но нет, двинулась фигура и прямо — к ней, Любахе.

— Принесла? — И руку тянет.

— Вот, на троих, до конца месяца. Только нельзя ли...

— Сетка где? — Голос безучастный, не такой, как вчера, когда про чай и спирт разбавленный рассказывала.

Да та ли это тетка? Ну-ка, в лицо посмотреть. Та, та самая, вот и усики на верхней губе, и кольцо тусклым блестит на безымянном пальце. Только молчит как-то странно. Хотя ничего и странного: теперь не до разговоров, они только повредить могут. Теперь надо дело делать.

— К дверям не лезь, я сюда принесу.

И вмиг протиснулась сквозь толпу и в черном проеме исчезла. Нет уж, надо у входа ждать, чтобы не упустить. Хоть тетка и надежная — крестную знает и батю помнит — но сейчас всяк за себя. Так лучше будет: встретит ее у дверей, а делить к скверу пойдут, чтоб никто не видел, а то и отнять могут.

Забыла напомнить про чай! Оробела почему-то, а вчера так душевно было, так смешно сестру-хлеборезку изображала, которую все обмануть норовят, так что приглядывать за ней приходится. Но это не помогает, от доброты и рассеянности она то перевесит хлеба, то иждивенцам как на рабочую карточку выдаст — неприятности потом на работе. Судом грозят, но на ее жалкое лицо взглянут — прощают: ведь не ворует она, а сроду такая жалостливая.

Вчера все было понятно и легко. Сегодня как-то тревожно. Карточки отдала... А вдруг обманет, выйдет и скажет, что в первый раз ее видит, никаких карточек не брала, все Любахе с голодухи померещилось. И ведь поверят ей, взрослой женщине, а не Любке в обтрепанной кротовой шубке, с большими, красными от мороза руками и неистребимым запахом мочи. Но хлеб-то, хлеб! Откуда, спрашивается, у тетки так много хлеба? Тут все и раскроется, люди поймут! Хлеб, может, и вернуть придется, но карточки ей уж точно отдадут. Не имеют права забрать!

Эх, зря она это затеяла! Не отменят карточки, война еще долго не закончится, хлеб нужен каждый день. А то одна рассказывала, что ее соседка съела свой хлеб, потом за своих умерших ночью детей-двойняшек съела, и тут же ее скрутило — заворот кишок, она и померла. Не, Любка так не поступит, потихоньку будет есть, на части все разделит и обязательно с чаем. Про чай-то забыла напомнить! Наверняка тетка все забудет, пропало теперь настоящее чаепитие!

Что-то долго она не выходит. Ведь если сестра — хлеборезка, должна мигом отпустить, и не за прилавком, а в кладовке справа. Любаха видела, как в эту кладовку

люди иногда заходят, а из очереди кто сунулся — чуть не с кулаками вытурили, грозили милицией.

Что ж такое? Куда она подевалась? Вот уж и народу мало осталось, надо зайти. Если она там сидит и с сестрой язык чешет, Любаха ей паек не оставит, так не договаривались. Но где ж она? Нет тетки, как сквозь землю провалилась. Может, все же в кладовке?

— Куда лезешь?! Эй ты, длинная, куда тебя несет?! Где твои карточки?

Вроде не злая, и голос усталый, и худая, как все. Сказать, что ли, все равно уже ясно, что тетка мошенница.

— У меня карточки... Женщина обещала... Жду почти час...

— Смотри, Рая, опять девку обманули, выманили карточки. Я давно говорю, запирать надо черный ход после разгрузки. Ну, что теперь делать будешь, балда глупая? Сколько карточек-то отдала? Небось, до конца месяца? Две недели как жить теперь будешь? Есть родственники?

Черный ход, черный ход, вот куда она делась... Получила весь хлеб и удрала. А как же она получила весь хлеб вперед? Значит, кто-то у нее здесь есть, сообщник есть. Может, и эта, с виду добрая. Все они добрые, когда выманить последнее хотят.

— Это вы, вы мой хлеб ей дали за месяц вперед! Отдайте мой паек, отдайте сейчас же, у меня сестры ждут — Нинка, Настя! Как же они?! Как же мы?!.

— Ты что, Любаха, тут наделала? Котлеты с макаронами расшвыряла! Ну что тебя, как маленькую, кормить, что ли? В блокаду за кусочком хлеба на другой конец города ходили, а теперь — еду на пол бросать?!

— Я не бросала, это они расшвыряли. Как я могу еду бросать, если я голодная? Голод-ная, и Настя голодная, а Нинка вот-вот помрет. Дайте хоть что-нибудь, хоть маленький кусочек. А-а-а-а...

— Ну, ладно, не плачь, все в порядке. Видишь, я везде убрала. Хорошо хоть у соседей собака есть. Сейчас тебе драников принесу. Будешь драники есть?

— Буду. Все буду, я голодная. А Нинке и Насте как же?

— Всем дадим, не волнуйся, Любаха.

* * *

В Ленинград мама приезжала редко. Отвыкла от города, разлюбила его мрачноватое спокойствие, называя «каменным мешком». Да и к деревенской жизни попривыкла. В деревне она — городская и фасон держит. Работы тяжелой не гнушается, но уж после работы — никаких гвоздей! Оденется, волосы завитые поправит, пробкой от духов «Красная Москва» за ушами ткнет, гитару в руки — и в гости. Сколько дядя Саша ни уговаривал, ни стращал, но ее с пути не сдвинешь. Только посмотрит так внимательно своим особенным взглядом и ничего не скажет. Зато в поселке все знали: если Любку позвать, то веселья хватит до утра. Но за мужиками надо приглядывать, они от нее прямо дуреют, готовы гитарку следом таскать, подпевать ей, слов не зная. В клуб на танцы, куда и дорогу забыли, за ней волокутся. А если дядя Саша уж очень приставать начинает, чтоб домой шла, — водочки ему подливают со всех сторон, пока не заснет где-нибудь в уголке.

А праздник если настоящий — Первое мая или Седьмое ноября, — мама всегда в президиуме. Единственная блокадница на всю деревню, да еще член партии. Медали «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд» к красной кофточке приколет и сияет на весь клуб. Но вечером все это снимается, достается из шкафа крепдешиновое сиреневое в мелкий горошек платье, и до утра по поселку раздаются гитарные переборы и проникновенный мамин голос почему-то с небольшим иностранным акцентом:

Кто в нашем крае
Чилиту не знает?
Она так умна и прекрасна,
И вспыльчива так, и властна,
Что ей возражать опасно...

Марусю в клуб мама впервые взяла в шестом классе, на зимних каникулах. Как раз новое платье ей было сшито — мамой, конечно: синее, шерстяное, с плиссированной юбкой и белым, с вышивкой, воротничком. От непривычной обстановки Маруся сидела примолкшая, возле мамы держалась. А та только отбривала солдатиков из соседнего военного городка, да так молниеносно и остроумно, что народ вокруг гоготал, про танцы забыв. И тут Маруся обнаружила, что перед ней стоит военный и что-то говорит. Наверно, он маме говорит, с чего бы ему к девчонке обращаться?

— Разрешите вас пригласить на танец.

Все же это он ей. Маруся от смущения покраснела и голову опустила. Тогда военный уже к маме: мол, позвольте вашу дочку пригласить. Мама тоже, видно, растерялась. Она привыкла, что ее все приглашают, а тут на тебе!

— Что ж, иди, потанцуй с офицером, — произносит, еле сдерживая смех и нарочито выделяя последнее слово.

Ну, танцем это было назвать трудно, топтались больше на месте, чтоб у мамы на глазах. Как тот офицер выглядел, Маруся так и не узнала, с опущенной головой весь танец провела, на все вопросы отвечая лаконично: да, нет. И только поворачивая голову в мамину сторону, смущенно хмыкала.

— До чего ты на Рыжова похожа, прямо вылитая. И повадки, и взгляд, особенно усмешечка его знаменитая. Только по усмешечке и скучаю.

Рыжов — это Марусин отец. Она его не помнит: родители разошлись, когда ей было три года. Но мама много рассказывала. Как познакомилась с ним, как встречались в одной компании, как он ее на гитаре играть научил, а потом сказал, что такую хорошую ученицу не хотел бы потерять, и замуж позвал. Он был морским офицером, успел повоевать. Да и сейчас, наверное, где-то живет, только никаких вестей о себе не дает. Пока Маруся была маленькой, она так мечтала об отце! Все представляла, как он звонит в дверь, а она ему открывает и спрашивает: «Вам кого?» А сама уже знает — ведь сколько раз фотографии перебирала. Вот он с мамой в гостях. На маме его китель и фуражка — они ей очень идут. А отец такой высокий, кудрявый, обнимает маму и к щеке прижимается. Только повзрослев, перестала Маруся отца ждать, а потом и вовсе боялась: вдруг приедет, старый, скучный, к ней жить. Нет уж, не надо.

3. Больница

— Эй, ты чего здесь сидишь? Замерзнешь ведь.

— У меня... Мне...

— Карточки есть?

— Нету, украли карточки, обещали...

Но женщина уже не слушает, открыла дверь и вошла, отвернувшись от Любахи. Наверное, сестричка, белый подол из-под тулупа торчит, молодая еще. Не хотят ее в больницу без карточек брать, и слушать не хотят. Вот возьмет и помрет тут прямо у дверей. Небось начальство не похвалит.

Сон убаюкивает, снег заволакивает. Тепло так, хорошо, спокойно. Ничуть умирать не страшно, зря боялась, с голодом боролась, суетилась зачем-то. Хлеб опилочный, чай из дубовой коры — кому это надо? Любахе больше не надо. Здесь останется. А как же Нинка с Настей без нее? Так они все равно помрут — хлеба-то нет.

А если крестная с дежурства придет, то спасет их, или Ленушка приедет. Они спасутся, а Любке уже все равно, лишь бы полежать, чтобы не гнали и не трогали.

— Так, кто у нас здесь сидит? Ты живая или нет?

— Живая...

— Почему под дверями? — Голос мужской, приятный, не грубый. Этот может помочь.

— Меня без карточек не берут.

— Ах, вот как. Понятно...

Ушел. Зря только разбудил. Сон такой хороший Любахе снился. Будто батя пришел домой после получки, а в руках большая сумка, с которой они в баню ходят. И достает он из сумки пакеты и банки всякие, и что-то, в промасленную бумагу завернутое. А еще яблоки. Много яблок, красных и блестящих. А они все: мамка, Нинка, Настя и соседский Лёнька сидят за столом и ждут чего-то главного. Потому что, пока это главное батя не достанет, ни к чему прикасаться нельзя — иначе все исчезнет. Они знают и терпят, хотя есть очень хочется. Но вот оно, уже держит батя, в газету завернуто, кирпичиком в руках так ладно сидит. Сейчас батя развернет кирпичик, и они есть начнут, мамка консервный нож приготовила — банки открывать.

Нет, разбудил, черт чернявый. Любаха заметила, что он смуглый, а волосы и глаза темные. Зря только разбудил, так и не узнала, что в бумаге, что за кирпич, без которого есть нельзя... Так это же хлеб был! До войны всегда мамка говорила: не ешь без хлеба. А теперь хлеб — основная еда, без него и есть нечего.

Вот закончится война, батя с фронта придет, Саватеевы из эвакуации возвратятся, крестная и Ленушка дома жить станут — опять квартира оживет. С утра — самовар на столе и весь день не сходит, все кто-то чай пьет. Не квартира, а проходной двор. Так крестная говорит, не нравятся ей эти постоянные застолья и шумные разговоры. И Лёва, сын крестной, возвратится домой. Неважно, что писем давно нет, Любка верит, что с ним все хорошо. Ему только шестнадцать исполнилось, но Лёвка себе два года приписал и на фронт добровольцем ушел.

Все соберутся, значит, за круглым большим столом, мамка свою картофельную запеканку с луком достанет из-под полотенца — теплую еще. Батя по такому случаю, конечно, бутылочку раздобудет, а крестная с работы сахар принесет. Она для сына копила, на работе в шкафчике держала, а домой не несла, чтобы нам соблазна не было. Теперь, раз Лёвка вернулся, сахар — на стол. Патефон заведем, пластинки будем слушать. А потом опять поедим. Ведь война закончилась — можно есть, не экономить. Саватеевы из Самарканда вяленых абрикосов привезут и орехов целый мешок. Ленушке на торфоразработках дадут паек на неделю вперед. Жалеть нечего: раз война кончилась, все наладится.

Только Нинки с Настей нет за столом. Куда же они подевались? Неужто померли, не дождались, когда Любаха им хлеба принесет? Да нет же, вот они, из кухни по коридору идут, и у каждой противень в руках, а на противнях... Пирожки! Маленькие, с золотистой корочкой, какие мамка всегда печет.

— С рисом и яйцом, — говорит Нинка и смеется радостно. А Настя молчит, глаза опустила, стесняется своих распухших ног.

— Дайте-ка нашей младшенькой, нашей Любахе, пирожков попробовать. Ведь если бы не она, не сидеть бы нам здесь и не праздновать, — говорит батя весомо.

Вот он кладет на тарелку два пирожка и к Любке пробирается, но никак не может подойти: то стулья плотно наставлены, то самовар между ними. Что же это такое, почему все мешают, ведь Любаха так еще ничего и не поела. Ведь она голодная, голод-ная...

— Эй, ты как, жива? — опять чернявый. Видать, доктор, стетоскоп на шее поблескивает. Темень кругом, видно, ночь уже, только над дверью лампочка тусклая.

— Пирожки... пирожков хочу...

— Ну-ка, кто там, Егоровна, Катя, быстрее ее в помывочную! И чаю, чаю сладкого сначала дайте! Если уж пирожков хочет, жить будет.

На каталку усадили и везут по длинным коридорам. Свет и тьма полосами перемежаются, аж голова заболела. Вот заехали куда-то в теплый закуток. Шум воды, бормочут что-то меж собой. Одежду принялись снимать.

— Все в печь, там вши и зараза может быть, — командует беззубый бас.

Никаких вшей нет, это у Насти вши. Или у Нинки? Но пусть сжигают, значит, новое дадут.

— Чаю, чаю мне сладкого. Слышали, что доктор сказал?

— Эта доходяга еще нас с тобой переживет, — опять беззубый бас. — То пирожков ей, то чаю сладкого. Хлеба не просит, не-е-е.

— Карточки украли, нет больше хлеба, — выдохнула разом и во тьму провалилась горячую...

Светло как! День уже, а она все лежит. И никто не разбудит, не скажет: иди, мол, Любаха, за водой сходи, дровишек каких поищи. А за хлебом-то! Ведь опоздала, не достанется хлеба сегодня! Так ведь за хлебом теперь не получится, КАРТОЧКИ УКРАЛИ... А Нинка с Настей почему молчат? Неужто померли? И почему кроватей так много? Что это вокруг? Ведь не их комната, а громадная, прямо зал. А-а-а... так это больница, она в больнице лежит!

Надо оглядеться, что тут за порядки. Кровати посреди зала в два ряда стоят, спинка к спинке, тумбочки справа, кое-где табуретки. Молчаливый народ лежит, только кашляют, разговоров никаких. Встать бы да пойти туалет искать. А вот и тапки: большие, войлочные обрезанные валенки. На спинке кровати — стеганый серый халат. Да не халат вовсе, а длинный ватник с торчащей кое-где ватой. Надеть и скорее идти. Вот коридор, никого нет. Так, тут что? Палата такая же, как у нее, и так же все молча лежат, не понять, кто живой. А здесь? Кабинет со шкафами и столом посередине.

— Тебе чего, мальчик? — из-за шкафа появляется фигура в белом халате и косынке, видать, медсестра.

— В туалет надо, — Любаха дотрагивается до своей головы и натыкается на короткий колкий ежик волос. — Только я девочка, Люба Бологовская.

— А, ты из седьмой? Та, что без карточек? Молодец, что встала. Иди направо, за угол заверни.

Сколько уже времени прошло? Час? День? Неделя? А она все лежит в этом громадном зале, как больная. Но ведь она вовсе не больна, ослабла малость, силы потеряла. Надо просто поесть, горяченького попить, и можно встать. Вон по коридору каталка едет. Или покойника везут, или еду. Остановились, вот и дверь открывается. Ведро и кастрюля — значит, поесть дадут.

— Эй, кто ходячие? Обедать.

Несколько теней встают с кроватей, Любаха быстрее всех. Боком, боком и уже первая у каталки. В миску плюхнули баланды, в ней труха какая-то плавает, а запах! Пахнет чем-то жареным. Хлеба три куска дали и чай. Да еще с сахарным песком! Ложкой из банки достают — и в кружку. Скорее поесть, может, добавка будет.

— Бологовская, раз ты уже ходишь, помогай раздавать. Да покорми кого сможешь.

Покормить — это можно. Вот, бабушка, тебе супчику. Сама есть стала, идем дальше. А эта спиной повернулась, спит, что ли? Эй, гражданочка, обедать давайте! Холодная уже. Тут больная умерла, слышите? Ну, а здесь у нас кто? Вроде дед, весь в седой бороде. Дедушка, пора обедать! Ага, шевелится, значит, будем кормить.

Вот это другое дело. Что толку лежать, шевелиться надо, двигаться больше. Так доктор сказал: будешь двигаться — будешь жить. А ведь жить хочется! Особенно теперь, когда кормят каждый день.

Потом на кухню: посуду мыть. Ей разрешили. Кастрюли большущие с пригорелой

кашей. Только велели быть осторожной. Ну, чтобы не переедать, а то может скрутить в одночасье. Любка понимает, перерывы делает. Отскребет пригорелую кашу от дна кастрюли — до чего вкусна эта пригорелая корка! — всю сразу не ест. Вообще сама все не ест, таскает в палату двум маленьким девчонкам, они на поправку пошли, есть начали, а выписывать их некуда — дом разбомбило, все погибли, пока они к реке за водой ходили. Нянечка сказала, что в детдом их отправят скоро, а пока Любка их подкармливает.

Так весь день и ползает: то судно выносить, то кормить, то посуду мыть. Но к вечеру сама валится без задних ног. Вот тут-то они и подступают со всех сторон: мамка, батя, Нинка с Настей, соседка тетя Вера. Молчат, только смотрят на нее, на руки ее смотрят, в которых она миску с пригорелой кашей держит. Так нате, поешьте. Любаха протягивает им миску, а там уже ничего нет, все раздала. И Лёвушка, сын крестной, тоже здесь, улыбается, а сам голову опустил, пилотку в руках мнет.

— Лёвка, ты живой?

— Ну, а сама как думаешь? — и тут поднимает глаза, а это и не Левка, оказывается, а Лёня, тети Веры сын, который в эвакуацию с училищем уехал. Ей стыдно, что она его перепутала. Хотя Лёвка, Лёнька — похоже, может и не заметил.

— Ты ведь уехал в Самарканд. Уже вернулся? А знаешь, ведь мама твоя...

— Знаю, потому и вернулся, ведь надо похоронить по-человечески, а то ее со всеми в одну яму сбросят.

Любаха молчит: как ему сказать, что уже похоронена тетя Вера и в одну яму со всеми положена. Так теперь всех хоронят. Но пусть сам узнает, не от нее. Вот он поворачивается, и все тоже поворачиваются и уходят, только Настя медлит, силится что-то сказать, губы разъезжаются: то ли засмеется, то ли заплачет. Отвернулась и за остальными пошла...

— Доктор, а можно я еще у вас тут в больнице поживу? Я ведь не просто так, я помогаю.

— Конечно, поживи, Любаха, живи сколько хочешь.

— А мои-то как? Они приходят каждый вечер, ничего?

— Пусть приходят, нам не жалко. Главное, чтобы ты ночью спала, не колобродила.

— Так я и сплю ночью, за день набегаюсь и сплю.

— Ну, не всегда спишь. Сегодня ночью кто палкой стучал и всех перебудил?

— Кто стучал? Я не знаю, кто стучал, а я спала, ничего не слышала.

— Нам же всем утром вставать на работу. Томася так и пошла, не выспавшись, все к тебе бегала, ты есть просила, а сама так ничего и не съела.

— Ну не буду, не буду больше. Это все они, приходят голодные, мне их жалко. Особенно Нинку с Настей, ведь они без карточек остались. Хотя, наверно, померли уже.

— Так они все давно померли, Любаха. А мы пока живые и хотим ночью спать.

* * *

Пианино появилось у мамы после переезда, когда по случаю рождения двойняшек совхоз выделил семье полдома в три комнаты. Раньше ему просто не было места. Увеличенная площадь сама по себе ничего не решала. Везти громоздкий инструмент из города было хлопотно и дорого. Помог случай: из соседнего военного городка Каменка уезжала семья офицера. Вот тут и совпали интересы офицерской жены и Марусиной мамы. Недолгие переговоры, стремительный торг и — пожалуйста! — уже через день пианино было доставлено на грузовике под защитным тентом, с предосторожностями выгружено и занесено в гостиную — самую большую комнату дома. Дядя Саша пришел с работы, а оно уже стоит на самом почетном месте, оттеснив комод в крохотную спальню. Он только крякнул с досады, но потом,

обдумав, смирился и даже повеселел, решив, что теперь Любушка будет поменьше порхать с гитарой по совхозу.

Народ потянулся смотреть невиданную для деревни вещь — пианино. Старинное, матово-черное, с бронзовыми подсвечниками по бокам и костяными желтоватыми клавишами. Вещь солидная, антикварная. Маруся сунулась было побренчать, но мама категорически запретила даже поднимать крышку. Она сама его настроила, для чего два раза ездила в Ленинград покупать инструменты: камертон, настроечный ключ, клинья, а потом колки и струны для замены.

Когда все было готово, собрались гости, и мама, нарядная и загадочная, села на специальный вращающийся стул, который шел к инструменту бесплатным приложением. Она подняла крышку, секунду промедлила с застывшими над клавишами руками, а потом сделала очень быстрый взмах правой рукой в сторону гостей, захватив в этом взмахе летучие, вибрирующие звуки. И не дав опомниться, понеслась руками в обратную сторону, выбивая из загудевшей клавиатуры бравурную мелодию. Маруся чувствовала, как мамины пальцы, касаясь гладкой, скользкой поверхности клавиш, каким-то образом касаются и ее, Марусиной груди, оставляя на коже пупырчатые мурашки.

Остальные, похоже, ничего такого не ощущали, слушали с застывшим почтением, молча. Только сосед дядя Ваня, дождавшись паузы, добродушно произнес: «А кроме Шульберта сыграть что-нибудь можешь? Так, чтоб подпеть или сплясать». Мама усмехнулась, тряхнула кудрявой завитой головой и всех к столу пригласила — выпить-закусить. И сама пила наравне с мужчинами, а потом развернулась к пианино и, еще не присев на круглый стульчик, заиграла шумно и лихо, временами срываясь неверными пальцами с полировки клавиш. Но этого никто не замечал, народ громко подпевал, заказывая все новые песни. Мама то соглашалась и играла, то мотала головой и предлагала лучше выпить. Концерты продолжались до середины ночи, пока не кончалась выпивка. Мама их называла «исполнить Шульберта», но при Марусе они случались крайне редко. Стеснялась мама своей городской дочки.

4. Ремесленное

— Ну, Бологовская, будем тебя выписывать.

Любаха сидит в кожаном потертом кресле в кабинете у доктора, Григория Давыдовича. Тот не смотрит на Любку, он разглядывает и протирает свои очки в черной оправе с примотанной изолентой дужкой. Доктор провел обычную бессонную ночь, и небритые щеки усиливают тени от скул.

Когда-то это должно было случиться, ее и так держат в больнице почти два месяца. Она бы и жила тут, пока война не кончится, но надо идти домой. Только что ей там делать, ведь никого нет. Да и привыкла она уже, прижилась, как-то страшно уходить. За это время поняла с однобоким сознанием внезапно разбуженного человека, до какой черты вымирания она почти дошла. Теперь-то что, жить можно! Перестали мучить мысли о еде, зубы меньше шатаются — все благодаря сосновой трухе, которую в кашу сыплют. А что ей одной дома делать? Нинка и Настя умерли. Крестная на казарменном положении, домой почти не приходит, Ленушку перекинули окопы рыть, остальные где-то сгинули в эвакуации — ни слуху, ни духу.

Как бы читая ее мысли, Григорий Давыдович поднимает голову: «Шла бы ты в ремесленное учиться. На „Красный Октябрь“, тут недалеко. Специальность получишь, паек рабочий дадут и кормить будут три раза в день. Там и общежитие есть, если тебе пойти некуда. Вот я записочку дам к директору, лечил его после ранения».

Любка выходит из дверей больницы, скашивает глаза на то место, где она чуть не замерзла насмерть. Спасибо доктору, спас он ее. И записку вот дал, и объяснил, как

добраться. Хотя Любаха хорошо знает Васильевский, дорогу найдет, но все же Григория Давыдовича слушает, не перебивая, — может, никогда больше и не увидятся они, кто знает? И он все подробно разъясняет: до Среднего дойти, там повернуть направо и идти к Восьмой линии, а потом так по ней и двигать в сторону Малого проспекта.

Вот выходит Любка на улицу, а там уже весной пахнет. Сугробы низко осели, почернели, ручейки бегут, образуя озера в разбитом бомбежками асфальте. Небо такое нарядное, голубое, чистое, и не верится, что война где-то гремит-полыхает, что это только временное затишье. Мертвая тишина блокадного города...

Хотя за два больничных месяца Любаха немного стала на человека похожа и голодный бред почти отступил, но она все помнит. И всегда будет помнить. Война закончится, они победят, снова будет вдоволь еды, будет хлеб, настоящий хлеб. Ешь сколько хочешь! И бомбежки прекратятся, и метроном перестанет частить, а будет спокойно отсчитывать мирное время. Только надо потерпеть, надо все перетерпеть и выжить. Обязательно выжить!

— Я живучая, все выдержу, — Любаха повторяет это на выдохе, в такт шагам. Только ноги плохо слушаются, вроде на месте топчутся. Никакого ветра нет, а стена воздуха впереди осязаема. Давит, давит, вперед не пускает. Похоже, и к вечеру не дойти...

— Вот поднялся Вяйнямейнен,
стал на твердь двумя ногами
там на острове средь моря
там на суше без деревьев, —

голос Томаси успокаивает, и будто нет никакой войны, блокада снята, и все вернулись живые и здоровые.

Это из «Калевалы», у крестной была такая книга, семейная реликвия. В детстве Любка местами наизусть ее знала. Как хорошо, что Томася ей читает каждый вечер, сама она уже не может: не видит ничего, и очки не помогают.

— Читай, читай, доча. Это наша родовая книга. Бывало, крестная ее наизусть нам пересказывала. Мы с Лёвкой тоже многое помнили. Да вот ушел он на войну и сгинул.

Многие сгинули, а некоторые вернулись. Стоят у своих домов, курят, рады, что живы остались, что ждали их. И батя такой веселый, Любахе руку подает, вперед тянет и пальцами щелкает, подгоняет:

— Не бойся, Любка, мы с тобой сильные, выживем. Обопрись на меня, и пойдем. Высоко подниматься, долог и труден путь, неприступны преграды, но в конце пути ждет нас... Ты ведь знаешь, Любаха, зачем нам на эдакую верхотуру забираться надо?

Знаю, знаю, он там. Единственный остался с прежних времен. Только бы на него посмотреть, руками дотронуться. Столько о нем говорили, но увидеть пока так и не пришлось. А он ведь с прошлого века там стоит. Тяжеленный, огромный, ни в какие двери не пролезает. Так и будет стоять, пока здание не рухнет. В гражданскую стоял, в революцию выстоял, и сейчас стоит, ни одна бомбежка его не задела.

— Ты спишь, что ли, мамулечка?

— Не сплю я, некогда мне спать, надо в ремесленное затемно успеть. Ноги, ноги мои подводят, никак не хотят идти... Сил нет, а то бы я бегом побежала, там скоро ужин начнется. Успеть бы, каши поесть, чаю горячего...

— Ты, видно, проголодалась? Сейчас мы тебя мигом накормим.

— Сделайте доброе дело, дети мои. Покормите свою мамку, может, и жива она останется.

— Еще бы! Живее всех живых. Ты щей хочешь?

— И щей, и все, что не доели, все буду есть.

Как же ее звали, черненькую, маленькую, одни глаза на лице? А Камой ее звали. Вот дружба настоящая, таких друзей теперь нет. Еще Тоня и Зина неразлучные, все шепчутся, а потом обязательно Зина говорит, а Тоня молчит.

— Знать бы, где зарыты автоматы для фортепианной механики, мы бы сразу дело наладили, — мечтает Кама.

— Это когда было? Еще в начале войны. Никого уже и в живых-то нет. Да и где взять древесину? Ель клавиатурную, граб? А чугунные рамы, сукно, целлулоид — кто нам все это даст? — Зина не верит в затею. Их задача — помогать фронту, делать деревянные противотанковые мины. И футляры для партизанских радиоприемников, и лыжи, и крылья для самолетов. А не пианино. Кому они нужны — в разгар войны?!

Нужны, раз партия и правительство такую задачу ставят. Говорят, что консерваторию открывать собираются, на чем студентам учиться? Любаха уже все обдумала. Главное, что их взяли на обучение к Дмитрию Кондратьевичу. Ему, их любимому мастеру, поручено восстановить производство пианино. Плохо то, что померли все, кто в начале войны закапывал эти автоматы, а без них механику не сделать. Вернее, сделать можно, но в десять раз дольше и хуже.

— Ничего, Любка, и без автоматов обойдемся, — заклеив языком самокрутку, произносит Дмитрий Кондратьич. — Я вас всему научу. Будете сами струны навивать, механику устанавливать и регулировать. Корпуса вы уже делать умеете, фанеровать тоже. Должно у нас получиться не хуже, чем до войны...

До чего крута лестница, как много ступеней! Но сегодня она наконец доберется до заветной двери. На четвертый этаж никто не ходит, нет ни сил, ни надобности... А ей надо, ей очень надо! Здесь, за массивной дверью с резными виноградными листьями и птичками поверху, в полутемном зале затаился, ждет своего часа старинный черный рояль на трех точеных ногах. О нем все давно забыли. Пылью, как пеплом, подернут, но даже отсюда видно: на передней панели тусклым золотом отсвечивает «J. Becker».

Подойти, открыть крышку... Вот они, знаменитые беккеровские клавиши. Дмитрий Кондратьич про них рассказывал. Беккеру удалось сделать так, что сила звука напрямую стала зависеть от силы удара по клавишам. Там должна быть регулировка боковыми деревяшками с винтиками. А самое главное изобретение — проще простого! — струны помещены не сверху доски, как обыкновенно делается, а снизу. Поэтому они встают намертво, и тон получается необыкновенной чистоты, а настройки долго сохраняются.

Все у Беккера придумано просто, такой он был гений. Рояль — это вам не пианино, совсем другой инструмент. Само устройство клавиш, их механика — все другое. Только на рояле можно много раз и очень быстро нажимать на одну и ту же клавишу: рояльный молоточек может повторно ударять по струне, когда клавиша еще не успела подняться. Вот Любаха сейчас и проверит...

К примеру, эти ноты 7-й симфонии Шостаковича — недавно Кама их принесла, Любка немного выучила. Надо попробовать... Для начала взять несколько аккордов. Как здорово! Такой глубокий и чистый звук! Как будто рояль только что настроен, а не стоял две зимы без тепла. Вот это инструмент!

Вековечный Вяйнямейнен
всё на кантеле играет,
всё поёт, и всё играет,
и без пения ликует.
Звон летит к жилищам лунным,
радость — к солнечным окошкам.

— Читай, читай, доча. Ты читаешь, а я крестную вспоминаю. Она про все нам рассказывала: про Похью и Сариолу, Илмаринена и Ловхи. А потом началась война, блокада. Топить было нечем, и сожгли нашу родовую книгу.

— Нет, мамуля, не сожгли. Вот она, у меня в руках. Я же тебе ее и читаю. Видишь, какая она старая, склеенная вся. Ты же сама нам говорила: берегите, девки, родовую книгу, мы и бережем...

Никто не знает, но Кама уже давно учит ее играть. У них дома осталось старое немецкое пианино, не сожгли за две зимы в буржуйке. Мать Камки работала до войны в кинотеатре, создавая фон немым фильмам, а как звуковое кино появилось, стала играть перед сеансом. Она и Каму к музыке приохотила, но та решила стать настройщицей и поступила на «Красный Октябрь» еще раньше Любахи.

— Ты что, Бологовская, здесь делаешь? Все у станков, норму выполняют, а она за рояль уселась! И кто тебя надоумил сюда забраться? Видно, мастер ваш, Фёдоров, пропаганду разводит, с толку вас, дурочек, сбивает. Фронт от нас ждет отдачи, самолеты чинить нечем, партизаны без раций пропадают, а она тут на рояльке наигрывает! — В дверях Катя Синицына, секретарь комитета комсомола. За ее спиной маячат какие-то тени, проступают серые лица, осуждающе качаются справа налево, слева направо... Так это ребята, чья смена закончилась. Вот среди серого блеснуло светом, остро так и весело — Кама улыбается ободряюще.

— Я задержусь, отработаю, а Дмитрий Кондратьич ни при чем, он меня сюда не посылал. В библиотеке мне подсказали... — Голос Любахи пресекается: ведь никаких имен лучше не называть, а она, растяпа...

— Поня-я-ятно, еще и Вера Гавриловна вредные мечтания подогревает, ей бы в цех, да по двенадцать часов у станка постоять, живо бы про свои буржуйские дела забыла. Чтобы я вашей музыки больше не слышала! Марш за работу!

— Нас взяли пианино собирать, а не мины. Сам директор обещал меня выучить на настройщицу, и план по пианино тоже есть, я знаю!

Как язык у нее поворачивается такое говорить и еще кому?! Самой Синицыной, ее все вокруг уважают и боятся, даже Дмитрий Кондратьич тушуется, хоть он вдвое старше. Но серые, усталые лица уже выходят из тумана, проявляются бликами оживших глаз. Дети, маленькие старички и старушки, с интересом смотрят на нее, на Любаху — что-то сейчас будет?

Молвил старый Вяйнямейнен:
«Не страшны твои угрозы,
ни мечи твои, ни знанья,
ни стремленья, ни хотенья.
Только все-таки, но все же
ни за что с тобой не стану
измерять мечей, несчастный,
на клинки смотреть, ничтожный!».

— Я запрещаю тебе, Бологовская, притрагиваться к роялю до конца войны. Иначе поставлю вопрос о твоем членстве в комсомоле. Ну, а с бригадой Фёдорова, считай, что распрощалась, — Катерина развернулась было, чтобы уйти, но Любаха какой-то неведомой силой подхватилась и через секунду была возле окна. Открыть его, скорее открыть. Черт, шпингалет заржавел! Так, на подоконник встать и раму на себя! Вот она отлетела с треском разрываемых многолетних слоев газет, теперь вторую раму рвануть... Только вниз не смотреть, сделать шаг и...

— Люба, Любочка, ты что? Ты что придумала? Не двигайся, замри, я тебя сейчас сниму. Глупая, я ведь пошутила. Играй, играй сколько хочешь! Нам настройщицы скоро понадобятся, а ты музыке училась. Садись, поиграй что ты сейчас играла. Очень правильная музыка, патриотичная. С такой музыкой мы фашистов будем гнать до самого Берлина. Ну, садись за рояль, мы послушаем. Играй, играй...

Это что, ее руки? Откуда коричневые пятна, набухшие вены? Кожа висит как тряпка. Вот до чего голод довел! Старость пришла к ней, молодой девчонке. Преждевременная старость пришла, и ведь не пожила нисколько...

Только пятнадцать исполнилось, день рождения осенью был. Никогда не отмечали, а тут вдруг решили. Крестная принесла свой военный паек, нашлось немного прошлогодней сливянки, присланной еще батиными сослуживцами на день ангела. Настоящий день рождения, с подарками, патефоном и угощением. Только друзей почти не было, все эвакуировались.

Нинка с Настей сидят нарядные, лучшие платья надели, волосы по-взрослому закололи. Ленушка достала из шкафа пластинки, и они танцуют, а крестная рассказывает, как их семья в Карелии раньше жила, мучные склады ее отец держал, и хлебом торговали в Петрограде, своя лавка была или даже две. Но это давно, она тогда маленькой девчонкой была. А теперь крестная вся высохла, и Любаха вся высохла, они обе теперь — как две старухи...

— Я есть хочу, я голодная, принесите мне хоть что-нибудь. Неужели вам не жалко меня? Я столько дней не ела, хоть корочку хлеба!

— Любаха, ты что? Ты ведь недавно обедала. Твоя любимая жареная рыба, с корочкой, как ты хотела, потом овощи со сметаной и кисель из черники. Ты что, забыла, моя дорогая, моя любимая мамочка?

— Придумываете все, лишь бы экономить на СТАРУХЕ.

— Ты и не старуха вовсе, а мамочка, Любаха, любимая наша мамуся.

— Так принесите мне поесть. Батя, дай своей доченьке поесть чего-нибудь. На язык положить вкусного. Что у тебя есть?

— Всего полно. И овощи, и рыба остались, а я пирог пеку, как ты любишь — с грибами.

— Так, господи же, все у них есть, а СТАРУХУ голодом морят!

— Несу, несу, мамочка...

* * *

Приезжая в Ленинград, мама обычно шла к Эльке, своей подруге детства. Всего-то надо было спуститься этажом ниже, нажать на самую верхнюю кнопку звонка и ждать, прислушиваясь к квартирным шорохам. Тетя Эля жила с дядей Васей в узкой маленькой комнатке уютной коммуналки, где соседи больше походили на родственников.

Маруся шла с мамой — а как же иначе? — вдыхала запахи тети Элиной квартиры (в ИХ квартире пахло совсем по-другому), располагалась в единственном плюшевом кресле и замирала, не выпуская маму из виду. Дядя Вася разливал водочку, настоянную каждый раз иначе: то на апельсиновых корках, то на жгучем красном перце или на калгане — от него получался цвет коньяка. Тетя Эля заводила патефон, и всю квартиру заполнял высокий бас Федора Шаляпина: «Из-за острова на стрежень...»

Марусю угощали «хворостом»: его пекла старенькая тети Элина мама, которая жила на Петроградской, была бодрой и самостоятельной. Маруся ее никогда не видела, а знала исключительно по «хворосту», который раз в неделю дядя Вася привозил от тещи. Сама же тетя Эля готовила редко, доверяя дяде Васе это ответственное дело. Детей у них не было, зато полноправно жил кот, видимо сибирский, большой и пушистый, и звали его Тарзаном. Его миска и горшок стояли тут же в комнате возле двери, но, как ни странно, никаких запахов не было.

Маруся прислушивалась к разговорам, но мало что понимала. Самым главным для нее было — ни на минуту не расставаться с мамой. Но она знала, что наступит

такой момент, обязательно наступит, всегда наступает: мама остается, а Маруся уходит. Или Маруся остается, а мама, делая вид, что все в порядке и что она ненадолго, берет в левую руку большую черную сумку с веревочными ручками, а правой открывает замок двери, роняя через плечо: «Ну, поехала я, а то опоздаю». Маруся стоит молча, следит глазами, как в проеме двери в последний раз возникает мамин профиль, а идущая следом бабушка что-то говорит напоследок, но Маруся уже ничего не слышит: она глохнет от подступивших рыданий.

А пока все хорошо, и мама рядом, оживленная, красивая. Маруся ловит каждое ее слово, каждое движение артистичных, уверенных рук. Дядя Вася с тетей Элей тоже довольные, шутят и жизненные истории рассказывают, которые Маруся слушает вполуха. Но поневоле что-то запоминается и становится как бы кусочком и ее жизни. Особенно все эти «а помнишь?»

— А помнишь, как мы на танцы после войны ходили? — заранее сощурив в усмешке глаза и подняв левую бровь с хохолком, начинает мама.

— Ну как же, все помню, — чуть картаво рокочет тетя Эля, деликатно откусывая хвостик у шпроты. — Особенно тот раз, когда ты в моих туфлях пошла. У тебя тридцать восьмой, а у меня тридцать шестой, да еще туфли новые, не разношенные. Ох, уж я тебе тогда не позавидовала.

— Так у нас кроме сапог ничего не было, — задним числом оправдывается мама. — Правда, к концу танцев мне казалось, что у меня вместо ног натирающие протезы, как у Федьки-борца из шестой квартиры. А туфельки твои до чего хороши были: черненькие, лакированные, с тоненьким ремешком.

— Ну, туфли оказались безнадежно испорчены, зато у тебя, помнится, тогда отбоя от поклонников не было, ты вся излучала загадочность неземную. Не такая полундра, как обычно. Да и платье мое тебе очень шло, а на мне сидело как на доярке, — тетя Эля любила преуменьшать свои достоинства, на комплимент напрашивалась. Дядю Васю провоцировала. А тому хоть бы что: доярка так доярка. Ему тетя Эля нравилась в любом виде.

Потом приходила бабушка и забирала Марусю делать уроки, а так не хотелось уходить! Ну еще полчасика, ну, мама, скажи, что мы вместе скоро придем... Тут мама поддерживала бабушку, обещая Марусе, что не задержится надолго. Но Маруся ложилась спать, а мамы все не было. Бабушка ходила, поджав губы, и разговаривала сама с собой, до Маруси доносились только обрывки: «Будут гудеть до утра... Ребенком прикрывается, а сама... Вот придет, я вопрос ребром...»

Но утром все было тихо, мама сидела за столом, а бабушка хлопотала возле нее: «Может, за кефиром сбегать?» А мама пила чай и подсчитывала, когда ей нужно выходить из дома, чтобы не опоздать на электричку. Бабушка то и дело принималась тихонько увещевать маму: «Зачем ты к ним ходишь? Ты ведь знаешь, что ей пить нельзя, она в психушке лежала, из петли вынимали. И как ее Васька терпит? Давно бы ушел к своему ребенку, от этой-то ждать нечего».

Маруся понимала, что разговор идет про тетю Элю. Бабушка ее явно не любила, и каждый приезд мамы с хождением «в гости» вызывал у нее молчаливое порицание. Только на другой день, воспользовавшись маминым «недомоганием», она позволяла себе в очередной раз устроить тихий разнос тете Эле. Марусе было обидно: тетя Эля с дядей Васей ей очень нравились, и никогда ничего плохого о них она не слышала — ведь все же на одной лестнице жили. А главное — мама в такие минуты поругания молчала и не стремилась защитить свою подругу.

5. Саша

— Любка! Бологовская! К тебе пришли!

Вроде за окном кричат. Или у двери? Кто там мог прийти? Ленушку, что ли, с торфоразработок отпустили? А вдруг наши из эвакуации приехали!

— Уже иду!

Вот куда идти, толком не поймет. Совсем дурная стала от лежания. Из окна видна красная стена фабрики, там Зинка с Тоней за нее всю работу делают, чтобы Дмитрия Кондратьича не подвести. Им Любаху навещать некогда, норму на троих гонят до самой ночи, а еще и домой добраться надо...

— Ну, где ты там застряла?! Смотри, проворонишь свое счастье!

Да идет она, идет, вот только ватник наденет да обуется, не идти же в носках. И что еще за счастье такое? Доппаек, что ли, выдали? Тогда спешить надо, а то и отъесть могут. Не нарочно, а машинально, Любка сама так не раз делала. Вроде держит, сохраняет, а как отдавать — куска и не хватает. Такой морок нападает, как в бессознаньи: вроде и видит все, и речь понимает, и говорит даже, а во рту уже зубы что-то перемалывают, раз — и проглотила.

Вот и приемный покой. Громко сказано, всего лишь пристройка: дощатые сени, изнутри фанерой обшиты для тепла. Да какое там тепло от фанеры! Буржуйка пока топится — еще ничего, но стоит погасить — холод собачий уже через полчаса.

Сегодня что-то печка не топлена. И никого не видно. Дверь, что ли, открыть? Господи, да что ж такое — лето на улице! А она — ватник, калоши... Память вовсе отшибло. И улица не та, нет ни фабрики, ни сеней дощатых. Так она же дома, на Шкиперке, вот и сквер, весь в грядках, народ копошится, сажают что-то.

— Вы Люба? — мужчина в морской форме, из ворот только вышел. Значит, он во дворе кричал, звал ее. Совсем незнакомый, а ее откуда-то знает.

— Ну я, а вы кто?

Стыдно-то как, ватник и калоши — это она спросонья напялила. Ей приснился фабричный стационар, где Любаха неделю пролежала в конце зимы. Сейчас время такое: только что деталь в тиски закрепила, тампон в полироль макнула — и вдруг лежишь под верстаком, пыль довоенную нюхаешь. Потом с силами соберешься, вылезешь потихоньку — и за работу.

— Я с поручением к вам от Элеоноры. Меня Александром зовут, можно Сашей.

От какой еще Элеоноры? Так это ж Элька, подруга самая-самая! Как в эвакуацию в августе 41-го уехала с мамой Ниной Георгиевной и тетей Адой, так ни духу ни слуху. Ни письмишка не написала. Любка думала, что померли они все. А что, всякое могло случиться. Многие до места не доезжали, по дороге умирали: кто от бомбежек прямо в вагонах, а дети от поносов — антисанитария в дороге, особенно ближе к югу. Оказывается, живы!

— А где она? Не приехала еще?

Конечно, не приехала, иначе бы уже здесь была. Квартира их на четвертом этаже так и стоит заколоченная.

— Нет, но скоро приедет. У них тетя Ада умерла этой зимой, а Элеонора с мамой домой возвращаются. Просили квартиру их подготовить, уборку там сделать. Я вам помогу, можете мной распоряжаться, — Саша четким движением приподнял левую руку, взглянул на часы, — до восемнадцати ноль-ноль.

— Но у меня нет ключа от квартиры.

— Вот ключ, мне его Нина Георгиевна дала и к вам велела обратиться, сказала, что вы квартиру знаете хорошо и поможете с уборкой.

Да, квартиру Любаха знает как свою. С детства прятались по шкафам. Не то чтобы подслушивали старших, а ждали, когда их хватятся. Очень интересны были

нелепые предположения, куда они могли подеваться: то в цирк поехали — это они-то, мелюзга, одни якобы в цирк отправились! — или по квартирам ходят, телеграммы разносят — как будто кто им телеграммы доверит! Правда, впоследствии, когда они уже в школе учились, Любка стала догадываться, что взрослые все про их фокусы знали и просто подыгрывали им, «искренне» удивляясь внезапному выкатыванию пропавших девчонок из дверок шкафа.

А еще Любка знает про один «секрет», который они с Элькой перед ее отъездом сделали. Во дворе, под липой, выкопали ямку среди корней и опустили в нее картонную коробочку от сережек, подаренных Эльке на день рождения. На атласную подушечку пристроили свои богатства: вставили на место в прорези дареные сережки — их брать с собой мама не разрешила, — а Любка положила рядом старинную «золотую» пуговицу, которую нашла на улице очень давно, еще до мамкиной смерти. Сверху прикрыли кусочком стекла и засыпали землей. Договорились, как только Элька вернется из эвакуации, «секрет» вместе открыть. И клятву дали: если выживут, никогда больше не разлучаться и не ссориться...

— Давай-ка мыться, смотри, какие руки грязные, в чем-то уделала, не оттереть. Небось опять памперс трогала.

— Да ну, Элька, руки как руки. Я уборкой занималась, всю квартиру тебе отскребла, двухлетнюю грязь оттерла. Сашка только хвалился, что поможет, а сам доски от дверей отодрал, ключ мне оставил — и куда-то делся, ищи теперь его.

— Ну и молодец, возьми с полки пирожок. А мыться все же будем. Вдруг кто придет: покажите нам Любовь Ивановну, скажет. Как вы тут за ней смотрите, хорошо ли ухаживаете?

— Что за мной ухаживать, я не маленькая. Вот поесть бы чего... Ты что-нибудь привезла, Элька?

— Сейчас, мамулечка, намою тебя и поедим. Я омлет с зеленью сделала, ты ведь любишь омлет?

— Я все люблю. Когда голод, не разбираешь что ешь. Тебе этого не понять. Ты в Самарканде так не голодала, там все само растет и бомбежек нет.

— В прошлый раз ты говорила, что тетя Эля эвакуировалась за Урал, а теперь — в Самарканд. Не вертись, я шею оботру.

— Холодно, вытирай скорее, есть очень хочется...

А в квартире пыли-то, пыли, все серое от пыли. Стекла почти что уцелели под бумажками крест-накрест, только в кухне осколки на полу, а в окне — небо, все в кудряшках облаков, и разрушенный дом напротив. Вот Александр воды принес, сейчас порядок наводить будем.

— А вы кто им будете, Красницким? Ну, Эльке с мамой?

— Да никто покамест. Познакомились в театре оперы и балета, эвакуированном в Пермь. Но надеюсь, что в скором будущем...

Ах вот они как жили, пока Любка с голоду пухла... По театрам ходили, небось конфеты ели в антракте. С офицерами знакомились, которые теперь полы готовы мыть. И ведь ни одного письма! А теперь, видите ли, приезжают, им чистую квартирку подавай! Любаха и свою-то не убирает. Для кого убирать, никто дома, считай, и не живет. Да и сил едва хватает, чтобы работать, и на дорогу. А они, значит, жили себе припеваючи, про Любаху забыли, решили, что она умерла, как сотни тысяч умерли...

— Я, пожалуй, пойду, мне отдохнуть надо, чтобы до работы дойти.

И уж к двери направилась, да только Александр удержал.

— Никуда я вас не отпущу, и помогать мне не надо, я сам все сделаю, только подсказывать будете. А пока мой вещмешок разберите, в нем для вас гостинец от Нины

Георгиевны. Чаю бы горячего я с вами вместе попил. И вообще, давайте на ты перейдем, к чему эти старорежимные выканья.

— Это можно. Только кипятку надо согреть, пойду к себе, печурку затоплю.

Вот это богатство! Три буханки хлеба, консервы — шесть банок, конфет целый кулек и пачка махорки! А еще небольшие пакетики: крупы разные, сахарный песок, чай, разноцветные обмылки.

— Нина Георгиевна дает уроки музыки детям первого секретаря Пермского горкома партии. И еще по хозяйству помогает, так что накопила всяких остатков. А хлеб и махорка — от меня.

Зря о них плохо думала, помнили о ней, крохами копили, чтоб посылочку передать. Александр, хоть и старшина второй статьи, так проворно всю квартиру убрал, как простой матрос.

— Так, значит, ты Элькин жених?

— Пока что нет. У нее другие поклонники, а я редко там бываю, успевает забыть. Как говорится — с глаз долой, из сердца вон.

— Ну, что ж, жди своего часа... А про какое счастье ты мне кричал? Которое я могу проворонить. Про посылку эту, что ли?

— Ничего я не кричал. В дверь стучал, было дело. Только никто не откликнулся, я во двор пошел на их окна посмотреть, целы ли. Уже хотел уходить, а тут ты навстречу.

— А как же меня узнал?

— Так я фото у Эли видел, где вы вместе сняты.

Мог бы не узнать! Теперь она лет на десять старше выглядит, зубы повыпадали, кожа серая, пергаментная, ногти обломаны. Да еще в ватнике среди лета.

Хотя ничуть не жарко. И откуда-то сильно дует... Закрыть бы окно, да не встать никак. Эй, Нинка, Настя, поднимитесь кто-нибудь и окно закройте! Нечего валяться, надо встать и делами заниматься, слышите? Да что ж они! Живы или нет? Эй, вы там, живы?

— Живы, живы, сейчас обогреватель включим. Чайку попьешь и согреешься. Блинков тебе принести?

— Еще спрашиваете, как будто не знаете, какой у меня паек. Сашка-то не приходил больше?

— Какой Сашка? У тебя их два было, ты какого ждешь?

— Выдумают тоже — два! У меня ни одного нет, это у Эльки морской старшина — Сашкой зовут.

— У тети Эли был дядя Вася. А Сашка-моряк был у тебя — Марусин папа. Ты что, Рыжова забыла?

— Ничего я не забыла. И Рыжова хорошо помню, на гитаре играл. Только он к Эльке сватался.

— Может, и сватался, мамуля, да женился он на тебе. На-ка блинчик с вареньем, Маруська привезла, сама протирала клубнику с сахаром. Ешь давай.

Вот, значит, как... И что Элька? Так просто отдала? Погоди-ка, погоди-ка, путают они все. Ведь Элька приехала, когда весна была. «Секрет» они разрыли, богатства свои детские нашли. И поклялись в вечной дружбе? Нет, не поклялись. Повзрослели они, клятвы смешными показались. А может, все же они поссорились? Из-за Сашки поссорились, что ли?

Саша, ты помнишь наши встречи
В Приморском парке, на берегу?

Именно там все и произошло. Хотя сначала была вечеринка. У Эльки дома, по случаю ее возвращения. Нина Георгиевна в ночь работала, и Элька собрала всех

подруг, кто вернулся. Сашка с другом пришел, бутылку вина довоенного где-то раздобыли, закуску скромную приготовили. Надеть Любахе было нечего, у Эльки пришлось юбку взять, да крестная из клуба скатерть старую принесла и блузку сшила — линялую, подкопченную, зато впору и любимого красного цвета.

— Проходи, Люба, все уже собрались. Какая ты нарядная!

— Здравствуйте, Нина Георгиевна.

И в большую комнату — шмыг. Там уже все за столом.

— А, Любаха пришла, можно начинать!

Он смотрит, украдкой поглядывает на нее, думает, что она не видит. Конечно, удивлен. Когда в первый раз встретились, она бог знает на кого была похожа, да еще в калошах и ватнике. Сейчас она совсем другая. Только что толку! Парней нормальных нету, одни шпингалеты под ногами вертятся. Вообще кругом только женщины, мужичонка самый захудалый, инвалид — на вес золота, хоть по карточкам выдавай. Только ей, Любке, все это неинтересно. Пианино делать, музыке учиться, комнату свою иметь — это да! А мужчины — не ее стихия. Никогда не понимала тех, кто бегает следом, предлагает портки постирать и страдает, если отказывают. Нет мужчин — и не надо!

Вот Кондратьич был, мастер участка, тот настоящий мужик. Жалко его, не дожил до конца блокады. Или доктор Григорий Давыдович, от смерти ее спас, а потом на фронт послали, и не вернулся. А взгляды такие ей знакомы, очень даже хорошо знакомы. Она обычно в ответ наглую морду сделает и матюгнется в пространство. Охоту быстро отбивает.

— Саня, сыграй нам что-нибудь веселое, — просит Элька на правах хозяйки и, видимо, невесты. Мать ушла, можно расслабиться.

— Так я веселого ничего не знаю.

— Ну сыграй что знаешь! Так! Выступает Александр Степанович Рыжов, старшина второй статьи. Просим! — Элька раскраснелась, гитару ему в руки сует. Саша перебирает струны, настраивается. Потом вдруг, усмехнувшись, со значением поднимает на Любаху глаза и берет первые аккорды. Ну-ка, ну-ка... Ага, эту песню она тоже знает, даже подыграть может. Потихоньку пробирается к пианино, открывает крышку, и вот они уже играют вместе, а все подпевают:

Саша, ты помнишь наши встречи
В Приморском парке, на берегу?
Саша, ты помнишь тёплый вечер,
Весенний вечер, каштан в цвету?

Глядит так весело, кивает одобрительно, подсаживается поближе и уже больше не отходит.

— А потом мы все пошли гулять в парк, вот тогда он меня и поцеловал. Один-единственный раз...

— Чего там, единственный. А кто замуж за него вышел? Маруську от него кто родил?

— Но только не я!

— Расска-а-а-зывай! Ну, не ты, так не ты.

А он руку на плечо положил, прижимает к себе, и они идут вместе, ступают в ногу. Сердце колотится, потом замирает, потом опять — как метроном в воздушную тревогу. На скамейку садятся, он ей свой китель на плечи набросил, обнял. Теперь она его сердце слышит: вот-вот выскочит.

— Главное, что война кончилась и все будет по-другому. Меня скоро демобилизуют, мы с тобой поедем к нам домой, в Ленинабад. Ты там быстро поправишься, ведь моя мама...

— Я ничего еще не решила. Давай не будем сейчас. И вообще пора домой возвращаться, крестная беспокоится.

— Ты что, опять передумала? Ведь мы договорились уехать.

— Я вообще не думала об этом. У меня здесь работа, родные. Я даже в эвакуацию не уехала, как твоя Элька, с чего я вдруг сейчас уеду?

— Что ты мне все про Эльку? Она не моя. Не мо-я!

— Хорошо, пусть будет не твоя. Но она моя подруга. Самая близкая, никого нет ближе ее. Она ведь ничего не замечает, ты хоть понимаешь? Она про свадебное платье с мамой говорила, планы строит. Как ты можешь и с ней, и со мной?!

— Да ничего с ней у меня нет, мы просто дружим. А замуж она за Ваську собирается, он сам мне сказал, — убежденно говорит Александр.

— За Ваську? За того рыжего карапета? Да она на него и не смотрит.

— Эх, Любаха, ничего ты не понимаешь. Элька просто любит, чтобы весь мир вокруг нее вертелся. Ей Васька рыжий мил, а Сашку Рыжова придерживает, — пошутил, нашелся.

— А ты сказал ей, что мы собираемся?..

— А ты сказала?

— Не сказала и не скажу. Ничего не решено. Всё, пошли по домам, у тебя увольнительная скоро кончится.

Где ты, милый мой, чудесной юности герой,
Весёлый Саша, и дружба наша, приятель мой?

— Т-сс, иди сюда, ну, иди же скорее...

— Нет, мне домой надо, вдруг крестная раньше вернется.

— Ты сама говорила, что до ночи ее не будет.

— Ленушка может приехать, что я ей скажу?

— Ну, с чего она вдруг приедет — середина недели. А я завтра уплыву, и неизвестно, когда еще увидимся...

— Ой, погоди, он смотрит!

— Кто там еще смотрит, дурочка?

— Кто-то в конце аллеи. Курит и смотрит на нас.

— Так он не видит ничего. Ну хорошо, пройдем дальше.

— Нет, не сегодня, давай потом, когда вернешься. Я боюсь. У меня никого никогда...

— Я знаю. Не бойся, ничего со мной не бойся. Ну, глупая, ну, Любаха...

— Нет, пусти, не надо, не надо! А-а-а...

— Гос-с-споди! Ты что, с кровати упала? Как же так? Все тебе бежать куда-то надо! Добегалась, теперь поднимай тебя, горе ты мое!

— Я боюсь, не надо, не трогайте меня!

— Как же не трогать, если ты свалилась на пол, вон как ногу ушибла, синяк большущий будет. Мне тебя и не поднять. Давай потихоньку, бери меня за шею. Держись крепче, ну помогай мне, ты же тяжелая! С такой широкой кровати умудрилась сверзиться. Тебе надо, как лялечке, кроватку с решеткой.

— Я хотела убежать, а он меня держал, я еле вырвалась.

— Ну все, уже никого нет, успокойся. Приснилось тебе что-то?

— Нет, не приснилось! Вот только что, только что он тут был. Ты пришла и спугнула его, теперь он больше не придет.

— Да кто не придет? Может, и не надо, чтобы приходил?

— А как хочет. Я ему сказала, если приедет насовсем — тогда пусть, тогда можно.

— Ну давай я тебе ногу натру и завяжу, а то приедет — а ты вся в синяках.

* * *

Маруся спешила к электричке, перешагивая через лужи и придерживая ворот капюшона. Как-то внезапно наступила осень, причем сразу холодная и дождливая. Будто самолетом из жарких стран прилетаешь: только что плескалась в море, а через три часа — бац! — того и гляди, снег повалит.

Маруся быстро нырнула в тепло тамбура, и состав тут же тронулся. Полупустые вагоны нехотя отошли от платформы, но потом встряхнулись, застучали бойко и деловито. Устроившись в уголке, Маруся равнодушно следила глазами за убегающими станциями, крышами, стволами облетевших берез.

Как быстро прошел этот праздник — лето! Молнией ослепил, оглушил громом грозового фейерверка, опалил игрушечными факелами внезапной жары. Вот только что, вот прямо на днях, валялась она на жухлой траве солнцепека, отворачиваясь от слепящих лучей. Прикрыв глаза, представляла, что все впереди, что ветки усыпаны набухающими почками, сквозящей прохладой тает забытый в низинах снег, небо высокое-высокое, и птицы летят, возвращаясь на родину из чужих, вечнозеленых краев.

А она, Маруся, сидит на «кукарешках» у папы — выше всех. Рядом, под ручку с ним мама, вкусно пахнущая «Красной Москвой», с мелко завитыми волосами, заколотыми с боков невидимками. Маруся плывет по бесконечной аллее Приморского парка, крепко сцепив руки замочком под свежевыбритым папиным подбородком. Лица ей не видно, его закрывает белый парусиновый круг офицерской фуражки. Ухают трубы духового оркестра, и народ гуляет чинными парами.

Вот маленькая и узкая комнатка на Шкиперке, где они некоторое время жили, пока не уехали в Ленинабад, к папиным родителям. Мама в своем нарядном лиловом, с павлиньим глазом, крепдешиновом платье стоит возле гладильной доски, тихонько поворачиваясь, а папа утюгом гладит ее юбку «солнце-клеш». Они опаздывают, и крестная неодобрительно гремит в кухне кастрюлями. Маруся снизу смотрит на маму, на ее стройные, обтянутые блестящими чулками ноги, узкое кружево розовой комбинации, возникающей моментами, когда папа подхватывает для глажки очередной шлейф «солнца». Мама, как всегда, подшучивает над папой, а он в тон ей зубоскалит, и они двигаются в каком-то ритуальном танце: мама, болванчиком переминаясь вокруг себя, папа, то и дело перехватывающий ее широкий подол, чтобы шипящим утюгом сбить с лилового «солнца» хмурые складки. Они так молоды, так веселы... Все впереди: и лето, и жизнь.

В Ленинабад ехали на поезде и добирались три дня — но Маруся этого не помнит. Зато она хорошо запомнила их с мамой возвращение, вернее, побег. Они убежали с небольшим фибровым чемоданчиком, ушли среди белого дня под носом у подозрительной и немногословной «другой бабушки» и до отхода поезда прятались между товарными вагонами в тупике станции. А потом долго-долго ехали в тесноте, лежа часами на верхотуре третьей полки. И до самого Ленинграда почему-то боялись, что их догонят и вернут. Но их никто не собирался догонять.

Только через два года папа попросил своего брата встретиться с мамой и уговорить возвратиться домой. Но ничего не получилось, и брат уехал, а Маруся с мамой остались жить в той же маленькой комнатке на Шкиперке, в одной квартире вместе с бабушкой. Маруся так и не узнала, почему они с мамой тогда сбежали и почему папа прислал брата, а не приехал сам. Когда она спрашивала об этом маму, та отвечала уклончиво или отшучивалась. Теперь уже не узнать. Мама не помнит Марусиного папу. Вообще все родственные связи в ее представлении сдвинулись, времена смешались.

— Ну конечно, вы теперь можете со мной не считаться — я всего лишь ваша дочь! — произносит она с театральным пафосом.

— Ты наша мама! — восклицают Маруся с сестренками хором.

— Мама? Чего только не придумают, чтобы от меня отделаться!

В Выборге Маруся быстро нашла такси и уже через несколько минут подъезжала к Томасиному дому, где мама жила последние пять лет. Окошко на втором этаже было открыто, и Марусе подумалось: вот лежит она, наша мамулечка, под скошенным потолком, одна лежит в комнатке, то спит, то грезит наяву. Только иногда осознает все четко и ясно, всех узнает, про внуков спрашивает и понимает, что они уже выросли.

А то рвется куда-то ехать, просит отвезти ее домой. А куда домой? На Шкиперке дом пошел на капремонт, в их квартире живут другие люди. В ее доме на Карельском перешейке поселилась Лелина семья, изъеденное жучком пианино выброшено. У всех своя жизнь, свои планы. Да и ей, кроме Томаси, которую она то и дело называет батей, никто не нужен. И еще родные, оставшиеся в той далекой блокадной зиме.

Иногда мама вспоминает про Эльку и просит кого-нибудь из дочек ей позвонить. А сама заранее волнуется: вдруг та не ответит, вдруг она уже... Но тетя Эля неизменно берет трубку, и тогда мамулечка вовсю бодрится и говорит нарочито небрежным тоном. А после задумчиво шепчет, разглаживая морщины на пододеяльнике: «Как она там одна? Ведь никого у нее нет. Случись что, и воды подать некому».

— Ну почему некому? — успокаивает Маруся, — к ней соцработник дважды в неделю приходит: в магазин сходить, пол помыть. И еще дяди Васина внучка — ну, из его другой семьи, с которой он никогда не жил, — она иногда заходит, помогает.

Но мама еще долго тревожится, то и дело повторяя: ей меня не пережить, нет, не пережить. А потом месяцами не вспоминает про свою подругу Эльку, а если и вспомнит, то прежнюю девчонку, закапывающую под липу свои «сокровища» перед отъездом в эвакуацию. Там, в маминых воспоминаниях, она и живет, спасается от войны. А потом приезжает, и они по очереди ходят на танцы — одни туфли на двоих — но разве в этом дело?..

Томася встречает на пороге веселая. Все отлично удалось, все, что задумано. От лица администрации маму приехала поздравить с юбилеем целая делегация — с цветами, подарками и открыткой из Кремля. На самом деле ничего такого не было, про маму власти давно забыли. Это Томаськины подружки постарались, благо мама теперь никого не узнает. Зато как довольна! Сидела с намытой и причесанной головой в новой красной кофточке и горделиво приговаривала: «Вот так надо жизнь прожить, чтобы все помнили. А как я их насмешила! Что ж, и директор поздравил, как ему такую хризантему не поздравить! Но я ему тоже многое могу сказать, он мужик с юмором. Юмор — вот что главное в людях!» И пела, даже гитару попросила, но она, конечно, не настроена. Томася подмигивает: мама давно уже не может играть, но гитару просит регулярно и каждый раз пренебрежительно возвращает — не настроена.

Маруся поднимается наверх, и еще с лестницы в нос бьет тяжелый запах. Несмотря на памперсы, мытье и постоянные переодевания, этот запах — запах старости и давно лежачего больного — проник во все уголки и щели. Букет осенних хризантем не в силах его заглушить. Но только в первые минуты. Потом притерпишься и не замечаешь. Маруся открывает узкую белую дверку. Мама спит, ее смешной седой «ирокез» торчит над подушкой, а рот раскрыт. Клоун ты наш любимый, все бы тебе смешить!

К вечеру все собираются вокруг мамы: Томася к ней под бочок заваливается, Маруся в кресло напротив, Лёля в ноги на кровать садится. Маруся вся в деда: много песен знает, голос не сильный, но приятный, мелодию не врет. Сначала поют песни маминой молодости, потом — Марусиной. Мама довольна, оживлена, тоже подпевает. Вдруг лицо ее становится растерянным, глаза моргают, уголки губ ползут вниз.

— Вот вы смеетесь, поете, а сами втихаря не думаете уехать, а СТАРУХУ здесь оставить?

— Ну вот, начинается... Куда ж мы отсюда уедем?! Никто тебя не оставит, скажи, Маруся.

— Конечно, нет. Всегда с тобой будем, наша доченька. Только чайку попьем, и от тебя ни на шаг. Поставь чайник, Томася.

Когда все ушли, Маруся села возле матери и прижала к губам ее худую узловатую руку с прозрачными пальцами. Мама смотрела куда-то вверх, в невидимое с ее кровати небо, а потом сказала Марусе: «Ну иди, я пока посплю». Но Маруся все никак не могла уйти, ей казалось, что маме будет очень скучно лежать одной, смотреть и не видеть осеннего холодного неба с белым росчерком неслышного самолета. А еще ей хотелось расспросить маму о блокаде, об отце, узнать наконец, почему же они расстались.

Но мама как будто ее не видела. Она прикрыла глаза, и Маруся уже было направилась к двери, но тут же оглянулась от ощущения, что за спиной кто-то стоит. Мама, чего уже давно не случалось, сидела на кровати, опираясь локтем на подушку и протянув к Марусе чуть дрожащую, голубую от выступающих вен руку. И вдруг произнесла ясно и взволнованно:

Дай последний раз поцелую,
моё сердце в твоё перелью,
А потом по широкой дороге
я уйду от тебя навсегда.

Никогда никого не любила
и сейчас никого не люблю,
Только сердце так сильно заныло,
я ушла далеко-далеко...

* * *

Любовь Ивановна умерла в среду. Томася была выходная, и утро начиналось как обычно: мама стучала палкой в пол, и Томася поднималась на второй этаж с чашкой чая в руках. В этот раз, глядя мимо Томаси, мама сказала: «Мне на завод надо, у бати сегодня получка, пойду встречу». Она попыталась встать, но не смогла и беззвучно заплакала. Ей стало тяжело дышать, в глазах все кружилось, а сердце стучало с перебоями. Томася дрожащими руками отмеряла капли, вкладывала в безвольный рот таблетки, заливая их водой из чайничка.

Мама лежала на высоких подушках, и выражение испуганной девочки не сходило с ее лица. Была вызвана «скорая», и, пока врачи ехали, Томася растирала маме спиртом ледяные ноги. Приехал доктор, вколол лекарство, и мама закрыла глаза, задышала ровно, засыпая. А потом и вовсе перестала дышать, как будто так и надо, как будто необходимое людям дыхание стало ей абсолютно не нужным.

Томася улеглась рядом с матерью, свернувшись клубком и обхватив колени руками. Вся мокрая от слез, лежала она с закрытыми глазами, уткнувшись в мамино неподвижное плечо, и говорила, говорила. Как все будет хорошо, как они заживут все вместе, как поедут к бате. Мама слушала молча, и это было так непривычно — она всегда что-то отвечала. Любила, чтобы последнее слово было за ней...

Любаха плыла на своей старенькой кровати по улицам-каналам Васильевского острова. Она плыла в сторону Гавани, по Шкиперскому протоку, мимо Весельной улицы — домой. А на берегах шла своя жизнь, и никому не было до Любахи никакого дела. Вот уже она пересекла Гаванскую, еще издали заметив, что возле парадной ее дома толпится народ, руками машет, встречает. Ее, Любаху, встречают! Тут и батя, и мамка с Нинкой и Настей, обнявшись, стоят. Саватеевы все до единого — нарядные, с цветами; соседка тетя Вера в рабочем синем халате — с ночной смены, видно, шла. А позади всех — крестная с сыном Лёвушкой. И так тепло, так радостно стало Любахе и в то же время так спокойно, как никогда раньше не бывало. Все кончилось, все позади. Наконец-то она дома!

Александр Григоренко

Солнцепоклонник

По следу ненаписанной книги

Сначала — о том, почему вообще «не получается»...

История, прежде чем стать вещью, должна пройти через массированный обстрел сомнений автора — как самолет-торпедоносец проходит сквозь бой корабельных зениток. Прошел — выжил. Но даже этот приятный факт не означает выполнения задачи.

Недавно узнал, что в военной науке есть термин «ошибка выжившего», который имеет также авиационное происхождение. Во время Второй мировой войны командование американских ВВС поставило своим инженерам задачу просчитать максимально эффективное распределение брони на поверхности бомбардировщика. Инженеры сочли задачу несложной — бронировать надо те места, куда чаще попадают. Осмотрели все машины, вернувшиеся с боевых вылетов, подсчитали пробоины, определили тенденцию... Но тут пришел один еврей-математик и сказал: «Дурачки! Защищать надо те места, где пробоин нет. Потому что тот, кто получил снаряд в то самое место, — не вернулся на базу, погиб, а вы о нем ничего не знаете. Видели хоть один уцелевший самолет с прямым попаданием в двигатель? Ну и вот... Больше брони на двигатели и не морочьте мне голову!»

В этой действительно несложной задаче есть удивительная вещь — погибший уносит с собой знание истинной причины своей гибели, то есть правду, а выживший возвращается домой и приносит живым ошибку.

Так и выживший, ставший вещью замысел, даже если он потрясает умы и сердца, несет в себе ограниченность, внутреннее противоречие (оттого великие вечно недовольны), а погибший со всей своей нераскрытой полнотой, лежит на дне, обрастает ракушками, и только он знает подлинную причину, не допустившую его появления на свет.

В поражении — правда, которой ты не знаешь, а «мысль изреченная есть ложь», и автору приходится все же идти на компромисс с этой ложью, иначе он рискует вообще ничего не написать.

* * *

В июле 1988 года мой 78-летний дед Александр Тимофеевич Григоренко, рассказал мне родовое предание. Мы лежали на пляже, на берегу Донца... Предание выглядело забавной историей, я запомнил ее от и до, рассказывал иногда, чтобы посмешить

Александр Григоренко — прозаик, драматург и журналист. Родился в 1968 году в Новочеркасске Ростовской области. Автор романов «Мэбэт» и «Ильгет. Три имени судьбы». Лауреат премии «Ясная Поляна» в номинации «XXI век» за повесть «Потерял слепой дуду» (2016). Живет в г. Дивногорске Красноярского края.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 6.

компанию. Только потом пришло понимание, что эта история — замечательная находка для пишущего, каковым я тогда не был.

Так, собственно и произошло — лет двадцать спустя, с той же целью повеселить, я рассказал ее своему другу Андрею Иванову. Дело, кстати, тоже происходило на пляже, только в Хакасии, на озере Иткуль. Мой друг был (увы — был) драматург, пьесы его шли в десятках театров. Просмеявшись, Иванов замолк, отвернулся, закурил — будто обиделся на что-то — потом повернулся и с каким-то просительно-скорбным выражением на лице сказал: «Тебе это не нужно? Отдай мне, а?» Я отдал.

Почти ту же реакцию я наблюдал, когда рассказал эту историю Владимиру Александровичу Шарову — мы были в гостях у общего приятеля: Шаров подпрыгнул на пластиковом стуле и прогремел повелительным басом: «Так — пиши! Такое — писать надо».

У Андрея получилось — матерый профессионал, он месяца за два написал пьесу «Семейная фотография на фоне гражданской войны», которую тут же поставила Московская антреприза, состоялась премьера и, по-моему, пара спектаклей, но потом все развалилось, поскольку, как Андрей говорил, продюсеры не просчитали график занятости актеров.

Главные персонажи в пьесе носили фамилию прототипов — то есть мою.

Но Андрей написал не то, совсем не то...

А что — «то»?

Одна из главных причин поражения теперь видится мне совсем простой. Как замечал мой любимый Паустовский и его любимый Бабель — рассказанное, тем более многократно, уже не станет написанным. Применительно ко мне это оказалось правдой. Я бодрился, отказывался верить, что замысел мой еще много лет назад получил прямое попадание в жизненно важный узел, и пошел вниз, на дно — однако это было так.

Конечно, я тоже обращался к родовому преданию, но разменял его на публицистику и привожу здесь почти в том же виде, в каком оно уже было напечатано в одном уважаемом журнале.

В какой-то из дней Гражданской войны моя прабабка сидела у открытого окна на черном стуле с высокой резной спинкой. Семейство обедало. Пуля влетела в окно и отхватила кусок лакированной виноградной грозди над ее головой... В раннем детстве я видел этот стул и даже сидел на нем.

Пуля была предметом времени. Стул — одним из предметов быта, которые мой прадед, до революции владевший фотографией в Таганроге, взял с собой на Дон, в станицу Константиновскую, где снял весь второй этаж особняка тамошнего винного фабриканта. На этаже он разместил семью — жену и троих сыновей, в их числе моего будущего деда, которому к началу войны было лет восемь, — и студию. Она занимала самую светлую комнату, но была весьма невелика и позволяла делать только поясные портреты. Нехватка площади впоследствии сыграет с прадедом злую шутку — точнее, множество повторяющихся злых шуток — и станет одним из двигателей этой короткой истории. Вторым двигателем станет винный погреб в подвале дома.

Все армии, регулярные и самозваные, входившие в Константиновскую, узнавали о погребе и фотографии над ним в первую очередь. Сначала армии шли, конечно же, в погреб, потом наверх — фотографироваться. Победители требовали снимать их группами, в полный рост, с шашками наголо, кто-то даже хотел затащить коня, а когда фотограф начинал объяснять, что размеры помещения не позволяют этого сделать, обещали зарубить. Разумеется, как собаку. Прадед снимал — якобы как требовали — потом, до последней возможности тянул с проявкой и печатью, и — Бог его хранил: в станицу входила какая-то другая армия, лишая предыдущих клиентов возможности потребовать свои портреты либо исполнить свои угрозы. Другая армия следовала тем же маршрутом — подвал, студия, зарублю, как собаку — и так же не успевала получить заказ. Рассказывая

об этом, дед говорил, что не помнит, сколько вооруженного народа прошло через их дом — все эти люди слились в сплошной мутный поток.

Удивительно было не только то, что прадед оставался жив, но и содержимое подвала — он казался бездонным. Наконец, когда в станицу вошли части РККА, красный командир, знавший корень зла, выставил у погреба караул, приказал снять с парохода помпу, прокопать желоб и спустить оставшееся вино в Дон. Больше суток текла сквозь Константиновскую винная река, которую пили, но так и не выпили все эти армии. Дед помнил, как по ее берегам лежали бойцы, — подобно воинам Гедеона, не выпуская оружия, они хватали ртами остатки красно-бурой влаги. Были утонувшие...

Когда подвал иссяк, и река иссохла, в станице установилась новая власть. Теперь уже окончательно.

А потом было вот что... Прадед собрал все стеклянные негативы, с которых так и не было сделано ни одного отпечатка, погрузил их в телегу, ночью отвез в балку и закопал. От греха подальше. Я не знаю — найдены ли они или до сих пор лежат в земле. Хотя вряд ли что-то осталось. Помимо атмосферных осадков, здесь прошла война.

Дед не унаследовал профессию своего отца — всю жизнь учительствовал, на пенсии основал музей шахтерского дела, стал там директором, каковым и пробыл почти до самой смерти, пришедшей незадолго до его 95-летия. Прадедовское ремесло перешло к моему отцу — фотография была его страстью с ранних лет, потом стала профессией. Все мое детство сопровождали красный свет и запах химикатов (из названия помню только гидрохинон и красную соль), отец надеялся, что я стану наследником. Я действительно пытался стать им — снимал, проявлял, печатал, глянцевал, делал рамки и даже поступил на факультет, где фотография была профилирующим предметом. Но оказавшись на свободе, вдруг понял, что женился на фотографии из одного лишь почтения к отцу — и охладел к ней. И мы почти перестали видеться. И приданое — чемодан фотокамер, среди которых были редкие экземпляры — разбазарил без зазрения совести.

Но фотография никак не хотела уходить — потому что осталось тихое восхищение самим феноменом светописи, чудом, когда свет рисует сам себя. Восхищение оставалось той единственной нитью, которая связывала с родовым преданием о злоключениях таганрогского фотографа Тимофея Григоренко.

В пространство между появлением в его доме первого вооруженного человека и той ночью, когда Тимофей повез хоронить негативы, драматург Иванов поместил любовный сюжет, почти водевиль. При желании туда поместились бы «Декамерон», «Тысяча и одна ночь» и вообще целая прорва неизвестной мне жизни, которую еще надо было сочинить.

Но меня волновала судьба той похороненной галереи. Возможно, ее найдут, как нашли фаюмские портреты, ценность которых не только в высочайшем мастерстве живописцев, но в подлинности людей, живших почти за две тысячи лет до меня. Осязаемость прошлого создают не поэмы, не философские трактаты, а подлинники иного рода — берестяная грамота, в которой один новгородец просит другого доставить ему на покос свежего коня и чистую рубаху, или папирус, отправленный солдатом легиона, стоявшего на Дунае: солдат, поздоровавшись со всей родней поименно — совсем как наш крестьянский сын — укоряет ее: «Я отправил вам семь писем, а вы не отвечаете, будто я чужой вам», — и обещает выпросить отпуск у командира...

И та галерея лиц — а там, наверное, все пьяные, и главное, упорные, ошарашенные своей правотой, ни в какую, до смертоубийства, не желающие понимать, что студия мала для ростового портрета, тем более на коне с шашкой наголо — могла бы стать самым подлинным портретом Гражданской войны. Ведь свет, рисующий сам себя, лгать не может.

Но так ли это?

И я пустился в размышления о природе света, рисующего себя, и утонул в них.

* * *

Самой первой иконой считается Спас Нерукотворный. Он же — первая фотография, поскольку изображение было получено без участия художника. Христианское предание знает о двух прижизненных изображениях Иисуса. 12 июля Католическая церковь поминает святую Веронику — благочестивую еврейку, протянувшую Спасителю кусок ткани по пути на Голгофу, чтобы Он вытер с Лица кровавый пот. Лицо отпечаталось на ткани, которая почитается как Плат святой Вероники. «Фотография» Христа страдающего стала сокровищем западной традиции, хотя о ней знали и на востоке — пусть и не в том же виде.

Константин Багрянородный считал, что плат дал Спасителю один из учеников в Гефсиманском саду. «Когда Христос должен был идти на вольную смерть, когда, являя человеческую немощь, Он явился боящимся и молящимся, когда пот капал с него, подобно каплям крови, как указывает евангельское повествование (Лк. 22:44), тогда, говорят, взяв у одного из учеников этот ныне видимый кусок ткани, он вытер им ручейки пота, и тотчас отпечатался Его боговидный Лик».

Но главное предание Востока все же основно на истории об эдесском царе Авгаре, заболевшем проказой и исцелившемся нерукотворным изображением Христа, которое возложил себе на голову и уста. Как во всяком предании, в этом существует множество вариантов, разночтений, но есть два неизменных момента. Первый: прежде чем исцелиться, Авгар уверовал; узнав о пришествии Мессии, написал Ему письмо с просьбой изложить Его учение и отправил его с посольством — и Спаситель ответил, пообещав прислать верного человека — им впоследствии стал апостол Фаддей, по-сирийски Аддай. Помимо письма посольство доставило и «отпечаток образа на льне», которым Авгар исцелился, а Фаддей впоследствии рассказал царю историю происхождения «изображения без красок от пота».

Второй момент — вытеснение художника из процесса появления первого нерукотворного изображения. Хотя есть и традиционный вариант — в сирийско-армянском «Учении Аддая» упоминается Ханаан, или Анания — царский архивариус и художник, вошедший в состав посольства из Эдессы и получивший задание написать портрет Спасителя. В одном варианте живописец задание выполнил, но написанное изображение Христа не несло в себе даже отблеска силы Изображенного и не исцелило царя.

Но есть другая история — у живописца ничего не получилось. Сколько он ни пытался, краски ложились не так... В цепи — натура-художник-картина — художник явно выглядел лишним звеном. Человек не может соперничать со Светом, отображающим себя.

В этом варианте художника звали Лука — возможно, безымянный автор имел в виду будущего евангелиста и первого иконописца Луку. «Авгар... послал писца, искусного в писании икон, в Иерусалим, дабы он написал образ Иисусов тайно на плащанице. И пришел Лука в Иерусалим, и вошел в собрание, где Иисус учил, и, встав в удаленном месте, стал писать образ Иисусова лика природными красками, недоумевая, как ему удастся постигнуть непостижимое божественное Слово. Однако Тайноведец происходящее тайно сделал явным. И тотчас Иисус воззвал, говоря: "Лука, Лука, Авгаров посол, дай мне плащаницу, что принес от Авгара"».

И вошел Лука в собрание, и отдал Иисусу плащаницу. И тотчас воды попросил Иисус и омыл пречистое и божественное Свое лицо водою, а плащаницею отерся. О чудо, выше ума, превосходящее разум! Простая та вода преобразовалась в краски и, скатившись, закрепилась на плащанице, и явился образ Иисусов на плащанице, так что ужаснулись и в страхе все были».

Далее повествуется о том, как Лука и апостол Фаддей отправились к Эдессу вместе. Они остановились в гостинице близ городка Иераполя и, опасаясь за свою

бесценную поклажу, спрятали плат меж двух камней — и тут же взвился огненный столп, и Лик отобразился на одном из камней — как потом он отобразится на черепице, которой были покрыты ворота Эдессы.

Чудеса эти можно счесть предвестием будущего фотопроцесса — хотя бы той порции света, необходимой, чтобы перенести изображение на носитель — металлическую пластину, стекло, пленку, бумагу, ткань — а огненный столп, видимо, переродится в магниевую вспышку... Но это будет уже дело рук человеческих и совсем другая история, речь о которой впереди.

Важно другое: Свет — именно так, с большой буквы — отобразил сам себя, и было это — единственный раз. Без всякой возможности своевольно тиражировать изображение и предъявлять его как неоспоримое «вещественное доказательство» подлинности явления Бога в человеческой плоти. В появление «фотографии» Христа — будь то Мандилион (отпечаток на льне), Керамидион (отпечаток на черепице) или Плат святой Вероники — нужно верить...

И в нее верят, и мысли мои о том, что считать первой фотографией, не оригинальны. Недавно узнал, что на Западе святая Верника считается покровительницей фотографов, а 12 июля — их профессиональным праздником. Кстати, весьма символично, что в этот же день 1854 года родился Истмен Кодак.

* * *

А потом миру стало не до фотографии, в истории которой наступил перерыв длинной почти в 18 столетий.

Светопись вернулась совсем не так, как явилась впервые, и судьба у нее была другой, и несла она в себе не только свет (уже с маленькой буквы), но и зародыш того, что изменит отношения между людьми и взгляд человека на самого себя.

Тревожное предвестие перемен должны ощущать сами ее создатели — имею в виду не реальных создателей, а выдуманных мною персонажей под историческими именами. Каноническая триада отцов фотографии — французы Ньепс, Дагер и англичанин Тальбот (на самом деле «отцов» намного больше и русские среди них тоже есть) — становится персонажем «Истории светописи», которую таганрогский фотограф Тимофей — опять же персонаж, а не мой настоящий прадед — пишет для своего сына Александра. Пишет только для него одного, в единственном экземпляре. Я публикую ее, так сказать, «на правах рукописи».

Человек по фамилии Ньепс первым получил нерукотворное изображение кусочка мира — это были крыши трех домов, видневшихся из его окна. Ньепс сделал это при помощи камеры-обскуры и медной пластинки, обработанной специальным составом, из которого мне известен только асфальт. Хотя картина походила на мазню ребенка, Ньепс был потрясен тем, что не память, не глаза и руки создали эту картину, но сам мир, беспрерывно уходящий и не возвращающийся, прилип к меди и время стало подобно пойманной и засушенной бабочке.

Ньепс, которого звали Нисефор, или по-нашему Никифор, послал своего младшего брата Клода в Англию, где так же пытались поймать время, надеясь, что цепкий ум химика и механика сможет выхватить чужие секреты и тем самым поможет сделать первую победу французов победой окончательной. Ньепс еще не нашел способа закреплять изображения на поверхности, они блекли, некоторые вовсе исчезали, как вода на горячем камне.

В первом письме Клод сообщил, что познакомился с неким профессором по фамилии Тальбот, который принял его радушно, допустил в свою лабораторию, где проводил те же опыты, но с куда меньшим успехом. «Англичанин, — писал Клод, — сам надеется выведать кое-что у меня, но по всему видно, он дилетант в настоящей химии».

В течение года Клод присылал письмо за письмом, а Нисефор тут же применял его

советы. Однако пользы они не приносили, даже наоборот, и более того, со временем письма становились странными для столь сведущего человека, как Клод. Например, в одном из писем он советовал применять золото, растворенное в уксусе.

Ньепс стал всерьез подозревать, что мерзавцы-англичане, угадав тайный замысел его ученого брата, стали обманывать его, направляя на заведомо ложный путь, чтобы запутать и заставить потерять время.

В конце концов Нисефор решил отправиться в Англию и выяснить, в чем дело.

Увиденное превзошло его самые худшие ожидания — Клод повредился разумом и последние три-четыре месяца присылал письма из скорбного дома Бедлам.

Ньепс-старший не знал, что пока он ехал в дилижансе до порта, а потом плыл на корабле, дома в Сен-сюр-Обр его ждало последнее письмо Клода, в котором он сообщал, что им наконец подмечен самый эффективный способ, который применяет англичанин, — нужно молиться Атону, египетскому богу солнца. «Если так пойдет дальше, он обойдет нас, а мы проиграем», — писал Клод.

Убитый горем Нисефор Ньепс оставил брата в Лондоне, поскольку везти сумасшедшего на континент — а на Клода время от времени нападали приступы буйства — разрешалось только в клетке. Нисефор даже представить себе такого не мог. Можно было нанять охрану и сопровождающего врача, однако денег на такое путешествие Ньепс-старший не имел — эксперименты с ловлей времени отняли у него последние деньги. Чтобы съездить в Лондон, Нисефору пришлось влезть в долги.

Вернувшись домой, Ньепс прочитал письмо брата и захотел умереть. И это случилось с ним — но только через год. Несколько успокоило его неожиданное послание от Тальбота, в котором англичанин сообщал, что берет на свое попечение Клода Ньепса и делает это из почтения к его учености и сочувствия горькой судьбе.

Ньепс вернулся к своим опытам, осенью поехал в Париж, где познакомился с человеком по фамилии Дагер — тот сам отыскал Ньепса и предложил сотрудничество. Дагер был сценический художник и директор парижской диорамы, за что получал жалованье от правительства. Он видел серые крыши на картине Нисефора Ньепса и считал, что они — провозвестники величайшей иллюзии, о которой он мечтал всю жизнь и которая со временем покорит человечество. Они работали каждый в своей лаборатории, но только Дагер, узнав секрет Ньепса, сделал шаг вперед — начал применять пары ртути при обработке пластин, благодаря чему его картины стали точнее самой изощренной гравюры. О ртути Ньепс ничего не знал, он оставался на тех же позициях, с которых начал. Через год после знакомства с директором диорамы Нисефор Ньепс умер от головного удара.

Дагер признал сына Ньепса — Исидора (видимо, у них было семейное влечение к византийским именам) своим компаньоном и сумел выхлопотать жалованье для продолжения экспериментов — 6 тысяч франков себе и 4 тысячи — ему. Правительство согласилось на это, поскольку эксперименты Дагера становились все более успешными (Исидор, по правде сказать, не перенял изобретательского таланта отца), его картины вызывали восхищение ученой публики и даже коронованных особ.

Но картины Дагера при всей их невероятной точности оставались мертвыми — на них не было людей, равно как и вообще живых существ, если таковыми не считать деревья. И хотя Дагер сумел добиться такой чувствительности пластины, что время открытия объектива сократилась с часа до 15 минут (у покойного Ньепса выдержка доходила до шести часов), поймать людей и животных он все рано не мог, «поскольку все живое в вечном движении, мой мальчик, и даже четверть часа покоя слишком много для нас».

Дагер жил на пятом этаже в доме номер 14 по бульвару Дю Тампль. Однажды в июне 1839 года он с помощью слуги поднес камеру к открытому окну, чтобы сделать одну из своих картин. Дагер полагал, что это будет обычная для него картина — его больше интересовало действие цианида при закреплении изображения на пластине.

В полдень бульвар, как всегда, заполнен экипажами, пешеходами, и, возможно, Дагер не заметил этого человека. Видимо, этот человек имел очень грязную обувь либо скверный характер, из-за чего требовал от чистильщика зеркального блеска, может, заговорился

с ним, а может, просто замечтался. Но, так или иначе, все 15 минут, что был открыт объектив, он стоял неподвижно, поставив ногу на ящик, и стал первым человеком, запечатленным светописью. А чистильщик, отчаянно работавший щетками, превратился в мотылька с осыпавшимися крыльями и исчез.

Кто был тот человек, мы не знаем, равно как и того, о чем говорил он с мальчишкой в эти четверть часа, и говорил ли вообще — мы не знаем, хотя очень хотелось бы знать. Собственно, на пластине нет даже его лица — что там лица! — профиля. Только фигурка, похожая на те, что рисовали в пещерах дикие люди. Но, повторяю, в полдень по бульвару рекой движутся люди и экипажи, запряженные парами лошадей, — все они исчезли, а тот человек остался. Только он и разве что тени деревьев.

Через полтора месяца эту картину Дагер представил среди прочих картин в Академии наук, как доказательство к докладу о рождении светописи. Картина вызвала восхищение — в первую очередь по причине проработки мелких деталей зданий — видна была даже полоска бумаги, которой заклеили форточку в окне на четвертом этаже дома напротив. Обратили внимание и на человека.

Ради славы Франции Дагер в сопровождении Исидора Ньепса отправился в турне, первым пунктом которого, разумеется, была Англия, ибо уязвить англичан всегда сладостно для французов.

В Лондоне они встретились с Тальботом, который взял на свое попечение Клода Ньепса — тот был жив, хотя и в полном затмении разума. Дагер поинтересовался успехами Тальбота.

— По сравнению с вами, никаких успехов у меня нет, — ответил он. Довольный Дагер ради шутки напомнил совет молиться Атону — он знал о письмах Клода. Англичанин, не меняясь в лице (каждому англичанину выдается при рождении два-три выражения лица — и не более) ответил, что с солями металлов и кислотами он так напутал, что вот уже несколько лет как оставил опыты и вернулся к своим исконным занятиям — математике и древним языкам. А вот молитва богу солнца — единственное, что дало эффект. Тальбот сказал, что он расшифровал какой-то папирус, содержавший гимн Атону.

— Когда я прочел его вслух, мои усилия увенчались успехом — единственный раз. Правда, все вышло наоборот, там, где должно быть светлое — оказалось темное.

Дагер улыбнулся.

Присутствовавший при разговоре Исидор Ньепс, застенчивый юноша, вдруг разразился потоком благодарностей мистеру Тальботу за его доброту, проявленную к нечастному Клоду, и с завершение сказал, что хотел бы навестить дядю в Бедламе.

— Удовольствия вам это не доставит, — сказал Тальбот.

— Такие визиты — не для удовольствия, — зардевшись, выпалил младший Ньепс.

Уильям Генри Фокс Тальбот поклонился и сказал, что ехать следует завтра утром.

Далее, мой мальчик, должно быть подробное описание встречи Исидора Ньепса с его дядей в Бедламе, но я его опускаю, поскольку не знаком с обстановкой этого скорбного дома. Пока я скажу тебе лишь то, что знаю доподлинно. Увидев племянника, а также своего покровителя и еще одного господина (Дагера), Клод заплакал, тихо, как котеночек, а потом успокоился и сказал так ровно и осмысленно, будто не был сумасшедшим: «...»

На этом, как пишут в романах, рукопись обрывается. Прежде чем привести слова Клода, отмечу: то, что он повредился умом и старший брат это не сразу понял — исторический факт. Наверное, потому что оба были запредельными романтиками: например, до того как заняться светописью, они аврально работали над конструированием вечного двигателя, с целью выгодно продать чертежи и тем самым поправить свои финансы, основательно потрепанные неумеренной страстью к изобретательству.

Так что же сказал Клод? В «Истории...» Тимофея его слова были такими:

«Если вы добьетесь того, чего хотите, доверие между людьми отсохнет, как ненужная дереву ветка».

* * *

Возвращение светописи в 1839 году было триумфальным — аплодировали ученый мир и широкая публика. Но почти сразу у фотографии появились враги. Один из них — Шарль Бодлер. Создатель «Цветов зла» написал статью, в которой пресыщенной публике и художникам, заискивающим перед ней, досталось по первое число, но основная тяжесть его гнева обрушилась на фотографию.

«В наше прискорбное время родился новый вид техники, который немало способствовал внедрению и укреплению нелепых понятий и уничтожению остатков возвышенного в мироощущении французов. В своем идолопоклонстве толпа создала достойный себя и соответствующий своей природе идеал. В живописи и ваянии нынешнее кредо широкой публики... таково: "Я верю в природу и только в нее одну. Я считаю, что искусство есть не что иное, как точное воспроизведение природы... Таким образом, техническая уловка, способная точно воспроизвести природу, станет наивысшим искусством". *Некий мстительный бог выполнил пожелания толпы. Ее мессией стал изобретатель Дагер*. И тогда публика решила: "Поскольку фотография надежно гарантирует желанную точность (нашлись дураки, которые верят в это!), то ясно, что фотография и есть наивысшее искусство". И тут же это скопище мерзких обывателей ринулось, подобно Нарциссу, разглядывать свои заурядные физиономии, запечатленные на металле. Новоявленными солнцепоклонниками овладело форменное безумие и неслыханный фанатизм...»

Бодлер гневался не потому, что считал фотографию конкурентом живописи: это «прибежище неудавшихся художников, малоодаренных или слишком ленивых недоучек» никогда не дорастет до искусства — оно имеет право на существование только как вспомогательное техническое средство науки. Гнев Бодлера происходил от страха — он видел в фотографии тот греческий огонь, который выжжет в людях божественный дар воображения.

Оговорюсь, что в своем презрении к светописи поэт был неправ. У фотографии, пусть и не сразу, появится художник, вытесненный ранее, при появлении первого нерукотворного снимка. Это будет человек-глаз, наделенный особым инстинктом выхватывать из бесформенного потока действительности то, что имеет форму и смысл. Инстинкт дается при рождении и, как в любом искусстве, поддерживается трудом, чтобы срабатывал он, как и положено инстинкту, без участия разума. Удачно сказал один из таких редких людей, Алексей Снетков: «Если ты что-то увидел, значит, ты это уже не снял».

Но исключительность человека-глаза продлится до тех пор, пока функция съемки не станет общедоступной и всеохватывающей. И тогда Бодлер опять будет прав — героем времени станет тот самый Нарцисс, разглядывающий свою заурядную физиономию, или человек-селфи, о котором говорил Эмир Кустурица, противопоставляя его уходящей натуре человека грамотного.

«Грамотный человек был полон достоинств. Он был необузданным, страстным, как Оскар Уайльд, а еще он мог словом, как саблей, отсечь безвкусицу от того, что имеет вкус, показать нам путь, то, как следует мыслить. Все это противоположно антигерою нашего времени, так называемому "человеку-селфи", самовлюбленному, не верящему в историю, принимающему корпорационный капитализм как судьбу и усердно трудящемуся над тем, чтобы доказать, что его сосед или весь народ гроша ломаного не стоит. Этот антигерой снимает селфи своим айфоном и с большим волнением следит за развитием малейшей морщинки на лице...»

Может быть, глобальная страсть автопортретирования, а равно фиксирования моментов ежедневного быта, заурядных, как физиономия нарцисса, — всего лишь черта времени? Гладиаторские бои по вторникам и четвергам, люди-факелы вместо городских фонарей — тоже черта времени, и куда более страшная...

Но всякий дар — от лука до расщепленного атома — искушает человека, требует чего-то взамен.

У светописи было два пришествия. Первое — нерукотворный образ — открывал пространство для веры (от которой производное — доверие), и на вере держалось то, что люди считали реальностью. В нынешнем понимании реальность — то, что можно увидеть, пощупать, попробовать на вкус: в том, изначальном — это нечто неизменяемое в изменчивом потоке, непоколебимый стержень бытия.

Второе пришествие — уже рукотворное — открыло неисчислимые возможности влиять на сознание масс, но и массовый, ограниченный скептицизм, попросту неверие — имею в виду не только неверие в Бога, но и в реальность окружающего мира (не снятое — не существует) и, наконец, в реальность самого себя.

Как ребенок, чувствующий не проговоренный надлом, затаенное предательство, поминутно дергает за рукав и спрашивает: «Ты меня любишь, да?» — и не успокаивается, пока не услышит «да», пусть даже сухое, лишь бы отстал — так и человек наших дней фиксирует моменты своей жизни, убеждая себя и других — я есть, я существую, вот посмотрите, я ел вот эту яичницу, сделал маску из огурцов, я отполировал ногти, а вчера купил велосипед, вот он, я еду на нем, кручу педали... Он ждет ответа, и уходит в депрессию, если ответа нет или он недостаточно востроженен.

Кстати, я помню свой первый велосипед — «Школьник» ждал меня темным осенним утром в сенях... И хотя с того утра прошло больше сорока лет, на моих пальцах до сих пор скользит светло-серая промасленная бумага, которой были обернуты салатного цвета рама и цепь, я вдыхаю терпкий, пьянящий запах новеньких шин, вижу мерцание хромированных колес и звездочки; и до сих пор живо и близко то почти обморочное ощущение внезапного счастья.

Теперь я думаю: если бы в эту неисчезающую реальность вклинился снимок — реальность перенеслась бы на снимок вместе с цветами и запахами и исчезла в нем.

Снимок стал бы доказательством того, что у меня есть велосипед, а доказательство и доверие (равно — воображение) — вещи противоположные. И если что-то избавляет меня от накатывающих иногда сомнений в собственном существовании, так это велосипед и другие воспоминания такого же рода — память и воображение добросовестно отмечают каждый поворотный момент жизни.

«Марко Поло знал: воображаемое людьми столь же реально, как и то, что именуют реальностью», — писал Борхес в предисловии к «Книге о разнообразии мира». Итальянец жил задолго до второго пришествия светописи, и поэтому все, рассказанное им в генуэзской тюрьме, включая гробницы Адама и волхвов, демонов пустыни под лицами лучших друзей, и страну, из которой открывается вид на царство тьмы, оставалось для европейцев реальностью на протяжении полутысячи лет. И эти заблуждения, равно как и все прочие заблуждения, которые нынешний человек снисходительно «прощает» людям далекого прошлого, только оживляли их творческую силу. Которой мы, по большому счету, до сих пор и пользуемся...

В наше время Марко Поло, как человеку, не снимающему, просто не поверили бы. Вернее, так — в наши дни Марко Поло вообще не могло бы существовать.

Может быть, об этом плакал Клод Ньепс?

* * *

Название «солнцепоклонник» подсказала статья Бодлера, но в отличие от него я не вкладывал в это слово однозначно отрицательный смысл. Второе пришествие светописи совсем не отменяет первое — это невозможно — и человек, как обычно, оказывается на распутье — какому светилу поклоняться: прекрасной тварной звезде, которая, как уверяют, погаснет через какой-то жалкий миллиард лет, или «Солнцу правды» из рождественского песнопения... Такой выбор должны были сделать мои не родившиеся герои (а все герои, по самому большому счету, делают именно такой выбор), но что они решили, я так и не узнал. Как уже сказано в начале, об этом знает только сам погибший замысел.

Вера Зубарева

Где играют акварели света

* * *

Мама собирается в дорогу,
Складывает памяти обрывки.
В кошельке её одна приколка,
За окном нелётная погода.
Медсестра, похоже, недовольна,
Кислород подкачивает небу,
Раздуваются меха машины,
Ноет песню адская гармошка.
И отец ушёл, когда штормило,
И вверх дном перевернулось море.
Я тогда звала его, искала,
А по небу проплывали рыбы.
Почему они всегда уходят
В самый чёрный день, когда ненастье,
И царит на небосклоне Лютый,
Непреклонный и Немилосердный?
Медсестра-диспетчер наготове.
Не видать ни зги на взлётном поле.
Здесь уходят все по расписанью.
Подышал — и передай другому.
Всё же дышит. Ночь подходит ближе.
Сплю, руки её не отпуская.
Снится ясный и пречистый полдень,
Где играют акварели света
И где машет облако крылом.

Зубарева Вера Кимовна — поэт, прозаик, PhD. Преподает в Пенсильванском университете. Автор 20 книг поэзии, прозы и литературной критики на русском и английском языках. Лауреат премии им.Беллы Ахмадулиной (2012), премии им.Константина Паустовского (2010) и др. Главный редактор журнала «Гостиная», президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Живет в городе Филадельфия (США).

* * *

Вот мой дед на коне
С шашкою наголо.
Пляшут хлопья в окне
Улицу замело.
Бабка — серый платок,
Вечный радикулит —
Ставит на стол кипяток,
Дым по чашкам разлит.
Вьюжит — нитка, стежок.
Что там? Не разглядеть.
Круглое, как снежок,
Тёмное, как круговерть.
Конь рассыпался в прах,
Стёрся его портрет.
Дед останки распряг
И оседлал табурет.
Бабка смотрит и ждёт,
Мешает ложкой судьбу.
Вот прихлебнёт ожог,
Вот подожмёт губу.
Будут молчанку пить
С прошлым вприкуску, где
Знамя, конь во всю прыть
И вседержитель дед.

* * *

«Ушёл из жизни»... А куда? Куда?
Посмотришь в небо — небо, как вода.
В нём — боже мой! — движенье и броженье,
Всё мимолётно, всё не навсегда,
И нет конца, а только продолженье.
Как с этим быть? Как с этим плыть, болеть,
К выздоровленью двигаясь, как в клеть,
Откуда все выпархивают в это,
Которое не сметь, не сметь, не сметь
Назвать по имени, чтоб не лишиться света.
«Ушёл из жизни»... Будто жизнь, как дом,
А там, за ним, небесный окоём,
Сияние, похожее на солнце
Замедленного действия. А в нём —
То, что тобою больше не зовётся.

* * *

В дачном окне огонёк трепещет,
что-то бубнит
телевизор вещий,
спит человек,
не собраны вещи.
Завтра в дорогу ему с рассветом,
птица зайдётся прощальным приветом,
спит человек,
не знает об этом.
Грань между ночью и утром всё тоньше,
думал, что завтра будет всё то же.
Кончилось завтра,
нет его больше.

* * *

Это — друг. Он очень болен.
Никогда уже не встанет,
Не пройдёт по тротуару,
Мы не встретимся в кафе.
Но пока он — дышит, дышит,
У него окно — на крыши,
И постель просторней поля —
Ни за что не перейти.
У него большое сердце,
Старый шкаф с открытой дверцей,
И костюм висит по струнке
В ожиданье перемен.
И они, конечно, будут,
Грянут други отовсюду,
И всего другого люду
Очень много набежит.
И от этой перспективы
Засыпает он, счастливый,
На боку, где вид на крыши,
И всегда спиной к стене,
Потому что так — не страшно,
Потому что так — не больно,
Потому что так скорее
Крылья режутся во сне.

* * *

Время изогнулось, пошло по кривой.
Будущее в окопах, настоящее ранено.
Воздух в городе — аж два о,
и температура тел близка к возгоранию.
Темень разминает щупальца за окном,
извлекает луну и подталкивает ближе
к комнате, в которой ходит метроном,
а луна смотрит на стекло и не дышит...
...Дождь — патронов холостых звукоряд.
Рвутся сухо его горошины.
— Это к похоронкам, — старожилы говорят.
И возвращаются к могилам прошлого.

* * *

Вот опять придёт из своей мерзлоты,
Заведёт шарманку про те времена
И начнёт прокручивать на все лады
Чёрно-белым сном от себя до меня.
Вместо почты дым повезут поезда.
В этой топке всё — от людей до вестей.
На погонах обугленная звезда
Хоть не ярче светит, но, увы, ясней.
Неподвижен космос скованных рук.
Там от них намело ледяной сугроб.
Погаси эту печь, политрук, политрук.
У меня от неё озноб, озноб.
Машинист бросает в огонь всё подряд,
Ерунда. Только поезд бы шёл да шёл.
Так кончается родина, начинается ад.
Это спишь ты, проснись.
Хорошо, хорошо...

Сергей Золотарёв

Чёртополох

Рассказ

Третий дан

Петров вышел из подъезда. Раскрасневшийся, пригубленный. Сильный ветер рвал мерзлый воздух. Петров закурил и постоял под деревом. Осенний дождь за время его отсутствия превратился в маленькие ледяные шестеренки.

— Зачем? — сказал себе Петров.

— Затем, — ответил ему ветер, — что тебя ждет дома жена.

— Зачем я это делаю, ведь я люблю ее и мне хорошо?

— Затем, что ты боишься. Боишься измены и изменяешься сам. Боишься душу положить и готовишь пути ко внутреннему отступлению.

— А нельзя просто: пути к отступлению?

Ветер присвистнул.

— Разрешите прикурить?

— Запросто.

— Убили! — Петров резко повернулся на женский визг.

— Убили! — крики пошли воздухом, как его содрогания.

В дальнем конце двора суетились тени. Бежали какие-то люди, стекались с краев.

Мимо промчалась «скорая», заливая дворы истерикой сирены.

— Скоро, однако. Правда, что ли, убили кого? — подумал Петров и похолодел.

— А ты не знал?

Петров помотал головой:

— Не знал чего именно? Свисти ясней.

— Чудак-человек. Каждая твоя измена — причина очередной насильственной смерти. Это же очевидно. Прямая связь. Вот как через пуповину. Ты чем только что занимался? Взаимопроникновением жидкостей. Жидких костей. Правда, что ли, не слыхал? Помимо всех известных костей, существуют еще и жидкие кости. Да ты и сейчас видеть можешь, как снежинки к небу прибивают — жидкие гвозди называются. Так вот распятие Спасителя происходит уже по новым технологиям. И прибиваете вы

Золотарёв Сергей Феликсович — поэт. Родился в 1973 году. Окончил Государственную академию управления им.С.Орджоникидзе. Автор поэтического сборника «Книга жалоб и предложений» (М., 2015). Лауреат премии журнала «Новый мир» (2015). Живет в г. Жуковский.

уже не железными — но жидкими гвоздями. Всякий час пригвождаете и мучения длите. Взаимопроникновение ваших жидкостей вызывает к жизни жидкие гвозди, а они порождают ту самую смерть на распятии. Такую частную, личную усмерть Спасителя при непосредственном твоем участии. Но раз имеется в наличии насильственная смерть, она должна как-то материализоваться в нашем гуманном мире? Не так ли, Петров?

— Вот ты только ко мне не апеллируй. Не вмешивай меня только. — человек поежился. Ветер продувал до костей.

В углу поубавилось суеты. Стояла полиция без мигалок.

— Опять твое обычное самоустранение. Самоотвод. Не любишь правде в глаза смотреть.

— Не люблю. С чего ты взял?

— Ну, тады слушай. Трудно подсчитать. Такой статистики не ведется, да и не найдется. Но если вообразить. Количество измен в мире приблизительно равно количеству убиенных, утонувших, сгоревших, на мразе замерзших, растерзанных зверьми, без покаяния внезапно скончавшихся, в исступлении ума самоубиенных...

— Стоп, стоп, стоп. И что? Либо оставаться верным, либо убивать? Третьего не дано?

— Третий дан.

— Что?

— Скверная формулировка. Третий участник дан в виде схождения Святого Духа, в виде языков пламени. В виде одного из лиц Святой Троицы.

— Да подожди ты.

— Дождя не будет.

— Вот демагог. Что делать-то? Выход какой, по-твоему?

— Как волос из луковицы, живые растут из мертвых.

— И...

— На теле всегда одинаковое количество волос.

Внезапно ветер кончился, и наступила та тишина, когда кажется, что оглох. Все было затянуто белой материей, точно на лицо ему положили платок.

— Вот же черт.

Петров оглянулся. Место было светлым, злачным, спокойным, и не было на душе болезни, печали и воздыхания.

Настроение

Силантьеву нравится делать добрые дела. Раз в месяц, поимев зарплату, он рассылает небольшие суммы нуждающимся знакомым. Перечисляет несколько рублей по адресам, указанным в телевизоре. Вот и сейчас он завершил денежные транзакции и смотрит в окно на осеннюю протекающую реку, взяв за тонкую палку бокал вина. Опалубка лица светится чистотой. Силантьев отхлебывает холодного сухого и видит поверх земли. Он чувствует себя легко и пустотно, и чувство это отзывается в мире бескрайней равниной. Чистота просторного события облагораживает черты. «Взаимообразно» — находит он слово и живет с ним какое-то время.

Бессонов

— Плодоношенье — первый шаг к прямохождению, — делает вывод человек, глядя на куст рябины. — Уже не редкость видеть, как листья шевелят тенями. И только необоснованная политкорректность мешает отнести, к примеру, облепиху к виду homo erectus.

Ваня Бессонов с близкого расстояния в увеличительном стекле своего воображения рассматривает сухой березовый лист. Издали тот похож на дохлого мышонка, вблизи же пахнет вечностью, как скошенной травой детства. Растения встают с колен за счет передачи жизни из рук в руки. Только жертвенность приподнимает дерево над обыденностью. Однолетние в этом еще мощнее. Они умирают за ради будущего. Только благодаря их примеру люди встали с колен.

Из дальнего подъезда выходит женщина с ребенком на руках и ребенком в ногах. Издавая громкие звуки суетливости, семья устремляется через двор. Женщина явно пьяна и имеет намерения усугубить. Лицо ее — еще молодое — уже несет на себе неизгладимую печать печали.

Человек отводит взгляд и пробует вернуться к осеннему настроению. Позади женщина громко охает. Обернувшись, Бессонов успевает увидеть, как она грузно падает на землю, успевая, однако, отвернуть голову малыша, и несильно ударяется лицом об асфальт. Ну как — несильно? Вытянув обессилившую руку, она громко стонет и, обращаясь ко всем сразу и к нему в частности, голосом из электрички жалобно просит: — Помогите! — в себя, — ох как больно! Но все это пьяное притворство, бесстыдство и кокетство. Человек такого повидал. Старший мальчик безучастно смотрит на мать. Младший даже не пискнул.

Первое движение Бессонова — помочь подняться. Но тут же он уже заранее знает, сколько фальшивых слов будет произнесено и каким тоном. Как начнет она картинно прихрамывать сразу на все руки-ноги. Как захочет рассказать о своей жизни и в конце что-нибудь попросит взамен. Ваня видит, что она цела и невридима. Мальчик наконец принимается помогать матери. Небо ясное. День солнечный. Человек поворачивается и идет в сторону дома. Уже у своего подъезда притормаживает. Рябина плодоносит. На душе камень.

Вот всегда я так. Ну что мешало сделать шаг и помочь подняться? Поставить человека прямо? Ничего не сделать, чтобы потом чувствовать уколы совести и изводиться и... вновь ничего не делать. Вот он — твой стиль. Твоя эрекция, хомо эректус.

Иван Бессонов смотрит на огромный хвост дикого винограда, оплетшего какую-то неясную конструкцию, и память выхватывает картинку из детства, когда он долгое время жил с ощущением, что растения едят людей. Реконструировав свою фобию много позже, он понял, что мог видеть похожую арку жасминового куста или плюща, обвившего проем, в который заходили и пропадали взрослые люди.

Campus sceleratus[1]

«Все время служения весталки должны были сохранять целомудренный образ жизни, его нарушение строго каралось. Считалось, что Рим не может брать на себя такой грех, как казнь весталки, поэтому их наказывали погребением заживо с небольшим запасом пищи, что формально не являлось смертной казнью, а соблазнителя засекали до смерти».

Скопцов отодвинулся от экрана. Резчик любил серьезные вопросы и считался образованным человеком в своем городе мастеров. В рассказе Макарыча «Срезал» Скопцову нравился Глеб Капустин.

Повернул регулятор, плита пощелкала и забросала искрами прорвавшийся газ. Вспыхнула синим.

---

[1] Злодейское поле.

Не уберегла огонь! Вышла из зоны конфорки. Один нонконформизм сплошной.

Через ухмылку пошел в ванную.

«Виновную в нарушении обета весталку сажали в наглухо закрытые и перевязанные ремнями носилки так, что не слышно было даже её голоса, и несли через форум. Все молча давали ей дорогу и провожали её, не говоря ни слова, в глубоком горе. Для города не было ужаснее зрелища, не было дня печальнее этого. Когда носилки приносили на назначенное место, рабы развязывали ремни. Верховный жрец читал тайную молитву, воздевал перед казнью руки к небу, приказывал подвести преступницу, с густым покрывалом на лице, ставил на лестницу, ведущую в подземелье, и удалялся затем вместе с другими жрецами. Когда весталка сходила, лестница поднималась, отверстие засыпали сверху массой земли, и место казни становилось таким же ровным, как и остальная поверхность».

Брызнул после себя аэрозолем.

Золи. Это, вроде, дымы такие. Зола тоже продукт горения, но помассивнее, потому на земле остывает, а не в воздухе. А зло вообще проваливается под землю — настолько тяжелое. Но вначале и оно — воздух.

Разве я не прав? — громко в воздух.

Разве, прогнав изменницу, ее казнил? Себя казнил — и никого больше. Да и сейчас казню. Но дело-то не в этом.

Тщательно вымыв руки до локтей, вышел в столовую пить чай.

Вот что сделалось ему интересным.

Место казни становилось таким же ровным, как и остальная поверхность.

Две одинаково ровных поверхности. Одинаково равных участка земли. Строительный «уровень». Ватерпас. Уровень поверхности. Уровень жизни. Две одинаковых поверхности. Но одна покрывает сплошной глиняный пласт. А в другой умирает семя для новой жизни. Один ноль — без потенциала. Другой — с возможностью. Мир появился из ничего. Но из такого ничего, в котором был заложен потенциал всего и сразу.

Он вспомнил операцию и поморщился. Обнулился потенциал, как ни крути.

Место казни. Для осознания жизни всегда надобна казнь как отправная точка.

И что рождается из этой твоей ровной поверхности, внутри которой заключена мучающаяся жизнь, Господи?

Рождается мое эстетическое чувство. Сочувствие ко всякому падшему зерну. Ощущение пустыни в себе. Без того чтобы себя казнить не оживет эта пустыня. Бесплодна она — до искупления. А искупления нет без греха.

«По легенде, две весталки были обвинены в нарушении целомудрия, но обе смогли доказать свою невиновность, совершив чудеса. Одна, потянув за трос, сдвинула с места глубоко вросший в ил корабль, другая смогла собрать воду в решето и донесла воду из Тибра до Форума, тем самым доказав свою невиновность».

Клавдию можно было оправдать, и даже при самом неблагоприятном развитии событий она всегда могла рассчитывать на чудо. Впрочем, я не дал ей такой возможности. Ай, молодца. — Скопцов поерзал в кресле и расстегнул штаны: — Что уж теперь... Хотя, если подумать, чудо все-таки имело место.

Он глянул в темную пустоту естества.

— А теперь не имеет.

Смазал Микозолоном.

Мига залом.

Улыбнулся.

Главная роскошь, которую могут позволить себе люди, это недопонимание. Но вот парадокс: кому-то приходится быть одиноким, чтобы кто-то другой не считал себя брошенным.

Отрезанное мужское до сих пор саднило и жгло.

Дыра

Во дворе библиотеки — переполох. В земле образовалась дыра. Странная такая прореха, диаметром не более 15 сантиметров. Первое время в нее бросали камешки дети. Потом подключились взрослые — полетели предметы посерьезнее. Взрослые позвали городские службы, те после всяческих бюрократических проволочек, — геологов. За это время дыра нисколько не изменилась. Геологи решили обследовать ее обстоятельно. Но опускаемые лоты и кидаемые, опять-таки, камешки не достигали дна и не давали результата. Единственно, что удалось открыть, что если крикнуть в нее «х..й», обратно доносится «йух». Ничто, кроме звука, не возвращалось. Дыра была запечатана и огорожена до лучших времен.

Агонь

На улице минус пять, но все еще осень. Листья на деревьях стали утонченными и оттого редкими. Иней на траве делает ее похожим на конский волос, идущий на смычки. Смычки — СмЫчки. Пруглов повертел в голове. Не то.

Редкий экземпляр «Олонецких епархиальных Ведомостей» Пруглов упустил и возвращался из академической библиотеки, занятый более своевременными мыслями.

Нужна новая космогония. Для крупного телевизионного проекта. По сценарию некое вымышленное городское племя бродяг оказывается потомками неандертальцев. Внешний ландшафт — бродяжничество, пьянство и обживание городских свалок. Внутренний пейзаж их существования надежно укрыт от глаз: с незапамятных времен сайды — это самоназвание народности — обитают рядом с людьми и придают старым, отжившим вещам и понятиям новые смыслы и значения. Дают вторую, а то и третью жизнь.

Пруглов написал уже основную канву — не хватало только уникального верования о происхождении мира, данного сайдам в мироощущении. Краткое изложение которого служило бы заставкой к каждой новой серии. И вот его бедные — а на поверку вовсе даже и не бедные — бродяги потихонечку приоткрывают завесу тысячелетнего симбиоза. Он даже завидовал своим героям. Казалось, с них окончательно снята обязанность каждодневной рутины и оставлен ритуал зарастающей памяти. Траурная прецессия земной оси была налицо. Оставалась космогония — учение о происхождении всего из ничего.

Шины проезжающих машин, отделанные шипами, громко шуршали по подмерзшей дороге. Камеры накачаны летним воздухом. Улица не слишком оживленная. Камерная, можно сказать, улица.

Надо задать условие. К примеру, постулируем: времени не существует. И помозговать.

Утверждает же религия, что Бог единовременно присутствует и в прошлом, и в будущем, и в настоящем. Ежели допустить данное условие, то каким образом дальше происходит видимое нам развитие? Как одно состояние перетекает в другое без длительности? Так. Представим любое отличие — отдельным срезом пространства. Нет плавности — есть дисперсность. Один шаг — одно отличие. Каким образом система прыгает из одного состояния в другое?

Дальнейшие события Пруглов наблюдал как будто из панциря своего размышления. Отстраненно, прямо скажем, наблюдал. За что позже спрашивал с себя, не был собою доволен и, в общем, переживал постфактум.

Девочка с котенком. Каким образом оказались они по разные стороны проезжей части? Да и движение, как замечено, вовсе не было оживленным.

— Мешка,Мешка! — смешно зовет девочка, и маленькое ответное чувство

движется ей навстречу. Вот только — легковушка. Ловушка. Вот только — на скорости. Пруглов со своими нарождающимися вселенными что-то прозевал и увидел только твердое колесо, наезжающее на колкую кошачью голову. Прыгающее, точно пойманная рыба, тельце. С кошачьей головой во рту. Снежные глаза маленькой хозяйки. Девочка пробует подойти и взять на руки то, что еще бьется о землю. Прыжки высокие, упругие, усиленные выходящей жизненной силой. И вроде живой, раз движется. Сокращающиеся мышцы, ищущие новой опоры в уходящей из-под ног земле.

Пруглову сделалось плохо. Он не смог подойти к девочке, что так и осталась сидеть на обочине рядом с грязным остывающим комком. Нет, он все же подходил и без слов гладил ее по голове. Да — и прикоснулся к окровавленной внутренней мордочке в знак солидарности с великим горем. Потому как — на всю жизнь.

А вот за дальнейшее ему стыдно до сих пор. Вдруг. Неожиданно, как тошнота, полезли дурацкие мысли.

Нет никакого течения времени.

Смерть. Всякое изменение — это маленькая смерть. Это единственный механизм. Облик человеческий меняется из-за отмирания и нарождения новых клеток. Что если для нового состояния всегда необходима смерть предыдущего? Вот он переход каждой жизни. Через локальную смерть мгновения. Смерть — это переход на уровень. Но за счет чего? Энергетический скачок. В момент смерти живого существа происходит агония. Во время отмирания мгновения происходит агония. Всплеск энергии, чтобы продлить жизнь. Звезда, умирая, рождает материю для новых систем. Агония — квант энергии, необходимый для изменения состояния системы. Вот. Времени нет — есть вечная агония жизни! И вот выход из нее и есть разрыв круга страдания, колеса сансары. Назови как хочешь.

Агония мира — его космогония!

Готово. База есть. Теперь только обработать как следует. Нарастить мясом, как говорится.

Пруглов ускорил шаг по направлению к дому. Там, в натопленной яростными коммунальщиками уютной комнатке, ждал его открытый, но еще спящий ноут. В предвкушении чудного наплыва — минут или часов ясного полуденного сознания, когда мысли превосходят размером думающего, а тот ощущает себя настоящим демиургом, драматург потер сухие ладони.

— Пора перчататься, а то обветрятся, как в прошлом году, потрескаются.

Беспокойный

Мелкумов очнулся силой мысли. Что-то пришло из сна, что-то натекало извне, вместе со сладким солнечным соком.

— Положим, — продолжил он жившую задолго до пробуждения мысль, — суперкомпьютер в человеке есть. Вот только востребован он на элементарном уровне. Организует работу психосоматической системы, просчитывает миллионы простейших комбинаций. Учитывает внутренние и внешние характеристики для, к примеру, хорошего удара по летящему и вращающемуся мячу. Использует терабайты памяти для мгновенного анализа ежесекундных ситуаций. Все это так. Но для сознательной человеческой мыслительной деятельности его скорости недостаточно. Высшая деятельность — медленное размышление. Кропотливая, упорная ручная работа. В которой ценна, напротив, неторопливость. Плотность ткани иная. Данная материя требует душевной работы. Требует вложения тканевой души. Медлительность в данном контексте — накопление энергии с последующей ее переработкой. Ручная работа во все времена ценится выше фабричной выделки. А вне времени — и того пуще. Работу суперкомпьютера может проделывать за человека что угодно или кто угодно. Да хоть бы ангелы... Или эти... Говорят же, что бесы не знают будущего, но очень хорошо просчитывают комбинации, которые могут к нему привести.

Тут Мелкумов проснулся окончательно и застонал. Было от чего. В отсутствие сна он воспринял себя с жуткого двухнедельного похмелья: попытавшись продрать глаза, увидел кисти с запекшейся кровью. Руки казались сырыми внутри и обожженными снаружи. Комната и впрямь напоминала печь предельной духотой и накалом. Весь паркет был заляпан бурой слизью. В углу на диване, скрючившись, лежал Витя Маймистов. То, что это именно Маймистов, Мелкумов смог определить по Витиному вечному свитеру в прорехах от длительной службы. Дыры светились серой кожей локтей.

— Вить, — позвал Мелкумов: — чего мы вчера делали-то?

Витя молчал.

— Спишь? Ну, поспи!

Посмотрел на свои руки.

— Облетают ногти по осени. Глубокоуважаемый! — снова к Вите. — Приходите уже в себя! Вам на это вся жизнь была дана. Пить будем?

Но Витя лежит, горемычный, лбом в стену, нечестно выставив локти, окоченевший и вытекший. Витю зарезали японским коротким мечом для сеппуку, который найдут под диваном. Витя отполз на ложе и задубел. Самое смешное, что меч этот — с виду черный, лаковый с оторочкой красной грубой нити на ножнах — всего лишь никчемная имитация, дешевая сувенирная продукция из мягкого тупого металла.

Разглядевший масштабы бедствия Мелкумов никак не может его осознать. Не в силах собраться с мыслями, берет на столе недопитую бутылку и допивает. Потом:

— Даааа, — бессмысленно тянет и смотрит на руки. Вспомнить ничего не получается.

Соображает посмотреть входную дверь. Квартира не заперта, но это обычное для последних дней явление. Был ли с ними кто, останется невыясненным.

Мелкумов снова сморит на руки. Витя уложен на бок. Витя белый, как поплавок.

— Как же так, братишка?

На радио Орфей звучит Гуммель. Иоганн Непомук.

Мелкумов подходит к окну. Со второго этажа открывается весь двор.

Насыпь листьев — вроде описи, в которой учтены все дела человеческие за отчетный период. Отчет Витька набросан вчерне и припорошен снежком. Но нет там записи акта состояния гражданина Мелкумова. Потому как состояние его неопределенное. Медленно он мыслит, тканево... Водка действует быстрее.

Птичьи следы на козырьке крыши по первому снегу точно фиксируют траектории взлетающих и садящихся бортов с ближайшего аэропорта. Полетная Карта. Составитель. Неразборчиво.

Инеем рам

— пробубнил Родов, склонный к пересмешничеству. Относилось данное замечание, собственно, к библиотеке ИНИОН РАН, которую младший научный сотрудник академии наук Фёдор Родов склонял на все лады.

— Балуешь все. Хоть бы чем серьезным его заняли. — Кольчецова посмотрела изнутри очков на затемнение в лице Фёдора Родова: — Вот что ты за человек? Все бы ему балагурить.

— ИНИОН — это же отрицательно заряженный элемент фундаментального исследования. Анион книгохранения. Вот увидите, что будем иметь в кислотном остатке.

— Не могу больше сидеть в центре Москвы на окладе в прожиточный минимум, — Кольчецова смотрела в окно, — доедая собственные зубы.

— А доплаты от мэрии? Какая-то атмосфера у вас.

— Какая?

— Инионизированная!

На следующий день фундаментальная библиотека сгорела. Тушили ее несколько нарядов огнепоклонников больше суток. Пожару присвоили высочайший уровень. Потери в собрании были велики.

После начали разгребать завалы.

Самый больший урон был причинен, как это бывает, не самим огнем, но водой, которой тушили. Но пеной, из который выходили пожарные. Книги, знаете ли, не любят влажности, не понимают красоты блестящих шлемов и не привыкли к химическим реактивам.

— Кислотный остаток. — Родов вынимал из бурой грязи обгоревшие страницы.

— Хождение Непомуком.

Огороженная в свое время дыра во дворе — полость неизвестного происхождения — после расчистки увеличилась в размерах.

Фёдор смотрел в расширившуюся дыру. Сверху она напоминала конус угольного разреза.

— Или затопленной штольни. — сказал вперед себя человек.

Вода прокачала ее до размеров дантовского ада.

Фёдор ходил по пожарищу и бубнил под нос:

— Коли имеется затопленная штольня, где-то должна вылезти из-под земли пустая порода. Где только?

— Недопомук, однако, — прокомментировал Рите свое видение ситуации в библиотеке.

Рита подогрела индюшачьих котлет с овощами и села смотреть, как он ест.

— Отпуск всем оформить обещали. Оплачиваемый. Куда хочешь?

— А у нас библиотечные работники теперь себе могут многое позволить?

— Малое.

— Поехали в Библ.

Ночью.

— Люблю твои губы. — Рита приблизилась и водила пальцем по раскрытому его рту. Укусила: — Так и уснула бы, целуясь. Составляясь в целое.

— Тогда спи.

На следующее лето не сложилось. Отпахав еще год, Фёдор уговорил Риту отправиться провести конец лета не в южных краях, но где-нибудь в Карелии.

— Там у нас свой Библ.

И они промчались на поезде по русскому северу и вышли в Петрозаводске. И сели в машину и прибыли в Кондопогу посмотреть на красавицу-церковь.

Родов предъявил корочку Академии наук.

— Иоганн, опять же таки, Непомук, — залихватски представился и прошел внутрь огороженной территории.

— А это что? — вопрос сопровождающему охраннику.

На амвоне лежали «Олонецкие епархиальные Ведомости».

— А! Это! Кто-то из реставраторов забыл, кажись, — отряхиваясь, — у нас тут одна смотрительница... тоже удумала. Тут вот прямо. Смена моя была. Подожгла себя. Ага. Запах паленой курицы — и только. Волосы скурвились на концах и гореть не стали.

— И чего?

— Ничего. В смысле, невредима. Но переполох, я вам скажу, был. Вы-то самовозгораться не желаете?

— Мы самооскорбиться можем.

— Это как хотите.

— Книгу можно?

— Книгу нельзя.

Однако Родов еще заглянет в темные пивные страницы «Ведомостей».

Храм все-таки сгорел. Риту укусила гадюка, и она умерла на губе Онежского озера.

И сделалась Эвридикой.

В метафорическом срезе сгоревшая колокольня является антитезой затопленной штольни, — успел подумать Фёдор прежде чем стал другим человеком.

Прикрытие

В глазах теперь все время рябило, точно шел дождь.

— Дыры. Всюду дыры.

— Мерещатся?

— Уж не знаю. Может и должны бы мерещиться, да не мне. Это начальству крышу надо сдавать.

— Так плохо?

— Чего ж хорошего. Комиссия завтра. Ааа! — Сутулов махнул рукой: — Все бесполезно. Зал там спортивный — крыша купольного типа. Ее так и называют — бочка. Вся течет. Места локализованы. Но где затекает сверху — непонятно. Мы заплаток наделали. Начальник-то хитрит. Надо все швы заделывать. Ну и приплыли. Сегодня дождь обещают, если что. Опять потечет. Не сдадим объект, как пить. А не сдадим, денег не заплатят.

— Что можно посоветовать людям, которые хотят прикрыть свою задницу?

— Что?

— Прикройте ее.

— Ну, как ведет себя описавшийся ребенок? У вас же там лужа? Вот он и не встает с кровати. Собственным телом прикрывая стыд.

— Скажешь тоже.

Серый осенний дождь. Четверо рабочих облепили крутой скат крыши и держатся, как ласточки на вертикальной стене. Живой щит из промасленных телогреек. Дождь не прекращается. Люди стекают, подобно большим каплям, подбираются и снова цепляются — кто за что придется.

Комиссия внутри — в тепле и сухости.

Спуск

После проливного дождя Фёдор обнаружил на балконе плесень. Плесень росла во весь вечер. Наутро в углу бетонного короба лежал маленький старый дождевой человек. И даже успел окуклиться, как будто жил уже давно. Под ним лежала мокрая картонка, а в руках мялся пакет с черным хлебом.

Родов наморщил лоб: — Ты как здесь оказался, болезный?

— Искал снежинку с пятью лучами — ну, знаешь, как цветки сирени с четырьмя лепестками — и замерз. Сейчас, вот, оттаял.

— И что с того? На балкон как залез?

— Говорят же тебе — оттаял. А вода, как известно, вниз течет. Вот и натек.

— Ну, так стекай дальше.

— Дальше не могу. Дальше впитаюсь, а я пожить хочу.

— У меня?

— А хоть бы и у тебя.

— Лучше впитывайся.

— Тварь я дрожащая или тесто бездрожжевое? — растущий человечек приподнялся на локте: — Ты меня не гони, я тебе еще пригожусь.

— Сказочник. Русский народный промысел.

— Отчего ж — русский? Может, греческий? А может...

— А чего в разных ботинках?

— Ботинки одинаковые. В них ноги разные.

Человечек помял хлеб в пакете:

— Ты ведь думаешь о ней?

— О ком? — резко.

— Не орите. О Рите.

— Заткнись. Хотя, откуда ты?..

— Знаю. Вот скажи, если бы мог спуститься в царство теней, ты бы вывел ее?

— Нормальный разговорчик. Адекватный такой.

— А чего? Царство это имеет конкретную локацию на земле, вернее, под землей. Как письменность завелась, только об том и пишут. Египтяне, греки, римляны. Данте вот тоже. Надо — физически — туда спуститься, а потом уже метафорически распуститься.

— Бред.

— А говоришь, готов.

— На слабо берешь? Ну, допустим. Я виноват во всем. Я ее потащил. Я вел себя, как последний хлыщ и... Думал, укус не страшен. Потеряли время. Сужу себя? Сужу. Каждый день страшным судом. Так что ты хочешь от меня услышать? Готов ли я пойти на все? Готов. Как будем воскрешать мертвых?

— По слову. Кровь — любовь. А тело — общее дело.

— Опа. Философ Фёдоров собственной персоной.

— Наше дело — предложить.

— Что-то больно много у вас дел.

— Не так уж много. Грех — это антропный принцип. Ежели расчеловечить все, расшебуршить, то свобода и останется. Это все в голове. Взять фотографию. Снимок. Запечатление мгновения. Срез его. Раньше, когда существовали дагерротипы — длящегося времени, а теперь — коротенького его отрезка. Так вот, смеем утверждать, что пространство — такой же снимок, только человеческим мозгом производимый. Первая производная другой — настоящей и единственной материи Вселенной — времени. Нет никакого континуума пространство-время. Есть только Время и время, улавливаемое органами чувств, интерпретирующими его как пространство. Горы растут — мы этого не замечаем. Мы не видим даже, как растут наши собственные дети, когда они рядом. Человек может только сличать, как по снимкам, — по фиксации своей памяти. То есть в принципе, человек — категория вневременная. А время — категория внечеловеческая. И как при пересечении двух плоскостей возникает прямая, так возникает пространство. Материя.

— И?

— И плоть как часть материи. Живой человек — смесь времени с духом в разных пропорциях. У молодого больше времени. В старом — духа.

— А воскрешать как?

— А и не надо. Все живы, ровно как мы с тобой. Воскрешать никого не требуется — требуется выводить. Вызволять, коли договоришься.

— С кем?

— С Гуттенбергом.

— Гуттен морген! Это еще что такое?

— Ну, мы ж первопечатники — Гуттенберг, Фёдоров. Есть у меня идейка одна. Идефикс. Аппарат, печатающий книги. Расставить по супермаркетам. Подходит покупатель, выбирает из памяти любую книгу, на любом языке по любой теме, какие

только есть в мировой паутине — и жмет на энтер. Через пять минут перед ним сброшюрованная книга в стандартной мягкой обложке.

— Ты о чем вообще?

— Отвлекся малость. Но в принципе этот аппарат переводит время в пространство. Мировая идея. Спойте что-нибудь.

— Что?

— Ну, напойте первое, что придет в голову.

— Ты в своем уме?

— Нет. В твоем. А теперь — пой.

— «Случайные слова — виньетка ложной сути!» — затянул вдруг Фёдор с малининским кабацким обаянием.

— Неплохо, — оценило жюри: — Раньше в Гагру тащиться пришлось бы.

— На зимний вечер?

Человечек, чувствовавший себя уже совсем как дома, засыпал кофейные зерна в мельницу и принялся с шумом молоть.

— Думаю, одним вечером дело не обойдется, — по окончании мольбы. — Арабика — славное место. — Он поставил турку на огонь.

— Арабика — сорт.

— Плато. За Пещеру Верёвкина слыхали? Без шуток. Спели о логосе. Стало быть, спелеология.

— Твою ж ты мать, — завелся Родов. Ему начинало надоедать.

— Хорошо. Идем без проволочек. — Бес цыкнул. — Хочешь свою зазнобу получить взад — следуй инструкциям. А что ты, собственно, теряешь?

— Не пошел бы ты, — сквозь зубы Родов.

— Между прочим, отличное времяпровождение. Проводишь время до двери, и оно приглашает тебя к себе на чашечку чаю. Есть данные, что вход в подземку недавно был открыт поблизости.

— Открыт. Собяниным, что ль? Как новая станция метро?

— Он сейчас по канатным дорогам специализируется.

Первый придворный

«Второзаконие Ньютона сообщает нам нечто об инерциальных делах древних иудеев, вернувшихся из плена и завоевавших Ханаан. Второзаконие действует применительно к движущейся материальной точке зрения. А потому даёт ретроспективный обзор пути».

Лабин мог монетизировать все. Однажды он продал редкую запись голоса Пушкина. А еще однажды — луч Вифлеемской звезды. Когда мы его попросили рассказать, где он нашел таких простаков, Лабин неожиданно вступился:

— Не скажите. Люди знающие. Натурально, меня подняли поначалу на смех. Говорят: какой луч? Это было — если вообще было — две тыщи лет назад. До Рождества Христова. Ну, или вместе. Ну, или вместо. А вы бы что подумали?

— Ну, примерно то же самое, только без «вместо».

— Ну вот, и вы тогда — знающие люди. Правда, поверхностно. Не в глубину. А в глубине что? — Помедлил. — В углублении дупла спит луч истины. «От какой звезды он нам достался?» — говорю я им, как вам сейчас: — А не комета ли пролетала тогда или планета какая была в то время в апогее?» — Молчат. А не может ли комета такая вернуться, говорю, с периодичностью такой-то? И вот представьте, что где-то годах в восьмидесятых прошлого столетия она действительно возвращается и светит на нас сызнова, и ученые могут записать уже ее излучение на определенные носители. Как вам такое? Не тот же ли это свет? Или, скажете, в одну воду нельзя войти дважды? Один

луч нельзя уловить заново? А утеплить? Изолировать? Открытие вечных форм в изоляторе временного содержания.

И вот такому-то человеку досталась роль всей жизни в Среднем театре.

И Лабин спекся. Поплыл Лабин. Расслабился. Размяк как хозяйственник и сделался обратно человеком, то бишь, слизняком.

Пьет наш Лабин пятый день и думает тем самым вернуть себе человеческое достоинство. И уже гравитация Земли непостоянна.

«Отсюда и время нелинейно и пространство прерывисто», — думает Лабин, спотыкаясь о временные узлы.

— Размер души зависит от среды обитания. Среда эта — память. Душа напрямую зависит от размеров памяти. Забвение — смерть. Ибо — суша. Душа на суше не выживает. Ее суета выжимает, — вещает Лабин во дворе каким-то забулдыгам, изрядно надоев им своим пустословием. Люди желают выпивать в простоте.

— Достал уже, собака! Геморрой один от него.

А он им:

— Гемофилия как-то связана с гомофобией. Через рифму любовь-кровь. Некровь означает некроз тканей, неровных ее краев... Нелюбовь не красит...

Тут-то ему и прилетело. Первый удар шел откуда-то сбоку. Потом посыпалось. Пошло-поехало. На земле он уже не помнил.

Небрежная набережная переносной реки.

Впрочем, зимы сделались теплокровными. Не замерз — и то ладно.

Вечер.

В углу двора наблюдается движение. Человек. Да на нем нет живого места!

«Господи! Господи! Что же это такое? Что я здесь делаю? Ах, да. Послали. Послали за добавкой. Сам пошел. Вроде бы. Но почему так темно?»

Лабин поднялся с колен. Его лицо... Лица не было. Его качало от водки, слабости, сотрясения мозга и вращения земли.

— Господи, — снова молвил Лабин, — все верно. Все правильно. Все справедливо.

Когда убивали, ему открылся смысл жизни, и теперь было важно донести его до места жительства раскрытым. Он не помнил его, но сознавал.

— Не дать закрыться, — сплюнул кровь с разорванных губ Владимир Лабин.

— Ни черта не видно. Что с глазами-то? — матом высказался Лабин в духе «надеюсь, они просто закрылись от гематом».

Кое-как добрался до второго этажа.

— Лена! Открой! Я избит! Мне надо умыться.

— Ты пьян.

— Я пьян и избит!

— Избыток уже, Лабин!

— Ты дура!

Он тяжело посопел. Голова кружилась. Все плыло. Попробовал собраться. Просыпался с лестницы. Ангел сходящий. Как если другой человек спускался в нем сейчас в преисподнюю. Кто-то спускался в нем — медленно и тяжело — освещая себе путь налобным фонариком.

Во дворе тихо.

«Чешуя телеснее, чем мех. Она залегает ближе и пригнана плотнее. Мех, впрочем, ценнее из-за термосных качеств».

Эти мысли при выдыхании и перемешивании со встречным воздухом превращались, однако, в странные мычания.

«Враждебная среда, — подумал Лабин. — Как гелий в легких, только наоборот. Калий в тяжелых».

Ударился обо что-то деревянное. Но не дерево. Облапал. Похоже на кабельную катушку. Пустую и брошенную. Лабин постоял. Постонал.

«Околеешь в этой колее. Выело меня мое же время. Я как скорлупа от яйца в мешочек».

Куда-то понесло.

— Кубическая сила.

— Ты чего, скот, об машину! — Он получил увесистый тычок в грудь и упал. Опять гравитация — внутренне посмеялся.

— Вали отсюда, паскудина!

Жено! Его била какая-то незнакомая баба, и он не в силах был ни произнести слова, ни произвести действия.

— Вонь-то какая от него!

Видно, когда били в живот, кишечник опорожнился.

— Как бы мне раввину в Тулу перебраться! — просипел Лабин на мотив Есенинской жалейки и пополз.

Он полз через пустыню и смеялся. Лабин полз в обосранных штанах, сплевывая кровь разорванного тела и был счастлив.

Какое-то неутомимое чувство свободы, равенства, братства с самим собой обновилось в нем и затрепетало на баррикадах с новой силой.

— Пусть ветер сдует землю в океан!

Буря. Отвесная и скользкая, как стекло.

Человек слепо смеялся в земную бороду. Все правильно. Подобно престарелому великому боксеру, который делал посмешище из людей в свое время и который продолжает выходить в ринг, чтобы кто-то теперь смог побить остывшую звезду, Лабин отдавал долги за собственную неуязвимость. Человек, спускающийся в нем, ударился головой и потерял фонарь!

Ледяные волны взрывной волны, огибающие планету.

Неделю.

— Бен Лабин! На сцену.

Сердце бьется, как пульверизатор.

Он вспомнил, как, избитый и униженный, лежал в пустыне мира с выколотыми глазами. Собранный и возвышенный.

«А ведь в русском языке даже семантически Он — альфа и омега, поскольку Аз — некогда первая буква алфавита — теперь находится на последнем месте Я», — мелькнула странная мысль.

И Лабин шагнул вперед:

Всем малым миром, скрытым в человеке,
Противится он вихрю и дождю,
Которые сцепились в рукопашной.
В такую ночь, когда не выйдут вон
Медведица, и лев, и волк голодный,
Он мечется с открытой головой
И гибели самой бросает вызов.

Ад

Стояли уже морозы, когда спасатели обнаружили человека в земной промоине, образовавшейся после тушения пожара в фундаментальной библиотеке ИНИОН. Тот был без чувств, однако жив. Человек находился в природном водостоке по приблизительным подсчетам не меньше недели. Все это время он спускался в поисках выхода.

В руке полоумный зажимал страницу из записной книжки. На которой аккуратным почерком самого незадачливого диггера был начертан текст следующего содержания:

«Люди очень близки. Гораздо ближе, чем мы думаем. Иногда они даже накладываются один на другого, подобно цветовым кружкам, давая новый оттенок».

Первый Спасатель повернулся ко Второму:
— И что это значит?
— Что-что. Что кругом педики.

Славка

Славик сломался, когда умерла мать. До того он почти сорок лет сидел на печи у Христа за пазухой и ел уворованные братом консервы с мясоперерабатывающего завода. Мать работала мастером на том же заводе. Славик плыл по жизни спичкой в весеннем ручейке. Его кидало от фашистской идеологии и националистических организаций вроде РНЕ до черной магии и прочего оккультизма, от натальных карт индуистской астрологии до изучения майанского языка и культуры.

— Иоганн Непомук Гюттлер — дед Адольфа Гитлера, — сообщил он мне как-то заговорщицки. — Гитлер вместо Гюттлер — ошибка церковного писца. И если фамилия Гюттлер условно происходит от немецкого huter — хранитель, страж, то бюрократическая неточность дорого обошлась человечеству, ибо хранитель был отогнан, а стража распущена! Так-то, дед Сергей.

Лет десять тому мы общались часто. Выпивали, дрались. Я оставался у него ночевать и один раз даже жил недели две. Потом, как это часто бывает среди практикующего народа, разодрались, рассорились. Обиды он не забывал и, кажется, в душе не прощал. Хотя через долгое время мы снова сошлись.

— А у меня мама умерла, дед Сергей (так он меня называл). — Позвонил Славик. Я зашел. Он пил, ругал врачей, которые прозевали рак легких. Сгорела мать на его глазах за полтора месяца.

Славику (с братом, но тот был уже нетрудоспособен) достались две квартиры, небольшая дача в черте города и какие-то немалые — для него — деньги на счету. Мы тогда еще решили, что Славка — хитрый и использует свалившееся на него богатство с толком. Но мы ошибались.

Славик всегда любил всплакнуть. Но тут и через полгода, и через год после ухода матери не мог найти себе места. Не мог собраться, чтобы выправить документы. Пил и пил, плакал и клянчил деньги. Оказалось, он не умел элементарного. Во второй квартире поселились какие-то темные личности. Которые не только не платили, но еще и сами ему угрожали. Какие-то босяки приходили к нему домой, пытаясь что-то отжать. Мы впрягались, ходили к участковому и все не могли взять в толк, как он — хозяин — ничего не может поделать с этой шпаной, но еще и сам вынужден скрываться. Хотя Славик всегда был скрытен, врал напропалую и дела его были никому неизвестны.

— Дед Сергей, — прозвучало в телефоне. — Мишка умер.

Мишка — старший брат.

— Да ладно, — не поверил я. Дело в том, что Славик не раз на моей памяти «хоронил» живых людей.

— Да ладно, — не поверил я и пошел к нему. Мишка лежал под одеялом. От грозы района, дважды сидевшего за разбой громилы, остались большие мослистые кости, обтянутые желтой кожей. Веса в нем на вид было килограмм тридцать. Кто-то и до сих пор думает, что Славик сознательно уморил его до смерти. Не знаю. Все-таки вряд ли. Уж больно он расклеился после этого. Менты, кстати, особо не разбирались, хотя, на мой взгляд, выглядел труп более чем странно.

После смерти матери Славка упал духом, но жизненные силы еще оставались. Кутил же он, в самом деле. А вот после Мишкиной он вообще перестал хотеть. Если до того пил все время «Охоту» — мерзкое крапленое пиво, то после Мишки перешел на паленую водку. Я стал видеть его реже. Нам сделалось не о чем говорить. Вся его великолепная память, цитаты из советских фильмов с озвучиванием по ролям (у него был актерский талант, но слабый или не развитый) — все ушло: Славка сделался глуповат и слезлив.

До сих пор ломаю голову: чего больше в нем было — добра или зла? Что в нем не реализовалось? И мне становится страшно. То колоссальное темное начало, которое он в себе носил... Тирания и насилие уравновешивались в нем сентиментальной предприимчивостью в отношении гостей, навязчивым радушием и чрезмерным вниманием. Но уравновешивались ли? Не был ли его уход в себя и в бездну сознательным следованием по пути самоустранения. Не осознал ли Славка себя как порочную личность, способную к тяжким грехам? Может, взяв сторону света, он ушел в тень, не пожелав развития в себе маниакальных наклонностей, которые чувствовал полнее других?

Вообще возможно ли это, и не спасение ли это души в таком случае?

— Серёж, можешь зайти, меня избили! — На голове зеленой, торчащей во все стороны леской смысла стянут шов сантиметров в пять (так он с этой леской в башке и ходил с полгода).

— Серёж, я в реанимации — что-то с сердцем. — Собирались делать ему операцию, но он сбежал пить и отказался.

— Дед Сергей, Васька умер. — Кот.

— Блин, Слав, опять?

Заросший, опухший, вонючий. Канализации нет. Воды нет. Засохшее говно размазано по полу. Все шкафы, книги опрокинуты, перевернуты, точно человек бился в белой горячке (скорее всего, так и было). Принимает меня в коридоре на старой детской кушетке. Еще можно пройти на кухню, затянутую паутиной. Никто его уже и не уговаривает остановиться. Он забрался слишком далеко. Та еще спелеология.

Славик скрытно, как все у него, продал Савлову (другу детства, пройдохе-журналисту) дачу. И тот выдавал ему деньги «траншами». Тогда у Славика могла появиться небывалая для него сумма. Он звонил нам, приглашал «в ресторан», в «Рахат» — какую-то восточную забегаловку, кутил. Да! Скупал бутафорские мечи, катаны, мачете — холодное оружие, которое, кажется, считал настоящим. Приобрел стоечку под оружие, демонстрировал его нам с благоговением. Пьяный подолгу затачивал их, доводя до бритвенной точности, не принимая во внимание мягкость металла. И дарил. В полувменяемом состоянии дарил нам, продавщицам в магазине, каким-то знакомым таджикам. Скорее от желания быть широким, чем от действительной широты. Мне Славка подарил черный, лаковый с оторочкой красной грубой нити на ножнах японский традиционный короткий меч вакидзаси.

Умер Славка в свое отсутствие.

Квартиру вскрыли день на третий.

Но я часто представляю.

Славик умирает, и все его демоны стоят в изголовье. Нет свечей, обстановки, какой бы он хотел, свидетелей. Протухший, опухший до неузнаваемости Славик умирает почти в беспамятстве, страшной мучительной смертью алкоголика. Бред усиливается. Он видит черные крылья, старшего брата, Гитлера.

Фюрер говорит ему с усмешкой: «Вот и ты, Ева. Или звать тебя Ив? Ивушка. Все-таки отравление — эстетская штука. Ты же и ему, — кивает Гитлер на Мишку, — ушную серу в еду добавлял, чтобы побыстрее отмучился».

— Сука! — кричит Славик. — Врешь ты все, гнида казематная. Нацисты-гомосексуалисты!

— А никто не знает: вру — не вру. Ты такого по жизни наворотил, что дружки твои — Шурик, Золотарев, Савлов — они уже не знают, верить тебе или не верить. Уж извини, брат. Так печать недоумения и останется. Ты зачем цветочницу избил по лицу? На тебя даже дело завели — дачными деньгами откупился. Помнишь?

— Плохо помню. Пьяным был. А она меня из магазина сама выталкивать начала.

— Так ты невменяемый был. Орал. Покупателей отпугивал. А женщин и слабых бить нельзя.

— Кто бы говорил.

— Славик, Славик. Вот не убивал ты брата, а все будут думать обратное. Зачем так? Или все-таки ты? А Шурика кто избивал ногами, что его сестра родная не узнала? Ты же матерью клялся, что не ты. А Шурик, хоть и пьяный, помнит. Ты и с утра продолжал его мудохать, а он уже протрезвел. А матерью клялся. Как думаешь, не оттого ли она сгорела?

— Уйди, тварь.

— А Мишка? Кто избил его чугунной сковородой и дураком сделал? Долго ты его бил. Сам рассказывал.

— А тебя он будил ударом сапога? Всю юность дрожал я. Вот и не выдержал. Вот упырь. Сам миллионы уничтожил, а меня оговаривает.

— Так я — официальный демон. А ты пытаешься остаться чистеньким в собственных глазах. Чтоб вспоминали о тебе доброе хочешь. Хочешь же?

— Ну.

— Ну. Ну. Ну, допустим, я тебя прощаю. Я ж знаю, каким человек бывает страшным в гневе, а потом возьмет да раскается. Но ведь тебе перед ним стоять, а ты сам от него отвернулся. Кто со второго курса Свято-Тихоновского ушел? Ко мне в националисты подался. Ты думаешь, за это по головке гладят?

— Я не мог. Считал себя недостойным. Что б ты понимал! Я сильно верил — до мамы.

— Гордыня. Во всем тебе мешала гордыня, не подкрепленная ничем, кроме пива. Хоть бы где дошел до конца. Чего ни начинал, все побросал.

— Сгинь, гадина.

— А ты знамение на меня наложи.

Славик пытается поднять правую руку. И думает почему-то, как окрестить Гитлера: по-православному или справа налево по католическому обряду... Тут он видит, что пальцы перепачканы в ушной сере и кричит.

Славик кричит и каким-то жутким рывком бьет рукой по оконному стеклу. Стекло режет руку. Славик падает на пол. Сердце трескается в груди от жара.

— Ну, — наклоняется кто-то. Славик видит грязные Мишкины ноги с длинными нестриженными когтями. — Ты чего братишка? — Легко поднимает и кладет его обратно на грязную кровать.

— Мишка.

— Чего ты от операции убежал, братик? Теперь, вон, не зашить его больше.

— Так я хотел того. Того же. Умереть хотел.

— А сейчас? Сейчас тоже хочешь?

— Сейчас хочу на дачу пойти. Там снег с козырька — помнишь, с тобой делали — снег счистить надо. Не дай бог проломится.

— Ты же продал дачу.

— Нет. Еще нет.

— Ну тогда пойдем.

Мишка помогает Славке подняться, и они, поддерживая друг друга, идут к входной двери.

— Свет. Надо погасить в комнате торшер.

— Дед Сергей погасит. Идем.

Открытие

Когда Родов окончательно пришел в себя, то заявил, что имеет сведения касательно сгоревшего храма Успения Богородицы в Кондопоге.

По его наводке был обнаружен более древний алтарь, предположительно, первой постройки, скрытый до того глухой стеной. Историки приступили к изучению находки.

Исповедь

Меловые убеленные солнцем стены монастыря. Высокое небо плотины. Ниспадающий свет. Отдание Преображения. Прихожане толпятся на каменном крыльце, где трое монахов отпускают им грехи. Один ласковый, похожий на Деда Мороза без грима, и ростом и лицом вышедший в люди. Двое других построже и пожиже. В толпе виден приятный человек средних лет. Улыбка блуждает по лицу в поисках смысла. А то словно тень находит, и задумчивость образуется. На духу исповедуют споро — люди больше приезжие, вызнавать жизнь каждого времени нет. Человек готовится и сосредотачивается на своих сокрушениях. Подходит очередь. Бабушка, покрытая епитрахилью, поднимается с колен и отчаливает. Человек приступает. Называется Элем и... Мысли его далеко. Прыгают с одного на другое. Вечного живота. Вот ведь жизнь раньше была мужескаго рода. Он никак не может начать.

— Вот, как бы... — пробует раскачать словами внутренний голос. — Что-то думал все утро... А вот. Никак не могу вспомнить, как у католиков называется момент претворения хлеба и вина в плоть и кровь.

— К причастию готовились? — прерывает монах, присматриваясь к испытуемому.

«Что это я? Нужно бы объясниться. Да неясно все как-то. ТолкУ без толку. По-английски — to talk», — человека внезапно охватывает странное, никогда не встречавшееся прежде чувство замещения. Он и сам не сумеет его описать. Вдруг захотелось умалиться до точки. До семени. «Вот оно — смирение!» — думает он. Но нет. Ощущение болезненное и связано с плотским наслаждением. Он вспоминает первый раз произвольного семяизвержения, когда только еще перезрел в юношу. Тогда он подтягивался на турнике, и как-то больно и сладко свело в паху. Позже он не раз искусственно вызывал у себя подобное чувство прежде чем научился ему помогать. Сейчас что-то подобное произошло во всем теле. Со всем материальным положением его. Со всем существом.

— Секундочку, убратия! — тихонько проговорил человек и начал отодвигаться от исповедника. Ему ужасно хотелось найти место, куда бы пристроить пятую точку. Вдоль стены были свободные места, однако не лавочку он искал. Какую-то новую нишу. Момент пробуждения, когда ты не хочешь просыпаться и холодно в комнате,

а под одеялом тепло, и ходят близкие, громко переговариваются, а тебе хорошо. Вот чего захотелось человеку. Залезть в кокон своих грехов всем естеством и греться в их противоестественности.

— Вам нехорошо?

— Хорошо бы мне... — человек сдал задом, прорвал воздух и принялся задвигать себя в образовавшуюся щель пространства. Переломившись в пояснице, он стал упаковываться прямо в звенящий яблочным наливом воздух отдания.

— Понаделали тут филиокна, — откуда-то уже изнутри пространства, обитого материей, проговорил человек. — Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня...

Миряне оторопело взирали на данное действо, не имеющее отношения к реальности, не веря глазам. Человек, меж тем, превратился в висящую темную точку, пискнул: «Аксиос, мучачос!» — и схлопнувшись в вакуум, колыхнул легкую занавеску воздусей.

Мощные стены мелового периода пачкались белой копотью. Пришедший к «Неупиваемой чаше» алкашик отряхнул запачканный рукав.

— Братья и сестры! Нынче мы купно наблюдали сеанс магии с разоблачением... — Иеромонах поднял горчичное Евангелие. Луч солнца, отразившись от серебряного распятия, обжег сетчатки.

Миряне снова спокойно топтались в ожидании очереди.

Монах подтянул штаны под рясой, обшлагом рукава протер Благовестие и жестом пригласил согбенную старушку приступить к таинству.

— Вот так живет человек и не знает ничего о себе, — шептались вечером насельники монастыря, а игумен настоятельно рекомендовал чертей более не исповедовать.

Евгений Сологуб

Трактовка тишины

Рассказ

Перестукиваясь с ландшафтом, дорога раскачивала вагон. Радио шепелявило и шипело. Мужчина в бриджах и майке на боковушке, кряхтя, пшикнул банкой пива, лакомо вздохнул. Запах горько-кислого хмеля вмешался в плотоядность пространства. Вторую он выпил так же, как первую, — зажмурив глаза и упиваясь гортанной щекоткой.

Я не отреагировал на его протянутую ладонь. Тогда он поставил передо мной третью банку и сварливо заметил:

— Не переживай, еще есть.

Дождевые крапы на окне растягивались в ожерелья, хвойный лес походил на черное полотно пилы.

— Я вообще-то Михаил, — кисть какое-то время постояла между нами и заплясала пальцами на глянцевитой столешнице.

Я случайно задел Мишу взглядом: губы расползлись по лицу, колкий нос удлинился, красно-кракелюрные яблоки полезли из орбит.

— Ну, как хочешь.

Миша обиженно допивал пятую, сморщив тело в углу.

Соседние купе молчали, но через какие-то минуты после того как Миша захрапел, в проходе поселился детский плач. Его успокоил цокот погремушки и щебетание матери.

Ночью я вышел подышать и закашлялся от перронной мокряди. Фонари нимбоносно висели в черничной ночи. Бесформенными призраками плавал сигаретный дым, а проводник — усатый и сальный молодой человек с ежистыми глазками — внимательно смотрел вдаль. Я проследовал за его взглядом, но увидел только голые сети деревьев и чалые сгустки снега под ними.

Я вернулся к себе. Из-под полки достал ободранный саквояж и вышел на перрон. Окурки стаями светлячков разбились о стылый и мокрый асфальт. Поезд тронулся, заглушив хриплое: «Запрыгивай в любой!».

Дорога, затравленная ледяной коркой, одиноко блестела. Под ногами хрустели лужи, и хруст еще бродил следом, разбиваясь о дома. Вдалеке обозначилась тень: она справляла нужду на собачью будку.

Евгений Сологуб родился в Петрозаводске, окончил филологический факультет ПетрГУ. Живет в Санкт-Петербурге.

Неоновая вывеска бессмысленно горела, приманивая к себе мотылящихся странников. Перед тем как зайти, я записал просьбу на листочке и вложил в нагрудный карман пальто. Мокрый снег начал лезть за шиворот, прибавляя стоянию злобу.

Холл гостиницы был разделен нефом, с потолка разливалась пышным стеклом шевелюра люстры. За стойкой уже порхала раскланистая улыбка администратора: лицо у девушки слегка опухло от нагрянувшего в работу сна, а пальцы елозили по бортам темно-синего жакета. Она старалась задиристо выглядеть, но из-за вздернутого носа и вскинутой головы походила на бесенка. Видимо, я приветливо улыбнулся, потому что она зарделась и спросила, какой номер мне нужен. Я протянул исписанный лист и обернулся.

В номер вошел один. За коричнево-красной дверью ждала кровать с дутым и объемным матрасом, зеркало в полстены напротив, холодильник, прикроватная тумбочка, журнальный столик с меню гостиничного ресторана, шкаф-купе и ванная. Повесив на плечики черный шерстяной костюм, белую рубашку, закинув на полку черную пару ботинок на толстой каучуковой подошве, я сел на край кровати. Тело стенало потом.

Смывая налипший путь, я не разворошил в себе ни одной мысли. Простирнул рубашку под холодной водой. Это помогло мне заснуть. Хотя ночью я нашел себя на подоконнике: прислонившись к ледяному стеклу, я выслушивал, как в щелях деревянной рамы, хныкотно запыхавшись, бродил ветер.

Смачивая неокрепшее после сна горло холодным молоком, решил навестить Василису. Окно едко светилось, голые ветви плавали на ветру, и солнце яркой кляксой пробивалось сквозь пепельную промокашку неба. Птичий щебет завоевывал уши. Я вышел взглядом на улицу: оживленное движение машин по ноздреватой, обглоданной бурыми лужами дороге вернуло мне ощущение реальности. Внизу, под окном, вдоль стены гостиницы тянулась муравьиная вереница покрытых черными платками людей. Продолжительное всматривание в народный гурт сделало молоко обжигающе белым для глаз. Я занавесил день и вернулся в сумрак.

Рубашка запасной кожей висела на извилине батареи. В дверь стучали, но я подмывался и не мог открыть. Замок щелкнул, я хлопнул пластиковыми створками душевой. Кто-то снаружи ахнул и пропал.

Свежий аромат вычищенного тела радовал нос. Рубашку я гладить не стал. Застегнулся на все пуговицы, прикрылся пиджаком и с пальто под мышкой вышел в коридор. Там, в ковролиново-дверной перспективе, одиноко стояла навьюченная тележка горничной.

За стойкой меня ждал пунцовый мужчина с рыжей бородой, щетина которой, видимо, мешала прогулкам воздуха и голоса, поэтому он сопел и держал свой пюсовый рот приоткрытым, при каждом слове танцуя губами. Он ухабисто прошелся по ушам: «Доброе утро! Во сколько вас ждать? Сегодня по всем вопросам обращайтесь ко мне. Николай». Бряцающе оставив ключ на стойке, я понимающе кивнул и вышел в прохладу. Замотав горло шерстяным шарфом, я глядел в спину той муравьиной очереди. Дразня любопытство, пошел в другую сторону. Телефон мертвел на дне кармана. Запястье чувствовало себя вольготно — часы забыл в ванной.

Я шуршал рассыпанным по асфальту гравием. Через когтистый сквер от меня печально и нагло стоял ряд пятиэтажек, прерываемый разбросанными наугад деревянными домами в один и два этажа. Метлы тополей царапали небо, но тучи не уходили. В коричневых лужах мрело отражение мира, а я вдыхал простуженно-гнилистый чад земли с запахом дыма, что по-речному резво тек из кирпичных труб. Дорога расслаивалась на трезубец выбора. Я решил двигаться левее и вышел к берегу реки. Дома здесь стояли с резными стрехами и коньками, а на мосле холма, вдалеке, серел в тумане абрис храма. По-моему, тогда, во время прогулки, в душу юркнула вина, но в хронологии я не силен.

Я спустился к деревянному продавленному пирсу. Ворсистый слой снега и льда обращал речную губу в остов фундамента забытой историей крепости. В некоторых окнах по берегу горел свет.

Люди шли навстречу и в движении вымеряли меня с ног до головы, стараясь не задерживаться в глазах. Церковь оказалась деревянной: серое, иссохшее дерево забора было приятно на ощупь. Моя ладонь скользила по морщинам старика, его сухой, высушенной солнцем и временем коже. Вокруг приятно пахло медовым воском. На тень легла кисть, забористо шмыгнула и хихикнула: «Понимаю! Меня с похмелюги тоже в церковь тянет». Я повернул назад, задевая взглядом тяжелые берцы в серой засохшей грязи. Голос еще бродил за спиной: «Да ухожу я, ухожу. А надо, так похмелить могу».

На лоснящейся людьми улице я зашел в заполненное тучным, прогорклым духом кафе. Выпил кофе и протянул на салфетке просьбу зарядить телефон. Официантка выдернула ее из рук и кичливо заметила: «До двух ночи работаю». Я кивнул и вышел, еще успев ухватить: «У меня парень есть вообще-то».

Маршрутки и автобусы ехали, переваливаясь. На застекленных остановках ватно сидели люди, и всё почему-то неизменно приятно было для глаз. Забираясь глубже в пальто, снова вышел на центральный проспект и повернул в сторону гостиницы. Очередь по-прежнему кнутом лежала на улице, вилась к трапециевидному огарку здания из темно-красного кирпича. Я прошел в ее начало. Она впадала в калитку чугунного забора, ноги людей шаркали по дощатому настилу. Черными застывшими яблоками висели на ветках дрозды. Мятые скомканные лица глядели из-под платков и шапок. Это мне напомнило о будущем.

Возвращаясь в гостиницу, я выхватил из смазанной блеклой полосы глаз *ее* — серебряно-голубые, проглядывающие из чернозема траура.

В номере я достал со дна саквояжа зарядное и безвидно глядел на ярко-синий маячок в углу телефона. Постель была заправлена. Полоз света лежал на моих коленях. Никого не было во мне.

День иссякал. Очередь под окном исчезла. Я решительно бросился собирать вещи, но у шкафа опомнился и вышел в коридор. Уже в холле не нашел на ногах ботинок и вернулся в номер.

Я встретил Василису за углом покосившегося забора. Она курила, и глаза ее походили на сизую пару друзей, в ностальгии собравшихся у костра. Я прошел мимо, хотя и видел, как рука ее взметнулась и зависла над покрытой платком головой. Брел, прислушиваясь к треску ее шагов, пронзающих стекло льда, но не оборачивался. Мне было интересно, сколько она готова отдать молчания за встречу.

Дорога вырывалась из-под ног, искрилась от фонарных слюней. Сквер был небольшой — мы прошли его насквозь. Я по-прежнему не оборачивался. На одной из реечных скамеек обломками мрака сидели тени с кистями-бутылками. При виде нас они прирезали речь, мерцая глазами из-под меховых ушанок. Сквер оборвался.

Расстегнув пальто, я перелез через забор. «Интересно, как она справится с юбкой?» — усмехнулся я и провалился по щиколотку в сугроб. Перейдя забытый участок с двухместными качелями и домиком-вагончиком, остановился у пронзительного журчания. Мне показалось, что кровь изнутри подшептывает, переговаривается с потоком. Я сел на корточки, ощупал стылый камень, застланный шелухой лишайника. Василиса опустилась рядом. Клубы дыхания растворялись в пространстве. Бледное пятно белело на коленке, и лесенка зацепки сползала на голень. Взгляд затих перед собой. Она поднялась. Слова, забродившие во время пути, сошли на нет.

— Мы давно уже здесь не живем. Ты зачем приехал?

Я пожал плечами. Встал и запустил снежок в чернильную воду. Руки стыло

кололо от холода. Утопая в снегу, она прошла к дому наших детских встреч. На пороге приподнялась на носочки и пошарила ладонью по крыше.

Запах дерева, земли и плесени вошел в меня памятью. Сердце выстрелило кровью, а во рту обозначился вкус соленых грибов и топленого сала с картошкой. Отец сидел на кухне в дырявой футболке в жирных потеках и шкрябал по дну чугунной сковороды, добирая остатки. Красновато-янтарный огонь разбрасывал по стенам комнаты тени, стрекотал исчезающим деревом за шлемом заслонки. В бороде его застряли пригоревшие дольки желтоватого картофеля, а он только улыбался и лоснился жирными губами.

Она поставила керосиновую лампу на столик и по-прежнему носила перед собой дыхание. Я сел на табуретку. Свет не прибавил пространству мебели. В обрызганном мглой углу стояла буржуйка, плетеные корзины, остатки дров бродяжно лежали рядом, стену за мной заслонили полки, заставленные пустыми мутными банками. Она села напротив. В землянках ее зрачков я не обнаружил ни безумия, ни бессилия. Она и сама походила на дом. Попыталась улыбнуться, но лицо от холода не слушалось.

Единственное окно справа от меня мрачнело зеркалом. Я вновь ощутил приступ вины и встал, чтобы уйти.

— Издеваешься?

Я кивнул. Спохватился. Помотал головой. Она сладко улыбалась огню, плоско горящему в рахитном пузе лампы. Тени ее пальцев пропитали стены.

В номере она забралась с ногами на подоконник. Тепло размяло тело. Ступни, кисти и лицо горели. В светлой комнате она вернула свои глаза, смотрела ими в бокал, на запеченную рыбу. Проходя в ванную, задержалась у пиджака и потрогала ткань на ощупь, при этом кому-то в себе кивнула.

Под щебет воды я несколько раз пытался сформулировать мысль, но пиджак и ее пальцы на обшлаге волновали сознание, буквы дергались и никак не унимались. Она вышла голая и растерянная. Оглядывая комнату заблудившимся взором, села на угол постели.

Я протянул ей подобие фразы. Упавшие на лицо волосы сочились росой, несколько капель скатилось на бумагу, сволновав гладь. Она отстранила блокнот, вместе с голосом возвращаясь из оцепенения, обронила:

— Остан... — а я заслонил воскресение слов губами.

Дух жженого сахара возвращал в мир. Ветер переговаривался с розовым ситцем занавески: точно скромничая и стесняясь, она отпрядывала от окна. Собирая ногами холод пола, через гостиную я прошел в кухню. Помещение туманилось, матово-белесую поволоку прорезали лезвия солнечных лучей. Чугунная увесистая сковорода на плите сипела и шамкала, а рядом на незаженной конфорке стояла тарелка с пирамидой из хлебных тостов. В эмалированной миске в молоке, испещренном сгустками яичного желтка, плавали набухшие клочья пшеничного хлеба. Отец стоял с голым торсом, в шортах и смотрел в стену перед собой, но обернулся, когда я потянулся за хлебом. Лицо его было обращено в себя — с углублениями для носа, глаз, губ, лба — перевернуто и втянуто в череп. Он присел напротив и говорил, но голос обращался подавленным, зажатым подушкой кляпом. Тогда я подошел к нему и вложил свое лицо в его. Гулко и скрежеща лилась кровь, я продвигался в ущелье отца, объятый водой со всех сторон, с каждым шагом путаясь в сетях воздуха, и раскидывал руки перед собой, но никуда не шел, а провисал — под шелест крови и бубнящую присказку его голоса.

Василиса не шевелилась, но покрывалась мурашками, как окно дождевой моросью. Носом я повторил ее тело, пропахшее сном. На узорчатом кафеле ванной нефтяным пятном лежали испорченные колготки. Я подобрал их и скомкал в кулаке.

Ресепшн пустовал. Уже на улице я включил телефон. Сообщений не приходило.

Одно от матери. Позавчерашнее. Я мельком обошел город в голове, припоминая косметический и тому подобные магазины.

Кровать тосковала, но в складках простыни еще можно было различить, как она вытянулась, сбросила одеяло и, ступив на пол, скрылась. Я кивнул ее отражению в зеркале ванной.

— Взяла твою щетку.

Я ждал, пока она выйдет, разглядывая отделенные от торса ноги на упаковке колготок. Освободив ее от целлофана, написал поверх красных фигурных букв свои — широкие, печатные.

Василиса потускнела:

— Ты уверен?

Я не знал, кивнуть мне или нет. Над головой завыл фен. Все так же в пальто я лег на кровать и закрыл глаза.

Лето, пыльная дорога, рюкзак на спине, панама на голове, песок на зубах, грязные ноздри и усталость в ногах, мелкие камни колют ступни, язык обращается в пемзу и скребет нёбо, и кадык придавлен застывшей в гортани смолянистой слюной, в солнечном мареве простираются сочащиеся зеленью поля, снопы сена, зарифмованные с дорогой, что освобождает время от нашествия часов, и палящим ластиком солнца, что стирает биографию.

Одетая, Василиса легла рядом и задрожала сердцем. Она косилась на меня, но не смела поворачиваться, лишь пальцы юркнули на колено и затихли. Боясь лишний раз оформиться голосом, шепнула:

— Мне домой нужно. Собраться.

Всё было так же: стол-книжка, диван, пианино, сервант, книжный стеллаж в гостиной, маленькая кухня справа от прихожей, налево по коридору комната, в которой мы переходили границы ночи. Василиса скрылась за дверцей шкафа, к ногам упала дорожная сумка, следом, в неё, поток вещей. Она гнусаво и строго разговаривала по телефону, пока я смотрел на сочащийся бордовым повидлом творожный сырок. Чайное дыхание вихрилось, поднимаясь к ноздрям.

Когда она вышла в черном брючном костюме и белой блузке, я вернулся в её комнату. Задвинул гардины, запустил ноутбук. Дневной поезд пришелся кстати.

Она также сидела на кухне, обнимая пальцами лицо. Паспорт лег перед ней на стол. Я взял сумку и вышел на улицу. Пятиэтажки были не очень приветливы и сторонились друг друга. Из слоя грязного снега с прорехами камня росла ржавеющая геодезическая вышка. Напротив, сопливя, женщина в берете отчитывала дворнягу. Пес, скалясь, вжимался в коричневую слякоть. Я по-прежнему не понимал, отчего глазам так больно смотреть на пространство.

Молодая девушка с пористо-алым лицом долго искала наши фамилии и хныкала голосом от неудачи. Все обошлось, и через пару минут зубчатое лезвие леса снова вонзалось в пепельное небо.

Лампа на потолке горела тусклой свечкой. Качка нагрузила веки, и сон не заставил себя ждать. Наверное, я и проснулся от ее слежки: голова стояла одноногим часовым на плечах, глаза бодались жалостью или ненавистью — не разобрать. Сколько ни встречал на лицах, всегда путал. Я проморгал несколько секунд в надежде, что Василиса успокоится. Но взгляд упирался ослом.

— Может, перестанешь?

Зевнул и прошелся ладонями по щекам.

— Я звонила твоей матери. Что ты хочешь доказать своим молчанием?

Улыбнулся, но ватное лицо, потерявшее силу за сон, скисло подобием нервного тика.

Под едкий чад хлорки, мокрой бумаги и застоявшейся мочи я пожалел, что поддался слабости. Вернувшись, сел рядом с Василисой и спрятал ее кисти в своих.

— Я тебе лишь в своей жалости и нужна...

Последние фразы прослушал — пощечины осами налетели на лицо.

По внутренним граням пузатого бокала стекали винные ножки. Бордовый морщинистый след от губ матовел на краю ободка.

— Всем будет легче, — взгляд матери украло окно, но она шевелила губами. — И мне и ему. Пусть хоть слово бросит, Лиса, скажи ты ему. Что упираться?

— Он уже не упирается. Вроде.

Василиса круговыми движениями водила стопку ликера по столу.

Я сморщился от острой боли в голове и вышел.

В светло-желтом кабинете в воздухе летала пыль. Клокот аппарата искусственной вентиляции легких и писк кардиографа заменял шум ветра и пение птиц. Руки его покоились вдоль тела. Челюсть пульсоксиметра прикусила указательный палец. Отец с пепельным лицом лежал на больничной койке. Я был уверен, что только громоздкая пластиковая трубка, сифоном торчащая изо рта, мешает ему улыбаться. Свежий весенний дух, просачивающийся в приоткрытую створку окна, вселял уверенность.

Занавески взметнулись, сквозняк прожурчал по стенам. Под клочком линий я поставил еще одну подпись.

Стол накрыли в гостиной. Все расселись по периметру и пили водку. Я лежал в комнате. Борясь с мутью в желудке, разглядывал геометрические узоры на обоях: они светились, плавали, распадались на линии. Хотел встать и пройти в кабинет отца, но солнце ласково тронуло макушку, и я не смог пошевелиться. Слышал сдавленный голос Василисы. Ее слезы, ее прощание. Уговоры матери.

Замок щелкнул.

Голоса уплотнялись, распадались, овладевали комнатами.

Я сидел на плечах у отца, собирая глазами белую ночь, улыбался ландшафту. Ребра смиряли объемистость легких, яркий смех улетал к мелу неба. Я искрился вопросом — отец отвечал: *сквозь землю страдания нашего туда, где течет молоко и мёд.*

Ольга Гуляева

Человек человеку

Рашид

Прилавок баклажанами расшит, арбуз бесстрашен — чисто Тамерлан.
— Салам алейкум, говорю, Рашид. Он говорит: Алейкум ассалам.
— Как ребятишки? Как твоя Айгуль? — Айгуль не любит зиму, но зима
Сюда придёт, торгуй ли, не торгуй; спасает чай, самса, любовь, намаз.
— И я молюсь. Нечасто, но молюсь. Я по-другому, но молюсь, Рашид.
И мы с тобой, что безусловный плюс, не меряемся зрелостью души.

— Вчера передавали в новостях про виноград, про новый сорт хурмы.
— Вчера мой сын нашёл троих котят, раздать бы их хотя бы до зимы.
Мы говорим, а женщина одна перебивает: Виноград? Да ну?!
Напоминает: В Сирии война. Мы говорим: Да ну её, войну.
Она кряхтит, она возмущена: Ой, — говорит, — бессовестные, ой.
И повторяет: В Сирии война. А что сейчас мы сделаем с войной?

Нет Бога, кроме Бога на Земле, он не таджик, не русский, не француз.
Рашиду я даю пятьсот рублей, а он мне — баклажаны и арбуз.
С востока солнце к западу спешит. Несу арбуз, смотрю на голубей.
Шепчу в пространство: Мир тебе, Рашид. А он мне отвечает: Мир тебе.

* * *

Загустевший воздух хватая безвольным ртом,
Ощутив себя попавшим в капкан животным,
Размышляешь — вот человек человеку кто,
Понимая, что человек человеку кто-то.

Человек человеку свет, мармелад, ТТ,
Человек человеку система «Тополь».
Человек человеку Асклепий, Сократ, Эйнштейн.
Человек обязательно человеку кто-то.

Человек человеку, пока человек живёт —
Скорость звука, движение кровотока.
Человек человеку хлеб. Человек человеку мёд.
Человек живёт, пока человек человеку кто-то.

Ольга Гуляева (псевдоним; настоящее имя — *Елена Мухтаровна Загидулина*) — поэт, прозаик. Родилась в 1972 году в г. Енисейск. Окончила психолого-педагогический факультет КГПУ им.В.П.Астафьева. Автор трех книг. Лауреат конкурса «Кубок мира по русской поэзии» (2019). Живет в Красноярске.

Валерия Крутова

Музей чудиков

Рассказы

Дочь апостола

Имя ей — узница Петрова. И неважно, что зовут ее Надя. Надежда, которая если и умирает, то последней. Каждый раз умирает, оставаясь последней в автобусе, что везет ее к свинцовому заводу. Остальные узники выходят на остановку раньше, а Наде Петровой ехать до конца. До — каждый раз — конца света. Там, у свинцового завода, ни фонарей, ни окон, горящих теплым домом, жаренной с лучком картошкой, пуховым одеялом с ажурным ромбом по центру. Там ни души.

Не души — воздуха в легких и так мало.

Волной катается страх по салону автобуса. Салону... Какой же это салон? Грязный, душащий потом, кровью чьей-то, отхаркнувшейся, однако дышащий слабым морозным воздухом салон. Чулан, куда чья-то уставшая рука ежевечерне сбрасывает десяток людей, словно старые метлы, в пыльный заброшенный угол. Жизни. Какой салон, такая жизнь.

Надя Петрова — узница на семь минут. Самые страшные семь минут ее дня. Каждый раз, когда предпоследняя метла выпадает из чулана, Надя вздрагивает, прикрывает рот, хватает крик рвущийся. Всей пятерней хватает и держит, лелеет, потому что крик этот — хоть что-то родное и похожее на настоящее, что в Наде есть. Что в Наде осталось.

Оставь — мне совсем немного надо.

Сидит девица в темнице, а душа на улице. На улице небо ясное звездное. На улице снег в лунном свете блестит так, будто на него некая модница глиттер рассыпала. Будто шла, нет, плыла над снегом, не ступая, и сыпала. Надя держала крик и смотрела на модницу, а модница сыпала и сыпала, затем на Надю оглянулась, подмигнула и исчезла. Надя бы тоже так хотела — плыть, не ступать над снегом, и сыпать. Только песком-памятью, не блеском. Из-за этого песка и блеска не осталось у Нади. Ни в карманах, ни в глазах.

Не смотри — мне больно.

Отец смотрел глазами-слезами. Надя никогда не думала, что у папы такие есть. Он будто их достал из воды, не вытер и надел. А у Нади ни слез, ни глаз. Одни красные-

---

Валерия Крутова (*Макеева Валерия Валерьевна*) родилась в 1988 г. в Чимкенте (Казахстан). Участник XVIII и XIX Форумов молодых писателей. Живет в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 9.

красные реки от карих дырок без дна. Без надежды даже на дно. Папа тогда говорил, что все прошло, и это пройдет. Папа тогда встал, стал высоким, каким Надя его, сутулого, и не помнила. Папа тогда глаза-слезы высушил одной лишь ненавистью. А она только просила, чтобы не поубивал никого, а то она одна останется, никому со своими зрачками-дырками не нужная.

Не говори — мне страшно.

Говори, не молчи, а то страшно. Расскажи всем и каждому, пусть знают. Не расскажи, засмеют. Промолчи, умолчи, а то осудят. Кричи, пусть поймают. Плачь, пусть судом судят, адом грозят. Пусть по почкам пинают за железной клеткой. Только молчи, не пытайся остановить.

Внутри Нади тогда все кричало. Все болело, плакало. Хорошо, мамы не было... Мама бы тогда Надю спрятала, крылом защитила, никому бы ее боль не отдала, внутри на замок заперла. На роток — платок. На секрет — крышу железную, а сама сверху бы встала. Хорошо, что мамы не было тогда. Плохо, что и сейчас нет.

Папа — не мама. Папа встал, выпрямился, глаза-слезы осушил. Прогремел на весь рабочий поселок, прозвенел отцовским горем, провыл ненавистью бестолковой. Как посланник божий беса изогнал. Только вот автобус водить в их глушь долго еще некому было.

Папа прогремел, снова ссутулился, будто еще сильнее, чем раньше, и снова на лавку кухонную сел. А Надя наоборот — осмелела. Через год из дома стала выходить. Еще через полгода в автобус села. Тот же самый, только без беса за баранкой. Той же самой баранкой, только руки ее трогают не те, что Надю тогда трогали. И названия остановок кричит не тот голос, что Наде в ухо «заткнись» шептал.

Да как же молчать — если больно!

Семь минут до конечной. И Надежда каждый день чуть-чуть умирает, оставшись последней.

Время до Дзержинского

Завтра будет день. Солнечный, шумный. Вокруг будут сновать люди, торопиться, иногда толкаться и непременно извиняться. Временами они будут вздрагивать от неожиданных и пронзительных сигналов, оглядываться и ускорять шаг. Проезжающие автомобили, помимо сигналов, будут выдавать порцию выхлопов на торможении — перекресток. И дышать будет легко, но не слишком-то и вкусно. Город.

Завтра будет ночь. Звездная после солнечного дня. Темная, как будто горная. В горах все — слишком. Если речка, то слишком холодная и чистая. Если ночь, то слишком темная и свежая. Если чай, то слишком ароматный и да, слишком вкусный. Нигде больше такого чая не выпьешь, как в горах. Завтра будет ночь, но не горная, а просто темная. Потому что нет в глазах желания выглядывать свет.

Завтра будет офис. Режущий по глазам лезвием флуоресцентных ламп. Офис будет пахнуть кофе, Шанель — сначала мужским, затем женским. К половине десятого Шанель смешается с десятком других ароматов. К ним присоединится шелест бумаг. Если закрыть глаза, можно представить себя в осеннем парке — листья обязательно крупные и не слишком влажные, чтобы шелестеть. Потом открыть глаза — будто прогулялся. Снова за работу.

Завтра будет звонок. Крепкий, как кофе, бодрящий. Тот звонок, что вроде бы еле касается нервных окончаний по всему телу, но сжигает их дотла. И когда отзвонит, отболит. А может быть, звонка не будет, и нервные окончания так и останутся в ожидании. Зато целыми.

Завтра будет ветер. Пронизывающий, выдувающий весь белок из костей. Они потом треснут, сломаются. И никто не подумает на ветер. Все подумают на остеопороз.

Завтра ничего не будет, если не останется времени. А времени — в обрез.

— Думай давай. Есть время до Дзержинского, — говорит он. Подталкивает меня к решению. Ведь нужно еще перестроиться не нарушив правил.

А я понимаю, что улицы Дзержинского давно не существует. Значит, у меня нет времени вообще. Нет Дзержинского, нет времени. Вне времени и улиц, вне автомобиля. Вне себя от необходимости решить что-то до Дзержинского. И там ведь плевое дело решить: направо едем или налево. И почему это должна делать именно я? Тем более в таком ограниченном и безграничном временном промежутке.

Налево... или все-таки давай ты решишь за меня и повезешь куда хочешь? Чтобы у меня было завтра. Чтобы у меня было время. Вообще. А не до Дзержинского.

Куриная ножка помощи

Я там умер. Так странно. Будто умереть — это еще не повод перестать существовать. Будто бы это не конец.

«Я там умер». Уже третий день фраза всплывала у Димы в голове. Он вспоминал ее, когда обедал — получает ли удовольствие от еды тот, кто считает, что умер? Вспоминал, когда ехал на работу — не считается ли офисная работа смертью? Даже когда занимался сексом с женой, вспоминал — не умирает ли он на секунду во время оргазма?

Три дня назад, возвращаясь из магазина, Дима столкнулся с парнем. Невысокий, худощавый — джинсы висят, поправляет все время. На голове кепка, сложно разглядеть лицо. Брит. Примерно пару дней назад брит. Дима окинул его взглядом, подмечая детали. Привычка художника. Парень сначала шарахнулся в сторону, буквально на шаг, но потом остановился и произнес:

— Брат... — Он сказал это тихо и хрипло. Дима поморщился. Почему обращение «брат, братан, братишка» считают правилом? Почему оно должно вызывать желание ответить или помочь? С какой стати этот наркоман, а Дима не сомневался, что парень под кайфом, вдруг оказался ему братом. Братом на пару секунд, братом на время «дай сигарету, дай мелочь, дай...». Братом, который даст.

У Димы был брат. Еще в школе во время драки Олег неудачно упал и разбил голову об угол бордюра. Мгновенная смерть. А главное, толком и не виноват никто. Да, дрались. Да били друг друга, но перед падением Олега даже не толкали. Он просто оступился. Так вот почему вдруг место настоящего брата занимает этот бездельник? Дима разогнал злость буквально за секунду. На секунду. Парень продолжил:

— Очень кушать хочется... У тебя нет хлеба? Извини.

Дима растерялся. Он посмотрел на свои пакеты — лук, соленые огурцы для рассольника, сок сыну, две пачки сигарет и «вонючка» от комаров. Хлеба в списке не было, он и не брал.

— Идем, — повернулся он обратно к магазину. — Купим тебе хлеба.

— Да не... ты иди. До магазина далеко. Я потом как-нибудь... — тихо ответил парень.

— Что потом как-нибудь? Поешь потом как-нибудь? Идем, говорю.

Парень кивнул и сделал шаг, но замер на мгновение, ожидая, когда шаг сделает и Дима. Дождавшись, отстал ненамного и тихо пошел следом.

Диме было не по себе. Парень как парень, здоровый, вроде. Почему работать не пойти? Почему не подметать, вон, парковку у того же магазина. Какая-никакая, а копейка. Побираться легче что ли? А с другой стороны, парень не денег попросил. Не выпивку, не сигареты. Он попросил еды. Голод — это страшно. Это мучительно. И если можно отказать человеку в опохмеле, теша себя уверенностью, что сделал доброе дело. Не дал человеку отравиться. То отказать человеку в хлебе... Как потом

спать вообще, зная, что кто-то натуральным образом дохнет с голоду. Надеяться, что кто-то оказался добрее? Надеяться, что своим отказом не отбил желание просить снова?

— Ты не подумай плохо, — тихо сказал парень. — Просто денег нет, на работу не берут. Я не просил никогда. Получалось как-то держаться...

— Почему не берут?

Парень ускорился на шаг, чтобы поравняться с Димой и снял кепку. Дима не успел сдержаться и охнул. У парня будто не было половины затылка. Словно кто-то выдрал кусок, превратив череп парня в фигуру с картины Дали.

— Это меня били так. Я с работы шел, нес большую сумму денег. И вот они втроем или вчетвером, не помню, встретили. И били. Наверное, хотели до смерти. А теперь никто не доверяет ни работы, ни денег. Я так-то нормальный, но часто припадки и забываю многое. Да и видок сразу отталкивает.

Парень виновато улыбнулся и подмигнул съехавшим к виску глазом.

Дима попросил его постоять, а сам зашел в магазин. Купил хлеба две буханки, пачку чая, печенье, яйца, молоко. Купил упаковку куриных ног и масло. Соль, сахар, пачку сигарет. Уже стоя у кассы, Дима спохватился и вернулся к стеллажам. Он бросил в корзину несколько пар носков и упаковку туалетной бумаги.

Можно найти джинсы в пунктах приема вещей, куртку, рубашку. Но никто не отдает на благотворительность носки и нижнее белье. И если нет денег даже на еду, то носки — это последнее, что купит голодный человек. У кассы Дима взял пару шоколадок и бритву.

Парень послушно ждал на улице. Он старался не попадать под свет фонаря и жался к забору рядом стоящего дома. Парень старался не попадать под взгляд случайного прохожего.

— Возьми, — Дима выставил пакеты вперед.

— Что ты! Вы! Ты... Брат, мне хлеба только, пожалуйста... — парень протянул руки, отдернул их, но потом снова протянул одну.

— Бери. У тебя дом есть? Готовить есть на чем? — спросил Дима.

— Дом, да, есть. От бабушки остался. Она меня растила одна. А потом умерла.

— Один живешь?

— Один, да. И печка внутри есть. Спасибо вам. Тебе...

— Тебе. Назвал уж братом, так какие церемонии. — Дима хлопнул парня по плечу.

Обратно они пошли бодрее. И парень не отстал. И даже заговорил смелее. Рассказал, что живет неподалеку, на автомойке подрабатывает. Когда хозяин в настроении, дает что-нибудь подмести или помыть. Не автомобили мыть, конечно, а полы, например. И пенсию он получает. Хватает чуть-чуть за воду заплатить и газ. А свет давно отключили.

— Это как они тебе так... с головой... ну, это? — Дима смутился. Взрослый, блин, мужик, а вопрос задать нормально не может.

— Они, да. Ну они не только по голове били. А череп проломили — прыгали на нем. Вообще странно, что дурачком не остался. Хотя остался, конечно, у меня теперь эти припадки всю жизнь будут, ну и дальше как там будет по здоровью, хер его знает.

Парень вдруг замолчал. Дима тоже ничего не говорил. Он считал шаги, прикидывал, сколько еще осталось до дома. Закрыться и не знать, не понимать. Как девчонка, ей-богу.

— Я там реально умер. Когда лежал. Думал все, — тихо сказал парень и остановился у поворота.

— Тебе туда? — догадался Дима.

— Туда, да. Спасибо тебе еще раз. Спасибо.

Он взял пакеты в одну руку и протянул вторую Диме. Дима крепко ее пожал.

Дома как-то стало совсем по-другому. То ли свет ярче, то ли теплее. Дима сбросил куртку и поставил пакет на стол.

— Ты чего так долго? — спросила жена.

— Да я тут парня встретил, бедолагу, — жена погасила экран телефона и посмотрела на Диму. — Прикинь, его избили и теперь работать толком не может. Попросил поесть. В общем, я ему купил там... всякое. Поесть, носков. Бумаги туалетной.

Жена улыбнулась.

— А что с ним такое?

— Да полбашки нет.

— Ну... а денег дал? — жена встала и пошла к раковине.

— Нет. Ну я все купил и так.

— Надо было еще денег дать... Молодой?

— Да как я примерно.

— Кошмар...

Разговор как-то так и стих. А о чем говорить? О жалости? К кому? Жалость к парню — виноватая. Вот с тобой случилось, а у меня свет дома, жена, сын. У меня работа есть, прости, парень. Или о жалости к себе? Жалким, таким жалким ты становишься перед чужим горем, перед чужой бедой. Таким беспомощным. Денег дать, курицу купить. Еще пожарить и вынести за ворота. На, дескать, угощайся. Сегодня я накормлю, а завтра... ну еще попадется кто добрый. Протянуть ножку куриную, а руку, перепачканную маслом и жалостью, потом об штанину вытереть. Свою штанину не жалко, ее машинка отстирает.

Как страшно испытывать вину за то, что у тебя все хорошо.

— Блин, теперь думаю и думаю... — проговорила жена. — Так страшно. Не рассказывай мне больше. Сердце не на месте.

«Не рассказывай мне больше такое». Еще один способ спастись — не знать. Человек так не уверен в своем благополучии, что предпочитает не представлять, не знать о том, что может случиться. И с ним в том числе.

«Я там умер». Дима уже лежал в постели и думал: «Хочется ли жить после такого? Или лучше бы и правда умер?» Что думает сейчас этот парень? Вопросы, вопросы. Такие вопросы не требуют ответов. Даже больше, они молят о том, чтобы ответы никогда не нашлись. Лучше так: испытал, словно головой в снег, рассказал жене — разделил неуверенность, забыл завтра. Главное, парень сегодня поест.

— Ты его встретишь если, денег дай. Ой, жалко, все-таки, — жена отвернулась и выключила бра над кроватью.

Спать.

«Я там умер». И Дима чуточку умер. Обмер. Слава богу, жив. Слава богу, все хорошо.

Музей чудиков

Девочка. Закусила нижнюю губу и просишься в ряд. Такое ощущение, что я пропускаю тебя не зря. Такое ощущение, что еще долго никто не пропустит. Ты врываешься в поток, надеюсь, оставила уже в покое истерзанную губу. Я киваю твоей аварийке — универсальному сигналу на дороге. Тут тебе и благодарность, тут и «простите-извините-был-не-прав». Тут и предупреждение, и напоминание включить фары, например. Как автомобилисты друг друга понимают... Эта функция включается путем нажатия переднего сидения на попу человека. Только перед ним — и сидением, и человеком — должен быть руль.

Чертова девочка. Ты тут же просишься в следующий ряд, а мы стоим. И я, добрая

душа, и десяток нервных водителей позади. По обычаю, самый нетерпеливый стоит сразу за мной, пристроился вплотную. Муж называет таких — попонюхами. Ну, он называет грубее, конечно. Еще муж говорит, что надо их учить, но никто этим сознательно не занимается. Все просто злятся и стараются слинять подальше. А я не злюсь, я их просто боюсь. Как и свой автомобиль, как и девочек с губами. И закусанными, и просто. Как и аварийки — увидев сигнал, я машинально поправляю макияж. Даже если его нет.

Если бы все ехали в одном, продиктованном правилами скоростном режиме, не мотались из ряда в ряд и не тормозили у обочины в целях собрать как можно больше пассажиров, а заодно и их монет, то пробок бы не было. Точно знаю. Где-то читала, что скоростной режим зависит от расстояния между светофорами, а светофоры зажигаются по определенному алгоритму. Все это сделано, чтобы мы двигались постоянно, а не тормозили на каждом углу из-за нарушителей. Но это я брюзжу, разумеется. Что еще делать по дороге домой?

Слева от меня мужчина на праворульке. Черт, рульку надо купить и замариновать. И в пиве потушить. И квашеной капусты к ней. Хорошая я жена все-таки. Или плохая, ведь рульку-то я не потушила до сих пор. Так вот мужчина, он едет странно, ухватившись за руль, как за спасательный круг. Мужчина наклонился вперед, пара сантиметров между подбородком и рулем. Мужчина то ли боится, то ли торопится. Надавливая на руль, словно на саму змеищу из машин впереди него. Семьдесят секунд красного — пульс человека, риск внезапной смерти которого удваивается. И если мы все будем ехать с той скоростью, с которой едем сейчас, удваивается риск скончаться прямо в этой пробке, не дождавшись зеленого. Цвета надежды.

Слева мужчина за стеклом, как музейный экспонат, а справа — улица, магазины, кафе. Люди-пешеходы идут по домам. Хотя, скорее всего, это люди, успевшие доехать до дома раньше. Они уже идут в магазин, чтобы взять хлеба, овощей, полуфабрикатов каких-нибудь — готовить ужин, кормить семью, мыть посуду. Господи, как домой-то хочется уже. Светофор в этот момент сжалился и разрешил ехать. Успею проскочить перекресток за те секунды, что нам даны, или нет? Нет.

Зато первая. А мужик слева проскочил. Теперь слева стоит другой мужчина. Он вальяжно развалился в кресле, наверняка, дико комфортном. В нем не болит поясница и не давят пружины на копчик. Он держит руль за гладкую вершинку и легонько постукивает в такт, видимо, музыке. А мне кажется, в такт моим же мыслям. На пальце нет кольца, а часы дороже всей мой тачки вместе с сумкой от Фурла — вместительной и износостойкой. Она мне досталась от прошлого и богатого мужа. Кроме этой сумки мне досталось нервное расстройство. Мало доставшегося, а из оставшегося — один сапог (второй забыла у него в квартире) и глиняная супница из Грузии.

Мужчина без кольца — посередине гвоздик — повернулся в мою сторону и подмигнул. Я подмигнула в ответ и отвернулась. Впереди музей скорости — автомобили едут туда-сюда красивыми струйками. Людей словно и нет. Хорошо, если кто-то из водителей в красной кофте или желтой куртке, тогда они заявляют о своим наличии размазанным на скорости пятном. Но лица их все равно серы.

В пробке все люди серы.

Сера.

Тонкоизмельченная сера способна к самовозгоранию — так и мы. Измельченные, помещенные в железные коробочки, оставленные наедине со своими мыслями и воспоминаниями, мы способны к вспышкам ярости, необдуманным поступкам и ненависти ко всему окружающему. И хорошо бы, не к самим себе. Взгляд: красный. Взгляд: красный. Взгляд: зеленый. Позади протяжный звук, и я давлю на газ с осоловевшими от счастья глазами. Впереди целый квартал без машин. Секунд сорок я буду ехать. А потом снова стоять все семьдесят, а то и больше.

Сумерки, и автомобильные фары начинают танцевать. Создавать причудливые световые узоры. То тянутся нитями, то виляют влево-вправо, включаются поворотники, аварийка, опять же. И я, завороженная, наблюдаю дополнительным зрением за этим танцем. Вроде бы хаотичным, но в хаосе этом — исключительная автомобильная гармония.

Теперь я в среднем ряду, и экспонаты «за стеклом» по обе стороны. Справа женщина в платке — покрыта голова, уши, шея и плечи. Однако ресницы наращенные, губы, видно, подкачанные. Верхняя губа у «колотых» — как козырек, а краешки, словно заворачиваются к верху. Еле заметно, но пропустить сложно. Здорово носить платок вокруг лица — в нем можно спрятать второй подбородок. Не здорово, что эта опция доступна только тем, кто исповедует ислам. Если я повяжу вокруг платок, не поймут. А с уровнем терпимости в нашей стране, так и вовсе засмеют.

Город возмутительно смешливых людей.

Мир таких.

Слева мужчина на «жигулях». На сиденьях «корпешки» — особый вид лоскутных лепешек, якобы для удобства задницы пассажира. А пассажир, собака страшная, назад сел. И еще кого-то «по пути» взять не дает. Поэтому таксист курит безостановочно и врубает музыку попротивнее.

Перед нашей «тройкой» бегут люди. Они пересекают дорогу, переплывают ожидание, испытывают терпение. Мы ревностно следим, чтобы ни один не задержался на цифре пять, потом четыре... Чтобы пешеход не завершал свой маневр тогда, когда нам нужно начинать свой. Но все перешли вовремя. Я бросаюсь со всех колес подальше от таксиста-подлянщика, от женщины в платке, от их историй, семей, причин и планов. Поближе к своим.

Пробка — это моя личная маленькая смерть. Жизнь концентрируется на ожидании и нетерпении. Мысли бьются о стены машины, перебивают друг друга, соревнуются в неистовстве и настырности. А мне просто хочется сесть в удобное кресло, которое не двигается вместе со мной по прямой, расслабиться и не наблюдать никаких лишних людей вокруг. Наблюдать только кота, мужа и телевизор с сериалом. Сегодня с «Бумажным домом». Я смотрю этот сериал и думаю, что бумажный дом — это сама я. С хрупкими стенами — личными границами, как сейчас модно говорить. С протекающей крышей, а то и вовсе растворяющейся в воде, как туалетная бумага, крышей. С окнами — вкривь, вкось. Словно их вырезали ножницами, да пару раз хватанули лишнего, поэтому эти окна на соплях держатся, и вот-вот оторвет окна к чертовой матери. То есть по сути — бумажный дом из самой меня — это нечто зыбкое, ненастоящее, и оно скоро рухнет и станет не красивой пылью памяти по ветру, а некрасивой кучей мусора на полу. На ковре в зале или на резиновом коврике моего автомобиля. Зависит оттого, где именно я рухну.

Можно ли назвать автомобиль участью? Можно ли, продав его, сменить эту участь? Или легче поменять всю жизнь, чтобы не чувствовать себя рыбой в металлической клетке. И помянуть жизнь. Чтобы не чувствовать себя рыбой в музее чудиков. Чудиков, кажется, чудесное слово — каждый человек способен сотворить чудо. У кого-то это чудо на уровне аварийки. У кого-то на уровне дергающегося глаза — подмигивания, но ведь я этому улыбнулась. Чем не чудо?

У кого-то, как у меня, на уровне воскрешения. Ежедневной смерти в клетке и воскрешения по приезде домой. Все мы экспонаты, способные на чудо, а я — главный, потому что именно я сейчас об этом думаю. Потому что это придумала я, а через полчаса воскресну и все забуду. Завтра — в субботу — придумаю новое чудо. А послезавтра воскресение. И моим чудом будет выходной.

Кирилл Курбатов

Скрипучий случай

Рассказ

Миша играл вторую скрипку в маленьком симфоническом оркестре и с завистью смотрел на сидящего рядом концертмейстера Ильича.

Во время болезни или отпуска последнего Миша с упоением садился за желанные ноты и выкладывался так, что оркестр затихал, и лишь барабанщик Гонилов тихо настукивал ритм. Однако с возвращением первой скрипки Мишу неизменно отправляли обратно, пусть на почетное, но все же второе место.

В который раз за выступление Миша обреченно вздохнул, а на выдохе взял на полтона выше положенного. Ильич неодобрительно покосился: легким движением ушей он распознавал малейшую фальшь. Гонилов тоже промахнулся по тарелке, и она бесцеремонно задребезжала.

Зал полнился слушателями, но, как полагается, не все пришли по собственному желанию. Кто-то, конечно, ловил каждый аккорд, но изредка то в партере, то в амфитеатре мелькали зевающие рты и даже проносился кратковременный храп.

В бельэтаже закашляли. Миша поднял голову и краем взгляда уловил падающую с перекрытия сцены огромную металлическую балку. Она пролетела в нескольких сантиметрах от его носа и с треском врезалась в пол, благополучно его проломив. По пути балка задела руку Ильича, вырвала у него скрипку, погребя ее в образовавшейся яме среди обломков пола. Оркестр замолчал. Зрители с тяжелым «ох» поднялись с теплых мест, а за ними поднялись шум, крики, паника. Побледневший Ильич тянул к Мише сломанную кровоточащую руку с выглядывающей из локтя костью. Шокированного Мишу стошнило на концертмейстера, а тот, в свою очередь, побледнел еще больше и без сознания упал в яму.

Продолжать концерт не было никакой возможности. Это поняли и врач, приводивший Ильича в чувство, и рабочие, извлекавшие балку, и расходящиеся зрители, и дирижер, который похлопал Мишу по плечу:

— Поздравляю с повышением. Ты как себя чувствуешь?

Миша чувствовал себя живым. Еще немного — и его бы самого пришлось бинтовать, а еще немного — отправить назад головой. Оказалось, не все в симфоническом мире объяснимо партитурой и смычком: существуют явления, независимые от музыканта, но влияющие на него самым непосредственным образом, зачастую тяжелым и травмоопасным. Тревога и сомнения поползли по нервным волокнам. Был ли это несчастный случай? Что спровоцировало падение, и почему

Кирилл Курбатов (1991) — родился в Рязани. Учился в Рязанском радиотехническом университете (не закончил). Несколько лет работал гидом в Турции. Сейчас работает режиссером рекламных роликов. Печатался в журнале «Урал». Живет в Рязани.

именно сейчас, во время концерта? Может быть, это какой-то знак? Или просто случайность?

От кипящих вопросов Миша вспотел до глубины души и, вытирая соль со лба, обратился к барабанщику Гонилову. Тот увлекался чем-то мистическим, астрологией или грибами, и поговаривали, будто занимал не последнее место в одной тайной организации. Перед выступлениям четыре раза обходил барабан по часовой стрелке и два раза — против, что-то бормотал на одном ему понятном языке, вообще был человеком суеверным. Однако сам Гонилов предпочитал о себе не распространяться. «Придет время, и вы все узнаете сами, — говорил он, — но будет уже поздно».

— Вов, — сказал Миша, — я вот думаю... Этот несчастный случай...

Гонилов тряпочкой протирал барабанные палочки. Он, единственный из всего оркестра, так и не бросил свой инструмент.

— Для кого-то несчастный, — прокомментировал он, — а для кого-то счастливый.

— Вот и я о чем. Представляешь? Я всю жизнь об этом мечтал! Ну, в смысле... — Миша смутился. — Не чтобы...

— Да понял я. Везенье — дело такое. Загадочное! Я бы даже сказал, необъяснимое. Но здесь дело совсем не в везенье. Вот скажи, разве может человеку так повезти, чтобы он всю жизнь о чем-то мечтал, мечтал, а потом раз — и сбылось?

— Ну...

— Не может, Миш. Не может! Это только в кино так бывает. А в жизни все по-другому. Тут от Сам-знаешь-чего не уйдешь. — Гонилов подмигнул.

— От чего не уйдешь?

— Как от чего? От судьбы.

Миша замер с носовым платком на мокрой шее. Что-то подобное он ожидал услышать, но Гонилов еще никогда не выражался так прямо.

— От судьбы? — переспросил Миша.

— Да, Миш, от судьбы. — Гонилов вдруг засуетился. — Все, иди, иди. У меня тут дела, надо прибраться.

— А что мне...

— Все, до завтра, — Гонилов замахал тряпочкой.

Рабочий день получился сокращенным — пора было возвращаться домой. Миша убрал чудом выжившую скрипку в чехол и вышел через главный зал. Гардеробщицы пыталась с ним попрощаться, но неудачно.

— Че эт с ним? — сказала одна. — Видать, зазнался. Такой вежливый был, а тут ни «здрасти», ни «до свиданья».

— А чего удивляться, — сказала вторая. — Балка-то рядом с ним упала. Поглядела бы я на тебя на его месте. А он молодец! Жаль только, Ильича покалечило. Такой хороший скрипач был.

— Давно ль ты стала в музыке разбираться?

Тем временем Миша погрузился глубоко в себя. То есть очень глубоко. Так, что с трудом улавливал окружающих. В тумане он добрался до трамвайной остановки. Впервые он понял, что в какой-то неуловимо тонкий момент жизнь может рассыпаться в пепел. Все, к чему он стремился, чего добивался и чем жил, могло рухнуть: тяжело, с треском и пылью несбывшихся надежд.

Как строить планы, если в любой момент на тебя может что-то упасть? Вот стал я первой скрипкой, но мог бы и лежать в яме, и еще неизвестно в какой: на сцене или на кладбище. Неужели музыкальная школа, консерватория, оркестр, должность концертмейстера, наконец, — это лишь везенье? Годы кропотливого труда и таланта должны были сделать меня первой скрипкой, а сделало меня сломавшееся перекрытие. Значит, удачно складывающаяся жизнь — нелепое совпадение. Не могла же балка упасть сама, по собственному желанию, в конце концов. Если бы балки чего-то желали, то наверняка падали бы каждый день: это гораздо интереснее, чем просто болтаться и держать потолок. Но свалилась-то она совершенно случайно. А если она

упала сегодня, может упасть и завтра. А то и вообще филармония рухнет. Можно, конечно, бросить оркестр, бросить музыку, уйти в лес, питаться ягодами и вообще жить отшельником, чтобы хоть как-то обезопасить себя, но слепой случай все равно настигнет. В виде лесного пожара. В виде волчьей стаи. Или в виде маленького ядовитого комара. И ничего с этим не поделаешь. Даже если играешь на скрипке, даже если ты, в общем-то, неплохой музыкант, все равно рано или поздно что-то случится. Случится без какой бы то ни было причины, без умысла и просчета. Случится просто так, потому что ты оказался в ненужное время и в ненужном месте. А как найти нужное место, если на первый взгляд все на своих местах? Барабанщик — за барабанами, альтист — за альтом, виолончелист — за виолончелью. И все играют как должно, все идет по нотам, но перекрытие все равно ломается, в сцене появляется дыра, и одним концертмейстером становится меньше.

С тяжелыми думами Миша дождался трамвая. Он занял место у самой двери, недалеко от курящего водителя. Трамвай был почти пуст и не торопился отходить. Внушительная контролер препиралась с молодым человеком, от которого пахло копченой рыбой, хотя выглядел тот, в меру сил и возможностей, вполне интеллигентно.

— Выходи давай! — наступала контролер.

— Говорю же, никуда я не пойду, — отбивался копченый. — Я домой еду.

— От тебя рыбой воняет за три версты, всех уже прокоптил.

— Я на рыбном работаю, вот и пахну. Вы трамваем пахнете, а я рыбой.

— Мыться надо!

— Что вы пристали? Я в чан с рыбой упал.

— Ну и сидел бы там, в этом чане, от тебя несет, как от покойника.

— А вы часто покойников нюхаете?

Водитель докурил сигарету и вынудил трамвай поехать. Миша вновь углубился в себя, абстрагируясь от рыбного запаха и препирательств.

Рыбы, значит. Плавают себе, плавают, глотают планктон, никого, в общем-то, не трогают, а потом кто-то их ловит — и в чан. Это нам заранее известно, что мы ее поймаем, а рыба-то этого не знает, она просто ищет корм. Вот и мы так же. Живем себе, живем, а где-нибудь на крыше поджидает кирпич, готовый в любой момент свалиться на голову. Вопрос в том, нас он поджидает или кого-то еще. Или вообще никого не ждет, а его падение будет чистой случайностью? Нет, все-таки должна быть какая-то закономерность, какая-то сила, которая толкает кирпич, чтобы он встретился с несчастной головой. Может, прав был Гонилов насчет судьбы, и никакой случайности не бывает, а все, что мы делаем, заранее предопределено.

Но как жить с сознанием того, что каждая минута известна и изменить уже ничего нельзя? Балка упала, потому что так распорядилась судьба, а не из-за отлетевшего болта и сломавшегося перекрытия. Значит, консерватория, моя игра в оркестре, новая должность — все было записано в нотной тетради, а я лишь сыграл по нотам вместо того, чтобы их написать. Выходит, собственно моей заслуги в этих достижениях и нет. Как бы я ни старался, чего бы ни делал, все равно стану тем, кем суждено. Значит, можно даже не пытаться повышать уровень своей игры, ведь итог будет тот же — первая скрипка. Впрочем, возможно, я не филоню именно потому, что судьба не позволяет, а если начну играть неправильные ноты, то судьба возьмет меня в ежовые рукавицы и вынудит прекратить. Наверное, так оно и было. Я начал фальшивить, балка упала, и я вдруг стал первой скрипкой, и теперь уже фальшь не положена по должности, иначе весь оркестр будет импровизировать. Значит, так судьба распоряжается людскими жизнями: ни шагу в сторону, а если попытаешься, то на тебя обязательно что-нибудь свалится.

Трамвай резко, с диким скрипом затормозил и прервал ход мыслей. На рельсах растянулся лысый мужчина в черной паре, который, видимо, поскользнулся на выпавшем из пакета куске сливочного масла. Водитель закурил.

— Что, трамвай такой незаметный? — возмутилась контролер.

Мужчина быстро поднялся, поправил пиджак и начал голыми руками собирать масло с путей и засовывать обратно в бумажный пакетик.

— Совсем сдурел? — не унималась контролер.

— У меня рейс горит, а он масло собирает, — неторопливо заметил дымящий водитель.

— Что вы ко всем приматываетесь? — вступился копченый.

Впрочем, мужчина быстро управился и удалился с путей. Водитель докурил, и трамвай снова поехал. Мише нужно было выходить на следующей.

Вот как бывает. Идешь себе спокойно с куском масла, а оно подводит в самый неподходящий момент. Что же это все-таки такое? Судьба или случайность? Если это судьба, то почему мужчина не попал под трамвай, зачем же ему тогда было падать, ради чего? А если случайность, то почему масло растеклось именно на рельсах, именно перед тяжелым трамваем? Может, мужчина сам во всем виноват? Виноват в том, что неуклюжий, что носит масло в дырявом пакете, не смотрит по сторонам. Он сам себя не бережет, и тут уже ни судьба, ни случай не в силах что-либо изменить. Ведь если сам под трамвай бросаешься, кто в этом виноват, если не ты? Вот и балка упала потому, что ее не закрепили. Какой-нибудь монтажник забыл закрутить болт или, хуже того, сэкономил, а нам теперь расплачиваться за его жадность. Слишком дорогие болты получились. Сорванный концерт — раз, сломанная рука — два, разбитая сцена — три. Только я один в выигрыше. Но ведь и я-то не просто так стал первой скрипкой. Я к этому долго шел. Учился и ошибался, снова ошибался и снова учился. И только так я смог достичь этой высоты. Какая же это, к черту, случайность, если я столько терпения, усилий и времени вложил в свое образование. Каждая сыгранная нота — это маленькое, но достижение, каждый звук — это гимн моему трудолюбию и упорству. Какая, к черту, судьба, если я провел столько бессонных ночей, изучая целые партитуры, вместо того чтобы запомнить лишь скрипичную партию. Пусть балка и покалечила Ильича, но концертмейстером я стал все-таки благодаря себе, а не ему. Ведь он меня ничему не научил — я сам научился. Я могу быть примером для каждого трудолюбивого и талантливого человека. И никакие балки, Ильичи и прочие здесь ни при чем. Вот Гонилов, например, хоть и читает заклинания над барабаном и замаливает судьбу, а как был посредственным музыкантом, так им и остался. Никакие заклинания, никакие ухищрения не помогут, если не начать работать над собой. Только через волю, безудержное стремление и упорный труд можно чего-то достичь, а если ты целеустремленный, то никакая балка, никакой чан с рыбой, никакое масло тебя не остановят.

Трамвай затормозил.

Окрыленный мыслью, Миша схватил футляр со скрипкой, выбежал из копченого транспорта и замер. Солнце обволакивало улицу успокаивающими лучами. С бульварных кленов, кружась, планировали первые пожелтевшие листья. Из ближайших дворов эхом долетал звонкий детский смех и играл одну партию с птичьей трелью. Пахло вечерней прохладой и мягкой, приятной сыростью. Миша потянулся и полной грудью вдохнул счастье. За время поездки он наконец окончательно решил, что сам в ответе за свою жизнь, что все его результаты — это его результаты, а не совпадение или судьба, что если захочет, то обязательно достигнет любых высот и преодолеет даже самые весомые преграды. Он окончательно поверил в себя и свою скрипку.

Воодушевленный, он дошел до подъезда и ощупал карманы в поисках ключей, но они затерялись где-то в складках фрака. Миша положил футляр на скамейку и принялся с усердием себя обыскивать. Ключи никак не появлялись. Вдруг сверху, будто с крыши, донесся какой-то треск, но Миша не обратил на него внимания и продолжил усердные поиски. Треск повторился. Миша все же нащупал ключи и, прищурившись, поднял голову. С крыши, стремительно увеличиваясь, летел керамический и травмоопасный кирпич.

СТРАНА РОССИЯ

Михаил Румер-Зараев

Исчезнувший мир

Документальная повесть

Недавно Володька, пьяно матерящийся на нашей деревенской улице, в ответ на мое замечание, словно бы протрезвев, зло сказал: «А кто ты такой, чтобы мне замечания делать? Ну, посмотри на себя. Обыкновенный старый хрен».

И я увидел себя со стороны: выношенная телогреечка, резиновые сапоги, седые давно нестриженные вихры из-под кепаря, трехдневная щетина. Наверное, прав мой пьяный сосед: обыкновенный старый хрен. И то, что я пишу, — записки старого хрена.

Глава первая. Мартиролог

День был как день. Проснулся, как всегда, на позднем осеннем рассвете в восьмом часу. Сунул ноги в чуни — в старые обрезанные валенки, накинул телогрейку и пошел в сарай за дровами. Принес связку расколотых березовых полешек, бросил на обшитую жестью площадку у печки, сложил полешки в топке шалашиком, подсунул в него сухую бересту и клок газеты. Огонь взялся сразу, шалашик засветился, запылал, конфорки плиты начали раскаляться, так что и чайник вскоре закипел. Заварил чай покрепче, хотя при моих скачках давления это ни к чему, порезал колбасу, свежий еще (автолавка приезжала только вчера) батон, сел завтракать.

Ловлю себя на какой-то странной для моих прошлых лет нежной привязанности к предметам обихода, словно бы одушевлении их. Вот эти березовые полешки с курчавящейся берестой, аккуратно расколотые, хранящие, особенно когда занесешь их с холода, запах леса, ладно уложенные в печь и объятые светоносным огнем, дающие благостное тепло, наполняющее выстывший за ночь дом. Или те же чуни. Какую только обувь я не носил за свою долгую жизнь — и кирзачи с портянками в пору моей землемерной молодости, и изящные туфли западногерманской фирмы «Саламандер» в пору, когда был газетным начальником, — а вот эти обрезанные разношенные валенки, которые я ношу дома и которые своим теплом и уютом весь день согревают ногу, особенно милы мне.

Румер-Зараев Михаил Залманович — прозаик, публицист, постоянный автор «ДН». Долгие годы работал в российских газетах и журналах «Московская правда», «Сельская жизнь», «Огонёк», «Век». Автор книг: «Семейное поле», «По следам Смоленского архива», «Сошествие в ад», «Одиночество власти». В настоящее время живет в Берлине, где редактирует русскоязычную газету. Предыдущая публикация в «ДН» — «Сыновья Авраамовы. Еврейско-арабский симбиоз: столетия связей и противоречий» (2017, №12).

Как я понимаю степных язычников древности, которые клали знатным покойникам в курганную могилу оружие, одежду и всякие предметы быта, чтобы они продолжали служить им на том свете. Я бы тоже унес в иную жизнь, если она есть, эти чуни, эти березовые поленья, этот вкус хлеба с колбасой, запиваемый сладким крепким чаем, которым я завтракаю. Да и многое другое взял бы с собой — свинцовую рябь озера, что виднеется в моем окне, свежесть осеннего воздуха, перебиваемую горьковатым запахом дыма из труб топящихся соседских печей, хруст прошлогодней схваченной первым морозцем травы под ногой и многое другое, что, говоря высоким штилем, составляет сладостные детали земного бытия. Много ли мне осталось этого бытия? Кто ж знает. Пока надо благодарить Всевышнего за каждый прожитый год.

После завтрака сел за компьютер. Вчера случайно наткнулся на сайт со списком исчезнувших в новые времена московских предприятий. Он был составлен в элегическом стиле кладбищенских мемориальных табличек: имя, год рождения, год смерти. В этом был некий библейский антропоморфизм, очеловечивание умерших заводов, уподобляемых автором дорогим ему покойникам. «Завод "Красный пролетарий": родился в 1857 году — убит в 2010 году». И все остальные так же. Именно убит, оставалось догадываться — погиб от руки злодеев.

Список убиенных предприятий оказался довольно длинный. Здесь был завод «Москвич», он же автозавод имени Ленинского комсомола, проживший восемьдесят лет и скончавшийся в 2010-м. И станкостроительный имени Орджоникидзе, и Второй часовой, и знаменитая «Трехгорка» — «Трехгорная мануфактура», самое старое, да и, пожалуй, не только в городе — в стране, предприятие, оно было основано в 1799 году, в год, когда родился Пушкин. ЗИЛ — завод имени Лихачева, самое крупное предприятие города (вместе со своей инфраструктурой оно занимало целый район, так и называвшийся — Автозаводский) доживало свои последние дни, скукожившись едва ли не до одного цеха.

Все это были предприятия, составлявшие, по заверениям средств пропаганды прошлого времени, славу советской индустрии. Их награждали, о них неустанно писали, на них советовали равняться другим заводам отрасли. Я, разумеется, знал их, За долгие годы работы в промышленном отделе городской газеты бывал там неоднократно. Это были хорошо знакомые мне миры, каждый со своей историей, легендами, страстями. Миры, открывавшиеся за проходной.

Почему они исчезли? Самый общий ответ был прост и очевиден: неконкурентоспособность их продукции с той, что выпускали и предлагали на открывшийся для нас рынок западные фирмы. Но это был банальный упрощенный ответ, ясный даже школьнику. История исчезновения каждого завода представляла собой долговременную драму, развертывавшуюся в судьбоносных для работавших там людей обстоятельствах и в какой-то мере запечатленную в разных интернет-сайтах, изучаемых мной с живым интересом.

Я давно был вне игры, чувствуя себя похороненным в этой глуши, Игра шла далеко, километров за сто пятьдесят от моей деревни, в городе, где я прожил долгую-долгую жизнь. И этот город снится мне и ночью, да и в дневные часы, когда я ненадолго засыпаю в своем покойном обитом вельветом кресле, которое я зову как Тургенев широкий диван в его кабинете в Спассом-Лутовинове — «самосон»: как приляжешь, обязательно заснешь.

Во сне и наяву. Снится, что сплю в своей московской квартире. Просыпаюсь: серая ночь, один, пусто, выхожу на улицу, иду по тропиночным изгибам меж домов на проспект. Пусто, ни машин, ни фонарей, все присыпано снежком, на котором никаких следов. И какой-то сумеречный неземной свет, так что видно все. Смертельная пустота. И вдруг понимаю: «Это же конец времен». Вот такой вещий сон.

Но бывает явь похожая на сон. Однажды в один из редких своих наездов в Москву

решил посмотреть дом, где некогда прожил тридцать лет. Поехал привычным маршрутом на метро, вышел на Дмитровской и зашагал так, как ходил изо дня в день — под мост, через дорогу, вниз с лестницы, мимо магазина, под арку двора. Ноги несли меня сами, все позабылось — смена квартиры, смерть Тани, переезд в деревню. Казалось, время пошло вспять, и я как обычно возвращаюсь с работы, сейчас поднимусь на третий этаж, открою ключом дверь, разденусь, включу телевизор, сяду ужинать...

Но, войдя под арку двора, я оцепенел: дома не было. Не было и все. На его месте лежал, зеленея травой, гладкий газон. Как это могло быть? Казалось, он стоял здесь еще минуту назад, я будто бы видел его стены, черную дыру подъезда с вечно распахнутой дверью, а потом дом мгновенно растаял, так что его присутствие казалось еще ощутимым в воздухе. Он словно реял, витал над зеленым газоном.

Мне казалось, что я сплю. Надо сделать усилие, проснуться, и все вернется на свои места, вся привычная жизнь. Но не просыпалось.

— А где дом? — спросил я слабым голосом у человека, пробегавшего мимо с мусорным ведром.

— Снесли, — равнодушно бросил он.

Разве можно снести целую жизнь, три десятилетия с их рождениями и смертями, радостями и надеждами? Можно. И я не один такой стою, ощущая, как растворяется эта жизнь в воздухе над гладкой полоской травы.

Исчез не только дом моего обитания. Исчез завод, жизнью которого я жил в молодости. Исчезла газета, где я работал, в ее здании теперь какие-то другие современные учреждения, куда меня не пускают, исчезли, ушли на тот свет или затаились в своем стариковском нищенском доживании друзья, с которыми делил хлеб, мысли, надежды. Один я — старый хрен — живу воспоминаниями, приезжаю из своего деревенского далека, чтобы пройти по пепелищам прежней жизни.

Фольклор пивного бара. Предсмертные заводские истории вызывали у меня двойственное чувство. Я ощущал некую противоестественность существования этих миров с их бардаком и выматывающим напряжением, доводящим до инфарктов, до ранней смерти с трусливым самовластьем одних и тупой жертвенностью других; с партийными заклинаниями и сакральной фетишизацией плана; с авралами и качеством конечного продукта, за которое убивать надо. Но с другой стороны, это был мой мир и когда я варился в нем, будучи в многотиражке, и потом, вникая в его беды и драмы, работая в промышленном отделе городской газеты. Я жил в нем, знал его людей и тайные пружины их поступков, упиваясь этим знанием. Завод был частью моей жизни, и я любил и ненавидел его одновременно. И потому, разбирая эти гибельные заводские сюжеты, я уставал душой до изнеможения, до необходимости отодвинуть компьютер, перейти в свое кресло-самосон, откинуться на глубокую спинку, вытянув ноги, и закрыть глаза. Но и в наступающем полузабытьи все виделся мне какой-нибудь «Красный пролетарий» с его полуторастолетней историей и страшной, какую только в детективном триллере придумаешь, смертью.

Были братья Бромлей, предприимчивые ганноверские выходцы, которые в середине позапрошлого века построили в Замоскоречье небольшую механическую мастерскую, выпуская всякий нужный в сельском хозяйстве железный товар — пилы, топоры, серпы. Их потомки превратили мастерскую в завод неподалеку от Донского монастыря, изготовляя паровые машины, станки для обработки снарядов, рассверливания пушечных стволов. А после революции — это уже станкостроительный завод, названный звонко и политически броско: «Красный пролетарий». Продукция его — универсальный токарно-винторезный станок, как будто бы слизанный с немецкого образца, называлась также призывно и звонко — ДИП: «догнать и перегнать». Кого? Наверное, капиталистический мир. Мы ведь вечно кого-нибудь догоняли и перегоняли. Чаще всего Америку — вечный наш ориентир. Какой-то в этом был

первобытный инфантилизм — в призывном хвастовстве лозунгов, в приверженности к красному цвету (Бунин в эмиграции издевательски спрашивал у московского гостя: «У меня на родине, в Ельце была артель — синьку производила, так что же она теперь называется “Красная синька”?») Но ведь и это тоже мое — родовое, наследственное. Отец в начале тридцатых, редактируя многотиражку шарикоподшипникового завода, крупно печатал в своей газете: «Мир будет вращаться на советских подшипниках!»

Между тем «Красный пролетарий» модернизировал свой ДИПы, выпускал усовершенствованные модели токарных винторезов, называя их уже без призывного форса, просто, по техническим параметрам — 1К62, 16К20. Он гнал их на конвейерах в огромных количествах, выбрасывая на внутренний рынок, а потом и на внешний, в основном в социалистические и слаборазвитые страны. Теперь форс был уже не в лозунгах, а в причастности к мировым техническим достижениям. «Мы ж и станки с ЧПУ делаем». Это в семидесятые был последний писк технической моды — числовое программное управление, станок, управляемый компьютером без обычного токаря, утирающего потемневшей от масла рукой пот со лба. Выпускались такие автоматы, правда, мелкими сериями, а обычные токарные винторезы по-прежнему шли конвейерным потоком на внутренний и внешние рынки, иногда попадая даже на запад.

— Ну, скажи, — спрашивал я у приятеля, конструктора с «Красного пролетария», — зачем американцам и немцам с их развитым станкостроением ваш 16К20?

— Конечно, на современном индустриальном производстве он не нужен. Ну а возьми какого-нибудь рукастого фермера, у которого домашняя мастерская, ему выточить деталь для сломавшегося агрегата на дешевом, компактном, надежном токарном станке — самое то. Да и мало ли какие умельцы бывают с мастерской при собственном доме...»

Разговор этот шел в пивном баре Дома журналистов, весьма модном в те годы в Москве питейном заведении, куда я время от времени приводил друзей — молодых инженеров с разных заводов потолковать о всякой всячине и в том числе о том, что делается у них на работе. И подчас открывалась подоплека реальной жизни. То, что ни из отчетов, ни из бесед с начальством узнать было невозможно.

— Запомни, — назидательно говорил мне отец, когда я при шел в большую газету. — Журналист должен иметь своих людей в разных слоях общества — от проститутки до министра.

Я посмеивался, представив себе информацию, получаемую от проститутки. Но смех смехом, а сам он, вернувшись в журналистику после многолетних гулаговских странствий и заново осваивая экономическую тематику, стал приводить в дом самых разных людей — рабочих, изобретателей, ученых. Мать послушно накрывала на стол, и начинались долгие монологи-исповеди, прерываемые участливыми и точно поставленными отцовскими вопросами. Это и меня учило умению входить в чужие профессиональные интересы, тактично направлять разговор в нужное тебе русло.

Между тем мой конструктор, отхлебнув изрядный глоток пива из кружки, решил позабавить меня заводской байкой до которых, как он знал, я был большой охотник. Уверял, что слышал эту историю от представителя «Станкоэкспорта», который был недавно в его КБ. Где-то, неизвестно в каком городе, жил да был завод, выпускавший примитивные сверлильные станки. Изделие нехитрое — сверло, шпиндель — сиречь вал с приспособлением для закрепления заготовки — и станина, в данном случае, массивная чугунная. И вдруг приходит через Внешторг заказ на эти станки, откуда бы вы думали, аж из Японии. Желают японцы закупить сто таких станков. Замечательно. Изготовили, отгрузили. Потом еще сотню требуют, еще... Во Внешторге озадачились, для чего Японии с ее высоким уровнем технологии эти примитивные сверлилки? Что-то тут не так. Дали задание торгпредству выяснить, в чем дело. Выяснили и ахнули. Оказывается, эти станки, прямо не распаковывая, в печь отправляют. Страна сырьевыми

ресурсами бедная, А тут массивная чугунная станина, переплавляй ее и пускай металл в дело. Тем более, что цена этих сверлилок по мировым критериям плевая, демпинговая.

— Как, думаешь, наш Внешторг отреагировал на эту информацию? — спросил меня мой конструктор. — Разорвал контракт, отказался поставлять станки.

— Обиделся?

— Конечно, обиделся. Что же это, мол, такое! Мы ж все-таки передовая индустриальная держава, человека в космос запускаем... Наши люди трудятся, изготовляют станки, а вы плоды их труда — в печку. Если нужен вам металл, покупайте, у нас вон какая металлургия...

— Значит, выгоднее им было переплавлять эти станки. Японцы, они смекалистые, — вмешался в разговор наш случайный сосед по столику. — Это что... Вот я слышал еще такую историю. Япония массово закупала у нас битое стекло. Зачем? Схема была такая: стекло поступало в качественных деревянных ящиках, его выкидывали в море или еще куда, а из ящиков делали мебель и отправляли ее обратно к нам.

Много чего можно было услышать в этом баре, куда собирался попить пивка разный досужий народ из околожурналистского окружения.

Но в байках, звучавших в тот день за нашим столом, проступало нечто фольклорное — некий Иван-дурак, который лежал на печи, поддаваясь на уловки хитрого азиата, а уж как проснется, да слезет с печи, так весь мир удивит — человека в космос запустит. И ты, узкоглазый азиат, при всей своей успешности не моги обижать нашего Ивана, какие б он дерьмовые станки ни выпускал, не моги в печку совать плоды его труда. «У советских собственная гордость...» Много чего было намешано в этих фольклорных сюжетах.

Страдания миноритарного акционера. Я навещал этого моего конструктора и в нынешние мои деревенские годы, приезжая в Москву за пенсией и платой за сданную квартиру. Ночевал у него, разделяя на пару дней его одинокое и скудное житье. С женами он расходился, детьми не обзавелся и куковал один в своей однокомнатной квартире, перебирая в памяти прошедшие годы и гневливо воспринимая нынешние. Всю жизнь он проработал на заводе и теперь в своем пенсионерском существовании с ужасом следил за происходящими там событиями, обзванивая бывших сослуживцев.

— Понимаешь, — говорил он мне за рюмкой водки, которую мы могли теперь себе позволить в очень умеренных количествах не в пример нашим молодым застольям. — Преступления всякого рода совершались и раньше, но не так открыто, как сейчас — без всякого страха наказания. Взять хоть эти рейдерские захваты — ведь ни бога, ни черта, ни следствия не боятся, творят что хотят. Приходит на завод сотня молодцев-чоповцев, вышвыривают всех — от рабочих до директора, закрывают производство и всё. Сто пятьдесят лет истории, слава флагмана точного станкостроения, заказы, призы на выставках — все это псу под хвост.

— Ну не просто же так приходят, что-то же этому предшествовало.

— Предшествовало. Но что! Началось с приватизации. Завод стал акционерным обществом. Восемьсот акционеров, и я в том числе — так называемый миноритарный акционер как старый работник. А контрольный пакет акций — шестьдесят пять процентов — у генерального директора Кириллова Юрия Ивановича.

— Мы тогда их называли красными директорами, — перебил его я, — и очень опасались концентрации собственности в одних руках.

— Да ничего страшного в этом не было. Кириллов давно работал на заводе, болел за производство, стремился к его развитию. Правда, нелегко ему приходилось в новых условиях. Оборудование — и морально, и физически — старело, а инвестиций, да и собственных средств на его обновление не хватало, стоимость материалов и комплектующих изделий росла, рентабельность, соответственно, падала. И все это

отражалось на конкурентоспособности наших станков. Но он делал, что мог, пока в конце нулевых годов его не убили.

— Как убили?

— Зверски. Пытали, чего-то добивались, скорее всего, передачи контрольного пакета. Это было на Кипре.

— А как он оказался на Кипре?

— Вот этого я не знаю. То ли отдыхать поехал, то ли скрывался. Ему ведь, говорят, угрожали. Мог и скрываться. Жизнь-то дорога. Одним словом, не стало Юрия Ивановича. Хороший был человек, я его знавал. Давай помянем его, страдальца, не чокаясь.

— Ну, а дальше-то?

— А дальше контрольный пакет оказался у заводского юриста Сергея Белозёрова. Кириллов же его и взял на работу, молодой, говорил, но толковый, скромный, трудолюбивый парень. Как уж там этот трудолюбец присвоил пакет и стал собственником завода, я тебе не скажу. Там, говорят, всякие мошеннические фокусы — оффшоры, залоги — были. Не нашего ума дело. Да только не долго ему пришлось владеть заводом. Выпал из окна с шестнадцатого этажа.

— Мать честная. Второе убийство.

— И заметь, тоже не раскрытое. А дальше такая вакханалия началась — арбитражные суды, рейдерские захваты, появление каких-то никому не известных собственников, каких-то таинственных оффшорных компаний, неизвестно кому принадлежащих. В конце концов завод закрылся, оборудование продали или сдали в металлолом, цеха стоят полуразрушенные в руинах, инженерный корпус сдали в аренду под какие-то офисы. Словом, нет завода, как и не было, одно воспоминание осталось, пустой звук, как и от всей нашей жизни, прошедшей на нем. Давай, что ли, и завод помянем.

Он вытер повлажневшие глаза и разлил остаток водки по рюмкам.

— Нет, ты мне скажи, — допытывался я. — Кому и зачем надо было убивать завод? Что тебе твой информатор говорит? — кивнул я на компьютер, светящийся экраном на столе.

— У информатора версии разные. Но есть и такая — земля. Несчастьем завода стало его расположение в историческом центре Москвы — у Донского монастыря. Когда Бромлеи располагали его здесь, они, конечно, не могли предположить, что подписывают своему детищу смертный приговор, который будет приведен в исполнение сто лет спустя. Если твои цеха занимают десятки гектаров драгоценной московской центровой земли, тут много охотников найдется оттяпать у тебя эту землю да построить на ней хоть офисные здания, хоть элитное жилье. Говорят, цена вопроса достигает здесь трехсот пятидесяти миллионов долларов.

— Ого. Но выходит, что пустить эти гектары под застройку выгоднее, чем производить на них станки.

— Оно может и выгоднее с точки зрения отдельной фирмы или корпорации, но если говорить о государственном интересе... Ты посмотри, посмотри сюда, — он показал на экран компьютера. — Вон Паничев, бывший министр, а сейчас он руководит ассоциацией «Станкоинструмент», пишет: по данным на 2011 год в стране уничтожено сорок два станкостроительных завода, около трети былых мощностей. К чему это приводит? В Россию завозят втрое больше машиностроительного оборудования, чем производят внутри страны. И откуда завозят?

— Из Штатов, Германии?

— Да нет, брат, В основном из Китая, Таиланда. Выходит, они могут производить конкурентоспособные станки, а мы нет. Что ж, мы сырьевой нефтеносный придаток мира?

Далеко мы ушли от судьбы бромлеевского завода у Донского монастыря, которому мой темпераментный конструктор отдал свою жизнь. Да и меня в моей деревенской глухомани не отпускали те же мысли.

Глава вторая. Ноябрь в деревне

Приезд Мити. В то ноябрьское утро я, начитавшись всяких печальных заводских историй и уморившись сострадать и удивляться гибели знакомых мне миров, в конце концов задремал в своем покойном кресле. Разбудил меня шелест автомобильных шин и глухой гул мотора за окном. Кто бы это мог быть? В эту ноябрьскую пору ждать гостей в нашей деревне не приходилось. Митя? Вроде бы неурочное время и для его приезда. Конец ноября для него, генерального директора завода, самый аврал, подбивание хвостов. Иное дело лето — тут он еще мог нагрянуть, отойти душой от своей круговерти, отоспаться в деревенской тиши, сходить со мной на озерную рыбалку...

Но вот шаги на крыльце и Митин голос: «Хозяин. Живой?». Стряхнув остатки дремоты, распахиваю дверь: «Живой. Заходи». Обнялись. Я ощутил исходивший от него запах дорогого парфюма, гладкость хорошо выбритых щек. Оглядели друг друга. С полгода не виделись. Редко он стал заезжать ко мне.

Каждый его приезд — как яркое пятно в серой жизни нашего вымирающего села, словно привет из другого далекого мира, где ездят не на дребезжащих от старости «Жигулях» и «Нивах», а на низких присадистых «Мерседесах» или не боящихся наших ухабов зарубежных внедорожниках. Вон он виднеется за моим окном его «Гелендваген» благородных угловатых очертаний, отделанный внутри кожей и деревом, набитый всяческими удобствами и наворотами.

В этом мире легко путешествуют по заграницам, пьют дорогие зарубежные напитки, а не нашу водяру, бог знает где и как произведенную. (Так и стукнула о стол бутылка привезенного им виски.) Да и сам он, мой Митя, не потерял мужской стати, не износился до стариковского обличья, несмотря на сумасшедшую работу, на производственную лямку, которую он тянет в свои немалые годы. Остро поблескивают его глаза, легко змеится на губах улыбка. Складно говорлив, проворен в движениях. Куртка на нем теплая, но легкая, ясное дело, импортная. И сам он весь так чужд нашей деревенской осенней тишине, улице с серыми, некрашеными домами, над которыми лишь изредка курится печной дымок, а другие избы смотрят на мир слепыми, заколоченными окнами.

Его-то дом по соседству с моим тоже как иноземный щеголь среди опустившихся стариков. Не захотел он в свое время подновлять купленную по моей комиссии старую избу, снес ее и выстроил на этом месте нарядный шатер в два этажа, да еще с мансардой, устремивший в небо остроконечную крышу. Зачем такой дом был нужен ему, время от времени заезжающему на неделю-другую отдохнуть от городской суеты, непонятно было. Мог бы и у меня жить. Оно и Володька, который строил по его чертежам этот вигвам, тоже удивлялся. Причуда, мол, барская. Но и тот же Володька, нахватавшийся в Москве всяких современных речений, говаривал: «Любой каприз за ваши деньги».

— Надолго? — спросил я.

— Там посмотрим, — уклончиво ответил Митя, что было несколько странно для него, всегда четко отмерявшего время, которое он отпускал себе для отдыха.

— А чего в дом к себе не заехал?

— Да вот захотелось сперва к тебе. Там же сначала прибраться, протопить надо.

— Это да. К тому же забор там у тебя пошатнулся. Надо подколотить.

— А чего ж Володьке не сказал. Он бы сделал, я бы потом рассчитался.

— Да нет больше Володьки.

— Как нет, что помер, спился?

— Похуже. Утонул в яме с коровьим дерьмом.

— Да ты что! Как же так?

— Возвращался с охоты, он же у нас охотник был, собака его заскочила в навозохранилище неподалеку от Бобылёво... Там же теперь мегаферму коровью построили огромную, на две тысячи коров, краса и гордость отечественного животноводства, телок голштинских аж из Австралии завозили, наши черно-пестрые им не подошли, все технологии — доение, кормление — тоже импортные. Ну а навоз старым дедовским способом в яму сбрасывали. Вот собака его в эту яму и заскочила. Стала тонуть. Он полез ее выручать, собаку вытолкнул, а сам, видно, обессилел — утонул.

— Бог ты мой, какая страшная смерть. Но подожди, подожди, что ж это за яма такая? — Он вытащил блокнот, ручку. — Сколько корова дает в день навоза? Ты ж у нас теперь селянин, должен знать.

— Килограммов тридцать пять-сорок.

— Ну, возьмем тридцать пять, на триста шестьдесят пять дней да на две тысячи коров. — Он пощелкал клавишами счетного устройства. — Выходит двести пятьдесят шесть тонн. Ничего себе...

— Да ведь они там смывают его. Это тебе не крестьянин с его парой коров и даже не колхозная ферма с несколькими десятками животных. Там можно хранить навоз сухим до осени, а потом вывозить его на поле, запахивать. А здесь полужидкая масса, шланги, насосами подается в хранилище, лагуна это у них называется.

— Да при таком объеме это ж целое озеро.

— Так лагуна в переводе с латыни и означает — озеро.

— Там, пожалуй, и дна не достанешь.

— Вот он и не достал. Побарахтался и утонул. Там, конечно, обваловка должна быть многометровой высоты., но если собака легко запрыгнула, да и он за ней, какая там обваловка...

— Стало быть, Хрюня одна осталась.

— Что ей тут одной делать? В Москву подалась, у них же там комната в коммуналке есть. Так что придется тебе самому свой забор подновлять...

Говоря все это, я чистил картошку, разделал селедку, достал из холодильника графинчик с водкой, собственноручно настоянной на лимонных корочках — бог с ней с его бутылкой виски, как-нибудь потом ее оприходуем.

— Давай помянем Володьку, — сказал Митя, когда сели за стол.

И мы выпили по первой, не чокаясь.

Эпитафия. Это был дворовой человек. Но не в дворянско-помещичьем смысле, а из числа дворников, сантехников и прочей жэковской обслуги, живущей в подвалах или в принадлежавших ЖЭКу квартирах — полупьяных мужиков, клянчащих у жильцов рублевку и кое-как исполняющих свое дело.

Правда, он принадлежал не к нашему с Митей абельмановскому двору, а к другому, в центре города, в переулке между Мясницкой и Лубянкой или как тогда их называли — Кировской и Дзержинкой. В этот переулок мои родители переехали по обмену, когда я уже давно не жил с ними, устроившись вместе с Таней в полученной ее родителями квартире в пятиэтажной хрущевке в Хорошево-Мневниках.

После скитаний по съемным коммунальным комнатам нам эта квартира казалась чудом комфорта. Только спустя какое-то время, когда родился Сенька, мы по-настоящему ощутили ее недостатки — тесноту, щели в оконных рамах, куда заливал дождь, а зеленый пластиковый пол, который сначала казался нам таким красивым, в жару испускал противный запах. На первых же порах нас воодушевляло одно — это отдельная квартира.

Комната, в которой жили мы с Таней, была пуста. Сначала спали на полу, потом на первый мой гонорар, полученный за журнальные рассказы из заводской жизни,

купили раскладную тахту. Но одежда и книги лежали в чемоданах. На платяной шкаф и полки денег не хватало.

Мама моя, критически оценивая наш быт и зная мою безрукость, унаследованную от отца, который, несмотря на свою лагерно-ссыльную эпопею, где были и тачка в приисковом забое, и лямка грузчика, дома гвоздя в стену не мог или не хотел забить, нашла выход со свойственной ей изобретательностью в бытовых делах. Переезжая с квартиры на квартиру, она всякий раз обзаводилась помощниками — хозяйственными рукастыми мужиками чаще всего из жэковской обслуги, подкрепляя отношения с ними трешками, выдаваемыми в период трудного похмелья и отрабатываемыми всякими ручными работами. Я называл этих ее помощников лейб-плотниками.

Таким лейб-плотником был и Володька или, как почтительно величала его мама, Владимир Яковлевич. Худой, пригорбленный, жилистый, он смотрел на мир узкими глазами, остро поблескивающими меж выдающихся скул, напоминающих о татарских корнях многих русских людей.

Будучи дворником, он жил в полуподвале маминого дома вместе с женой, которую он кликал Хрюней то ли из-за ее несколько поросячьей внешности — курносость, дебелая полнота, румяное круглое лицо, — то ли просто из вредности своего характера. Оба они были людьми предприимчивыми и кроме уборки двора и оказания всяких плотницких услуг жильцам промышляли еще и мелкой спекуляцией — толкались по окрестным магазинам, благо и Гум-Цум находились недалеко — и перепродавали добытый разными путями дефицитный товар. К постоянным жильцам его дома Володька был снисходителен, и когда маму заботила какая-нибудь промтоварная нужда, говаривал: «На страдай, Анатольевна, я завтра свою Хрюню пошлю побунькать по лавкам». Он был по-своему филологически талантлив, прекрасно владел городским блатным жаргоном, а когда впоследствии перебрался в деревню, тонко имитировал старый народный говор.

Вот его-то, этого своего лейб-плотника, мама и послала ко мне разобраться с нашим мебельным неустройством. И он разобрался. Привез с собой несколько досок, реек и каких-то металлических трубок, найденных, судя по всему, на помойке, отчистил, отстрогал их и соорудил в нашей небольшой нише некое подобие шкафа, которым мы и пользовались до той поры, пока не накопили деньги на настоящую импортную мебель.

Распивая вместе со мной после завершения работы бутылку на поставленном на попа чемодане, опустевшем от одежды, и, видимо, чувствуя себя благодетелем, он сказал: «Что же это ты, друг мой милый, без стола живешь. Надо бы тебе, журналист ты наш недоделанный, помочь со столом».

— Почему недоделанный? — удивился я.

— Ну. какой же журналист без стола.

— Что ж, помогите.

И ведь помог. Привез вскорости на каком-то левом пикапе ломберный стол, найденный им на чердаке его дома, куда жильцы порой выбрасывали старую мебель после покупки новой. Стол был на одной разлапистой ножке, хорошей породы дерева, благородной овальной формы. Правда на поверхности его какой-то неизвестный умелец вырезал три классические буквы — икс, игрек и «и» краткое. И глубоко вырезал, видно, старательный был парень, так что ни зашлифовать, ни заполировать надпись оказалось невозможно. Так и стоял этот стол у нас долгие годы, правда, покрытый красивой льняной скатертью в маскировочных целях. Володька немного подколотил его, подстрогал и удовлетворенно сказал: «Живи, Данечка. Работай, пиши на нем свои сочинения».

Он называл меня Данечка, так как звала мама. Я же его по маминому примеру на вы и по имени-отчеству. Это приводило порой к курьезным ситуациям. Как-то я встретил его в пору моей работы в городской газете в переулке между Чистыми прудами

и Кировской, куда мы направлялись с ребятами обедать. Он шел навстречу вполпьяна, пошатываясь, потупив мутные от хмеля глаза. Я окликнул его: «Здравствуйте, Владимир Яковлевич!» Он посмотрел на меня, ласково улыбнувшись: «Здравствуй, Данечка!»

Ребята обомлели. «Кто это, что за дядюшка подзаборный у тебя отыскался?» — «Да так, — смущенно усмехнулся я. — Вроде родственника». — «Ну и родственнички у тебя».

Когда мамы не стало, он пришел на поминки. Но не нажрался, хотя водки было залейся. Сидел грустный, молчаливый, даже слезу пустил: «Хороший человек была Анатольевна». Он и Таню мою называл по отчеству — Ефремовна. Когда она по своей бабьей наивности как-то укорила его: «Ну, зачем же так пить, Володя?», он улыбчиво развел руками: «Эх, Ефремовна, а для чего ж тогда жить, если не пить».

После ухода мамы я стал называть его на ты и по имени. А уж когда мы стали соседями в деревне, он меня — Данилка, я его — Володька. Собственно, и в деревне я оказался по его милости. С приходом новых перестроечных времен он звериным чутьем почувствовал, что они не несут ему ничего хорошего. Мамин дом, привилегированный, с просторными барскими квартирами, где он знал всех и вся, подрабатывая на разных мелких услугах, старел, давние жильцы вымирали, а новые — в нем не нуждались. Да и спекулятивный его приработок исчезал вместе с исчезновением товарного дефицита. В магазинах появилось все — были бы деньги. Привычное его маргинальное существование как-то скукоживалось, отмирало. Новые же перспективы открылись после смерти в деревне Хрюнипной тетки, оставившей племяннице старую, но еще вполне пригодную для жилья избу. Съездив на похороны, Володька убедился, что жить там не только можно, но и нужно. Оставив за собой приватизированную московскую комнату, он привел деревенский дом в порядок, развел огород, скотину, от пуза гнал самогон и зажил князем во князьях.

Несмотря на пьянство и хамские загулы, он был уважаемым человеком, нужным всем в этой исчезающей деревне. Его руки, его разнообразные мастеровитые уменья оказались нужны и нищающим старухам с их все же выплачиваемой пенсией, и дачникам, наезжавшим на лето в эти живописные места.

В редкие свои наезды в Москву он звал и меня к себе, объясняя за бутылкой привезенного им же самогона всю бесперспективность моего московского стариковского существования. Таня к этому времени умерла, Сенька неведомо зачем шлялся по миру, то в Израиле, то в Индии оказывался, связь с ним прерывалась и в конце концов заглохла. Надо было мне искать себе спокойное стариковское пристанище. И я в конце концов задешево купил сосватанный Володькой выморочный дом, он же мне его и подновил, обустроил, помог развести огород. Так я зажил своей новой жизнью — осваивал нехитрые необходимые в деревенском быту ручные навыки, ловил рыбу в озере и даже завел пару коз, привязавшись к этим милым животным.

А потом удалось уговорить Митю присоединиться ко мне, создать себе убежище для отдохновения в его бурной жизни. И опять-таки Володька выстроил ему шатер рядом с моим домом. Так все шло своим чередом — Володькины загулы, мое размеренное житье за книгами и компьютером, редкие Митины приезды — пока не нагрянула ужасная Володькина смерть. И вот мы сидим с Митей и поминаем этого колоритного человека, как оказалось, немало значившего в нашей жизни.

Двор. А потом Митя пошел в чулан и гремел всяким хранящимся там инструментом, подбирая все, что ему нужно для ремонта забора. Вышел, неожиданно улыбаясь, протягивая мне старый молоток с выжженными на рукоятке неведомыми мне инициалами.

— Ты посмотри, что я нашел. Неужто это тот?

— Ты о чем?

И тут меня осенило, словно искрой прожгло память и выбросило в дворовое

наше детство, в ту теплую летнюю ночь, когда мы, десятилетние пацаны, стояли у дыры в стене — узкого лаза в подвал, где строительные рабочие оставляли свой «струмент». Один из нас троих (кроме Мити и меня был еще и Иван, Ванька по прозвищу «жирный», пухлый генеральский сынок, который во всех играх и проказах ни в чем не отставал от нас) должен был нырнуть в эту глухую черноту подвала, чтобы выбросить к нам, стоящим на стреме, все что там хранилось. Иван не мог преодолеть свойственную ему осторожность, я безумно боялся крыс. Полез Митя и вскоре к нашим ногам полетели молотки, рубанки, ножовки.

Для чего нам были нужны эти инструменты? А для чего нам была нужна бутылка с розовым маникюрным лаком, которую я среди бела дня, замирая от страха, выхватил из открытого окна парикмахерской, в то время как двое других стояли на стрёме. Ну, «струмент» мы еще поделили, так что мне достался тот самый молоток с выжженными на рукоятке инициалами владельца, и так он и ходил со мной всю долгую жизнь, забытый и напомнивший Мите свое происхождение в моем чулане. Но уж лак-то зачем? Разве что выбросить его оставалось.

Нет, тут не нужда была, а проверка своей решимости на поступок, опасный взрослый поступок. Ведь рассказывал же парень лет семнадцати на пыльном чердаке нашего дома, где курили и попивали вино из горла те, кто постарше, не выгоняя нас, восторженных слушателей-малолеток, как запрыгнул на полном ходу в кузов машины с рулонами ткани, и раз-раз — один, другой рулон летит на дорогу, где ждут кореша. Так и вижу сейчас, по прошествии более чем полувека, его испитое лицо, прикус папиросы, азарт во взгляде, во взмахах руки. Как это лихо, рисково, фартово.

Двор бурлил воровской романтикой, не умеряемой заездами воронка, увозившего этих лихачей в долгие лагерные путешествия. Но для нас по младости и мелкости наших самопроверок все обошлось. Тем более, что эта игра вскоре сменилась другой. Мы стали барыгами. Наше новое и более скромное с криминальной точки зрения занятие было связано с перепродажей билетов в кино.

То было время, когда отечественный кинематограф выпускал лишь несколько фильмов в год. Но зато каждый был всенародным событием. «Небесный тихоход», «Подвиг разведчика» «Падение Берлина». Кто сейчас помнит эти картины? А тогда ходили на них семьями, смотрели по несколько раз, пели песни оттуда, восторгались образами и обликом героев с их прямолинейными, как выструганная доска монологами. У кинотеатров вились хвосты к кассе, и мы по воскресеньям терпеливо выстаивали их дважды и трижды — два билета в одни руки. А потом толкали их по двойной цене не желавшим стоять в очереди почтенным гражданам.

Навар шел на пончики с повидлом, отвратительно сладкие коричневые комки полусырого теста. Мы не голодали. А Ванька так и вовсе жил в холе и неге генеральского дома, обихаживаемый неработающей моложавой матерью. У Мити была нормальная, среднего достатка семья (отец — инженер, мать — врач). Да и моя мама — одинокая с зэком-мужем машинистка — брала домой приработок, стучала до полуночи на машинке, чтобы я ни в чем необходимом не нуждался. Так нет же, несли в укромный закуток маслянистые кульки с пончиками, и тут же на улице у кинотеатра пожирали их, давясь и пачкаясь в повидле. Это тоже было по-взрослому. Не мамин обед, а купленная на заработанные деньги еда.

Такое барыжное занятие имело, однако, одну опасность. Около кинотеатра можно было натолкнуться на соседей, учителей, родственников, воспринимавших нас как обыкновенных школьников-пионеров, а отнюдь не юных спекулянтов. Но тут уж надо было остерегаться, зорко высматривать, не появится ли знакомое лицо. Митя однажды едва избежал столкновения с родителями, отправившимися в воскресенье в кино.

Эта история, опасливо обсуждаемая нами во время пожирания пончиков, натолкнула меня на сюжет первого в моей жизни рассказа, написанного год спустя

после того как мы, наигравшись в барыг, пришли к более естественным для нашего возраста и среды увлечениям. Митя, испытывая тяготение ко всему ручному, железному, пошел в кружок «умелые руки», читал журнал «Техника — молодежи», помогал отцу ремонтировать семейный мотоцикл. Я же ушел в запойное чтение всего, что ни попадя. Жюль Верн перемешивался в моей бедной голове с Джеком Лондоном, сказки народов СССР, пленявшие меня цветистой восточной фантазией, с гоголевскими «Вечерами на хуторе близ Диканьки».

Как я выплывал в этой мешанине сюжетов и образов, сказать трудно, но постепенно крепло желание сочинять самому, толкнувшее меня в литературный кружок Дома пионеров. Впрочем, это было потом, по мере вхождения в отрочество. а лет в двенадцать-тринадцать после ухода от дворовых игр мучило одиночество, грезился смутный мир коллизий, навеянный беспорядочным чтением.

Однако материал первого рассказа был взят из близкой мне реальности. Героем его стал юный пионер, отличник и примерный ученик, ведущий двойную жизнь, по воскресеньям торгуя билетами у кинотеатра. Не помню, описывалось ли там моральное падение этого двуличного отрока, помню только финал действия. Не узнав со спины своих родителей, он предложил им купить «лишний билетик». Заключительная немая сцена была вполне в духе гоголевского «Ревизора».

Завершив это сочинение, я немедленно отправил его в «Пионерскую правду», которая вывешивалась у нас в школьном коридоре, и дважды в неделю, когда появлялся свежий номер, нетерпеливо подбегал к газетной витрине, представляя, как будет выглядеть мой рассказ на газетной полосе. Но время шло, рассказ не появлялся, А потом вместо него пришло письмо на фирменном бланке. «Дорогой Даня!» — писала мне газета. Прочитав это обращение, я остановился в сладостном предвкушении. Ведь не может же за такими словами последовать нечто плохое. Но последовало. О публикации и речи не было. Они увидели в моем сюжете реальную ситуацию и посоветовали обсудить героя рассказа на совете пионерского отряда, то есть совершить самодонос.

Ох, как хохотал Митя, когда я показал ему это письмо, как хлопал меня, грустно улыбающегося, по плечу, как кричал: «Ну, что же ты стоишь? Давай покажем это письмо Ваньке, он же у нас председатель совета отряда. Пусть проработает тебя, как унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла». Видно, знание Гоголя и ему не было чуждо.

Вспоминая на старости лет этот мой первый литературный опус, я думаю о некой предначертанности такого самодоносительного сюжета, описывавшего двойственность жизни юного человека. Ведь ему и во взрослой жизни пришлось одной рукой писать газетные передовицы, а другой листать страницы самиздата, днем сидеть на партийных собраниях, а вечером в кухонных разговорах поливать Софью Власьевну, то есть Советскую власть. С детства беспризорного это шло, когда продажа билета закусывалась жирным пончиком.

Тишина над озером. В тот тусклый ноябрьский день мы долго обедали под водку из моего графинчика. Это от покойницы Тани у меня — наливать водку в графинчик, не ставить на стол бутылку. А у нее это было семейное — от матери, бабки — жены преуспевающего адвоката начала прошлого века — культура застолья. Суп разливался в супницу, не черпался из кастрюли, обеденный сервиз, салфетки... В моей семье пролетарской, зэковской не до этих изысков было. А отец, вернувшись из своих гулаговских странствий, так и вовсе мог, если матери не было дома к его возвращению с работы, порезать колбасу на газетке, руками взять кусок селедки, которой закусывалась неизменная вечерняя четвертинка. При этом чашка называлась кружкой — «плесни кипяточку в кружку», кровать — койкой. Я же в своем одиноком деревенском житье до колбасы на газетке не опускался, однако яичницу ел со сковородки.

Ну, уж в тот день по случаю гостя я аккуратно порезал и разложил селедку в сохранившуюся с Таниных времен селедочницу, полил подсолнечным маслом, обложил колечками лука. А картошка у меня была своя, отменная, сухая, отлично хранящаяся в погребе, она исходила паром и так хорошо шла под рыбу, водочку. Мы согрелись от этой славной еды, разомлели от печного жара, и чтобы не заснуть преждевременно тяжелым послеобеденным сном, решили пройтись, подышать холодным осенним воздухом.

Улица была пуста и умиротворенно тиха, только собаки бродячие, которых немало развелось в деревне, увязывались за нами, да старушечьи лица прилипали к окнам в редких жилых избах, дивясь на городского человека в яркой куртке, медленно шествующего по улице рядом с их Семёнычем.

Вышли за околицу, пошли вдоль давно не паханного поля, уже зараставшего мелколесьем, мимо кочкаристой луговины, заброшенного пастбищного угодья, куда выгонялся личный скот, когда он имелся в тогда еще живой деревне, сейчас-то остались две-три коровы у старух, кто покрепче. Подошли к озеру, побрели по смерзшемуся песку прибрежной отмели. Свежий, ветер нес низкие облака, легкой рябью шевелил озерную гладь. Сели на поваленный, добела отшлифованный дождями ствол дерева у самого среза воды. Великая тишина стояла над озером, над деревней, над окружавшими ее непахаными полями. И казалось, что она опускает этот мир в далекое прошлое, во времена движения племен охотников, бортников и рыболовов, заселявших этот лесной край редкими хуторами и городищами и смещавшихся, уходивших в дальнюю глушь под напором других племен, теснимых степными кочевниками. Уйдут ли остатки нынешнего великорусского племени в города, оставив этот край опустевшим, возвращающимся к своему первичному существованию, не нарушаемому вмешательством человека в природу? Об этом элегически рассуждали мы с Митей — два старика, выросших на окраине огромного города и пытающихся уединиться на этой пустеющей земле, откуда, может быть, и придется уходить на встречу с Богом, к растворению в Едином.

Экологический баланс. Митя был сумрачен, что-то угнетало его, но что — я не спрашивал, захочет — скажет.

— Как рыбалка в этом году? — спросил он, думая о чем-то своем.

— Да ничего, окунь, судак шел.

— Заморов больше не было?

— У нас не было. Ведь заморы — они отчего? Колхозы вносили удобрения на поля порой без меры, без толку — по снегу, их смывало в озера. Это вызывало рост растительности в воде, забиравшей кислород, так что рыбе становилось нечем дышать. Вот тебе и замор. Рыба стремилась к свежей воде в соседний водоем, шла туда по протоке или речке, скапливалась в узком месте. Старики вспоминали, как в большой замор лет десять назад по ручью через каждые два метра были пробиты проруби, у которых дышала рыба, и люди вылавливали ее сачками, за сутки по центнеру вытаскивали. Вот такая была рыбалка.

— А теперь, как я понимаю, — недобро улыбнувшись, сказал Митя, — здесь не сеют, не пашут, удобрения на поля не вывозят и экологический баланс восстановлен. И человек не мешает природе жить по своим законам.

— Оно так. Люди ведь здесь жили со времен неолита, не нарушая этого самого экологического баланса. Вон на том берегу в прошлом году археологи работали, откопали следы древнего свайного поселка. Люди забивали на прибрежном мелководье дубовые сваи, клали бревенчатый настил и строили на нем дома. Рыбу ловили. Мелкий скот разводили, но не только в шкурах ходили, из льна ткали рубахи. А уж как лес кормил — выжигали дубраву и на выжженной поляне сеяли рожь, пчельники в дуплах были, Грибы, ягоды, дичь. Каждое дерево свою пользу давало. Липа — на лыко, на

лапти. осина — для лодок-долбленок, ель и сосна — для корзин, дубы и вязы — для саней, слег, свай.

— Откуда ты все это знаешь? Уж не роман ли собрался писать из жизни пращуров.

— Какой там роман. Я свое отписал, по газетным страницам рассеял. Здесь ведь как — то с археологами у костра посидишь да по старой журналисткой привычке вытягиваешь из них всякую всячину. А то учитель географии из райцентровской школы, местный краевед десятиклассников своих привез вон на тот холм за околицей, где сохранились следы старого городища. Такой, знаешь ли, энтузиаст. Вот он книжку по истории района пишет. Мы с ним немало толковали, из него знания и восторги перед древностью как вода из водопроводного крана льются. Только спроси о чем-нибудь — не остановишь.

— И ты спрашивал?

— Спрашивал.

Движение племен. Прошлым летом мы стояли с учителем на вершине песчаного холма, на венчающей его круглой площадке, опоясанной рвом и валом со следами частокола, некогда ограждавшего городище. Теплый ветер пробегал по некошеным травам, шелестел в листве чахлого березняка. И мы все пытались представить, сколько веков отделяет нас от обитателей этого древнего поселения, от далеких пращуров нынешних крестьян.

Учитель и в самом деле был энтузиаст. Он неустанно открывал все новые городища и возил туда своих учеников, показывая им артефакты древней культуры — остатки железоплавильных печей, следы свайных поселений, культовые камни и жальники — славянские захоронения времен перехода от язычества к христианству.

И я подумал, зачем это деревенским подросткам с их дискотечными плясками и мечтами о городской жизни, зачем им карабкаться по заросшим папоротником и полынью склонам холмов, рыться в черной земле культурных слоев, выслушивать жаркие речи учителя, пытающегося пробудить их воображение рассказами о жизни обитателей этих исчезнувших селищ? Зачем? Трудно сказать. Но с другой стороны без таких знаний, без такого пробужденного воображения, в котором теплится ощущение связи времен, нет народа, нации, а есть скопление случайно поселившихся здесь людей, легко пришедших сюда и легко покидающих эту землю.

В своем деревенском уединении я перечитывал Ключевского, этого поэта исторического знания, у которого воображение так удачно дополняет суровую правду факта. Он писал об остатках городищ Киевской Руси, рассеянных по всему Приднепровью на расстоянии четырех-восьми верст друг от друга. Как и наши, открываемые краеведами селища, это было пространство, очерченное кольцеобразным валом, достаточное для одного доброго крестьянского двора. Такие одинокие дворы, окопанные земляным валом с частоколом для защиты скота от диких зверей, по мере распада родового быта славяне ставили, расселяясь по Днепру и его притокам, ими же колонизовалось Верхнее Поволжье и Северо-Западная Русь. Собственно, и Киев, по преданию, возник из укрепленных дворов трех братьев-звероловов, поселившихся на трех холмах высокого берега Днепра. Старшего брата звали Кий.

Но из южной Руси, под напором степных кочевников, поселенцы двигались на север, в верхневолжское междуречье и, отыскивая среди болот и лесов сухие возвышенные места, ставили на них избу, корчевали и выжигали лес, поднимали целину и, снимая несколько лет с удобренной золой земли хороший урожай зерновых, а истощив почву, двигались дальше, ставили новый починок, повторяя все сначала.

Ключевский отмечает непрестанное перемещение людей вольно-земледельческой Верхне-Волжской и Псковско-Новгородской Руси. И в этом был исток всего, исток формирования древних славян, двигавшихся по необъятной равнине. Воюя или

ассимилируя местные племена — чудь и мерь, литовцев и финнов, они, смешиваясь с ними, образовали постепенно великорусскую народность с ее городами и княжествами.

Это непрестанное движение племен — ось древней истории не только России, но и других стран, и оно гулким откликом отдается в нынешние времена.

Вспомнил, как во время своей поездки в Израиль к сыну в начале девяностых стоял в одном из еврейских мошавов Газы, тогда еще не отданной палестинцам, на таком же песчаном холме, как тот, что на окраине моей деревни. И так же обвевал меня ветер, только был он жарким, дующим из пустыни хамсином. Я стоял в обществе рыжеволосого иудейского крестьянина, всю жизнь посвятившего освоению новых территорий, превращению этих пустынь и болот в плодоносные, цветущие угодья. И он, махнув рукой на юг в сторону Синая, сказал: «Там тоже наши земли». — «Почему вы так считаете?» — спросил я. — «Так в Библии говорится», — ответил он. А я в соответствии со своим либеральным сознанием российского интеллигента сказал: «Ну, тогда и Москва должна принадлежать Финляндии, там некогда жили финские племена». — «Вы зря ему это говорите, он все равно не поймет ваших аллюзий, — сказал мне переводчик, в недавнем прошлом россиянин. — Да и что толку в подобных сравнениях? Он чувствует эту землю своей, все силы отдает ее освоению и окультуриванию — в отличие от российских крестьян, забрасывающих свои земли».

Тот иудейский поселенец и в самом деле ничего не ответил на мою историко-географическую реплику. Ему было неинтересно, на каких землях строилась Москва. Он жил в мире своих представлений, одержимый идеей движения своего народа вперед, идеей освоения территорий, на которых еврейские поселенцы будут создавать мошавы и кибуцы, выращивать финики и пшеницу.

— А много ли народу обитало в таких свайных поселениях? — прервал Митя мои воспоминания.

— Археологи говорили, что в этом приозерном поселке жили человек сто—сто пятьдесят.

— Немало.

— Столько живет в современных наших крепких деревнях, в тех, что еще остались, не вымерли.

— Выходит, история сделала круг — с чего начинали, к тому и пришли. Разве что поселения не свайные, а живут, как и в те времена, натуральным хозяйством — тем, что приусадебный участок дает, да лес и озеро.

Глава третья. Геодезия

Курьезная встреча. Как это получилось, что мы, трое друзей детства, оказались на одном заводе? Он, конечно, был самым большим в округе и притягивал к себе обитателей района. Но в том же районе располагались и другие предприятия — мясокомбинат, металлургический «Серп и молот», шинный, подшипниковый — промышленная карта северо-востока Москвы выглядела пестрой, насыщенной разными производствами. Однако, автомобильный считался наиболее престижным заводом, и продукция его — первые советские малолитражки — должна была соответствовать замыслу вождя народов — посадить советского человека за руль личного автомобиля. У Гитлера таковым был «Фольксваген» — «Народный автомобиль». У американцев «Форд» в начале века моторизовал среднюю семью. Сталин же намеревался облагодетельствовать свой терпеливый народ с помощью «Москвича».

Работать на заводе, выпускающем эти машины, было как-то естественнее и интереснее, чем в скользких от крови и жира цехах мясокомбината или у дышащих жаром мартеновских печей «Серпа», так эффектно выглядящих на киноэкране и таких

мучительно тяжких, выматывающих силы в реальности. И я не удивлялся, встречая в цехах автозавода товарищей своих дворовых игр, хотя их подчас не так легко было узнать в облике великовозрастных рабочих.

Иногда эти встречи были курьезны. Как-то возвращаясь с Таней из гостей, от приятеля, жившего в заводском доме в Текстильщиках, мы встретили на узкой лестнице человека с помойным ведром.

— Здорово, Данила! — кинул он мне на ходу.

В сумерках подъезда я почти не разглядел его лица и осторожно ответил:

— Привет.

— Что, не узнаешь? — остановился человек. — А Валентину помнишь?

— Какую Валентину? — спросил я, косясь на жену.

— Ну, училку нашу Валентину Петровну. Она ж в первом классе тебя ко мне прикрепила, чтоб я тебе по арифметике помогал. Ты ж у нас отстающий был, Нестеров. Я тебя как-то в цехе видел, да ты меня не узнал....

Господи помилуй. Первый класс. Учительницу и в самом деле звали Валентиной Петровной. Мы с мамой вернулись из эвакуации, и я опоздал в школу на месяц и все никак не мог наверстать отставание, особенно по арифметике, читал-то я довольно бойко. Неужели этот мужик с помойным ведром и есть тот мальчик, с которым мы решали примеры после занятий.

— Послушай — говорила сквозь смех Таня, когда мы вышли из подъезда. — Неужели ты с семилетнего возраста настолько не изменился, что этот мужик в темноте на ходу узнал тебя. Да ты еще, оказывается, у нас отстающим был. Вот так вот живешь с человеком, а потом узнаешь про него всякие вещи.

Мандатная комиссия. Ванька Жирный и Митя пришли на завод после института. Иван окончил инженерно-экономический, Митя — Станкин, а со мной все оказалось сложнее. Мы с мамой понимали, что мои мечты о МГУ — филфаке или факультете журналистики — были несбыточны. Сыну «врага народа» путь туда заказан. И я вымечтал себе довольно сложную жизненную схему: идти в геологи. Летом и осенью — полевой сезон, а зимой, как мне казалось, делать особенно нечего — камералка, отпуск — самое время писать рассказы по летним впечатлениям, отдаваться литературному творчеству, к которому я чувствовал призвание.

Геология тогда считалась профессией мужественной, романтической, какой впоследствии стала физика. «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне», — писал в конце пятидесятых Борис Слуцкий. Теперь, на склоне лет, вспоминая, как менялись романтические склонности молодежи, ищущей себя в жизни, я усматриваю в этой смене запросов определенную логику общественного развития. В девяностые годы самыми популярными профессиями становились экономика и юриспруденция. С романтикой было покончено, учитывались потребности рынка. Но это было во времена, когда я стал стариком. А тогда, в начале пятидесятых, я отнес свои документы на геологоразведочный факультет института цветных металлов и золота. У меня их приняли, но, прочитав анкету, отправили на мандатную комиссию.

Я не знал, что это такое — мандатная комиссия. В комнате без вывески сидел немолодой благообразный человек в добротном сером костюме. Изучив мою анкету, он поднял на меня спокойный взгляд и сказал:

— Понимаю ваше желание послужить отечеству в поиске полезных ископаемых. Это похвально. Но наши геологи ведут разведку стратегического сырья, запасы которого представляют собой секретную информацию. Доверять эту информацию сыну человека, осужденного по пятьдесят восьмой статье, было бы неправильным, и вы должны это понять. Согласитесь, отказывая вам в приеме на геологоразведочный факультет, мы действуем в интересах государства, охраны его тайн.

Он был так доброжелателен и убедителен, что я проникся этим его

государственным интересом. Ну, в самом деле, как можно доверить знание о запасах стратегического сырья сыну «врага народа»?

Сколько раз в моей последующей долгой жизни мне предстояло разделять эту логику власти, этот ее государственной интерес, сколько раз меня обволакивала эта демагогия, да и я сам обволакивал ею других в своих газетных статьях. «Вы ж понимаете...» — говорили мне вкрадчиво и убедительно. И я все понимал — и смену вождей, и решения пленумов, которые мне приходилось комментировать. Я все понимал, со всем был согласен, и только теперь — в глуши разоренных сел, над списком «убитых» заводов сужу себя как частицу этой системы, в которой прожита жизнь

— Так что лучше вам поступать на технологический факультет, — завершил свое отеческое наставление мой добрый мандатный советчик.

Но на технологический я не хотел.

В конце концов, я остановился на геодезическом факультете института землеустройства. Он соответствовал моей будущей жизненной схеме. У геодезистов тоже были полевой сезон, романтические скитания по российской глубинке летом и, как я предполагал, привольное камеральное существование — зимой. Правда, имелись смутные сомнения, посеянные разговором в мандатной комиссии института цветных металлов. Карты и планы, к составлению которых причастны геодезисты, ведь тоже обладают секретностью, доверят ли их составление сыну «врага народа»? Но кто-то мне сказал, что проверка документов абитуриентов проводится лишь после второго года обучения. И я решил не упоминать в анкете о своем политическом изъяне, нет в семье репрессированных и всё тут. Если же проверят, найдут обман и на худой конец выгонят, то за два года, я полагал, можно овладеть азами профессии, устроюсь в какую-нибудь геодезическую партию.

Самое грустное и одновременно смешное оказалось в том, что я и за пять институтских лет так толком и не овладел азами профессии и совсем не потому, что мне мешала отцовская 58-я статья. Отца через год реабилитировали, и по условиям его реабилитации я имел чистую анкету. Просто по своим гуманитарным склонностям, плохой зрительной памяти и нелюбви к точным наукам я оказался патологически неспособным к этому измерительному ремеслу. До сих пор не могу понять, что мне мешало освоить эти в общем-то довольно простые знания и применить их на практике. Причем лучше всего я усваивал абстрактные и сложные предметы, которые оказывались совершенно не нужными в инженерной работе — теорию перспективы, дифференциальное исчисление. Но вот поверки теодолита — комплекс примитивных контрольных измерений этого прибора, я усвоить никак не мог. Меня беспокоило слово «поверки». Почему «поверки», а не «проверки»? Нехватка буквы «р» мешала мне запомнить последовательность и понять смысл этих действий.

Начав по окончании института работать самостоятельно в полевом отряде, я то и дело попадал в глупые ситуации, вызывавшие изумление других исполнителей работ, не имевших высшего образования, но выполнявших план на сто пятьдесят-двести процентов, в то время как я не дотягивал до ста.

Установив реперную точку, я на следующий день не мог найти ее на местности без помощи рабочих — деревенских ребят, которых я нанимал при прокладке теодолитного хода. Обратная геодезическая засечка — определение координат четвертой точки при наличии координат трех других — так называемая задача Потенота — ставила меня в тупик.

Я вычислял допустимое расхождение между прямым и обратным измерением линии с помощью двадцатиметровой ленты, по формуле из учебника инженерной геодезии Чеботарева, и у меня получалось пять сантиметров. Но выходило больше, и я с упорством добросовестного идиота заставлял рабочих измерять три, а то и четыре раза.

— Твои ребята говорят, что ты их заставляешь по три раза мерять линию. Это правда? — спросил меня, приехав с проверкой, главный инженер отряда Николай Николаевич Циолковский. (Полвека прошло, а я помню его фамилию и весь его облик интеллигентного пожилого москвича.)

— Правда, — признался я. — Расхождение должно быть пять сантиметров.

— Ты это с чего взял?

— Да вот формула в учебнике. — И я полез в рюкзак за толстенным томом классика инженерной геодезии, который я таскал с собой.

— Ну-ка, ну-ка, — сказал Циолковский. — Посмотрим... Да ты же ошибся на один знак при извлечении корня. Не пять, а пятьдесят получается. Но зачем ты вообще выводил по этой формуле сам. У тебя инструкция есть? Давай-ка ее сюда. Вот видишь, здесь стоит пятьдесят сантиметров. Да и вообще никто из исполнителей работ по два раза линию не меряет, так прокинет иногда ленту в контрольном порядке и все. Но чтоб по три раза... Я понимаю, почему у тебя в прошлом месяце семьдесят процентов плана. Эх, тебя бы поставить помощником к Сиськовичу, он бы тебя живо всем фокусам выучил.

Сиськович был деревенский мужик с семилетним образованием, который каждый полевой сезон приезжал в отряд из Белоруссии и выдавал по двести-триста процентов плана, возвращаясь осенью к себе в село с хорошим заработком.

— Да кто ж разрешит, — сказал Циолковский. — Ты ж у нас единственный исполнитель с институтским образованием. Тебя надо было бы начальником звена выдвигать, да как выдвигать при этой твоей блажи, когда ты даже план не можешь выполнить.

До начальника звена я так и не дорос, даже и при том, что постепенно преодолевал свою профессиональную неполноценность. Но сама геодезия хотя и открывала любезные моему сердцу дороги странствий по селам и полям, представлялась мне делом сухим и скучным. Все чаще приходили мысли о смене профессии.

Я уже однажды собирался бросать институт на втором курсе, как только вернулся отец, и решил поступать во ВГИК на киноведение. Это было время прихода на советский экран фильмов итальянского неореализма, обладавших для нас неизъяснимым обаянием. Картины Витторио де Сики, Лукино Висконти, Джузеппе де Сантиса, ныне забытые, тогда несли такую свежесть и остроту восприятия, что я хотел только одного — писать об этом кино, анализировать его приемы и методы, войти в кинокритику со всем запасом мыслей и ощущений, которые неореализм пробуждал во мне. Я написал рецензию на свой любимый фильм «Рим в 11 часов» Джузеппе де Сантиса, намереваясь подать ее на творческий конкурс киноведов, и собрался забирать документы из своего землеустроительного вуза. Но тут отец встал стеной.

— Ты с ума сошел, все это мальчишеские бредни. Ты должен иметь реальную профессию, которая ох как еще может пригодиться тебе. Получи диплом, поработай с годик, а потом иди хоть в киноведение, хоть в театроведение.

— Вот дядя Юра, — вторила ему мать. — его в лагере, как только узнали, что он инженер-строитель, так сразу же расконвоировали, и он строил кирпичный завод. А отец со своей журналистикой весь срок на общих работах, с кайлом да тачкой, как он только выжил...

— Что ж вы к лагерю меня готовите, — вяло отбивался я, понимая вместе с тем, что такова реальность. В годы моего детства мужчина либо воевал, либо сидел. — Все-таки сейчас не тридцать седьмой. Не должно такое повториться.

— Кто ж его знает, что нас ждет. Ведь и отец в твоем возрасте не думал о том, что его ожидает такое.

— Ему не повезло.

— Мне как раз повезло, — вмешался отец. — Я выжил, вернулся. А сколько людей сгнило там... Скольких расстреляли, как того же Колю Тихонова.

Тихонов был другом отца, секретарем парткома на его любимом шарикоподшипниковом заводе — «Шарике», о котором он вспоминал всю жизнь.

— Но мы ж о тебе думаем, за тебя боимся, — продолжала мать. — И ты должен понять нас.

Я понимал, все понимал и все видел. Видел, как изнурена и преждевременно состарилась мать, как сломлен отец и как трудно ему входить в новую жизнь. Я с тоской смотрел как он, отвыкнув за пятнадцать лет от больших городов с их транспортными потоками, согнувшись, перебегает улицу, увертываясь от автомобилей, как внове для него газовая плита. Его почему-то испугал легкий выброс газа, когда я чуть помедлил, поднося спичку к открытой конфорке. Мама сказала, что это следствие его давнего страха перед пожаром. На «Шарике» было несколько тяжелых возгораний, подозревали поджоги, шло долгое следствие, работало НКВД, кого-то посадили...

Страхи висели над нами, прошлые страхи отбрасывали тень на наше нынешнее существование. Впрочем, так или иначе в страхе жили все — от министра до рабочего, все были уязвимы.

Я перебирал в памяти эти разговоры с родителями, сидя у избяного окошка в сырой осенний день, когда в поле было работать нельзя, тупо глядя, как ползут по оконному стеклу дождевые капли. Да тогда я не смог противостоять напору и убежденности отца. Но теперь-то, теперь не пора ли прервать этот неудачный роман с геодезией? Конечно, во ВГИК я не поступлю, человек, получивший высшее образование по существовавшим правилам может снова учиться в вузе лишь заочно или на вечернем отделении. К тому же киноведческие мои страсти поостыли. Так что же? Журналистика? Но профессионального образования у меня нет. Да и уйти из полевого отряда просто так я не мог. Опять же по существовавшим тогда правилам выпускник вуза обязан три года отработать там, куда его распределили, иначе в отделе кадров ему не отдадут диплом, заложником которого он является. Надо что-то придумать. Но что? Не век же скитаться с теодолитом по этим деревням. Знать бы тогда, что в такой же вот глухой деревне полвека спустя мне придется завершать свое земное существование. Но это мне и в голову не могло прийти. А пришло другое.

Я вспомнил, что глазные врачи находили у меня некую редкую особенность зрения — непроизвольное дрожание глазного яблока — нистагм, чего я сам не замечал и не ощущал. Но если так, то можно предположить, что я не могу зафиксировать совмещение визирной оси теодолита с вешкой и стало быть вообще не пригоден к работе с оптическими приборами. Медицинская справка о такой профнепригодности будет равноценна вольной, которую помещик давал своему крепостному.

Однако в больнице райцентра глазной врач — простоватая женщина с обличьем пожилой крестьянки — отнеслась к моей версии с подозрением. Подтвердив после осмотра наличие нистагма, она тем не менее сказала, что справку выдать не может, так как впервые сталкивается с подобной ситуацией. Убеждать ее было бесполезно, а настаивать небезопасно. И я решил, бросив незавершенный теодолитный ход, поехать в Москву, поискать там более сговорчивого врача в хозрасчетной поликлинике, где остепененные доктора за небольшую плату принимали любых пациентов.

Ничего не объясняя родителям, уж было успокоившимся за судьбу своего детища, обретшего реальную инженерную профессию, я отправился в такую поликлинику и, выбрав в списке консультантов офтальмолога с грузинской фамилией, явился к нему на прием. Этот сравнительно молодой жовиальный грузин, бегло проверив мое зрение, с понимающей улыбкой объяснил, что подтвердить или опровергнуть мою версию не может ни один врач. Колеблется ли в результате нистагма визирная ось теодолита при совмещении с каким-либо предметом — это знаю только я сам. Объективных критериев здесь нет. Но логика в моих рассуждениях есть, и справку он мне даст.

В тот же вечер я выехал в Арзамас, где располагалась база отряда, и, проведя ночь в душном вагоне, наутро вручил справку начальнику.

Он долго читал ее, потом, подняв на меня угрюмый взгляд, сказал сидевшему за соседним столом главному инженеру:

— Видал, Николай Николаевич? Он, оказывается, у нас теперь профнепригоден. Ну и ну...

В комнате повисла тяжелая тишина, словно пронизанная мрачной иронией начальника и моим нервным ожиданием.

— Да брось ты, Пётр Васильевич. Отпусти его. Все равно толку от него не будет. А что он профнепригоден, так это я знал давно, — сказал Циолковский, видно вспомнив эпизод с моим троекратным измерением линии. — Пусть пишет заявление по собственному желанию и катится в Москву.

И я покатился. Выбросив при этом из головы невязки, задачи Потенота, полуразрушенные триангуляционные вышки, на которые страшно было забираться с теодолитом, и многое другое, что меня мучило и страшило на протяжении моей недолгой геодезической карьеры.

— Ну и что ты теперь намерен делать? — спросил отец. — Опять к киноведению будешь прибиваться? Сейчас как раз самое время. В Москве декада французского кино идет, Или ты специалист только по итальянским фильмам?

В этом слышны были какая-то недобрая ирония и вечный страх, что я собьюсь с пути, ведущему к реальному делу, способному кормить и дающему возможность выживать в любой жизненной ситуации.

Но я не отозвался на шутку.

— Попробую себя в журналистике. Хочу начать с заводской многотиражки, как ты когда-то. Если возьмут, конечно.

А день спустя мы сидели втроем за бутылкой в хлебосольном генеральском доме Ивана (его матушка всегда охотно принимала друзей сына) и отмечали мое возвращение в родные пенаты. Пока я мерил землю в своих геодезических странствиях, мои друзья делали карьеру на заводе. Иван был заместителем начальника планово-экономического отдела и по общественной линии — заместителем секретаря комитета комсомола. А Митю прочили в начальники прессового цеха, что по его молодому возрасту было очень высоким назначением, в цехе насчитывалась тысяча человек.

Я спросил, есть ли на заводе многотиражка и не нужны ли там сотрудники? Газета имелась и даже ежедневная.

— А вот нужны ли там люди, это надо узнать, — сказал Митя.

— Да ведь у тебя никакого журналистского опыта нет, — заметил Иван.

— Ну и что? — спросил Митя. — Там редактор что, думаешь, прямо тебе Михаил Кольцов? Он еще недавно художником в клубе был. А один его сотрудник так и вовсе табельщиком в отделе кадров обретался. Да Данька с его литературными склонностями любому из них сто очков даст. Ты бы поговорил в парткоме, они ж тебя там привечают, может, есть место в газете.

— Поговорю, — не очень охотно согласился Иван.

Как я вскоре понял, он к тому времени обладал определенным влиянием на заводе, но пользовался этим влиянием осторожно, попусту его не растрачивая. Тем не менее, отказать в помощи другу детства он не мог.

Оказалось, всё однако проще, чем я ожидал. Секретарь парткома, всю жизнь проработавший в этом районе, еще по тридцатым годам помнил отца в его шариковской многотиражке и усмотрел в моем приходе в газету автозавода радовавшую его преемственность традиций. Так что вскоре я с удостоверением сотрудника газеты ходил по заводским пролетам, заводил знакомства в цехах и отделах, иногда со временем перераставшие в дружеские связи, а потом писал свои первые заметки, осваивая первичную журналистскую науку.

Глава четвертая. Завод

Предупреждение. Узнав о моем приходе в заводскую газету, отец обошелся без сантиментов по поводу того, что я как будто повторяю его путь, во всяком случае в своих истоках, а ограничился довольно мрачным пророческим предупреждением: «Газета это тебе не литература, это трудное, а подчас и грязное ремесло, от которого в какие-то моменты тебе блевать захочется, но деваться будет некуда».

Я спрашивал его, как же он сам после стольких лет лагерей и ссылок снова взялся за это ремесло, которое прославляло и лакировало эту жизнь, и только теперь на старости лет понимаю, как в сущности жесток был такой вопрос.

Он разводил руками: «А что делать?» И в этом простом житейском ответе скрывалось значительно больше, чем мне тогда казалось.

Никакой альтернативы — и внешней, бытовой, и внутренней, духовной — у него, как и у многих его сверстников, не имелось. Ни убежать из страны, ни уйти в себя, в свою внутреннюю жизнь не представлялось возможным. Они были воспитаны этой системой, охватившей все проявления человеческого существования, вошли в нее, не зная ничего другого, стали ее законными детьми, одни более, другие менее последовательными в своих мыслях и действиях.

Беда, как я теперь понимаю, заключалась в потере точек опоры. Кроме извечных заповедей — не убий, не укради... — не оставалось ничего. Да и эти заповеди подрывались воспитанием: классовое выше общечеловеческого, нет общечеловеческой правды, а есть классовая. Такая философия, помноженная на обычные человеческие пороки, приводила к утрате привычных нравственных критериев, искажению духовного зрения, видения мира. Палач легко становился жертвой. Жертвой мог стать всякий. И от него отступались все.

Конечно, человеческую природу нельзя было переделать за полвека. Многое оставалось, теплилось, таилось в глубинах общества, народа. Более того, находились люди, которые, пройдя через лагерный ад, не примыкали к власти, даже если открывалась такая возможность, уходили в тайнописание, в религиозную жизнь, в своего рода пассивное сопротивление. Их насчитывалось немного, но они существовали. Однако решиться на такое мог не всякий. Требовалась немалая духовная, нравственная сила.

Отец рассказывал, как весной 1954 года, после реабилитации, выйдя из здания ЦК с партбилетом и направлением в газету, он в задумчивости присел на скамейку в скверике. А может, описать все, что было с ним, как есть, без прикрас и умолчаний? Написать для детей, внуков, оставив до иных времен, когда бы они ни пришли. Но это означало жизнь тайную, скудную, подвижническую. Хотелось же передышки и для себя, и для семьи, примирения с действительностью, привычной газетной работы, забытых житейских благ. И он пошел в газету.

Я нередко вспоминал его предупреждение и в многотиражке, и в городской газете в долгие редакционные зимние вечера. Духота, прокурено, желтый тусклый свет. Полосы, подборки заметок, исступленное писание, неряшливые лиловые буквы, пальцы, измазанные чернилами. Крутишься вокруг десятка желтых, тупых, скучных слов, что стекают с твоего пера — соревнование, творчество, обязательство, план.

Но это было потом, годы спустя, а первое время я как нож в масло входил в заводскую жизнь, упоенно познавая и впитывая ее в свое молодое сознание.

Главный проспект. Видится мне по прошествии стольких лет, когда завода давно уже нет на этом свете и след его простыл на северо-восточной окраине города, словно растворился он в воздухе, как растворился дом, где я прожил тридцать лет, так что

вместо заводских корпусов какие-то бизнес-центры, фитнес-клубы и прочие заведения нынешнего времени, так и видится большой проспект на основной территории.

На многих заводах имеется эта главная магистраль, рассекающая двор между корпусами тусклого, словно придымленного кирпича, и так же едут по ней автокары и пикапы, перевозя детали, так же спешат на совещания мелкие и средние начальники в своих синих халатах, придерживая рукой в зимний день от холодного ветра шапку на голове, так же густеет эта улица народом в обеденный перерыв, и так же становится безлюдной к вечеру, когда слабо светящиеся фонари едва разгоняют сумерки двора.

Сколько ж раз на дню я пробегал по этой улице, где с одной стороны корпус механических цехов, а с другой — вспомогательные цехи — инструментально-штамповый, ремонтно-механический, экспериментальный. Памятью всей жизни помню каждый пролет, каждый проход между станками, каждый металлический трап, что ведет на второй этаж — все исхожено, изучено, опущено в воспоминания.

Вот я, двадцатипятилетний, едва заглянув в редакцию, натянув свою спецовочную куртку, в нагрудном кармане которой блокнот и трубка, (да-да, трубка с мальчишеским гонором раскуриваемая и в цехах, и в редакционной комнате во время писания заметок у окна, выходящего на крыльцо-паперть главного входа, так что текущий через этот вход человеческий поток видит журналиста, склонившегося над блокнотом, прямо-таки тебе молодой Эренбург), так вот, натянув эту куртку, устремляюсь через проходную на главный проспект, в свой ежедневный поход по цехам.

Один день начальника цеха. Между тем Митя вскоре после моего прихода на завод стал начальником прессового цеха. Мы встречались нечасто, все больше на каких-то оперативках, заседаниях, где и словом не перемолвишься. Однажды я попросил разрешения провести с ним целый день, решив рассказать об одном дне начальника цеха

— Но только условие, — усмехнулся Митя, — ты покажешь мне то, что напишешь, до публикации.

Я пообещал, и мы уговорились встретиться на следующее утро в 7.30 в его кабинете.

Пришел я, как и договаривались, но начальника цеха уже не застал. Пуст был коридор цеховых служб, там начинали в восемь. Пуст кабинет Мити. Его стол — у окна. Пачка бумаг, пепельница-поршень. У двери — еще один стол, судя по машинке, для секретарши. Вдоль стены — третий, длинный, сваренный из «уголка» — для заседаний. Кожа стульев засалена от халатов и спецовок. По стенам — графики, в красках выполненный самодельный плакат: «Рекомендуемая гамма цветов для окраски интерьера и оборудования 12-метрового пролета» — НОТ, научная организация труда, техническая эстетика — модные тогда на производстве игрушки.

Я посидел минут пятнадцать в тишине этого августовского утра, прислушиваясь к мерному содроганию пола — внизу работали прессы — и пошел в цеховые пролеты.

Митя стоял у пресса в окружении людей, предаваясь странному на посторонний взгляд занятию — осторожно поглаживал рукой, одетой в чистую мягкую рукавицу, только что отштампованную крышу кузова. Я знал, что означает это сосредоточенное поглаживание, — искривилась поверхность стального листа, что-то случилось со штампом.

Несколько часов спустя на моих глазах в кабинет вошел начальник ОТК кузовного цеха, неся злополучную крышу. Положил на стол и стал демонстративно гладить.

— Не гладь, не гладь, — сказал Митя, — знаю. До вечера продержитесь на заделе?

— Продержимся.

— Ну, держитесь.

Но этот разговор был после обеда. А пока он сокрушенно вздохнул, отбросил рукавицу и пошел по пролету.

Так начался этот день, полный ходьбы по скользким металлическим плиткам пола, по узким пролетам, впрочем, с утра еще не очень узким, а к вечеру — уже заставленным ящиками с деталями, среди частого стрекота мелких штампов и гулкого грозного уханья — крупных, среди лавирующих автокаров, под плывущей высоко над головой рамой крана... Стремительное путешествие по известному лишь моему спутнику маршруту.

В конторке одного из участков — зыбкой, сотрясаемой от грохота прессов комнатке — рассматриваем вместе с мастером график заделов — на цеховом жаргоне «тянучку». Красные линии, исходящие от номеров одних деталей, вытянулись до середины листа миллиметровки, другие были в самом ее начале. Эти последние означали, что заделы подходят к концу, надо создавать новые, переставлять штампы. Несколько цифр в блокнот и снова — в пролеты.

Стоп. На неработающем прессе вращается маховик. Митя выхватывает у проходящего слесаря рукавицы и — вверх по лестнице на трехэтажной высоты колонну пресса, чтобы по локоть погрузить руки в его начинку. Через несколько минут уже внизу, встретив механика, машет рукой в сторону вращающегося маховика.

— Это электрики виноваты, Дмитрий Николаевич, — говорит механик. — Клапан-то работает.

— Нет, не работает.

— Работает.

— Я только что проверял.

Вскоре наверху у маховика уже несколько человек.

Остановка у другого пресса. Разговор с бригадой — конфликт из-за норм.

Навстречу электрик.

— Дмитрий Николаевич, течет с крыши прямо на пресс. Укутали электрошкаф тряпками, но это черт знает что.

Оказывается, на улице дождь — летний, августовский. Спешим в хозслужбу. Ведь с утра же посылалась бригада промазать швы на крыше.

И снова, снова — дьявольское, изнурительное кружение по цеху. Какой-то бесконечный комариный налет дел, встреч, разговоров.

— Увольняется рабочий.

— Забило стружкой транспортер.

— Ремонтники требуют отгула.

— Снабженцы доставили не ту сталь.

Кажется, конца-края этому нет, словно волной накрывает, так что воздуху не успеваешь глотнуть.

А в пятом часу в пролете крупных штампов раздался скрежет. Ползун пресса, на котором штамповались лонжероны, опустился в последний раз, и бригада тихонько отошла в сторону.

Митя, выхватив у бригадира рукавицы, вихрем — наверх. Покопался там несколько минут, медленно спустился, отдал рукавицы и впервые за весь день попросил у меня сигарету.

— Эй, не кури, Дмитрий Николаевич, — сказал, подходя, пожилой диспетчер. — С твоей работой курить — совсем загнешься.

— Что будем делать? Шестерни полетели.

Через несколько минут у пресса все руководство корпуса. Тут ЧП уже не только цехового масштаба. Если через два часа штамповка лонжеронов не начнется, завтра встанет кузовной конвейер, а там маячит простой цеха окраски, и дальше, дальше словно по цепочке пойдет замирание производства вплоть до главного конвейера. Но

об этом в толпе людей, собравшихся у больного пресса, не говорят. Все и так всё понимают. Говорят о том, какое решение принять.

Немедленный ремонт? Это в лучшем случае потеря часа, а в худшем — трех-четырех. Переставить штамп лонжерона на другой пресс, работающий на задел? Не хотелось бы сбивать уже установившийся ритм, да и перестановка штампа — тоже два часа. Правда, тут уж верных два часа. Риска меньше, чем в первом случае. Рисковать с тем, чтобы обернуться всего за час. Или уж без всякого риска потерять сразу два — решать Мите. Решил не рисковать. Вызвал наладчиков.

А еще через двадцать минут замерла целая цепочка прессов, штампующих крышу кузова — на одном из них полетел подшипник. И сразу же взлетела в воздух и поплыла над головами подцепленная краном огромная металлическая стремянка. Опустилась точно у пресса, и вскарабкались по ней двое черномазых, как из преисподней, ремонтников. Орудуя тяжелыми ключами, открыли массивную зеленую крышку с выпуклыми латинскими буквами — «Kliring».

Еще утром Митя говорил, пожимая плечами: «День как день, все как обычно»... А сейчас сам сказал, тяжело проведя ладонью по лбу: «Пожалуй, в недобрый час ты попал. Что-то очень уж горячо сегодня».

— Знаю, знаю, — скажет он мне вечером с горестной иронией, — каким должен быть в твоем представлении мой день. Знаю, что должен сидеть за столом, а не бегать по участкам, заниматься перспективой, а не графиком, работать с людьми, а не с прессами. Для оборудования — механик, за графиком следит диспетчер, а моя забота — перспектива, кадры. Всё знаю, и может, так и будет когда-нибудь. А пока — прессы старые, изношенные до предела, едва успеваем ремонтировать, загружаем-то их под самую завязку и еще выше. Программа в этом году выросла на двенадцать процентов при тех же возможностях производства. Вот и поуправляй тут по науке. Тысяча двести человек у меня. Это ж и не цех, а завод, и завод, который все время лихорадит...

В девятом часу вечера он сидит в кабинете в позе тяжело уставшего человека, навалившись грудью на стол, спортивная куртка распахнута. Сидит, опустив коротко стриженную голову, вытянув пожелтевшие руки с обручальным кольцом на левой. Он курит вторую за день сигарету, и мы вдвоем осмысливаем прожитый день.

Да, беды цеховые очевидны даже для меня — огромный, на двенадцать процентов рост программы при старом, до предела изношенном оборудовании.

— Неужели плановый отдел не понимает, на какую жизнь он обрекает тебя, давая такой план? В конце концов, ты мог бы поговорить с Иваном, все же друзья детства.

— При чем здесь Иван? Он всего лишь зам. Начальник же, как тебе известно, Матвей Колбасов.

Колбасов был старый, сталинской выучки экономист, искушенный во всех хитростях формирования плана и имеющий надежные выходы на министерство. Наш дружок Ванька Жирный (впрочем, никто его давно так не называл, только мы с Митей помнили это его детское прозвище) проходил у него хорошую школу, готовясь после, как говорили, скорого ухода Колбасова на пенсию занять его место.

— При чем тут Иван, — повторил Митя. — Наши цеховые двенадцать процентов взялись из-за того, что в Ижевске на заводе-филиале должны были уже освоить прессовое производство, да вот не освоили, дело для них новое, а продукция запланирована, брать ее неоткуда, и в результате у меня такая большая прибавка к плану.

Ситуация складывалась классическая, кричи не кричи, доказывай не доказывай, что не должен ты за чужие грехи расплачиваться, что у тебя резервов не осталось, а никуда не денешься — дашь эти двенадцать процентов, иначе расстанешься с должностью. Бейся, мечись, ругайся, а план дай — первая производственная заповедь, которая на заводе усвоена давным-давно.

— Что же дальше? — спрашиваю я. — Чего ждать в будущем? Не вечно же в этой авральной круговерти жить, так ведь и до инфаркта недалеко.

— Да ведь я знал, на что шел, — устало отвечает он.

Лицо его тускнело, голос слабел. Видно, усталость наваливалась на него тяжким грузом. Не до меня ему было, не до моих «детских» вопросов. Ему предстояло еще идти вниз, в пролеты

Нет, не заглядывали мы в тот вечер в дальние дали. Рокот цеха, сотрясавший нашу комнату, сломанный пресс, ждущий его там, внизу, словно держали наш разговор на привязи. И потому не гадали мы о тех временах, когда исчезнет это постоянное физическое и нервное напряжение, эта сумрачная цеховая теснота и будет светло, спокойно и радостно. Да и будет ли?

Я понимал, что производство уже выварило его в семи водах со щелоком, приучило не бунтовать, не возмущаться, а смотреть на вещи трезво, не переоценивать свои силы, не отрицать и не ломать все, что было до него.

— Понимаешь, — говорил Митя в тот вечер, — легко предложить позитивную программу, но куда как трудно осуществить ее в реальных условиях. Каждый студент-автостроитель может спроектировать автомобиль. И конструкция будет современной, смелой. Только попробуй освоить производство такой машины на обычном автозаводе с обычными затратами, при существующих технологиях. Требовать, чтобы мне дали новое оборудование, научно-обоснованный план, в достатке людей, попросторнее помещения... Только кто даст? Директор? Министр? Никто ничего не даст, надо работать с тем, что есть. Работать в существующих условиях, с этими людьми, кстати, очень неплохими людьми. Надо в реальной ситуации сделать все, что можно, не прожектерствуя, не фантазируя. Ты можешь обвинить меня в конформизме, в примирении с этой невозможной действительностью. Но в противном случае надо уходить с завода, а я хочу делать реальное дело.

Мы расставались поздно. Работала уже ночная смена. И ритм цеховой жизни был ночной, более ровный, чем днем. В пролетах стало просторнее и словно бы меньше людей. Я пошел на выход, а он — к сломанному прессу, на верху которого возились ремонтники. Митя вскарабкался туда же, и долго еще в тусклом свете ночного пролета маячила мне его фигура над маховиком замершего пресса.

(Окончание в следующем номере)

Татьяна Полетаева

Истории прошлых лет

Есть несколько историй, которые не оставляют меня. И я знаю, как сделать, чтобы они не возвращались ко мне снова и снова — их надо записать. Обычно это истории о тех, кто не пишет историй или если их героев нет на свете. И можно увидеть, как в том живом зеркале жизни, словно в калейдоскопе, несколько цветных стеклышек складываются в неповторимый, многоцветный и причудливый узор.

Портрет

У меня есть две мамины фотографии в юности. На одной она с младшим братом Дмитрием. На фотографии у мамы правильный и мягкий овал и взгляд тоже мягкий. Здесь это не видно, но глаза у нее зелено-карие, открытый лоб с волной темных волос, узкие, как будто нарисованные брови, губы, чуть тронутые улыбкой. В жизни ей нечасто удавалось улыбаться: юность пришлась на войну, работу на военном заводе в эвакуации и на послевоенную трудную жизнь матери-одиночки с двумя детьми. На другой фотографии она лет четырнадцати у гробика с младенцем — ребенком сестры Анисьи и ее мужа Ваньки Кваса, как называли его в деревне за скандальный нрав. На этой фотографии дядя Ваня как две капли воды похож на американского актера Каспера Ван Дина из «Звёздного десанта». Непонятно, каким образом у моего дяди, сначала рязанского деревенского парня, а потом коммуниста и начальника ОБХСС[1], на другом конце света через пятьдесят лет появился двойник: морпех, сын кадрового военного, потомок индейцев и голландцев. Видимо, и правда, все мы дети Адама.

Всю жизнь мать писала мне подробные «объяснительные» записки на несколько страниц, исписанные вкруговую ее волнениями, советами, пояснениями и приписками в углах и сбоку листа: как и что нужно сделать. Ей казалось, что так она убережет меня от всех возможных неприятностей и неожиданностей. Вот образчики ее живой речи: «Улетела ты моя голубка... Таня, ты у меня как летчица, так скользко, а ты где-то носишься... Ходишь с мешком (про модную тогда сумку-торбу), как Петрушка, и ключи теряешь...» Сестре обо мне: «У нее всегда пожар горит...» Провожая меня: «Опять поезда догоняешь...» Когда я училась в Ленинграде, она посылала мне длинные телеграммы по пятьдесят слов и жаловалась, что телеграфистки отказывались их принимать, требуя сократить текст. В письмах она обращалась ко мне не иначе как

Полетаева Татьяна Николаевна — поэт, автор баллад и сказок, член Союза российских писателей. Родилась в 1949 году в Москве. В 70-е годы участвовала во всех выпусках самиздатской поэтической антологии «Московское время». Автор многочисленных поэтических книг и сказочных повестей. Живет в Москве.

[1] Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности.

куколка моя, солнышко, птичка, чижик, куропаточка, а еще несносная девчонка и непослушница. Если бы я вздумала собрать ласковые эпитеты моих возлюбленных вместе, они бы не перекрыли потока маминой нежности.

Когда мать заканчивала какое-то долгое и трудное дело, то наряжалась и, улыбаясь, говорила о себе: «Ангел в отпуске». И я в детстве думала, что мамин ангел вовсе не похож на обычного ангела: он такой трудяга, да к тому же у него есть отпуск. Мать давно не говорит со мной и даже почти не снится. Но я не могу сказать, что ее нет. Иногда я вижу ее совершенно отчетливо между дел и мыслей, вот как сейчас. Не лицо, а лишь ее силуэт, ее голос, ее запах, ее прохладную ладонь на моем пылающем лбу, горячую опрокидывающую волну нежности, исходящую от нее. А я за пустыми делами так и не успела записать замечательные песни, которые она пела, и не успела сказать, что очень ее люблю, — мне казалось, что она вечная.

Первое, что я помню: как сижу посреди комнаты на тахте в красном с вышивкой пальто, а рядом стоит мама с большим животом. Значит, мне еще нет двух лет и сестра еще не родилась. Я вижу комнату в бараке, метров пятнадцать, она кажется мне огромной залой. В более поздних воспоминаниях комнату разделяют платяной шкаф и простыня, натянутая между ним и стеной. Я вижу стену, расписанную вручную: на серебряном поле мелкие розовые цветочки с зелеными листьями. Эти цветочки рисовала соседка-малярша. У окна — большая табуретка вместо стола и детская коричневая коляска, в которой спит уже родившаяся сестра, а я сплю с мамой на раскладушке. Точнее, спит мама, а я бужу ее: «Мама, читай дальше!» Я даже пытаюсь открыть ей глаза. Мне невдомек, что скоро час ночи, по радио давно отзвучал гимн, а в пять утра ей вставать, открывать палатку «Союзпечати», где она работает. Мама, с трудом разлепив глаза, читает мне, как падчерицу послали в ночь раздобыть огня и как скачет мимо нее «всадник, сам белый и конь под ним белый». Я и сейчас вижу перед собой этого белого всадника — пока я писала, уже рассвело...

Восхитительные и жутковатые русские сказки из сборника Афанасьева и мамины «жестокие» городские романсы — самые яркие воспоминания детства. Вместо колыбельной мама пела мне: «По Дону гуляет» — и на словах «вот тронулся поезд — обрушился мост» я представляла себе крушение железнодорожного состава, а не конный свадебный кортеж. Помню еще одну жалостливую песню, я ее потом никогда не слышала. Песня была про умирающую в степи цыганку. Она начиналась так: «Разбудил меня стон в эту темную ночь...» Далее сюжет разворачивался почти как в романе «Воскресение»[1]. После слов: «вся в огне и в бреду, в рамке черных кудрей — он узнал, но она не узнала» — по моим щекам катились слезы, и мать говорила: «Что же ты плачешь, глупая, это же песня». Я не признавалась, что плачу, потому что мне жалко цыганку, а говорила, что вспомнила папу. Но папу я не могла помнить. Поскольку в моем свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, мне, конечно, было интересно узнать о нем. Со временем я поняла, что знаю о нем достаточно. Все эти сказочные фантазии, песни, стихи, слезы и чувства через край — все это от мамы. А здравый смысл, страхующий меня от возможных последствий этого фантасмагорического наследства, — это от отца. Незадолго до смерти мама сказала, что случайно встретила моего отца, и хотя у него были семья и дети, он просил позволения увидеть меня. Она не позволила.

Мать называла нашим с сестрой отцом своего гражданского мужа, инженера-строителя. Она заговорила о моем отце, когда я уже была взрослой. После того, как я спросила ее: «Почему у нас с сестрой разные отцы?» Мать посмотрела на меня затравленно и вдруг сказала: «А ты знаешь, что это твоя тетка Настька влезла между мной и твоим отцом? Только у нее родился мертвый ребенок, а ты родилась живая, "в рубашке", так что должна быть счастливой». И заплакала, должно быть, я ее обидела

[1] Роман Льва Толстого.

своим вопросом. Настька — белокурая и ангелоподобная младшая мамина сестра. Она потом вышла замуж за директора завода, и у них родился сын. Но в моем детстве ее не было, мама общалась лишь со старшими сестрами. Со временем сестры помирились, и мы бывали у тети Насти. Но чаще мы бывали на каникулах в Тушино у маминого брата Дмитрия, двумя годами младше ее. Однажды на Новый год дядя с тетей ушли в гости, оставив нас с сестрой с двумя младшими двоюродными братьями, телевизором и целым тазом пирогов. Когда они вернулись утром, все были в порядке, только таз был пустой.

На Новый год мать ставила в кувшин на табурет пушистую, зеленую и пахучую ветку, принесенную с елочного базара. Мы украшали ее бумажными флажками, звездами, дождем из фольги и картонными рыбкой, зайцем и уткой. Деда Мороза мать вырезала из новогоднего плаката и наклеила на картонку от обувной коробки. Однажды сестра вырезала из новой тюлевой занавески цветочки, для украшений. Попало, конечно, мне: за то, что не уследила. А занавеска так и висела на окне вся в дырочках, пока ее не заменили новой. Позднее появились у нас разноцветные стеклянные бусы, стеклянные шары, сосульки и шишки. Мы с сестрой надевали на себя тюлевые накидки с подушек, а мать заводила патефон и ставила пластинку: «Ой-да на речке, было на Фонтанке: стоял извозчик, стал быть, молодой». Когда я через много лет оказалась впервые в Питере и стояла на берегу реки Фонтанки, то на меня повеяло запахом хвои, теплом и деревянным бараком. А еще я вспомнила, как весной, когда сходил снег, мы, мелкота, высыпали во двор и делали лунки в земле, куда клали фантик, монетку или бусинку, прикрывая их осколком стекла и горстью земли. Чтобы потом откопать свой «клад», спрятанный за мутным, подсвеченным изнутри стеклышком.

Итальянцы

Мамина мать, моя бабушка Мария была из мещан, ее родители умерли во время голода 1891—92 годов, и она воспитывалась в приюте. Бабушка была очень набожная и по достижении восемнадцати лет собиралась принять постриг. Тем летом она работала у священника, своего духовного отца, в его имении под Ново-Иерусалимом. Там Марию и увидел мой дед, которого пригласили туда по плотницкому делу. Дед влюбился в работящую и строгую красавицу и позвал ее замуж. «Я не замуж собираюсь, я на послушании — собираюсь постричься в монахини», — строго ответила девушка. Дед не отступился и пошел к ее духовному отцу просить отдать Марию ему в жены, и тот согласился. «Вот что, Мария, Бог посылает тебе мужа, и значит, твое послушание жить в миру, выходить замуж и рожать детей», — напутствовал духовный отец, отправляя сиротку в огромный чужой мир. Венчались дед с бабкой в ближайшем с деревней деда Христорождественском храме в селе Юркино.

Впервые я увидела мамину церкву (как она ее называла), когда она повезла нас с сестрой в Ново-Иерусалимский монастырь. После войны прошло лет пятнадцать, и монастырь был практически в развалинах. Мама охала: «А какой красивый был до войны!» Мы переночевали у знакомых в Истре и потом полдня шли пешком до этого самого Юркина. («И чего вы пешком-то шли, там теперь автобус ходит», — говорила потом сестра матери Анисья.) Когда подошли к церкви, хлынул дождь, и мать, перекрестившись, завела нас под гулкие высокие своды. «Ну, вот и свиделись», — сказала она, когда мы разыскали неподалеку от старинных надгробных плит простую с железным крестом бабушкину могилу. Так что до соседнего с Егорихой Сорокина мы добрались лишь к вечеру. Там нас угостили яичницей с сомом, выловленным здесь же в узкой и быстрой речке. Утром отправились за три километра в мамину деревню. Дорога привела нас на опушку леса, где мы нашли землянику, деревню мы не нашли,

ее немцы сожгли. Мать ходила по поляне и говорила: «Вот здесь стоял отцовский дом, а там бабушкин — меня в честь нее Евдокией назвали...»

Несколько лет назад мы с сестрой и ее мужем были у матери на кладбище, они заезжают туда по дороге на дачу. Мама похоронена рядом с бабушкой, как она просила, и совсем рядом со старинной церковью, где венчались дед с бабушкой, где крестили ее и всех ее братьев и сестер. Когда мы возились с уборкой могил и сажали цветы, проходивший мимо старик (видимо, был у кого-то из своих) поинтересовался:

— Чьи вы?

— Здесь похоронены родные жены — Полетаевы они, — ответил шурин.

— Полетаевых я хорошо помню, у них все девки красивые были, парни из-за них все время дрались.

И посмотрел на мою статную, белокурую и голубоглазую сестру.

Когда я приезжала к маме в последний раз, старый храм стоял в лесах, и перед ним появилась табличка: «Христорождественский храм села Юркино. Памятник архитектуры федерального значения. Один из самых ранних образцов вотчинного каменного храма в Подмосковье. Построен предположительно в 1490—1500 годы при участии итальянских мастеров в родовой вотчине боярина Якова Семёновича Голохвастова. В 1823 г. на средства князя Петра Николаевича Оболенского пристроена трапезная с приделами: один — святителю Николаю, а второй — священномученикам Клименту Папе Римскому и Петру Александрийскому, а также колокольня в три яруса. В конце 30-х годов храм был закрыт. В 1948 году была разрушена трапезная».

Пока я читала, с лесов спустились двое рабочих.

— Как идет работа? — спросила я.

— Вот кирпич в руках рассыпается...

И только в электричке, возвращаясь в Москву, я сообразила, почему весь день эта фраза про рассыпающийся кирпич не давала мне покоя. Еще бы, ведь этим кирпичам больше пятисот лет. Если храм строили итальянцы на рубеже пятнадцатого- шестнадцатого веков, то это те самые итальянцы, что и Кремль и храмы кремлевские строили. Кирпичное строительство на Руси за время татаро-монгольского нашествия было забыто. Первый кирпичный завод был построен в Москве при Иване III знаменитым итальянским архитектором и инженером Рудольфо Фиораванти. Об этом довольно подробно написано в летописи. Как итальянец за неделю разбил тараном предыдущий обрушившийся собор, как забил в глубокие рвы дубовые сваи. Как потом соорудил новую печь для обжига кирпичей и предложил новый способ приготовления раствора (как «засохнет, то ножом невозможно отколупать»). А своды собора впервые на Руси Фиораванти выложил толщиною в один кирпич, используя в строительстве механический подъемник и железные тяги. Эту историю я в течение десяти лет рассказывала, когда водила экскурсии по Кремлю, пока за публикацию стихов во Франции в 1982 году меня не уволили с этой работы.

А история была замечательная — о том, как великий князь Иван III пригласил итальянского архитектора и инженера построить храм за двадцать фунтов серебра в год (большие деньги по тем временам). Итальянец получил этот выгодный заказ по ходатайству княжеской жены Софьи, своей землячки. На заработки он отправился с сыном и подмастерьями. Как приехал, разобрал развалины и заложил основание нового храма. Посмотрел правитель и приказал разобрать все, а строителя отправил на экскурсию по русским достопримечательностям, чтобы освоил национальный колорит. Не прошло и двух лет — и поднялся храм «высок, чуден и светел», как написали в летописи. Великий князь остался доволен, но деньги платить не торопился: теперь надо бы храм стеной обнести. А инженер возьми и скажи: «Это не мое дело — мне домой пора». Тогда правитель велел схватить инженера, да и сына заодно, под замок посадил и пригрозил: «Не построишь мне крепость — сгною, построишь — отпущу с миром». Так в местной тюрьме, в «яме» и чертил чертежи будущей крепости

злополучный инженер. Как чертежи нарисовал — из тюрьмы выпустили. А тут война, правителю пушки нужны. «Поставь мне, — говорит, — литейный двор, тогда и денег дам, и домой отпущу». Что тут поделаешь? Поставил инженер литейный двор да и на войну отправился старшим пушкарем или, как теперь бы назвали, инструктором по стрельбе. Все это продолжалось без малого десять лет. Там на дороге, в артиллерийском обозе, от чахотки и умер старик, там и похоронили. И крепость уже его подмастерья достраивали. А сына того инженера правитель потом домой отпустил. Так что стоит теперь в центре нашего города крепость, по чертежам итальянца построенная, и водят по ней экскурсии мимо царь-пушки и царь-колокола, отлитых на его литейном дворе...

Итальянцы, строившие Кремль и кремлевские соборы, были любимым сюжетом в моей экскурсии. Я даже балладу написала «Чудесный гений» (так в Италии называли Фиораванти, а еще Аристотелем — за блестящий математический ум и изобретательность). Он так и сгинул на русских просторах, но его имя — архитектора главного русского собора, автора проекта стен и башен существующего и поныне московского Кремля, основателя не только литейного, но и монетного двора — навсегда вписано в историю русского искусства. А еще оно удивительным образом оказалось вписанным в мою семейную и личную летопись.

Детство

После войны и возвращения с Урала в Москву мама сначала снимала угол в одном из сретенских переулков. В отличие от Сретенки и общежития в послевоенной школе, которые я помню смутно, коммуналку в Марьиной роще в длинном двухэтажном деревянном бараке с котельной в подвале, топившейся углем, я хорошо помню. Там я жила с года до пятнадцати лет. Мама и ее сестры, к которым мы ходили в гости, все жили в старых деревянных домах: в коммуналке или в общежитии, а то и как мы, в перегороженной комнате. Даже в семидесятые годы я водила своих друзей по «деревянной Марьиной роще». Тогда эти домики еще стояли по одной стороне Шереметьевской улицы.

В детстве у меня была одна-единственная кукла, пластмассовая Люська, с незакрывающимися нарисованными голубыми глазами и нарисованными короткими каштановыми волосами. Когда ее купили, она была совсем голая, и мама сшила ей платье из моего старого. Я одевала ее, кормила, пытаясь просунуть в стиснутый пластмассовый рот ложку с манной кашей. Я разговаривала с ней и укладывала спать, напевая: «Спи, Люська, спи, халюська». Когда я подросла, сшила кукле новое платье из маминого, которое мне так нравилось. За что получила трепку. «Один раз ты меня побила», — напомнила я матери об этом случае, будучи уже взрослой. «Полотенцем помахала», — ответила она. Отругав нас с сестрой дома за наши детские шалости, на людях она нас всегда отчаянно защищала, как тигрица своих детенышей. На Крещенье мама приносила из церкви святую воду. Обрызгав все четыре угла нашей барачной комнаты, она неожиданно брызгала на нас, и мы с сестрой с визгом разбегались. Она отлавливала нас по одной и попеременно умывала святой водой со словами: «Чтоб не хворали». Мать сама недоедала, время было послевоенное, голодное, но мы с сестрой были всегда сыты и чисто одеты. Помню, как однажды мать принесла с рынка большую гроздь винограда (фрукты были в доме редкостью), съела несколько подпорченных ягод, а остальное отдала нам.

Когда пришло мое время идти в школу, мать оставила меня дома, сидеть с сестрой, и в первый класс я пошла в восемь лет. Но окончила я десятый класс в тот же год, что и те, кто начал учиться на год раньше меня. Я хорошо помню своих учителей: учительницу литературы, которая влепила мне четверку в четверти, потому что посчитала, что я учусь ниже своих способностей, и учителя пения, от которого я

впервые услышала, что у меня красивый голос. А вот с историчкой отношения у меня не сложились. Она меня невзлюбила за мою неспособность воспроизводить формулировки из учебника, которые я всегда пыталась пересказать своими словами. «Неужели нельзя выучить?» — возмущалась она. И как ей было объяснить, что мне стыдно было повторять казенные фразы. А потом оказалось, что это мое свойство не повторять чужого, а все пересказывать по-своему и своими словами — главное поэтическое свойство, да и любое творческое тоже.

Нелюбимым учителям мы подносили в праздники цветы с могил соседнего Миусского кладбища. Помню запись в дневнике учительницы по рисованию: «Съела яблоко, которое надо было нарисовать» (между прочим, я съела свое яблоко). Справедливости ради скажу, что наши учителя были не лучше и не хуже других. А мы иногда были даже слишком жестоки: учительницу по литературе за ее малый рост мы прозвали Гнидой. Моя учительница по математике упорно ставила мне тройки за то, что я не делала домашних заданий. После урока она заставляла меня сделать несделанное, за что в тетрадку ставила пять, а в журнал путем сложения — тройку. У меня в тетрадке по ее предмету так и стояли две оценки: 2, 5 — 2, 5. Тогда ее усредненная тройка казалась мне несправедливой, ведь в итоге я знала эту математику если не на пять, то точно на твердую четверку. Теперь я понимаю, что математичка не зря носила звание заслуженной учительницы, она нашла способ научить чему-то такую лентяйку, как я. Обычно я не готовила никаких уроков, а если изредка и готовила, то на табуретке — стола в нашем пятиметровом отгороженном углу не было. Я напоминаю об этой табуретке своей дочери, когда она говорит, что у нее (в девяностые годы) было «бедное детство».

Зимой во дворе заливали каток, и мы строили высокую, в человеческий рост, ледяную крепость, которую попеременно то защищали, то захватывали. Я помню, что зимы в моем детстве были холодные и крепость не таяла до конца марта. Когда сходил снег и асфальт высыхал, мы перемещались со двора на улицу. Старшие девочки выносили длинную веревку и начинали по очереди крутить ее и прыгать: двое крутят, двое прыгают. Прыгали они виртуозно: боком, задом, передом, одна, другая, третья — впрыгивая под веревку поочередно и вместе с веревкой напоминали разноцветную гирлянду. А вокруг малышня со своими короткими скакалками, все это происходило прямо на проезжей части нашего Стрелецкого переулка, перегородив его полностью. Во дворе на крыше сарая была голубятня, и мальчишки с пронзительным свистом гоняли голубей. И был один на весь двор велосипед, собранный из металлолома. Иногда к нам забредал старьевщик. Услышав возглас: «Старье берем!» — народ высыпал на улицу, кто с чем: банки, бутылки, старая посуда, кастрюли, поломанные часы и настольная лампа, ношеная одежда и обувь. Все это старик придирчиво рассматривал и если складывал в свой мешок, то выдавал счастливцам — кому мячик на резинке, набитый опилками, кому деревянный свисток, кому красного леденцового петуха на палочке. Иногда за эти дары дети приносили из дома и хорошие вещи, за что потом были биты. А еще мы сооружали подобие сцены во дворе и играли пьесы, которые сами сочиняли.

Начиная с шестого класса, я ходила в самые разные кружки: танцевальный, драматический, в литстудию — и пела в квартете местного ДК. Однажды мне пришлось поздно возвращаться с очередного занятия. И тут впереди появилась кодла: человек восемь парней. Повернуть назад поздно, обойти не получится — они шли, перегородив тротуар. В такой ситуации главное вычислить вожака. «Там дальше так темно и страшно, вы не проводите меня?» — обратилась я к одному и не ошиблась. Незнакомец присвистнул, секунду разглядывал меня с некоторым удивлением и сделал знак своим дружкам исчезнуть. Они тотчас рассеялись. Помолчав, он назвал свое имя и всю дорогу рассказывал истории про трудную воровскую жизнь. А в конце спросил: «Не побоюсь ли я завтра встретиться с ним?» Я ответила: «Не побоюсь» (если не я, то

кто же будет его исправлять?). На всякий случай я рассказала об этом своей однокласснице Лидке. Она пришла в ужас и обещала рассказать все моей матери. Мы с ней поссорились, и из-за этого я опоздала на встречу. Когда я пришла к кинотеатру, где мне было назначено свидание, я увидела удаляющийся силуэт. Я окликнула своего вчерашнего провожатого, но он не оглянулся. Думаю, он назвал мне накануне ненастоящее имя, чем избавил меня от возможных будущих неприятностей: например, писания писем на зону. Жалость ко всякого рода «бедным и убогим» — очень русская черта. Однажды, увидев на улице, как пятеро парней бьют одного лежачего ногами по голове, я не удержалась и закричала: «Вы же его убьете!» Они оставили бедолагу и уставились на меня. Побитый убежал, а я, пока шла до дома, тряслась: стукнут сзади по башке и нету дочки у мамочки. Вечно я придумываю приключения на свою задницу.

Из марьинорощинской шпаны самым известным был выпускник нашей школы Александров. Услышав его имя, малышня и девчонки разбегалась врассыпную. Я помню, как услышала это имя впервые. Мы с одноклассницами стояли у ледяной горки, когда наверху появилась высокая фигура. Парень покатился вниз, сшибая всех справа, слева и перед собой. Вопль: «Александров!» — вывел нас из ступора, в панике мы бросились бежать. Вдруг послышался крик — это одна из моих подруг споткнулась, упала и продолжала двигаться ползком по-пластунски, отталкиваясь от снега ботами с меховой оторочкой. Ей только маскхалата не хватало. Увидев это, мы остановились одна за другой и стали смеяться. Смеялись мы так долго, что не заметили, куда делся Александров со свитой. Скорее всего, он даже не заметил, как мы помогали подняться подружке: отряхивали с нее снег и успокаивали.

В детстве во дворе было интересней, чем в школе. Но уже с шестого класса у нас сколотилась девчачья компания, и мы встречались и помимо школы. Я была записана попеременно в двух районных библиотеках, где перечитала все книжки. Чтобы получить приключенческую книгу, требовалось прочитать три книжки всякой скукоты про пионеров, но были там и Волков, и Носов, и Беляев. Начитавшись «Трёх мушкетеров», мы с одноклассницами переписывались во время уроков и подписывались их именами. После мушкетерского почтового братства мы с моими подружками Лариской Балмашевой и Танькой Прибыловой организовали в школе тайное общество, и я написала его гимн. После школы я собралась поступать в Литературный институт, но все неожиданно поменялось. Причиной тому стала моя одноклассница, которая вслед за своим возлюбленным собралась по комсомольской путевке в Тольятти на стройку Волжского автозавода. Она боялась ехать одна и упросила меня помочь и поехать с ней. Я тогда работала секретаршей в архитектурной мастерской, и мои архитекторы отговаривали меня, особенно наш фотограф. Он говорил мне, что работал не на одной стройке, и там нет никакой романтики, одна грязь. А я говорила, что обещала однокласснице и не могу ее обмануть. А вот одноклассница, когда ее предмет обожания в последний момент раздумал, раздумала тоже. Узнала я об этом уже с билетом на руках.

Взрослая жизнь

По приезде на стройку я получила от Таньки письмо: «Бонжур, милая, с приветом Ваш Д'Артаньян! Мари, разрешите вас так называть по старой дружбе. Я признаться был ошарашен (пардон за выражение, иначе я не могу выразить свое изумление), когда узнал, что Вы добровольно покинули наш дорогой Париж. Когда я встретил Атоса (Лариску), то все прояснилось: вместе с ним мы долго ругали Шарлотту (Коркину), которая все это Вам устроила. В общем, я поражен Вашими патриотическими чувствами. Если Вам нужно общество с простым народом, то неужели надо покидать наш любимый город? Но, Слава Богу, Вы уехали только на один год. Будем надеяться,

что Вы на следующий год будете при дворе и поступите в Королевскую академию (институт). Жду с нетерпением Вашего письма. Адью. Целую руки. Ваш верный друг Д'Артаньян. P.S.: Танька, пиши, найди время».

Наше Су-15, строившее подсобные помещения для автозавода, было совсем не похоже на киношные и описанные писателями комсомольские стройки. Нас было восемь девушек-москвичек, и мы по шесть часов в день опускали и поднимали двадцатикилограммовый вибратор в опалубку с бетоном. Вспоминаются бессовестные евтушенковские строки из «Братской ГЭС», воспевающие бетонщицу Нюшку, которая дает в день двести процентов(!) нормы. Поподнимай этот вибратор не год, а дольше, я бы и одного ребенка не смогла родить. На восемь девиц в бригаде было всего два мужика лет по сорок. Работали наши мужички с прохладцей. У них была присказка: лучше лежать, чем сидеть, лучше сидеть, чем стоять, лучше стоять, чем идти и лучше идти, чем бежать. А у одного еще была, как я ее называла, *волчья песня*: и нас никто не любит, и мы никого не любим. На стройку работяги приехали с деньгами, чтобы купить «жигулёнок» по себестоимости (сейчас не помню, но по какой-то очень низкой цене), она полагалась всем строителям. Денег на машину у меня не было, поэтому я ходила на курсы вождения мотоцикла и даже сдала на права. Девушки, приехавшие со мной, были разные: добрая разведенная женщина, мы называли ее мама Валя, маленькая и застенчивая учительница музыки в детском саду, опекавшая ее мужеподобная, не выпускавшая сигарету изо рта Вера и две сестры с московского ЗИЛа. Мне запомнилось, как однажды одна из сестер, поняв, что не добежит до общежития, присела пописать в ближайшем подъезде. Кто-то из жильцов застукал ее за этим делом и вызвал милицию. Молоденький милиционер попытался ее пристыдить: «Не стыдно вам, девушка?» На что она, не моргнув глазом, ответила: «Пусть лучше лопнет моя совесть, чем мочевой пузырь!»

В первую же получку я послала матери деньги, чтобы она вставила себе зубы. В ответ я получила письмо, что она купила на эти деньги радиолу. Совсем как у цыган: «Мы поем и пляшем, значит, мы живем!» Половину заработанных денег я отсылала домой, а еще покупала книги. Там, в Тольятти, я купила подписку на два первых своих четырехтомника Есенина и Лермонтова. Эти собрания сочинений библиотеки «Огонёк» положили начало моей библиотеке. В доме матери книги всегда были, но по прочтении они отправлялись назад в киоск «Союзпечати», в получку мать их покупала, а в конце месяца, когда деньги кончались, относила назад. По сути, мамин киоск был долгое время нашей домашней библиотекой. Когда через год я вернулась в Москву, то привезла с собой чемодан книг и приобретенные мною на стройке специальности: бетонщика, стропальщика, каменщика и мотоциклиста. Только в отличие от книг ни одна из этих специальностей мне в жизни никогда не пригодилась. По возвращении домой меня ждал сюрприз: мать и сестра, обе, вышли замуж. На мой вопрос: как это произошло? — они ответили, что им было скучно без меня... В Московском экскурсионном бюро, куда я пришла наниматься на работу, директор из военных со смешной фамилией Замиралов взял «девочку с косами» организовывать экскурсии. Он же через десять лет уволил меня без сожаления из экскурсоводов за публикацию в парижском «Континенте» пяти моих любовных стихотворений.

На следующий год я прошла творческий конкурс в Литературный институт, но получила полупроходной балл на экзаменах (потом оказалось, что он был проходным). Не дожидаясь окончательного решения, я уехала в Питер. Там начинались еще одни экзамены — в институт культуры (и отдыха, как я его называла), куда меня посылало мое экскурсионное бюро. Предложение было заманчивым: мне должны были платить стипендию в размере моего оклада, что в условиях проживания в чужом городе было немаловажно. Были и личные причины. Сдав экзамены на пятерки, я осталась учиться в Ленинграде. «Это хорошо, что ты поступила не в литературный институт — они бы тебя испортили», — сказал мне потом Саша Сопровский — поэт и мой будущий муж.

Я познакомилась с ним как раз в тот год. Тогда Саша пришел на студию, где разбирали мои стихи, и выступил в роли защитника. Потом вдвоем мы бродили по Москве до ночи, и, вернувшись домой, Сопровский написал подробный разбор моей рукописной книжки, подаренной ему при прощании. Тогда мы так и не познакомились толком, я сразу уехала в Ленинград поступать в институт. Я прочла его записи через сорок с лишним лет и обнаружила, что мое основное качество: «внутренняя свобода». Меня удивило и обрадовало то, что с первого дня нашего знакомства Саша понял, что для меня было самым важным: эта самая внутренняя свобода, свобода от чужих мнений, пристрастий, вкусов и других предпочтений времени. Возможно, он это понял, потому что сам в еще большей степени обладал такой свободой. Например, творчество Сопровский рассматривал как попытку приблизиться к Творцу, а не к читателю. Читателя он просто не брал в расчет, даже если этот читатель был из его близкого поэтического окружения. Например, в конце 70-х годов друзья укоряли его в том, что он перестал писать лирику, а пишет про мусоровоз и другие советские реалии и как он «флаги красные срывал». А ведь он первый обозначил в стихах то время как «застой». Когда же началась перестройка и все бросились вспоминать советское время, он вернулся к лирике. А о политике писал в своих публицистических статьях. Они не напечатаны, так же как и некоторые его критические статьи, письма и переводы из личного архива.

Предки Сопровского были, как и Саша, бунтарского склада — сплошь революционеры. Его дед со стороны отца Зиновий Магергут участвовал в Октябрьском перевороте и позже как эсер был сослан и из ссылки не вернулся. А прадед со стороны матери граф де Лаваль во время Великой Французской революции встал на сторону восставших и после Реставрации вынужден был эмигрировать в Россию. Мать Сопровского говорила, что у нее в роду были не только французы и поляки, но и русские дворяне — декабристы. Когда в 2017 году я была на фестивале в Иркутске, то попросила Игоря Дронова показать мне, где похоронен Колчак. Там на берегу реки стоит деревянный крест и памятник адмиралу рядом со Знаменским монастырем. Когда я зашла на территорию монастыря, то почему-то первое, что увидела, — могилу жены декабриста Трубецкого Екатерины Трубецкой и их детей: Никиты, Владимира и Софьи. Я потом сказала Игорю про декабристов: только не помню — Волконские, Трубецкие или еще кто. «Так Екатерина Трубецкая — урожденная Лаваль», — заметил Игорь.

В семье Сопровского от тех времен ничего не сохранилось, только несколько фотографий и пачка писем Сашиной бабки Станиславы-Лизаветы де Лаваль из блокадного Ленинграда. Большая часть — это письма ее детям, оказавшимся в эвакуации. Графская дочка и мужественная офицерская жена, она как могла поддерживала своими письмами детей и надеялась, что все они скоро будут вместе. В одном из писем она пишет, что еще в октябре 1941 года в городе не осталось ни одной кошки, всех съели! Но что, пережив страшную зиму, они надеются на скорый конец войны. Это последнее письмо датировано 22 июня 1942. Ее муж Георгий Сопровский, который в октябре 1941 года был ранен под Ораниенбаумом, умер тогда же, в августе 1942 года. Революции и войны прошлого века сметали не только известные фамилии и даже целые династии, они не пощадили и рядовых участников.

Однажды, еще в восьмидесятые годы, Сопровский привел меня к двум поэтам — Семёну Израилевичу Липкину и Инне Львовне Лиснянской. Он уже не раз бывал у них в гостях, а я пришла впервые. Увидев меня, Инна Львовна сказала Саше: «Мне говорили, что твоя жена похожа на меня, а тут пришла красавица с косами». От этих слов я так растерялась, что уронила коробку с тортом на пол. К счастью с тортом ничего не случилось, и мы все прошли на кухню. Семён Израилевич сказал, что сегодня угощать гостей чаем его очередь. А Инна Львовна попросила называть ее

запросто Инной. Саша так и делал, а я все-таки предпочла обращаться к ней по имени и отчеству.

— У каждого из нас свои поклонники, — говорила Лиснянская, пока Липкин заваривал чай.

Мы с Сашей сразу разделились: он за Липкина, я за Лиснянскую. Сейчас я люблю их обоих и не разделяю. За чаем Семён Израилевич замечательно рассказывал разные истории. От избытка чувств я тоже что-то начала говорить, но Лиснянская строго остановила меня словами: «Когда Семён Израилевич говорит, его никто не перебивает». Потом она увела нас с Сашей в свою комнату, чтобы почитать свое новое стихотворение. «Я боюсь читать Семёну Израилевичу стихи, он сразу говорит, что писать надо так: «Оратор римский говорил»[1]. Я еще не раз бывала у Липкиных и с Сашей, и позже со своей швейцарской подругой Галей Бови. Однажды Галя, которая пела стихи Лиснянской под гитару, заставила и меня спеть Липкиным несколько моих баллад. Семён Израилевич внимательно слушал, а потом сказал: «Часто бывает так, что приходят люди, читают свои стихи, и чувствуешь неловкость — не знаешь, что им сказать. А тут все понятно: талант, талант!» Инна Львовна ревниво спросила: «А я, Сёма»? На что Липкин мягко ответил: «Ну, конечно, и ты Инночка. Но Таня, Таня...»

Я бережно храню два листочка с их автографами. Один написан рукой Липкина, другой — Лиснянской. Они выписали названия стихов, когда читали рукопись моей первой книжки «Наука любви». Списки лишь в одном случае пересеклись, и по выбору стихов видны их характеры. Лиснянская отметила то, что вызвало у нее вопросы или несогласие, а Липкин отметил стихи, которые ему больше понравились. Он и предисловие к книжке тогда написал, по-моему, единственной среди моих сверстников — чем я горжусь.

Инна Львовна была очень современной, откликающейся на все новое, легкой на подъем. Однажды она приехала к нам с Сашей в Черёмушки (была еще Галя Бови) и с азартом участвовала в веселой викторине, устроенной Сопровским. Тема викторины была: «любимые знаки препинания поэтов». Возможно, это был мой день рожденья, потому что тогда она подарила мне свою книжку стихов с надписью: «Тане Полетаевой — хорошему поэту и человеку, что редкость».

О том, что Семён Израилевич умер, мне сообщил по телефону Сергей Гандлевский: «Я подумал, что нужно тебе сказать, вы же были дружны». В день похорон было холодно, на Переделкинском кладбище раввин отчитал службу, и все пошли пешком в дом отдыха писателей. Там был накрыт стол, выступало много писателей и говорили много добрых слов. Потом поднялся сын Липкина и, обращаясь к Лиснянской, сказал: «Мне, конечно, обидно за мать, но ты была отцу хорошей женой».

На обратном пути уже в такси (с Лиснянской, ее двоюродной сестрой и поэтом Олей Постниковой) мы говорили о Липкине. И я сказала невпопад, что он был очень добрым. Я как сейчас вижу его по-детски широко открытые, светлые глаза.

— Семён Израилевич был очень строгий, — возразила Инна Львовна.

— Да-да, — согласилась я.

А про себя подумала, что все же ко мне он был очень добр.

У меня есть групповая фотография, сделанная, когда мы были в Переделкино у Липкиных целой компанией с Бахытом Кенжеевым, Пашей Крючковым, Юрой Кублановским и Витей Чубаровым, моим вторым мужем. Это было в последний раз, когда я видела Семёна Израилевича и Инну Львовну вместе.

---

[1] Стихотворение Ф.И.Тютчева «Цицерон».

Асташково и его обитатели

Я горожанка, но всякий раз, чтобы писать, я уезжаю в деревню. Сначала это была деревня Барыбино, где мама с отчимом работали, она комендантом, он сторожем на дачах Центросоюза. Там у них был казенный дом и участок, который им обещали отдать по выходе на пенсию, правда, потом обманули. В Барыбино была моя первая дача. На казенном участке мама развела райский сад с клубникой, малиной, черной смородиной сорта «голубая ранняя» и яблонями. Съесть все это было невозможно, и я помогала ей в свои летние каникулы отвозить излишки урожая на рынок продавать. В доме у мамы было ружье, из которого сначала отчим, а потом и она давали залп в воздух, «чтобы разогнать жуликов». А за садовыми участками была настоящая березовая роща. Мой отчим провел на мамином участке, а потом и на всех дачах, водопровод — у него были золотые руки. После Барыбино местом моего летнего отдыха стала деревня под Кимрами с красивым старинным названием Трасловль, что означает отросток, ответвление от главной деревни. А в последние двадцать лет с мая по октябрь я выезжаю в подмосковную деревню Асташково, где в начале 90-х годов после смерти моего первого мужа я начала строить дом и строю его до сих пор. Неподалеку, километрах в десяти отсюда, в деревне Алексеевской — места моего детства. Мы с сестрой провели здесь чудесное лето. Сейчас от всех жителей деревни осталось семь человек. А вот старинная деревня Слободищи на другой стороне Егорьевского шоссе и сегодня насчитывает две сотни жителей. Там есть действующая старообрядческая церковь Иконы Казанской Божией Матери. В тридцатые годы ее закрыли, но после войны открыли вновь. Церковь деревянная, построена в 1882 году.

Места здесь были дикие: леса да болота. В эти болотистые и малопригодные для жизни места Иван III сослал опальных новгородцев, а после религиозного раскола при Алексее Михайловиче сюда бежали староверы. Ими была создана своя образовательная система, когда монашки-келейницы ходили из одного старообрядческого села в другое и обучали детей грамоте. Здесь существовали свой особый быт и культура, «книжная ученость» высоко ценилась. В старообрядческих районах, например, в соседних Гуслицах, грамотным было почти все население, включая женщин. Знаменитые русские фабриканты: Кузнецовы, Рябушинские, Морозовы, Солдатенковы — все они из староверов, так же как и основатель Третьяковской галереи.

По соседству с Асташково есть деревня Молоково (возможно, название произошло от одной из старообрядческих сект — молокан). Когда я двадцать пять лет назад в первый раз ехала в Асташково по Егорьевскому шоссе, то увидела вдруг деревянный, на манер старинных, указатель: деревня Жгель.

— Потрясающе, это же старинное название Гжели! — воскликнула я на весь автобус.

— Да просто с ошибкой написали, — возразил сосед.

Пришлось объяснять, что название села Гжель, где изготавливали и обжигали (отсюда и название) знаменитую с синими цветами посуду, чем-то похожую на немецкий мейсенский фарфор, известно издавна. Целый район представлял собой многочисленные разноименные деревни Огжель, Агжель, Жгель Гжельской волости Бронницкого уезда. С XVII и до XX века здесь работали более полутора сотен крестьянских фарфоро-фаянсовых предприятий. Кстати, стилистика гжельской росписи очень похожа, можно сказать, практически совпадает с узорочными вставками в старообрядческих рукописных богослужебных книгах. И сейчас гжельский завод существует. Несколько лет назад для него в соседнее Молоково приезжали брать глину. Вырыли огромный карьер, после дождей тот наполнился водой. Глина воду держит, так и получилось озеро. Теперь есть где поплавать, а то местная речка Сеченка мелкая, где по грудь, а где и по колено.

А тот старый указатель на Жгель со временем исчез. Наверное, на месте вымершей деревни теперь стоят дачи. Два года назад, когда местный автобус подпрыгивал на ямах и рытвинах дороги, ведущей от железнодорожной станции Шевлягино в Асташково, я увидела не менее замечательный самодельный указатель, предупреждающий: осторожно, ху-вая дорога! Мне кажется, русская особенность состоит не в какой-то там идее, а в стойком юморе народа и в его неистребимом желании называть все своими именами. Через неделю остроумный указатель исчез, на дороге наляпали заплаток и даже белую разметку нанесли. А через два года положили асфальт — похоже, обратная связь все-таки существует.

В моем саду в Асташково кроме кустов и деревьев растут с полсотни разных цветов, трав и растений. Вон зацветает темно-желтыми цветами зверобой, или Иванова трава. Еще народ называет его травой от 99 болезней, он входит почти во все лекарственные сборы. Мята, которой у меня множество, зацветает позже. Ее нежно-зеленые листочки с мелкими сиреневыми цветами, заваренные как чай, приносят сладкий сон и успокоение. Мята известна с древности, о ней упоминается еще в Евангелии от Матфея. Сейчас в саду много небесно-голубых незабудок, они растут по краю клубничных грядок и просто в траве. А весной впервые за много лет выросли несколько ландышей, цветов, редких даже для леса. Иван-чай, сныть, первоцвет, мать-и-мачеха, клевер, пижма, тысячелистник, цикорий, колокольчики, ромашки. Есть, конечно, плодовые деревья и кусты и цветник с розами и лилиями — словом, райский сад. Но в отличие от библейского райского сада в моем саду яблони не растут. Сажали мы их, сажали, но вода близко, и они погибают. Одна яблонька, где повыше, — выжила, но цвести не цветет и яблок не дает. А вот змеи нередко посещают наш сад. Они охотятся здесь на лягушек, а ежик, который повадился приходить к нам из леса, и я его подкармливаю, охотится на самих змей. Еще ежик любит полакомиться очистками от огурцов и помидоров, огрызками яблок или попить из кошачьего блюдечка.

Тут стоит рассказать о наших коте и кошке. Кот Васька — молочно-белая шиншилла. Когда он, сверкая янтарными глазами, почти неслышно мяучит, то от него расходятся круги доброты и любви. Муся — осторожная и умная кошка. По кошачьему тесту она набрала высший бал, не то что добродушный раззява-кот. К тому же она необычной бело-голубой окраски, словом, красавица. Когда я принесла полуторамесячную Мусю домой, она тряслась от страха и поначалу казалась трусихой. Но не прошло и года, как она сбежала на улицу. В ней причудливым образом соединялись боязливость и жажда приключений. Это было летом, и мы с дочерью обежали свой двор и все соседние дворы, зовя её: «Муся, Муся!» Когда наконец мы вернулись назад, то увидели кошку на трубе, опоясывающей наш дом на уровне метра от земли. «А она здесь уже целый час сидит», — сказали бабушки, сидевшие на лавочке у соседнего подъезда. Спрыгнуть с трубы она побоялась, мы бегали и звали её, а она преспокойно наблюдала за нами. Для меня тогда осталось загадкой — как она вышла из дома. Теперь-то я понимаю, что она просто спрыгнула с балкона на трубу (у нас второй этаж), обошла по ней вокруг дома и остановилась там, где труба заканчивалась, — у двери соседнего подъезда.

Её любовь к независимости и путешествиям проявлялась постоянно. Каждый год она убегала из дома, а однажды пропала больше чем на месяц. В день, когда она исчезла, красили подъезд. Возможно, запах краски погнал её на улицу, и он же не помог ей найти дорогу в свой подъезд. Я уже мысленно распрощалась с кошкой, но однажды рано утром мой муж увидел её во дворе. Она одичала и не давалась ему в руки, тогда он вернулся домой и разбудил меня. Когда я её увидела, то не узнала свою кошку: кожа да кости, я боялась, что она не выживет. Муся перестала убегать только после того, как в доме появился Васька. Ваську я увидела на нашей Новочерёмушкинской улице. Женщина несла в клетке двух котят, серого и белого, пушистых невероятно, они были похожи на пару пуховых варежек. Она рассказала, что каждое утро в семь часов

приносит их в магазин на продажу, а вечером забирает. Мне стало жаль котят, и я сказала, что взяла бы одного, чтобы моя кошка не убегала, только денег у меня с собой нет. Женщина согласилась дойти со мной до сбербанка. Пока я получала в кассе нужную тысячу рублей, котята проявили свои характеры. Жемчужно-серый котенок забился в угол клетки от ужаса, а белый пушистик, наоборот, прошелся по подоконнику, всем своим видом показывая доброжелательность и интерес к происходящему. «Васька», — улыбнулся ему какой-то работяга, когда я несла котенка домой. Так он получил свое первое имя. А муж наградил его еще парой имен: Мусин-Пушкин и Дымшиц.

На следующий год мы взяли Ваську с собой на дачу. Был вечер, темнело. Я выпустила кота с рук в траву, и он сначала замер, а потом ползком все смелее и смелее двинулся обследовать дорожки и кусты смородины. Не прошло и десяти минут, как в саду раздались дикие вопли. Я стала звать: «Васик-Васик», и с трудом разглядела серо-белый клубок, катавшийся в траве. Я попыталась растащить двух сцепившихся котов. Схватив ветку, я стала хлестать ею непрошеного гостя Кузю Заречного, пока тот не ретировался. При этом я с трудом удерживала дрожащего от возбуждения Ваську, пытаясь его успокоить. Так проявилась еще одна черта характера моего любимца — отважность. Мой годовалый кот не уступил матерому взрослому нарушителю, защищая свою территорию. Муся, как и положено особе голубых кровей, невозмутимо взирала на все с крыльца.

А до Васьки с Мусей у нас был кот Мурзик, очень добрый и спокойный кот. Маленькая Катька наряжала его в куклино платье и чепчик и катала в игрушечной коляске. Кот путешествовал с нами в Трасловль в металлической сетке для яиц. А однажды он спас нам с дочерью жизнь. Дело было так: ночью я поставила чайник на газовую плиту и, умаявшись за день, нечаянно уснула. Проснулась от того, что кот дико кричит прямо у меня над ухом, дочь тоже проснулась. Очень пахло газом, мы бросились открывать окна — потом еле-еле очухались. После этого случая к имени Мурзика добавилось почетное звание Спасатель. И я купила отключающийся электрический чайник.

Мои кошки вечно приносят мне что-нибудь. Муся поймает мышь в саду и несет мне в дом — похвастаться, поиграет с ней, а потом мышь удерет. Так игривая кошка развела у меня полный дом мышей. Кот тоже гордо приносит мне то птичку, то кузнечика, то лягушку, и я их всех выручаю из цепких кошачьих лап. Здесь летом на воле звериные инстинкты моих кошек обостряются. Они сторожа сада, и я как могу защищаю от них забредшую и залетевшую в наш сад живность. Так, в железную бочку, врытую в землю, попали два десятка лягушек. То ли они сюда попрыгали, чтобы размножиться, когда вода еще не ушла, то ли просто попадали, но уже три недели стоит несусветная жара, в бочке сухо, и я опустила лягушкам большую миску с водой. Так они и сидели по краям миски, как вокруг бассейна. А потом я их эвакуировала, для чего опустила в бочку широкую доску и, заглянув туда через час, увидела, что бочка пуста. А вчера пришлось вылавливать из глубокого колодца ящерицу. Она сутки билась за жизнь, пытаясь выбраться из воды, пока я с двадцатой попытки не вытащила ее ведром, сама чуть туда не свалившись. Возможно, все это глупо, но Господь дал нам не только власть над зверьем и птицами, но и чувство сострадания, чтобы мы оберегали их, как Он оберегает нас.

Помойка

Когда с начала девяностых мы каждое лето стали приезжать в Асташково, нам очень досаждала помойка, которая довольно быстро образовалась поблизости. Она являлась не сразу. Сначала то тут, то там вдоль обочин были видны брошеные пакеты из-под сока и молока, обрывки упаковок из фольги и пластиковые бутылки. Здесь же валялись пустые жестяные банки из-под пива, краски, консервов и еще Бог знает что! Все чаще попадались разбитые стеклянные банки и дырявые кастрюли, старая обувь

и обрывки тряпья. Иногда что-то из этого набора украшало ветки придорожных кустов и растущие вдоль обочины сосны. По мере приближения к ее эпицентру валялся так называемый строительный и тяжелый мусор. Это были обрывки толя, куски стекловаты, деревянная бочка с окаменевшим цементом, пустой короб старого холодильника, ржавая плита, покореженный остов «Запорожца», сгоревший автомобильный мотор, полувыпотрошенный телевизор и разбитый радиоприемник — последние надолго здесь не задерживались. Так же, как старая, разломанная мебель. В самом центре помойки — склад стеклотары.

Постоянные обитатели помойки — добровольные мусорщики из местного населения и приезжие бомжи. Они все время были в работе: подхватывали летящие из окон проезжающих автомобилей пакеты с пищевым мусором, пустыми бутылками и тряпьем. Вытряхивали эти пакеты на землю, рылись в них, классифицируя мусор. Откладывали нужное в сторону, тут же примеряли понравившуюся вещь. Особенно охотились за пустыми бутылками, тогда они стоили по пятьдесят копеек, а то и по рублю, и при особом усердии можно было собрать их на тысячу рублей в месяц. В те бедные, неустроенные годы для деревни это был и местный секонд-хенд, и закусочная: выброшенные просроченные продукты быстро шли в дело, так же как и бутылки с недопитой колой. Однажды какой-то торговец выгрузил здесь целый грузовик подпорченных арбузов. Два дня деревенские и даже дачники несли и везли домой эти арбузы.

У помойки были свои дети, мальчишки, поджигающие мусор и взрывающие бутылки с остатками горючих жидкостей. Потом появились девочки-сиротки, которые предлагали автомобилистам и мусорщикам женские услуги. Прямо в машине или в поле, где давно не растет ничего культурного, но буйство дикорастущих трав. Для полноты картины на этом поле вместе с лекарственной ромашкой и зверобоем мне попался использованный одноразовый шприц. Когда на стихийно образовавшейся помойке местные власти установили контейнер, то сюда стали изредка приезжать мусорщики из районного центра. Но не для того чтобы увезти мусор, а чтобы поджечь контейнер с мусором, так проще — и грузить не надо, и контейнер пустой привозить. А вот гасить никто не приезжал, и черный дым стелился на километр вдоль шоссе. В прошлом году, когда огонь перекинулся на противоположную сторону шоссе, лес загорелся и горел неделю. Помойка быстро заняла пожарище. С каждым годом она росла и расползалась, напоминая собой бесформенную пестро и грязно одетую бродяжку. Она уже захватила лесополосу, часть луга с люпинами и край соседнего ельника

А четверть века назад, когда я сюда впервые приехала, на месте помойки росли рыжики — грибы, которые с незапамятных времен собирали для царского стола. В московской области они обычно не растут из-за плохой экологии, но вот росли же рядом с моим домом. Было интересно отыскивать крепкие приземистые рыжики среди сосновых иголок и песка, вобравшие их зелено-желтые оттенки. На срезе гриб был ярко-оранжевый — такой, каким он будет после засолки. Весной в лесу, там где он подходит вплотную к шоссе, можно было собрать целую корзину ландышей. Здесь же, на пригорках, краснела земляника. Идя вдоль шоссе до поворота, можно было за полчаса собрать литр-два. А со времен заселения этих мест дачниками, идя до поворота, можно лишь собрать сумку бутылок разного калибра (правда, цена им теперь три копейки, и никто их не собирает) и еще сумку пивных алюминиевых банок.

— Между прочим, от алюминиевых банок лет через пятьдесят эта местность будет полностью заражена, и у всех жителей будет болезнь Паркинсона, — говорил наш сосед Коля.

— Слава Богу, что к тому времени меня уже не будет на свете, — отвечала я. — Если, конечно, раньше все не помрем (помойка стояла не только на краю леса, но и на берегу местной речки, куда стекала сверху всякая дрянь).

— Через пятьдесят? Да здесь через пять лет ничего не будет: ни ягод, ни грибов,— говорил Витя (мой муж).

Мы тогда приехали с ним в конце ноября проведать деревенский дом и забрать оставшийся в подполе мешок картошки. В набитой электричке с парнями и девицами, пьющими пиво, лихо матерившимися и курившими прямо в вагоне, мы ехали час, а потом загрузились в местный автобус. Автобус минут тридцать стоял на железнодорожном переезде с неработающим светофором. И вдруг рванул на мигающий красный свет, чудом проскочив перед самым поездом. Через полчаса мы вышли, а автобус покатил дальше до конечной станции. Пока я доставала картошку из подпола и загружала ее в два рюкзака, Витя с соседом, который приехал накануне, уговорили бутылку «Гжелки». Для меня они включили песню «Конфетки, прянички для милой Танички». Пока мужчины допивали «Гжелку» и слушали песни Аркаши Северного, я обошла дом, пряча все, что могло заинтересовать воров. Впрочем, догадаться, что этим ворам понадобится, — непросто. Как-то под Новый год у меня из дома вытащили телевизор, электроплитку и электрический чайник. А старенький приемник ВЭФ оставили, хотя из перечисленного списка только он один и был в рабочем состоянии. «Вот видишь, я не дом захламляю поломанной техникой, как ты изволишь выражаться, а воров с толку сбиваю»,— такой была Витина реакция. В ответ на наше с Катей недовольство тем, что он приносит в дом старье, Витя отвечал, что в Вильнюсе, где он жил раньше, помоек нет, там ничего не выбрасывают. Чаще всего он приносил с помойки самые разные книги. Один раз принес большой фолиант «Венки Ленину», в другой раз — несколько томов из литературной энциклопедии, издававшейся в 30-годы. «Мама, скажи Вите, что цена одного квадратного метра жилой площади в Москве превышает в сотни раз ценность того, что он приносит с улицы», — говорила дочь.

Пора было уезжать из Асташково, а я никак не могла найти ключ от замка. «А разве ты не спрятала его от воров?» — пошутил Витя. В конце концов мы все-таки вышли и двинулись к автобусной остановке.

— За грибами можно ходить в дальний лес, — продолжала я разговор, ни к кому особенно не обращаясь.

— Помойка и туда доберется, — возразил Витя.

— Точно, — соглашался Коля. — Мой сосед устроил помойку на задах, прямо у меня под носом. Я ему говорю: «Тебе Бог дал помойку поблизости — отвези туда». А он мне отвечает: «И здесь сгниет». Скоты, все скоты!

— А давайте вступим в партию зеленых или в Гринпис, — предложила я.

— В Гринпис тебя не возьмут, ты не умеешь лазить по канату, — сказал Витя.

— Поэтому мы и живем на помойке, что всё шутки шутим, — ответила я.

— Скоты, все скоты, — повторил сосед. Этой фразой он начинал и заканчивал любой разговор.

— Не все, — возразила я и махнула рукой в сторону луга.

По тропинке в нашу сторону медленно шла женщина. В одной руке у нее был пластиковый пакет с продуктами — она возвращалась из магазина. В другой пакет она собирала мусор, который попался ей по дороге. Пройдя мимо помойки, она аккуратно положила пакет с мусором в контейнер и пошла дальше уже с одним пакетом. Мусорщики не обращали на нее внимания, она не конкурент им и мусор у нее не тот. Она не местная сумасшедшая, как может показаться сначала, она капитанша. Сюда, с вышедшим в отставку капитаном 2 ранга, она переехала несколько лет назад. Тогда они обменяли свою феодосийскую двухкомнатную квартиру на «двухэтажный дом в ближнем Подмосковье». Дом оказался одноэтажной бетонной коробкой в полутора часах езды от города. Второй этаж они достраивали сами из сосновых бревен. В конце концов, устроились, обжились, сохранив старую морскую привычку — каждый день драить палубу. Так капитанша называла уборку дома, двора и прилежащей к нему территории. Только вот скучала она по своей феодосийской квартире с видом на море.

— Зачем же вы оттуда уехали? — спрашивала я.

— Мы русские — хотели жить в России.

— Это понятно, — отвечал Витя.

Он и сам в начале перестройки приехал из Литвы в Москву, чтобы жить в России.

— Бумажки собирать — это ерунда, — сказал сосед, спотыкаясь о какую-то железяку и чертыхаясь. — Я вчера ночью перетащил на проезжую часть дороги брошенный на обочине холодильник. Пусть попрыгают через свой мусор, скоты, как я прыгаю.

— Ты что? Люди могли разбиться, — возмутилась я.

— Это не люди.

— А не наш ли это автобус? — вдруг спросил Витя.

Действительно, наш автобус, который ходит всего три раза в день и обычно опаздывает на двадцать минут, только что проехал мимо нас на десять минут раньше положеного. Я только успела увидеть его желтый, забрызганный грязью зад. До ближайшей электрички пешком по дороге двенадцать километров, напрямую через поля — девять.

— Пешком не пойду, — сказала я неуверенно, глядя на свои белые сапожки.

— Это не труднее, чем лазить по канату, — мягко заметил Витя, забрав у меня рюкзак.

Он забросил рюкзак на свободное плечо и пошел вперед с двумя рюкзаками.

— Потихонечку, с привалом и с пивком, — подхватил меня под руку сосед, хлопая себя по оттопыренному карману.

Небо потемнело и посыпало на нас первыми крупными хлопьями снега. Помойка пестрела позади, я бросила на нее последний взгляд. Зимой она, как всякий живой организм, замрет до весны и, прикрывшись снегом, будет выглядеть почти целомудренно.

Мы свернули с дороги и пошли напрямик через черную с белыми проплешинами равнину. Бесконечную, постепенно переходящую в пасмурное небо, откуда три наши темные фигурки казались всего лишь птичьим следом на снегу...

А десять лет назад луг перед нашими домами разбили на участки и продали. И тогда на нашей Заречной улице наступил праздник: бесхозная помойка с мусорными контейнерами отодвинулась от нас, перекочевав в дальнюю слободку. Там за ней приглядывает и прибирает мусор местный мужик. А на месте помойки теперь остановка автобуса, от которой до моего дома рукой подать.

Ангел

Это было в конце девяностых. Однажды осенним вечером художник Шура Митрохин возвращался домой от друзей навеселе. Он забыл, в какой стороне находится метро и остановился, оглядываясь вокруг и пытаясь понять, куда же ему идти. Шура пребывал в благодушном настроении и готов был любить весь мир. И тут прямо перед собой он увидел девушку, пытающуюся укрыться от ветра в своем коротком, узеньком пальто. Из пальто были видны лишь красный курносый носик под блеклой копной волос и ноги в стоптанных туфлях. Девушка подошла к нему и спросила:

— У вас не найдется рубль?

— У меня нет рубля, — ответил Шура.

— Тогда давай я дам тебе рубль, — неожиданно предложила девушка.

— Да нет, — Шура полез в кошелек и вытянул из бумажника купюру с изображением президента Джексона, — вот.

— Идет, — сказала девушка, — а я здесь рядом живу, только у меня дома нет никакой еды.

— Сейчас, — неожиданно для себя сказал Шура и двинулся к светящейся неподалеку палатке. Оттуда он вернулся с пластиковым пакетом, полным еды и выпивки. Они вошли в подъезд и поднялись на лифте, Шура не запомнил, какой это был этаж. Дом был новый, шестнадцатиэтажный, квартира тоже новая и почти без мебели: обеденный стол и топчан, окна без занавесок.

— Вот, только въехала, даже телефона нет, — сказала девушка, когда они вошли через узкий коридор в комнату.

— Меня зовут Шура, — представился гость.

— А я, — она помедлила мгновение, — Оля.

— Ну что ж, Оля, выпьем за знакомство!

Оля пошла на кухню и принесла две рюмки, тарелку и нож. Они выпили. После рюмки «Гжелки» девушка уже не казалась такой сморщенной и несчастной, и Шура почувствовал себя Дедом Морозом:

— А ты что-нибудь еще хочешь? — спросил он.

— Телефон поставить. Здесь пока нет телефона.

— А сколько это стоит?

— Триста.

— Триста чего?

— Триста твоих бумажек

Шура достал из бумажника три стодолларовые купюры и положил на стол:

— Пойдешь и завтра утром заплатишь за установку. Глядишь, и я когда-нибудь воспользуюсь.

Девушка сразу убрала деньги и снова наполнила рюмки, потом еще... Гость задремал, сидя за столом, и ему приснился сон с рождественской елкой, увешанной разноцветной мишурой, мандаринами и шоколадными конфетами на ниточках Он снял конфету с ветки, она оказалась пустой оберткой, зато мандарин был настоящий, с оранжевой пупырчатой кожурой, брызнувшей едким соком. Шура даже не успел очистить мандарин до конца, как кто-то сзади схватил его за плечо. Он не сразу понял, что проснулся, и не сразу узнал свою новую знакомую, которая трясла его.

— Тебе пора уходить, сейчас муж придет, — сказала она.

Шура поднялся со стула, взглянул на часы — было девять вечера. Он спал всего полчаса. Тут он вспомнил: гулянку у друзей, подошедшую к нему девицу и то, что сначала ни о каком муже речи не было.

— Я даже не знаю, где здесь метро, — сказал он невпопад.

— Найдешь, — ответила она, настойчиво подталкивая его к выходу, и захлопнула за ним входную дверь.

— Принимай гостя! — говорит мне с порога Витя, пропуская вперед своего спутника. — Это мой одноклассник Шура, мы не виделись двадцать лет.

— Очень приятно, — улыбаюсь я.

Вот он достает из двух карманов куртки четыре бутылки пива и плитку шоколада. Гость тоже достает из пакета водку, сухую колбасу и фруктовый рулет. Я иду на кухню и возвращаюсь с закуской: солеными грибами, маринованными кабачками и квашеной капустой. Старые друзья вспоминают былые подвиги: «А помнишь... Нет, а ты помнишь?» В комнату заглянула дочь, утянула шоколадку и добрую половину рулета к себе, через минуту из ее комнаты послышались звуки баяна, и Чистяков запел через динамики мощностью в 100 ватт «Просто я живу на улице Ленина».

— А мы живем на Гарибальди, — говорю я, вернувшись с кухни.— А еще раньше жили на Кржижановского, а до этого на Олеко Дундича.

— Прямо интернационал какой-то, — удивляется Шура, — давайте лучше выпьем со свиданьицем!

Все чокнулись, звякнули рюмками. Мужчины выпили сразу, я лишь пригубила и поставила рюмку на стол. Гость посмотрел на свою пустую рюмку, потом обвел взглядом комнату. Его глаза остановились на глянцевом корешке альбома «Неизвестный русский авангард».

— И сколько мы их продали во времена Брежнева, когда я был экспертом в Комиссии по обмену ценностями, — говорит он неожиданно.

— Как можно было их продавать? — возмущенно спрашиваю я.

— Враждебное нам буржуазное искусство. Сейчас стыдно вспомнить, что продавали и за какие копейки продавали. И Филонова, и Кандинского, и Малевича.

Из всех перечисленных мне было особенно жаль картины Филонова. В юности я исправно бегала на все художественные выставки. Сначала в Пушкинский музей и в Третьяковку, а потом на разные полуподпольные и подпольные выставки в ЖЭКах и ДК. Когда я училась в Ленинграде, я отстояла огромную очередь на первую выставку современных «неофициальных» художников. Это было в декабре 1974 года. Потом уже в Москве на каком-то из квартирников показывали слайды неизвестного мне художника Филонова. Они тогда поразили меня. Подлинного Филонова я увидела уже в перестройку на выставке в Музее изобразительных искусств.

— Ну, и чем же вы сейчас занимаетесь? — сухо спрашиваю гостя.

— В основном, дизайном. Иногда пишу портреты. Хотите, я сделаю ваш портрет?

— Только не сегодня, — это говорит Витя. — Ты бы спела, — обращается он ко мне.

— Да нет, я сто лет не пела, — говорю я, не очень расположенная петь в присутствии торговца Филоновым.

— Прошу тебя, сегодня прекрасный повод, — настаивает Витя, снимая со стены гитару. Взяв гитару в руки, я забываю обо всем, даже о том, что стукнуло двенадцать ночи и соседи будут стучать в стену.

— Не ожидал, не ожидал, это было великолепно, — говорит Шура, улыбаясь. — Даже не хочется уходить.

Потом он начинает прощаться. Витя одевается, чтобы проводить друга. Они уходят, но скоро возвращаются с тем же, с чем и пришли: с водкой и пивом. Первым не выдерживает хозяин, он засыпает там, где сидел, — в кресле. Я сижу, часто моргая глазами, чтобы не уснуть и не свалиться со стула, и рассеянно слушаю гостя. А тот рассматривает паркетный узор в косую елочку и говорит:

— Месяц назад я узнал, что смертельно болен, врачи обнаружили рак. У меня есть дом и жена, но уж если я умру, то оставшееся время я хотел бы провести не так, как жил. Перед смертью я хочу увидеть всех своих друзей и подарить им что-то на память о себе. Вам я тоже сделаю подарок: тебе подарю старинный гобелен — девушка с арфой. Тут гость перестает говорить и внимательно смотрит на меня.

— Не стоит. Пожалуй, пора спать.

Я расталкиваю уснувшего в кресле Витю, и они с приятелем укладываются на тахте, а я отправляюсь спать в комнату дочери.

— Ой, кто это! — пугается девочка, когда я тихонько сдвигаю ее к стене.

— Спи, это мама, — шепчу я.

И ложусь рядом на краю дивана. Ночью Витя разбудил меня, потому что гостю стало плохо. Он побелел как мел и задыхался. Мы вызвали «скорую», и пока она ехала, я отпаивала гостя травяным чаем с валидолом. Словом, все обошлось. Утром гость проснулся как ни в чем не бывало и история с проводами повторилась. Несколько раз мужчины уходили и возвращались назад с выпивкой. К вечеру я так устала, что вздохнула с облегчением, когда друзья обменялись телефонами и гость наконец ушел совсем. На прощанье он сказал: «Вы такие замечательные, можно, я еще к вам приду?» Витя добродушно прогудел: «Конечно, конечно».

Убрав со стола, вымыв посуду и натянув пижаму, я ныряю под одеяло и говорю:

— Ну и одноклассник у тебя...

— Какой одноклассник?

— Да тот, который распродавал народное достояние.

— Какое достояние? Я ничего такого не помню.

— Он вчера об этом рассказывал. А где вы встретились, ты хотя бы помнишь?

— Конечно, помню. У нас во дворе.

— У нас во дворе?

— Ну да. Он спросил меня, где метро. Я объяснил и даже предложил проводить, а он в ответ предложил с ним выпить.

— Ты хочешь сказать, что он не твой одноклассник? Что ты привел в наш дом чужого человека, что он жил здесь два дня и спал на нашей кровати?

— Ну, зашел человек, посидел...

— А зачем морочили мне голову, изображая старых друзей?

— Не мог же я сказать тебе, что мы только что познакомились.

— Тебе надо лечиться. Вон подруга Машка подшила своего мужа, когда он в очередной раз привел в дом ангела.

— Какого еще ангела?

— Такого ангела — какое время, такой и ангел.

Дело в том, что ангелами муж моей подруги называет ночных гостей. Выпивая, он любит бродить по окрестностям, приглашая первого попавшегося ночного прохожего домой. Приводит и представляет его жене и падчерице: «Это — ангел». Один такой «ангел» переночевал в их доме, а утром унес с собой все их деньги и Машкины побрякушки.

— Разве мой гость что-нибудь у тебя украл? — выслушав, злится Витя.

— Может, и не украл, но тогда он действительно ангел.

— Так проверь, прежде чем обвинять

— Речь не о нем, а о тебе. Зачем петь-то меня заставлял? Или ты совсем чукча? Спасибо, что сам с ним лег, а не меня положил!

— Ну что ты шумишь? Мужик заблудился, его кинула баба. Он был первым человеком в этом городе, который меня угощал. Обычно я всех угощаю, ведь у вас, москвичей, снега зимой не допросишься.

— Ну, знаешь!

Мы не разговаривали весь следующий день. А вечером позвонил ангел. Он сказал, что хочет написать семейный портрет.

Как написать сказку

Моя обычная жизнь, отражаясь, примеряет разные личины — в виде повествования и лирического дневника, стихотворения, баллады и даже сказки. И я ничего не придумываю, ведь жизнь невероятнее любой выдумки.

Все началось с того, что крошечное детское издательство, с которым я сотрудничала, закрылось. И тут позвонил мой старый друг, писатель и переводчик.

— Привет, я в Москве. Я слышал, тебе нужна работа? — спросил он и помолчал. — У нас ушла няня. Конечно, это занятие не для тебя, но, может быть, ты поможешь? Если мне придется, приехав с другого конца света, потратить все время на сидение с двумя детьми, я буду злой и усталый, тем более, что мне нужно делать срочный перевод. Подумай.

— Я даже не представляю, что нужно делать.

— То же, что ты обычно делаешь.

— Обычно я читаю книжки и сочиняю стихи.

— Этим и будешь с ними заниматься.

Словом, друг меня уговорил. Моими подопечными оказались две девочки четырех и шести лет. Я думаю, что успех этого странного мероприятия под названием «няня» заключался в том, что мне захотелось не только помочь моему другу, но и понравиться девочкам. И это получилось, потому что, когда через несколько месяцев девочек отправили к родным за границу, младшая, к которой меня и взяли, потребовала, чтобы ей вернули ее няню. Пришлось сворачивать отдых и возвращаться в Москву раньше времени. Тогда мама девочек попросила моего друга вернуть меня. «Понимаешь, — сказала она, — твоя подруга оказалась необычной няней, совсем как Мэри Поппинс. Когда друг дозвонился до меня, в ответ на его просьбу я сказала, что уже устроилась редактором в газету «Театральный курьер».

— Не думаю, что редактор получает больше, чем я буду платить. И ты можешь уйти, когда захочешь.

Так я снова вернулась к тому, чтобы скучные занятия превращать в игру и придумывать веселые песенки и считалки. Узнав, что я работала в газете, девочки тоже захотели издавать газету. Газета у нас получилась что надо — с новостями, интервью,

очерками о родственниках, фотографиями и даже кроссвордом. Следующим этапом моей работы было сочинение сказок и историй, которыми я их развлекала. Книжки и игрушки, которых у них было множество, их мало интересовали.

— Расскажи нам не выдуманную, а настоящую сказку, про живую девочку, такую, как мы, — просили они.

— Невыдуманная сказка — это уже история, кажется, я знаю не одну такую.

И я рассказывала сестрам истории про свое детство. Моя дочь, мои друзья и знакомые, даже мои кошки были героями моих историй. А еще такие неодушевленные предметы, как расческа, глиняная фигурка или просто разные слова. Когда мы выходили гулять, то героями рассказов становились улицы, площади и даже город. Мы мысленно и без особого труда забредали не только в его глухие уголки, но и в далекие времена. Но все когда-то кончается, и когда я рассталась с девчонками, я записала эти свои обыкновенные и необыкновенные истории и отправила их на конкурс. Истории про то, что вокруг нас так много интересного, что обычная жизнь не менее удивительная и невероятная, чем сказочная. Что необычное существует рядом с нами и все мы немного волшебники.

Мне не удается писать в безвоздушном пространстве, все, что я пишу, даже сказки, всегда связано с конкретным местом на Земле. Так было, когда я училась в Питере в 1976 году, и мы с Сопровским отправились на неделю в Литву. Денег на поездку не было, и я продала присланные мне подругой новенькие джинсы. Мы остановились в Ниде — в деревушке, состоящей из нескольких рыбацких домиков, — сказочное место! Бродили по длинной песчаной косе, засаженной соснами, — местные жители отвоевали ее у моря, надсыпав морской берег тоннами песка. Или подолгу лежали на песчаном пляже и резались в «кинга», а потом в кафе-стекляшке устраивали соревнования в поедании горячих пончиков.

Вернувшись в Москву, я набросала несколько глав сказочной повести про королей и один день их королевской жизни. Герои в ней напоминали моих друзей-поэтов, которые своими спорами и бесконечной болтовней вызывали у меня одновременно удивление, возмущение и восхищение. В них так причудливо сочетались доброта и эгоизм, лукавость и простодушие, чванливое высокомерие с благородством. Так началась заколдованная история, которая называлась «Четыре короля». Потом я о ней забыла. Вспомнила только, когда родилась дочь, которая все время требовала сказок, для дочери я продолжила ее писать. В первоначальной редакции мои короли были не настоящими, а картонными — карточными королями. Книжка должна была выйти в 1991 году в детском издательстве, где я работала. Но рукопись потерялась, и пока я ее восстанавливала, издательство закрылось. Следующая попытка была в начале двухтысячных, когда уже были изданы две мои сказки с теми же героями в другом временном отрезке и на фоне других окрестностей.

А моих королей после очередного отказа я всё дописывала и переписывала, и каждый раз это была другая, как у Хьюго Эверетта[1], параллельная история. В семи издательствах я слышала разные причины отказа: что у меня мало печатных листов, или герои странные, что сюжет сложный, а книжка совсем не детская. В восьмом по счету издательстве в 2016 году, благодаря дружескому посредничеству, книжку наконец издали. А через несколько месяцев американским физиком русского происхождения Константином Батыгиным была открыта новая невидимая планета. Мы ее не видим, потому что планета находится на краю нашей солнечной системы и совершает полный оборот вокруг Солнца раз в 15 тысяч лет! Я о ней написала много лет назад, только у меня открытая недавно планета называлась «Невидимая звезда». Так сбылась эта сказка, и после выхода книжки закончилась сорокалетняя заколдованная история про «Четырех королей».

---

[1] *Хью Эверетт III* (1930—1982) — блестящий математик, программист, физик-теоретик, создатель в 1957 году концепции многомировой интерпретации квантовой механики — о расщеплении и ветвлении миров.

Эмиль Паин

Об имперском синдроме, национализме и негативных этнических стереотипах

Мой любимый автор Эрнест Ренан в 1882 году начал свою знаменитую публичную лекцию «О нации» с заявления: мы собрались для обсуждения вопроса, известного всем, но не понятного никому. Я могу повторить то же самое. Многое в «национальном вопросе» (а это и про этничность, и про нацию) остается непонятным и мне. Хотя я уже более сорока лет занимаюсь этносоциальными, этнополитическими проблемами, каждый раз нахожу для себя много нового.

Начну с двух групп вопросов, отраженных в заголовке.

Первая — об этнических стереотипах. Почему у русских людей, то есть у большинства населения России, этнический негативизм по отношению к одним этническим группам слабеет, а по отношению к другим сохраняется или растет? Кроме того, меня интересует то, как связана динамика этнического негативизма с недовольством населения социально-экономическими условиями в стране и властью, а также с влиянием пропаганды на эти стереотипы.

Вторая группа вопросов касается шаблонных представлений российской интеллигенции об этничности. Дело в том, что в интеллигентских кругах утвердился стереотип восприятия этничности как чего-то заведомо и исключительно нехорошего (архаичного, племенного, связанного с ксенофобией). Развивается что-то вроде «культурного дальтонизма» — нежелание различать культурные особенности и даже называть или упоминать этнические общности. Приемы умолчания в чем-то напоминают религиозные табу (не есть скоромного или не произносить священные имена). Соблюдая такой внутренний запрет, люди преследуют благую цель — «не разжигать межкультурную рознь». Но ложь, даже во спасение, никогда не бывает безобидной. Что касается национализма, то в упомянутых интеллигентских кругах он и вовсе однозначно воспринимается как бедствие. Между тем, во всемирной истории национализм не всегда играл отрицательную роль. В Европе процесс модернизации был во многом связан с переходом от империи к государствам-нациям, а важнейшую роль в таком транзите играл национализм. Я задаюсь вопросом: не потому ли наша страна сохраняет многие признаки имперского синдрома, прежде всего подданнического имперского сознания, что в ней был и остается слабым национализм не только гражданский, но и этнический? В рассмотрении этого тезиса я обопрусь на историю конца XIX — начала XX века и на сравнение заката двух империй, Австро-Венгерской и Российской.

Паин Эмиль Абрамович — политолог и этнограф, кандидат исторических наук и доктор политических наук, профессор НИУ ВШЭ и ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, один из зачинателей научной дисциплины «Этнополитология» в России.

О двух моделях самосохранения империй

В середине 1860-х годов политическая элита обеих империй стала формулировать стратегии самосохранения имперского режима и многонационального государства. Термин «национальный вопрос» появился в России как раз в эти годы, только стратегия его решения была принципиально иной, чем в соседней стране.

Австро-Венгрия после многих лет борьбы с движениями за независимость венгров, чехов и выступлениями на Балканах приняла в 1867 году новую конституцию и разделила территорию на австрийскую и венгерскую части. В австрийско-немецкой части начались процессы автономизации, и сегодня многие теоретики спорят по поводу того, нужно ли считать Австро-Венгрию империей, не лучше ли называть ее федерацией?

В это же время в России Александр II «Освободитель» как раз в сфере национальной политики не проявил себя либералом. После очередных восстаний в Польше и Литве в 1863—1864 годах власти стали принимать меры к тому, чтобы не упоминались даже слова Польша (вместо этого названия появились новые термины: Привислинский край, или Варшавское генерал-губернаторство с десятью губерниями) и Литва (разделенная имперской властью между двумя губерниями, Виленской и Ковенской). К этому следующий царь, Александр III, добавил полный запрет на преподавание на польском и литовском языках. При нем начались ограничения автономии Финляндии, которые завершились при Николае II.

Наибольшие репрессии при двух последних царях династии Романовых обрушились на евреев. В мае 1882 г. вступил в силу новый нормативный документ «О порядке приведения в действие правил о евреях», ограничивший для них места проживания, переезда и любые длительные перемещения даже в границах «черты оседлости» — зоны еврейского гетто. Впоследствии к этому добавилось введение жесточайших ограничений на получение евреями высшего и среднего образования («процентные нормы»). Все эти рестрикции историки назвали «крепостным правом для евреев». В других странах Европы еврейские гетто как рудимент Средневековья исчезли уже к концу XVIII в., тогда как в России принудительность жизни в гетто лишь усилилась на рубеже XIX — XX в.в. Гонения властей на евреев открыли путь для вспышки низового антисемитизма, проявившегося в кровавых еврейских погромах 1881—1882 г.г., 1890-х и начала 1900-х г.г., и всегда такие погромы сопровождались слухами о том, что существуют правительственные указания «бить евреев». Каков же был итог репрессивно-русификаторской политики?

История XX века не дает оснований для вывода о том, какая из двух политических стратегий, австро-венгерская или российская, оказалась более эффективной с точки зрения поставленных монархиями целей самосохранения имперского режима, поскольку обе империи распались к концу одного и того же 1918 года. Однако распад Австро-Венгрии стал образцовым примером процесса политической модернизации — перехода центрально-европейских обществ от имперской организации к государствам-нациям (унитарным или федеративным), тогда как распад Российской империи стал началом формирования на большей части ее территории новой империи — советской.

Национализм — против большевизма

Ричард Пайпс полагал, что к началу XX века развитое национально-политическое самосознание проявилось лишь в западных регионах Российской империи: в Польше, в меньшей мере в Финляндии и в Балтийском регионе. Другие историки, соглашаясь с Пайпсом, добавляют к этому еще и Закавказье, прежде всего Армению, где уже в 1890 году в подполье родилась партия «Дашнакцутюн». Однако

этно-национальные задачи этой партии были связаны не с Российской империей, а направлены на защиту армян в Турции. Развитое национальное самосознание в Польше, Финляндии и странах Балтии позволило им защититься от большевизма, как бы к этому ни относиться. Иначе ситуация сложилась на большей части территории бывшей Российской империи, где национальное самосознание было менее консолидированным, чем в западных регионах, а расположенность к левым идеям была чрезвычайно высока. Напомню, что политические партии, сформировавшие правительства и другие органы власти первых независимых государств Армении, Грузии и Украины, позиционировали себя как социалистические. При такой симпатии населения к социализму и малой роли национализма большевикам удалось сравнительно быстро советизировать власть в новых независимых государствах, и уже как советские эти республики вместе с РСФСР вошли в 1922 году в состав Советского Союза. Но ведь и в республиках СССР развитие национального самосознания не прекращалось, что во многом обусловило еще один цикл распада империи, уже советской. В 1990-е годы в значительной части республик — не только Балтии, но и в Украине, Грузии — сложились мощные движения, связанные с так называемой «мобилизацией этничности», появились националистические партии, ориентированные на недопущение возврата к империи и на западные, либеральные модели развития. Этой психологической защиты не было и нет в России, что существенно облегчает ее возврат и к всевластию «мундиров голубых», и к «им преданному народу».

Что такое имперский синдром?

Россия по своим формальным политико-юридическим признакам уже не империя, а федеративная республика. Конституция Российской Федерации 1993 года закрепляет принцип народного суверенитета, провозглашая «многонациональный народ» единственным сувереном (источником власти) в стране, и наделяет его комплексом прав демократического волеизъявления. Однако, как писал Салтыков-Щедрин, «строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения», и это утверждение актуально для нынешней России, поэтому за пределами конституционного поля протекает немалая часть той жизни россиян, в которой сохраняются и возрождаются реликты «имперского синдрома». Кратко охарактеризую три его основных элемента.

1. Имперское тело. Ареалы компактного расселения этнических сообществ, в прошлом колонизированных в ходе имперских завоеваний или добровольно присоединившихся к России, но до сих пор слабо интегрированных в единое социокультурное сообщество страны. В массовом сознании сохраняется дихотомическое противопоставление: «Мы — и Россия». В Дагестане популярна шуточная поговорка: «Мы в Россию добровольно не вступали и добровольно из нее не уйдем». Эрнест Ренан писал, что в империи народы подобны воде и маслу в одном сосуде — существуют вместе, но не смешиваются. Народы в империи связаны между собой главным образом через подчинение единой верховной власти. Такое подчинение характеризует второй элемент «имперского синдрома» — имперский порядок.

2. Имперский порядок. Политический режим, направленный на сохранение имперского тела посредством иерархического соподчинения территориальных обществ и концентрации полномочий в руках центральной власти. Она же произвольно устанавливает и изменяет политические правила.

3. Имперское сознание. Комплекс проявлений «вертикального сознания» — подданического по отношению к власти и презрительно-патерналистского по отношению к сообществам, рассматриваемым как нижестоящие в имперской иерархии. Имперское сознание — это «культ государства» и возвеличивание его правителей, а также имперские амбиции самой большой (протяженной) страны мира.

По данным исследований Института социологии РАН, проведенных в 1990 — 2000-х годах, у представителей так называемых титульных национальностей республик РФ этническая и регионально-республиканская идентичность преобладает над общероссийской. Совсем иная ситуация в русских регионах, здесь слабо проявляются этническая и региональная идентичности и доминирует общероссийская.

Различия в приоритетах идентичности

Русских в России большинство, и структура их идентичности преобладает в стране. Известный социолог Леокадия Дробижева отмечает, что для россиян «*самым значимым фактором для консолидации является государство: оно набирает вдвое большее число голосов, чем любое другое значимое представление, объединяющее россиян, — 60—75%*». При этом речь идет о государственно-центрической идентичности, а не о гражданской — в том ее значении, какое вытекает из теории политической культуры как гражданского активизма и заинтересованности граждан в разнообразных формах участия в политической жизни своей страны и ответственности за нее. Исследования «Левада-центра» за последние 25 лет показывают, что этот важнейший признак гражданской культуры рос очень недолго, лишь в начале 1990-х годов, затем наметился застой, а в двухтысячные началось снижение доли респондентов, которые хотели и считали себя способными оказывать влияние на политику государства. В России наблюдается процесс, описанный Эрихом Фроммом («Бегство от свободы»): атомизированный человек, теряя остатки горизонтальных гражданских связей, все больше стремится прислониться к властной вертикали, к сильной личности, к вождю.

Реанимация имперского синдрома

Российское государство в 2000-е годы все больше овладевало обществом, поэтому участие граждан в общественной и политической жизни слабело. Спектр политических инструментов, используемых властями для демобилизации гражданской активности, весьма широк: от административных барьеров и судебного давления до манипуляции массовым сознанием. Важным элементом такой манипуляции имперским сознанием являются различные формы поощрения страхов и ненависти к культурно «чужим».

Исследования «Левада-центра» (2004—2018 годы) указывают на волнообразный характер подъема и спада негативных этнических стереотипов. Пик подъема пришелся на 2012—2013 годы. Это время характеризуется двумя важными чертами: с одной стороны, ростом недовольства населения, проявившегося в частности в протестных акциях на Болотной площади в Москве, а с другой — небывалой активностью антииммигрантских выступлений политиков проправительственного лагеря Сергея Собянина на выборах мэра Москвы 2013 года и национал-имперских сил, прежде всего партии «Родина». Спад же ксенофобных настроений произошел в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Радость возвращения Крыма в Россию охватила абсолютное большинство населения и на короткое время вытеснила ксенофобию в отношении почти всех прежних «чужих», кроме американцев и украинцев. Но уже в 2018 году «эффект Крыма» стал слабеть, а ксенофобия по отношению ко всем чужакам — расти. Сопоставление волн подъема и спада этнического негативизма у россиян с динамикой индексов «доверия к власти» (по исследованиям того же «Левада-центра» 2004—2018 годов) указывает на высокую зависимость между этими показателями: в периоды низкой социальной удовлетворенности и низкого доверия к власти — рос этнический негативизм. Он частично заслонял собой более глубинные формы недовольства и служил своеобразным «переключателем», переводя недовольство с властей на мигрантов и других культурно «чужих».

«Чужие», «другие», «свои»

Начну с характеристики двух основных понятий. Э*тнические стереотипы* — под ними в социальной психологии понимают массовые представления людей, причисляющих себя к тому или иному этническому сообществу, об образах «своего» народа (автостереотипы) или «других» (гетеростереотипы). Эти образы более или менее устойчивы в историческом времени. И хотя они всегда упрощенные, а оценки качеств своего и других народов редко соответствуют реальности (народ может идеализировать себя или, напротив, демонизировать «чужих»), исторические изменения этнических стереотипов всегда отражают некие важные общественные процессы.

Под *социально-культурной дистанцией* понимается разная степень восприятия близости или отчужденности между этническими общностями, выраженная в опросах общественного мнения через показатели негативных и позитивных оценок стереотипного образа того или иного народа. Основой для анализа послужили материалы исследований «Левада-центра» почти за три десятилетия (начиная с того времени, когда он еще назывался ВЦИОМ). Эти материалы дают представление об отношении россиян к разным этническим общностям. Фактически же речь идет об отношении этнических русских к другим народам, поскольку в выборочной совокупности русские составляют около 80% опрошенных, что близко к их доле в составе населения Российской Федерации. Я тоже имел некоторое отношение к этим исследованиям — по своей методике обрабатывал массив опросов общественного мнения в 1990-е годы. Это стало точкой отсчета для анализа современных процессов. Тогда были выделены следующие группы:

«Чужие» — чеченцы и цыгане. Это были единственные группы, негативное отношение к образу (конструируемому в массовом сознании) которых демонстрировало более половины респондентов в 1990—1997 г.г. Замыкали тогда группу «чужих» азербайджанцы (доля негативных оценок около 30%).

«Другие». Из народов бывшего СССР умеренный негативизм проявился к евреям и эстонцам: доля негативных оценок к этим группам колебалась по годам от 13 до 20%. Из народов Запада в эту группу, с тем же интервалом негативных оценок, попали американцы.

«Свои». Это прежде всего этнически родственные для русских группы с минимальным уровнем негативных оценок, не превышавшим в 1990-е годы 10%, — украинцы и белорусы. В эту же категорию входили тогда (и входят ныне) татары и башкиры — единственные в данной категории этнические общности, большая часть представителей которых исторически связана с исламом. Отношение именно к этим, преимущественно мусульманским народам Урало-Поволжья доказывает, что в России негативные стереотипы пока формируются в основном по этническому, а не по религиозному признаку и направлены они не столько на «иноверцев», сколько на «инородцев». Отношение к татарам и башкирам мало изменялось во времени, оставаясь преимущественно позитивным.

О динамике негативных этнических стереотипов

Сравнивая те данные с материалами более поздних опросов, мы видим постепенное смягчение этнического негативизма по отношению ко всем народам России. В 2000-е годы ни одна из этнических общностей, представленных в исследованиях «Левада-центра», не оценивалась негативно более чем половиной респондентов, как это было в 1990-х годах. Все общности, отношение к которым

замерялось в это время, находились преимущественно (на две трети) в зоне положительных и нейтральных оценок.

Есть еще одна категория, которую я называю *«неизвестные»*. Это этнические общности, стереотип восприятия которых не сложился или попросту отсутствует в массовом сознании. Оценки респондентов по отношению к представителям этой категории не менялись под воздействием информации в прессе. Например, в 1990-е годы в российском массовом сознании еще не сложился негативный образ арабов, связанный с терроризмом («арабские террористы»). В 1990-е годы как террористы чаще упоминались в российских СМИ представители российских северокавказских народов, а также баски в Испании и ирландцы в Великобритании (только к 1998 году были достигнуты договоренности о прекращении вооруженной борьбы баскской организации ЭТА и ирландской ИРА). Постоянные же сообщения о террористических актах на Ближнем Востоке не влияли, судя по опросам, на реакцию российского общественного мнения, не формировали негативного образа арабов среди основной части населения.

Но если не сложился стереотипный образ некоего сообщества, то отсутствует и дистанция отчужденности по отношению к нему, и это создает ограничения для формирования негативного образа народа в массовом сознании. Иногда в связи с этим пользуются термином «ксенофобия», однако зададимся вопросом: *каковы границы использования устоявшегося и широко понимаемого термина «ксенофобия»?* Я считаю, что его не следует применять ко всем случаям проявления этнического негативизма по ряду причин. Во-первых, термин «фобия» заимствован из психологии и подразумевает некий устойчивый, иррациональный, навязчивый и патологический страх или неприязнь. Мы же часто видим, что в этническом негативизме доминируют отнюдь не иррациональные мотивы, а вполне понятные и актуальные политические или социальные задачи, например, мобилизация этничности в условиях экономической, социальной или политической конкуренции.

Во-вторых, называя всякий негативизм ксенофобией, мы лишаемся возможности отличать свежие и, как правило, неустойчивые стереотипы от исторически глубинных предрассудков, рациональные основания для возникновения которых уже забыты, но порожденная ими ненависть осталась. Такая ненависть как раз и может быть иррациональной, необъяснимой для субъекта, поскольку она выступает как основа того, что часто называют «зоологической» ксенофобией (например, «зоологический антисемитизм»).

В-третьих, в политических целях фобиями называют критику политического режима или даже конкретных политических действий властей той или иной страны, хотя эта критика совершенно не связана с отношением к этничности. Например, критику действий России по отношению к Украине российские политики и государственная пропаганда часто называют «русофобией», а критику вторжения войск Турции на территории проживания курдов турецкие политики определяют как «туркофобию».

В-четвертых, методики, которые обычно применяют социологи (в том числе и «Левада-центра») для измерения этнического негативизма, на мой взгляд, не дают возможности выявить собственно фобии, хотя они хорошо фиксируют динамику этнических стереотипов разного происхождения. В качестве такой методики чаще всего используются вариации шкалы социальной дистанции Эмори Богардуса, известной уже почти сто лет. В ней индикатором крайней формы негативизма (в исследовании «Левада-центра» она названа «ксенофобией») выступает утверждение «не пускал бы их („чужих“) в страну», а высшей формой благожелательности — «принял бы в свою семью».

Сотрудники «Левада-центра», используя шкалу Богардуса, по материалам своих многолетних исследований построили в 2018 г. график приливов и отливов этнического

негативизма, отражающий волновую, или маятниковую динамику этнических стереотипов.

Пик волны негативизма — в 2013 году. После проявления массового социального недовольства, во многом стимулировавшего сравнительно массовую поддержку протестных выступлений в Москве 2012 года, это недовольство нашло (или ему помогли найти) иную нишу — этнический негативизм практически против всех «чужих». Зато в 2014 году, после присоединения Крыма, подъем негативных настроений сменился их беспрецедентным спадом. Это был минимальный уровень негативных оценок за тридцать лет наблюдений. Эксперты заговорили о закате ксенофобии в России. Я думаю, этот период еще будет предметом исследований историков, психологов, социологов и этнополитологов, потому что пока все же непонятно, что тогда произошло. Можно лишь охарактеризовать внешнюю канву событий: после присоединения Крыма что-то необъяснимое случилось с массовым сознанием россиян: ими вдруг овладела любовь ко всем этническим группам, ну уж во всяком случае резко оборвалась нелюбовь к большинству этнических групп.

Более чем в 4 раза снизилась нелюбовь к евреям (с 17.4% до 4.9%), примерно то же самое можно сказать о немцах — уровень их негативных оценок в 2015 году упал с 14,3% до 4.7%. В три раза сократилась доля негативных оценок в отношении грузин, а это значит, что заглохло эхо русско-грузинского конфликта 2008 года. В 2010 г. в тройку «чужих» — лидеров по уровню негативизма — входили чеченцы, цыгане и китайцы. По отношению к каждой из этих национальностей уровень негативных оценок превышал 30%. В 2015 году из этой группы вышли (и пока больше не возвращались в нее) китайцы и чеченцы, но вошли в нее американцы и украинцы. Они стали единственными двумя группами, применительно к которым негативные оценки в посткрымский период возросли. Что касается американцев, то негатив к ним возрос незначительно: 19% было в 2010 году, 20,7% стало в 2015-м. За тридцать лет наблюдений показатель негативизма в их адрес вообще вращается в районе 20% (умеренный негативизм) вне зависимости от политических обстоятельств.

Действительно радикально возрос негативизм только по отношению к одной группе — украинцам. Однако это сугубо политический показатель, потому что показатель во второй части шкалы Богардуса, который в качестве высшего уровня благоприятного отношения к определенному этносу берет готовность «принять в свою семью», за те же тридцать лет по отношению к украинцам вообще не менялся, включая и годы противостояния России и Украины вокруг Крыма и Донбасса. Остаются украинцы и наиболее желаемыми для русских брачными партнерами. Никакие политические события не меняли этой ситуации, что видно не только по опросам общественного мнения, но и по материалам анализа межэтнических браков. В связи с этим поделюсь одним из моих общих выводов.

О границах влияния политических факторов, в т.ч. политической пропаганды, на этнические стереотипы

Тридцать лет наблюдений указывают на ряд устойчивых этнических предпочтений русского населения, которые определяют собой стереотипы большинства населения страны и слабо реагируют на политические воздействия. Так, даже вооруженный конфликт 2008 года лишь на короткое время (7 лет) отклонил в отрицательную сторону в целом позитивное отношение русских к грузинам. Политическая пропаганда ухудшила отношение российского общества к украинцам в политической сфере, но не затронула позитивного бытового отношения к ним. А вот в отношении к китайцам наблюдается противоположная тенденция. Китай с 1990-х годов занимает второе место после Белоруссии по позитивности политического образа в российской прессе.

А китайцы как этнос с 2010 года располагаются в зоне преимущественно негативного отношения, в целом более негативного, чем к американцам, которые опять же с 1990-х рассматриваются в России как главный политический враг. То есть политические и бытовые оценки не совпадают, и политика мало влияет на предпочтения в бытовой сфере. Возможно, это происходит до тех пор, пока государство не начинает указывать и в быту, кого считать врагом, а кого — другом.

Теперь обратимся к современной ситуации, опираясь на материалы исследования того же «Левада-центра», проведенного в 2018 году, и уделим основное внимание двум группам, занимающим крайние позиции в иерархии социально-культурной дистанции. Первые образуют категорию «почти свои» (низкий негативизм, до 20%), и эту нишу в 2018 г. занимали только евреи. Вторая категория, «чужие», характеризуется самыми высокими показателями негативных оценок — и это выходцы из Средней Азии, Африки и цыгане. Показатели негативных оценок здесь велики (43%), но все же ниже, чем они были в 1990-е годы.

Радикальные перемены в содержании «еврейского вопроса»

Напомню, что в исторической части статьи я говорил о положении евреев в Российской империи, которое, безусловно, было наихудшим среди всех ее народов. Только евреи были ограничены в правах выбора места проживания и ареалов передвижения и обязаны жить в «черте оседлости», которая официально существовала до 1917 года. В программе партии «Союз русского народа», поддерживавшейся царской властью, сказано: «СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА обязывает своих представителей в ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ домогаться, чтобы все проживающие в России евреи были немедленно признаны иностранцами, но без каких бы то ни было прав и привилегий, предоставленных всем прочим иностранцам». После чего перечисляются восемь пунктов ограничений «Чтобы евреи не могли быть допускаемы»: в армию, в государственную и общественную службы, в учебные заведения, для участия «в выборах в общественные учреждения и самоуправления, а равно иметь в оных своих представителей по назначению административной власти», и заканчивается этот пассаж пунктом 9 — «Воспрещения евреям — иностранным подданным — пребывать в России <...>». И ведь подобными декларациями проблема не ограничивалась. Вскоре последовали погромы 1905—1907 годов. Далее была эпоха сталинского государственного антисемитизма, в частности «борьба с космополитизмом». Но после всего этого евреи стали «почти своими» На мой взгляд, к решительной в историческом плане перемене отношения к евреям привели несколько обстоятельств.

Первое связано с радикальным изменением соотношения численности и присутствия данной группы в наших широтах. Если во времена первой переписи населения (1897 год) в России было сосредоточено свыше 2/3 всего мирового еврейства, то в советское время доля его стала составлять меньше 10%, а сегодня уже меньше 1%. Сообщество переместилось в другие края. Иногда мне говорят, что известны случаи антисемитизма и без евреев, и приводят в пример Польшу, Литву, которые почти лишились еврейского населения, но сохранили тенденцию антисемитизма. Я считаю, что эти примеры не релевантны для России. Польша, Литва, Белоруссия и Украина — это зоны бывшей черты оседлости, где веками располагались еврейские местечки и где существовал действительно прочный, исторически укорененный антисемитизм. Кроме того, в католических странах развитию антисемитизма способствовал иезуитско-католический подход к еврейству как виновнику гибели Христа. Что касается современной России в ее нынешних границах, то здесь бо́льшая часть евреев — это жители городов, поселившиеся там в советское и постсоветское время. Глубинного, массового, накопленного, исторически

удерживаемого антисемитизма здесь почти нет, во всяком случае, нет как массового явления. Разумеется, такой антисемитизм проявляется на уровне отдельных идейных групп, однако они ныне маргинальны и малочисленны.

Важно отметить, что помимо традиционного антисемитизма порой возникает сконструированный: в каких-то случаях евреи просто заменяют собой некое абстрактное зло, которое может иметь принципиально разную направленность. Скажем, на Северном Кавказе и в Чечне исторического антисемитизма не было. Но он появился сравнительно недавно. Что любопытно: Аслан Масхадов в 1998 году, начиная бороться с ваххабизмом и салафизмом, заявил, что ваххабизм и салафизм — это происки врагов, что, мол, Кремль и евреи насаждают эти течения в Чечне. Прошло 8 лет, Доку Умаров — основатель «Имарата Кавказ», который опирается на идеи джихада и салфизма, — в свою очередь заявил, что джихад, ваххабизм демонизируются нашими врагами — Кремлем и евреями. То есть евреи как «нечистая сила» всплывают в разных контекстах, иногда в принципиально противоположных, но используются как синоним слова «плохой». Тем не менее могу сказать, что даже в небольших группах, где стереотипы быстро распространяются от власти к населению, представить себе, что антисемитизм углубится и останется в исторической памяти, пока трудно. Мы не можем ничего утверждать, но нет никаких оснований полагать, что, скажем, через несколько лет эта инструментальная фобия закрепится в качестве давней и длительной.

Второй важный момент в изменении отношения к евреям связан с фундаментальными сдвигами в ценностных ориентациях населения. Если в Российской империи и в Советском Союзе образ предприимчивого еврея оценивали преимущественно негативно, то ныне абсолютно те же черты воспринимаются скорее со знаком плюс и даже как предмет зависти. «Достижительность» — это здорово, это достойно, это первый класс, люкс.

Visual Others

Теперь перейдем к категории «чужие». В ней представлены те группы, образ жизни которых радикально отличается от урбанизированного. Это visual others, «видимые чужие», те, кто заметно отличается от остальных. Поэтому устойчивость негативного отношения к цыганам, единственной общности, которая не выходила из этой категории в течение тридцати лет наблюдений, обусловлена не только исторически накопленными фобиями, но и реальными особенностями социального состава, образа жизни и повседневного поведения значительной части представителей этой группы в разных странах мира. Мне приходилось и на международных конференциях говорить о том, что одной лишь защиты дискриминируемого меньшинства недостаточно для заметного и устойчивого изменения отношения к ним со стороны этнического большинства. Такие перемены станут возможными, если национальные лидеры (а это довольно влиятельная группа, лидеры общественного мнения) внутри этнических сообществ будут добиваться изменения образа жизни и роста массовой ориентации своего сообщества на его модернизацию.

Этнический негативизм и доверие к власти

Если провести сравнение двух графиков, выведенных специалистами «Левада-центра», — графика волн изменения этнического негативизма и графика волн изменения доверия к власти за 2000 — 2019 годы, — то видно, что в период низкой социальной удовлетворенности и низкого доверия к власти наблюдается рост

этнического негативизма. Росли не антиправительственные настроения, рос этнический негативизм, что служило «зонтиком» для сохранения политического рейтинга власти при всех изменениях экономической и политической ситуации. Но сейчас можно наблюдать первые признаки того, что ситуация меняется. По крайней мере, в крупнейших городах становится заметно, что культурные «чужие» перестают быть громоотводом для недовольства. Такие проблемы, как социальное неравенство, а прежде всего произвол — полицейский, судебный, — в значительной мере прямо формируют недовольство теми, кто его чинит, а вовсе не случайными «чужими». У россиян проявляется и делается заметным рост ценности гражданского достоинства.

Не вижу смысла обсуждать жестко примордиалистский[1], расистский подход к этничности как предопределённому, навечно пришитому к телу некого этноса свойству. А вот культурный дальтонизм, то есть нежелание видеть этнические различия, стремление избежать даже употребления самих названий этносов, эту проблему обсуждать стоит. Повторю: отказ от признания этнического разнообразия, ложь во спасение никогда не бывают полезными. Даже разговор о том, что у преступности нет национальности, тоже не совсем верен. Именно так говорили, например, в 1894 году в связи с делом Альфреда Дрейфуса. Мы, мол, судим преступника, изменника, а вовсе не еврея! Это, дескать, господин Золя придумывает, бросает тень на нашу власть, на нашу армию, говоря, что якобы мы судим его по этническому принципу. Кстати, Эмиля Золя тогда осудили за клевету. Но ведь и сегодня мы видим скрытые проявления дискриминации по этническим признакам, а еще чаще проблемы в повседневном общении между представителями разных этно-территориальных групп. Все это требует внимания и общественного обсуждения, а вовсе не замалчивания.

Факторы ослабления имперского синдрома

Даже при гигантском влиянии в России государства и зависимых от него «свободных» масс-медиа, не все в жизни страны подчиняется их воле. Развиваются в РФ и такие долгосрочные социальные и демографические процессы, которые ведут к ослаблению имперского синдрома.

Этнодемографическая ситуация со времен Российской империи и СССР изменилась. Тогда численность русского населения в колонизованных районах росла, сейчас в республиках она сокращается практически повсеместно. И эта ситуация, пусть не везде, но порождает множество конфликтов. Русская национальная элита, например, смирилась с тем фактом, что она фактически выбыла из большинства республик Северного Кавказа, но там, где этнические русские составляют большинство населения или являются второй по численности группой, их недовольство нарастает, и возникают требования перемены культурных условий в пользу русского населения. Например, именно в последние годы конфликтность все чаще проявляется в вопросе о национальных языках республик Российской Федерации. На их изучении в государственных школах настаивает местная элита, но этой практике сопротивляется русское население.

Федеральная власть поддержала русское большинство, приняв 25 июля 2018 года новый закон об изучении родных языков и сделав изучение государственных языков республик необязательным. Такой закон демонстрирует переход российской власти от классической имперской модели управления (надэтнического) к принципу «опора на этническое большинство». Так уже было в начале XX века в Османской и в

[1] Примордиализм — одно из теоретических направлений в гуманитарных науках, рассматривающее культурно-отличительные и социальные группы (например, этнические и расовые) как изначальное, обязательное и всеобщее объединение людей.

Российской империях и в обоих случаях знаменовало их закат. Такой процесс неизбежно переводит национальные элиты в состояние оппозиции имперскому порядку.

Воспроизводству традиционной имперской ситуации препятствует и радикально возросшая в постсоветские годы территориальная мобильность населения. В эпоху классических империй как колонизированные народы, так и жители метрополий веками сохраняли свои особые уклады, поскольку бо́льшая часть населения рождалась и умирала в границах своих этнических территорий. По переписи 1926 года, даже после пертурбаций гражданской войны только 25% населения СССР жили за пределами мест, где они родились, тогда как по данным последней российской переписи 2010 года, таких было уже более половины (53,8%). Территориальная мобильность в Российской Федерации иная, чем была в СССР. И масштаб, и структура миграционных потоков изменились. В Советском Союзе свободное перемещение сдерживалось государственным регулированием: институтом прописки, дефицитом жилья и отсутствием собственности на него. Так или иначе, после распада СССР свободная миграция в пределах России, а также отток людей из страны и особенно приток в нее из бывших постсоветских республик существенно возросли и стали более разнообразными по сравнению, например, с 1980-ми годами. А миграции сминают имперское тело, приводят к смешению населения, особенно в крупнейших городах.

Горожанство и гражданство — термины, связанные в большинстве европейских языков. Города, особенно крупные, всегда были и остаются источником развития гражданской культуры в силу большего разнообразия социальных и культурных групп и большей их независимости от власти. Львиная доля всех институтов гражданского общества в России сосредоточена в крупнейших городах, здесь же концентрируется активность в социальных сетях и в наибольшей мере проявляется демонстрация гражданского достоинства.

Имперский синдром устойчив, но его устои постепенно подтачиваются как развитием гражданской культуры, так и процессами защитного этнического самосознания. Например, защитниками идеи федерализма в России — пока не очень сильными и смелыми, но реальными — выступают национальные элиты большинства республик.

Так или иначе, крот истории продолжает рыть, пусть пока и очень медленно.

Дмитрий Райц

Первая казнь в моей жизни

Рассказ

Дедушка берет накачанный до звона футбольный мяч. Молодой, еще шестидесятилетний, он бьет по мячу с такой силой, что тот взмывает вверх, сжимается до точки, до горящей на небе темной звезды, и начинает снова расти, летя с угрожающим свистом, точно снаряд, и... по моей пятилетней голове.

Память летит вслед за этим треклятым мячом. Вдруг вспомнил диалог со старшим братом-первоклассником про смерть и перочинный ножик:

— Вот этот ножик, — говорит он мне, — после моей смерти перейдет по наследству тебе.

— Спасибо, но я думал, мы будем жить одинаково, — отвечаю я бесхитростно.

— Ну, я постарше, я на пару дней раньше умру.

Как рисунок орангутанга — глупые, но милые в своей неожиданности мысли.

Или разговор с мамой:

— Только научился платить, как... как... — я глотал слезы из-за деноминации рубля. — Ельцин козел!

— А ну не говори так! Вот соседи услышат, расскажут милиции, и нас с папой посадят.

Когда что-то ноет или болит, когда жалко себя и грустно, легче поверить, будто бы в детстве еще не было зла, обид, неприятностей и всего дурного... Но я вспомнил совсем иной случай.

Начиналось лето. Закончился первый класс. Я был в гостях у Кости Апостола... Фамилия Кости была Муравьёв. На уроке во время рассказа о казненных декабристах, среди которых был Сергей Муравьёв-Апостол, с задних парт раздался крик: «Ха! Апостол!» Так Костя Муравьёв стал Апостолом.

На июнь я уезжал к дяде, а июль и август проводил на даче. Зашел к Косте попрощаться до конца лета.

Мы спорили про «Остров сокровищ»:

— Долговязый Джон Сильвер.

— Одноглазый Джон Сильвер.

— Да долговязый же, ну.

— Сейчас водички попью и вернусь, — сказал Костя, уходя на кухню.

Я заметил на полке яркую пружинку всех цветов радуги, от каждого охотника до фазана. Вроде бы ее пускали красочно переваливаться вниз по ступенькам.

Райц Дмитрий Владимирович родился в 1990 году в Новосибирске. Окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Автор книги «Случаи с англичанами» (2020).

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

И девчонки, кажется, прыгали через нее как через скакалку. Откуда такая пружинка взялась у Кости, не понимаю.

Я взял ее в руки, радуга растянулась до самого пола. Чтобы сделать бублик, я соединил концы, но пружинка перевилась. Попробовал распутать. Не получилось. Костины шаги. Положил ее на место. Я представил себе ссору, скандал, наказание, разочарование родителей, его и моих. «А был на хорошем счету...» И еще в голове крутились непонятные, но страшные слова «возмещение ущерба».

Костя вернулся в комнату. Мы еще обсудили список литературы на лето, и я пошел домой, где меня пугал теперь каждый телефонный звонок. Я даже договорился с бабушкой в этот вечер первым брать трубку, надеясь перехватить скандал. Но телефон молчал.

В телевизоре без сил лежал на троне русский царь. Он тихо пел:

— Я чувствовал, вся кровь мне кинулась в лицо и тяжко опускалась... — он закрыл десницей глаза и вдруг с пения перескочил на вопль. — О, совесть лютая, как страшно ты караешь!..

Я заплакал.

— Ай да Мусоргский, — сказала бабушка, но вскоре переключила на бразильский сериал о страстях на фазенде.

Следующим утром мы поехали к дяде. Раньше, проезжая мимо бесконечных полей, я мечтал дойти до далеких деревьев у самого горизонта и погулять между ними. Но теперь, глядя в окно, я думал только о том, как в это самое время Костя проклинает меня. Что я наделал? Зачем мне вообще понадобилось что-то трогать дома у Кости?

Проехали Томск, потом хвойный лес в тучах гнуса и наконец добрались до деревни. С дядей я встретился уже совершенно больным.

— Ну вот и вы, дети асфальта, — приветствовал дядя нас с братом.

Поначалу снились кошмары, как приходит милиция, надевает на меня наручники и ведет на суд. Приговор выносился то моими родителями, то Костей, а однажды я сам обвинял себя с высокой трибуны. Заодно милиция забирала родителей, за мои слова насчет Ельцина.

Я просыпался с чувством тяжкой, ноющей, безнадежной горечи. Хотелось уткнуться головой в подушку и никогда больше не вставать с постели. Но я вставал, завтракал, и становилось немного легче. Вскоре отчаянье наваливалось с новой силой. Тяжелее всего было вечером, с наступлением темноты... Я стал молчаливым, часто вздыхал и весь как-то суетился — хотелось спихнуть с себя это отчаянье, но что делать? «Что делать? Рассказать? — измученно думал я. — Нельзя. Страшно». Мама даже спросила, не болят ли у меня зубы. На всякий случай она записала меня к стоматологу.

Ни поездка на мотоцикле за кедровыми шишками, ни то, как дядя отгонял пустой канистрой назойливых и страшных свиней, ни даже рыбалка в затонах Томи не могли развеселить меня.

— Митька меня стесняется, что ли? — спрашивал дядя у мамы. — Не пойму, ведет себя скромно.

— Да нет, какая скромность, — отвечала мама. — Тут первая любовь, я уверена...

Папа молчал, он тоже подумал про первую любовь, но не хотел подвергать меня излишнему любопытству взрослых. Несмотря на кажущуюся безучастность, папа всерьез задумался над вопросом и даже понял, кто бы из класса это мог быть.

— Улыбочку! Димка, ну-ка улыбнись.

— И на мой щелкни еще.

Дядя сфотографировался с племянниками, и мы поехали обратно. Недавно я наткнулся на эту фотографию. Теперь, когда все прошло и забылось, мне просто смотреть на нее и удивляться, как можно было всерьез страдать от запутанной пружинки. Дети же постоянно что-то ломают, они должны легко переживать... Хотя никому они ничего не должны.

Костя с пружинкой постепенно утрачивал очертания, и муки совести остались сами по себе. Казалось, все это навечно.

А может быть, муки совести — необходимая часть взросления? Наступил июль, и мы с братом очутились на даче. Жизнь других продолжалась счастливо и спокойно. Я завидовал. Иногда, чтобы побыть одному, я прятался в зарослях клена. На месте усидеть я не мог, а для расхаживания из угла в угол там не было ни места, ни углов. Поэтому я стоял и, вздыхая, смотрел сквозь листья на дачную дорогу и большие ворота. Прошлым летом мы с братом открывали ворота для проезжавших машин, беря с них за это деньги... Теперь то хорошее время казалось чем-то бесконечно далеким.

«Все-таки рассказать? Брату, — думал я. — Он сможет посоветовать. Он пятиклассник».

— Все-таки рассказать Косте, как думаешь? — спросил я брата.

— Не стоит. Он ябеда. Может быть скандал.

— А маме?

— Хочешь разочаровать ее — рассказывай, — ухмыльнулся он. — Накажут.

Ничего нового.

— Что же мне делать? — напрасно я ждал облегчения.

Брат задумался.

— Купи на свои деньги такую же штуку. Потом придешь к нему, подмени незаметно.

— Он не мог не заметить! — я уже плакал.

— Ну, тогда я не знаю...

— Только не говори никому, пожалуйста!

А вдруг он ничего не заметил? Нет шансов, он не мог... И все же. Вдруг? Нет, этого не может быть... От надежды только хуже.

На выходных приехали родители. Брат сказал им:

— Скоро мой день рождения. Хочу... Не знаю названия... Большая такая пружина всех цветов радуги. Хотя нет, слишком девчачье, ребята не поймут, — со злой усмешкой он смотрел на меня.

От надежды только хуже. Если остается надежда, не наступает смирение.

Хмурым июльским утром дедушка зашел в комнату проверить, проснулся я или нет. Начал он с присказки:

— «Так» сказали мы с Петром Иванычем.

Обычно я притворялся спящим, но никак не мог сдержать улыбку. Теперь мне не хотелось улыбаться, и я изображал сон совершенно серьезно. Дедушка тронул меня за плечо.

— Что такое, пижон?

Я открыл глаза, но ничего не ответил.

— Что за морда лица? Выглядишь так, будто у тебя неспокойная совесть.

Я вздохнул.

— Ты еще слишком мал для неспокойной совести. Подъем, боцман Дзюба!

Позавтракали. Дедушка вытащил из сарая велосипед. Я летел от ворот вниз по склону, проезжал по улочке, разворачивался у колонки и возвращался к воротам. Ветер свистел в ушах, и слезы щипали глаза. Я забыл обо всем и видел только зеленые пятна травы и камни, скакавшие под передним колесом.

Брат оторвался от телевизора. Мы улеглись на старую тахту. Дедушка достал из-под подушки потрепанную книгу про Шерлока Холмса и стал читать вслух... После обеда пошли на озеро. Из воды торчали камыши, крякала одинокая утка. Дачные ребята говорили, что есть тайная тропа, которая ведет на островок в заболоченной части озера. «Отличное место для логова Степлтона», — весело думал я.

Вдруг завыла собака. Я вздрогнул.

— «Остерегайтесь ходить по болотам, когда темно и силы зла властвуют безраздельно», — вспомнил дедушка и усмехнулся.

Вечером повторяли финал чемпионата мира по футболу. Французы опять забивали Бразилии три безответных мяча. Прекрасный день.

Я лег в постель. Пружины кровати заскрипели, и я вспомнил пружинку, пеструю, Костину, которую я испортил.

— Дедушка?

— Хочешь что-то сказать, барчук?

— Ничего. Красиво Зидан забил, правда?

И все же, вдруг Костя не заметил? Нет, нет, нет... Скоро август, и скоро мы встретимся. Что будет? Такая мелочь испортила мне всю жизнь! Я же не плохой, за что мне это? Изменить бы всего одну маленькую случайность в прошлом, не трогать проклятую пружину, и были бы хорошие каникулы!

Проходят дни, проходят и месяцы. Испорченное лето не может не завершиться. Я пошел к Косте Апостолу без предварительного звонка. «Не знаю что, но что-то сегодня решится», — думал я. Самое страшное, что может быть — поссоримся и конец дружбе. До кулаков вряд ли дойдет. Попытаюсь объяснить, что куплю такую же новую. Как рассказать маме? Потом, все потом...

Совесть, как и любое чувство, не подчиняется логике. Доводы не успокаивали, я не верил, что все кончится. Я шел на первую в моей жизни казнь.

Костя открыл дверь.

— О, привет!

В том возрасте мы еще не жали друг другу руки, поэтому я просто прошел на место моего преступления. Немного удивился, что в комнате ничего не изменилось, и стал ждать. Ох, Шерлок Холмс расколол бы меня за одну трубку...

— Весь список прочел? — вернулся Костя к июньскому разговору.

Пружина лежала на полке, переливаясь цветами от «как однажды Жак-Звонарь» до «городской сломал фонарь».

— Книгу по патриотической тематике прочел?

— Не успел, — ответил я и ненароком взял пружинку. Она была распутана.

— Что будешь делать? — спросил Костя.

Облегчение наступало постепенно.

— Скажу, что прочел «Войну и мир». Бабушка говорит, там про войну с французами. Расскажу про Бородино.

«Гора спала с души» — на ум приходили одни банальности. Как за все это время я не догадался, что Костя ее распутает? С пружинкой в руках я сел на стул. Чтобы еще раз убедиться, что все позади, и хотя бы символически изменить прошлое, я опять соединил концы радуги. И она запуталась...

Я уставился на Костю, но он сказал:

— Дай. Я научился распутывать, — он покрутил ее и запросто разъединил концы. — Хочешь, тебя научу?

— Нет, я запутываю, ты распутываешь.

— Ну ладно, пошли поиграем в комп...

С тех пор я много чего ломал в своей жизни, но не помню, чтобы совесть меня мучила так долго и беспощадно. Первый приступ болезни самый сильный, потом организм приспосабливается. Наверное, что-то такое происходит и с совестью...

Как же хорошо, когда ничего не мучает, ничего не болит! Я вышел на улицу. Теплый августовский вечер. Снова начинается жизнь. Теперь ничто не мешает мне быть счастливым. Вроде бы еще лето, но воздух пропах горелой осенью и небо приобрело осенний окрас. Неужели конец? Да, кончено.

Константин Комаров

«На небо слили бочку дёгтя...»

Что считать первым (равно и последним) стихотворением поэта? Вопрос не столь простой, как может показаться на первый взгляд. Не случайно Юрий Казарин в своей замечательной антологии-монографии «Первое стихотворение ста русских поэтов» дает не единичные стихотворения, а «парадигмы первого стихотворения». Ведь в этом качестве может рассматриваться не только первое написанное стихотворение, но и, например, первое опубликованное, а главное — первое, которое сам поэт считает «настоящим». С которого он «начинается».

Стихотворчеством я увлекся лет в 11—12 на почве обширного чтения. Первые опыты стихописания проходили по разряду хобби, наряду с футболом. Рифмовал что-то, записывал в тетрадочку. Помню из тех времен одну строфу: «Птицы клином пролетели,/ На тропинках тает снег.// Вдаль, вздохнув, ушли метели,/ Уступая путь весне». Тетрадочка была успешно похерена. И хорошо, а то, как говорил Маяковский об отобранной у него охранкой при выходе из тюрьмы тетрадке юношеских проб пера: «Ещё бы напечатал». Потом был кратковременный период попыток подражать как раз Маяковскому. К счастью своему, я быстро понял, что подобное подражание — полное и неизбежное творческое самоубийство. От этих дней остались в памяти две показательные строчки: «Гремит по миру Революции конь/ пролетарскими копытами». Соответствующая тетрадочка так же была похерена без особой жалости и слез.

А собственно ключевой эпизод, когда я оказался «запродан» поэзии раз и навсегда, помню отчетливо. Девятый класс, урок алгебры. Маюсь в невыносимой скуке, ибо с числами у меня никогда не складывалось (вспомним у Гумилёва: «А для низкой жизни были числа,/ Как домашний подъяремный скот,// Потому что все оттенки смысла/ Умное число передаёт»). Неожиданно в едином порыве записываю на последней страничке тетради 8 строк:

На небо слили бочку дегтя,
А может, это был мазут.
Лучами острыми, как локти,
По небу звёзды проползут.

И в воздух, пахнущий редиской,
Пролив промасленный свой свет,
Слепой прожектор лунодиска
Нечаянно сойдёт на нет.

И тут меня куда-то выносит. Сижу, ошалело смотрю на строчки, понимаю, что что-то важное произошло, но что — не понимаю. Именно тогда я, судя по всему, и испытал тот нефильтрованный кайф «ускорения сознания», о котором позже прочел у Бродского («Стихотворение — колоссальный ускоритель сознания»). Тогда ощутил всем существом, что стихами можно мыслить на совсем иных скоростях и что они могут действительно быть «томов премногих тяжелей». Однако и механизм, озвученный Пастернаком в знаменитом его стихотворении («О, знал бы я, что так бывает,/ Когда пускался на дебют,// Что строчки с кровью — убивают,/ Нахлынут горлом и убьют...») имеет в своем истоке именно этот урок алгебры — эти несколько минут, которым я благодарен и признателен и по сей день. И буду благодарен до «последней икоты».

Евгений Абдуллаев

Время селфи

Название предполагает, что я должен начать с себя — и я начну с себя.

Итак, я решил, что придумал новый термин. «Селфи-проза».

Решил это я, сидя за своим рабочим столом, с физиономией, слегка подсвеченной монитором, и с красными цикламенами на подоконнике. Они, по расчетам, тоже должны были войти в мысленный кадр.

Но селфи — даже воображаемого — не получилось.

Порывшись в Сети, выяснил, что «селфи-прозу» за меня уже придумала Ирина Богатырева. Четыре года назад, в предисловии к книге Андрея Пермякова «Тёмная сторона света».

«Это тот жанр селфи-прозы, который вырос из ЖЖ и статусов в facebook'е и которую раньше именовали бы дневниковой»[1].

Впрочем, «селфийность» современной прозы уже успели подметить.

«Десятки авторов художественных произведений демонстрируют в своих текстах не только срез жизни общества или конкретного человека — они делают «селфи», фотографируют себя», — пишет Александр Котюсов («Дружба народов», 2015, № 7).

«Проза обречена на селфи, как и кино обречено на stories в социальной ленте», — вторит Виктор Пучков в своем блоге «Солома»[2].

Хорошо это для прозы — или не очень?

Здесь, вероятно, стоит отделить селфи-прозу от дневниковой.

Дневник — проза для себя, субъективнейший и интимнейший жанр. Да, он может вестись с прицелом на публикацию. Но между классической дневниковой прозой и селфи-прозой приблизительно такая же разница, как между прежним любительским фото-автопортретом (поставить «фотик» на что-то твердое и ровное, успеть отбежать, чтобы попасть в кадр...) и нынешними селфи, щедро выкладываемыми в Сети.

«Виртуальный образ человека, — пишет Дмитрий Голынко-Вольфсон, — предъявленный в селфи, предстает вовсе не проекцией субъективных качеств и свойств, а отстраненным, абстрагированным объектным образом, референтным вереницам и сериям других селфи»[3].

Так и селфи-проза завязана на предельно объективирующем автопортретировании. Это дневниковость, нацеленная на мгновенный отклик. Причем в зависимости от этих откликов постоянно корректируется.

---

[1] *Богатырева И.* Мечтательный автостопщик // Пермяков А. Тёмная сторона света: Повесть. — Вологда: «Том писателей», 2016.

[2] Современная и самая новая проза — это разговор (https://soloma.today/prose/).

[3] *Голынко-Вольфсон Д.* Гуманитарное знание как (бес)полезное ископаемое // НЛО. 2016, № 2 (https://magazines.gorky.media/nlo/2016/2/gumanitarnoe-znanie-kak-bes-poleznoe-iskopaemoe.html).

Разумеется, селфи-проза возникла не из моды на самофотографирование; это два проявления одного и того же феномена. Запроса на субъективность — и, одновременно, на документальность. *Субъективность — документальность — интерактивность.*

У селфи-прозы есть своя родословная, восходящая, как минимум, к Василию Розанову. Впрочем, так далеко ходить и не нужно. Вспомним, как в начале нулевых, когда еще не отыгрались постмодернистские игры («автор умер, хвост облез!»), прозвучала подчеркнуто автобиографичная, тяготеющая к документализму проза Павлова, Сенчина, Рубанова... С другой стороны, где-то с середины нулевых, пока еще не в сегменте высокой прозы (но где-то рядом) возникает «блогерская проза». Марта Кетро, Слава Сэ; кто-то, может, еще какие-то имена вспомнит. В десятые обе эти линии совпали и...

...И к концу десятилетия и в высоком сегменте возникла интересная и яркая селфи-проза.

Например, уже упомянутая «Тёмная сторона света» Андрея Пермякова (2016). Путешествия автостопом по городам и весям — лиричные, с точно схваченными деталями. Стилистически — что-то между хмуроватостью «нового реализма» (в одной из глав возникает книга Олега Павлова) и легкостью блого-письма. Впрочем, «Тёмная сторона...» выкладывалась автором в ЖЖ лишь подготовительными набросками, так что полностью к селфи-прозе ее отнести нельзя — хотя написана она, безусловно, с учетом опыта такой прозы. Я имею в виду повесть «Десятая часть года» («Волга», 2010, № 1), которая целиком выросла из живожурнальных постов.

А вот вышедшие буквально с годовым промежутком «Про папу» Евгения Никитина (2018) и «Ода радости» Валерии Пустовой (2019) — это уже, что называется, классика жанра.

Оба романа, по признанию их авторов, не писались как романы, а сложились из постов в соцсетях.

«...Я даже не задумывалась о том, что пишу какую-то прозу, а просто выкладывала в Facebook то, с чем не могла больше оставаться один на один», — рассказывает Пустовая[1].

Из сетевых постов выросло и «Про папу» Евгения Никитина. «Эта книга — антироман, — сказано в предисловии. — Она — не результат письма, а процесс». И процесс продолжается: в недавней «Литературе» — новая порция «пропап». «Как известно, в конце девяностых я жил в Дортмунде как еврейский эмигрант, совершенно одинокий и оскотинившийся...» И ведь действительно известно: всем, кто читает Никитина. У него почти всё — про его жизнь в Рышканах, Кишиневе, Дортмунде и Москве. Теперь в Израиле.

Обе книги, однако, именно романы, а не просто циклы очерков. Повествование завязано в романный фокус единством субъективности автора, который одновременно и главный герой, *автогерой* (термин, когда-то предложенный Натальей Ивановой). Страница за страницей — кадр за кадром — автор снимает себя в разных ракурсах, поворотах, изредка слегка позируя, но обычно — выглядя снятым совершенно неожиданно. И обоим прозаикам удается это очень убедительно.

Как и само селфи, селфи-проза имеет и свои ограничения — в кадр, кроме самого автогероя, может вместиться не слишком многое. Как правило, только самое близкое.

---

[1] «Они что, и на барабанах играли?» Критик Валерия Пустовая написала о смерти мамы, рождении сына, книжках и любви // НГ-Ex libris, 19 декабря 2019 г. (http://www.ng.ru/ng_exlibris/2019-12-19/10_1011_valeria.html). В «дружбинской» публикации фрагмента «Оды...» («ДН», 2018, № 11) тоже отсутствовало указание, что это отрывок из романа, — лишь подзаголовок «Записки печальной дочери».

У Пустовой — это мать и новорожденный (и постепенно растущий) сын. У Никитина — отец и два отчима. Появляются, более-менее эпизодично, и другие — тоже, как правило, из семейного, ближнего ряда. Оптика не слишком широкая, зато фиксирующая те биографические и психологические детали, которые бы неизбежно затерялись при более панорамной съемке.

В остальном романы Пустовой и Никитина — конечно, очень разные.

Первый читаешь с улыбкой, второй — с усмешкой.

У Пустовой — эмоционально, но без слезливой сентиментальности; внутренне религиозно — но без сусальности; в двух шагах от мелодрамы, но без совершения двух этих роковых для серьезной прозы шагов.

У Никитина — отстраненно, но без холодности; иронично — но ирония эта не злая; первым автор посмеивается над самим собой.

Оба автора — ровесники (рождения начала 80-х), и для обоих — это первые и пока единственные прозаические книги. Никитин мигрировал в прозу из поэзии, Пустовая — из критики; девять лет назад она, кстати, опубликовала статью-исследование «о литературе, которая вышла из блогов» («Октябрь», 2011, №12). Где отметила и ее интерактивность, и родство с фотосъемкой: «Литература, вышедшая из блогов, похожа на антологию мгновенных снимков экрана». Так что «Ода радости» возникла не так уж случайно. Понаблюдав и поизучав, как снимают другие, Пустовая сама стала виртуозно управляться с камерой и селфи-стиком.

Я назвал лишь три случая интересной селфи-прозы, но их больше. Например, вышедшие в «Ридеро» (и потому, увы, «проскочившие» мимо рецензентов) замечательные «Записи-1» поэта и блогера о. Сергия Круглова. Здесь больше дневниковости, а фигура автогероя (и его семьи, кошек, друзей) дана немного не в резкости. Оно и понятно, для Круглова, как православного священника, важнее фиксация присутствия вышнего Автора.

Есть, кстати, в «Записях-1» и о «селфи».

«А эпоха сейчас, скорее, — селфи.

И палка пророк его.

Хоть как-то запечатлеть себя, хоть что-то о себе сохранить, — потому что и я, Господи, проваливаюсь в этот всепожирающий урчащий сток унитаза и слабо верю, что и Ты, закатав рубаху по локоть и пошарив, вдруг зачем-то вытащишь меня, запомнишь меня “вечно молодым вечно пьяным”»[1].

Печально, но верно.

В общем, «Selfie Our Souls!».

Собрал четыре года назад свои посты в увлекательную книгу Сергей Чупринин («Вот жизнь моя. Фейсбучный роман»). Но это, скорее, из разряда литературных воспоминаний; селфи-проза для них — лишь форма.

Селфи-проза, как и сами селфи, — она больше о здесь и теперь, чем о там и когда-то.

Публикуют свои записи на «Текстуре» Санджар Янышев («Избранные заметки, наброски, посты») и Юлия Подлубнова («Diaries», с фотографиями); на «Литературе» — Елена Зейферт, в «НЛО» — Александр Скидан...

Все эти авторы, как можно заметить, не входят в условный пул профессиональных прозаиков. Чупринин и Пустовая — критики; Круглов и Янышев — поэты; Пермяков, Скидан, Подлубнова и Никитин — и поэты, и критики. Многие прозаики тоже ведут (или вели) блоги — например, Линор Горалик, которая, возможно, первая попыталась

[1] *Круглов С.* Записи-1. Избранное из ФБ, 2014–2018. [б. м.]: [б. и.], 2018. С. 419.

поженить блог с серьезной прозой; но чем дальше, тем Горалик всё больше от блогописи — достаточно прочесть «Все, способные дышать дыхание». Или — совсем из другой серии: начинавшая как блогер Наринэ Абгарян; к селфи-прозе ее последние книги тоже не отнесешь.

Зато для критиков и поэтов селфи-проза оказывается оптимальным жанром — они получают возможность реализоваться как прозаики, не изменяя своей основной литературной идентичности. Особенно, вероятно, это оптимально для поэтов: сам формат поэтического высказывания тяготеет к оптике селфи. Как писал еще Фаулз: «Очень трудно вложить свое сокровенное “я” в роман; очень трудно не вложить это “я” в стихи». В жанр селфи это сокровенное и всякое другое «я» вмонтировано изначально.

Можно заметить и то, что «толстые журналы» берут такого рода прозу пока не слишком охотно. Дело не только в здравом консерватизме и в нежелании публиковать уже опубликованное в Сети; хватает — и более чем — пока прозы «обычной», не селфи. Да и сами авторы, похоже, не спешат со своей селфи-прозой в толстожурнальные редакции, предпочитая «обкатывать» ее на сайтах... Но тенденция — налицо. Точнее — *на лицо*: на авторское лицо, которое в прозе десятых неожиданно укрупнилось и придвинулось к читателю на предельно близкое расстояние.

Собой начал — собою и закончу.

Пока писал, стемнело; свет на физиономию падает уже не с экрана, а из настольной лампы слева (для читателя, стало быть, справа). Цикламены почти не видны. И вообще за пределами головы — темновато и ничего интересного.

Можно нажимать на мысленную кнопку.

Николай Александров

Опыт краткого комментария

Михаил ГРОНАС. Краткая история внимания. — М.: Новое издательство, 2019.

Это даже не краткий комментарий, а только опыт такового. Заметки на полях, избранные маргиналии. Потому что иначе пришлось бы переписать весь сборник и добавить свои примечания. Кстати, большой соблазн и близкий мне жанр, но вряд ли здесь уместный. Сделать небольшую книгу искусственно отяжеленной рефлективными словами; легкое — тяжелым, первичное — вторичным. Оправданно ли?

Хотя цитировать все равно придется много.

Можно сказать и так: это попытка дать ключ, то есть предложить некий инструмент, который, как мне кажется, открывает двери. Открывает для меня.

Хотя не все мной обнаруженные двери будут открыты.

И это вовсе не универсальная отмычка. Помилуй бог, у каждого свои боги.

Собственно, и этот ключ мне дается с трудом, потому что пересиливают лень и осознание тщетности литературоведческого говорения (и говорения вообще), аналитического структурирования, разбора и нового строительства.

Так что это опыт не объяснения вообще, а объяснения себе. Такое *применение*, *примерка* Гронаса. Или *опыт примирения* с ним. Не рефлексия, а эксперимент вживания, существования в инородном теле. Конечно, паразитический по существу. Потому что неизвестно, останется ли в результате что-нибудь от Михаила Гронаса. Ну, кроме цитат. С этого и начнем.

Обложка

На обложке помещены стихи:

Это стихотворение написано автором ночью.

Это — двадцать три миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи сто восемьдесят шестое стихотворение после Освенцима (цифра неточная).

В нем выражаются такие чувства, как тоска по родине, любовь к любимым и дружба с друзьями.

Всё это выражено словами.

Понятно, что Гронас апеллирует к знаменитой фразе Адорно о возможности писать стихи после Освенцима. Но есть одна хитрость. Это не возражение, не ответ, но констатация — конечно, любое лирическое высказывание бессмысленно и неуместно. Просто по определению, исходя из того, что такое лирика и что такое Катастрофа.

После Катастрофы для поэзии остаются одни банальности, слова с нулевым содержанием, бла-бла-бла-говорение, извлечение звуков. Так что книжку Гронаса можно рассматривать не как полемику, но как попытку преодоления этого безнадежного приговора, стремление выжать из слова что-то еще, кроме очевидности, оставить нечто более существенное, чем мертвая семантическая оболочка, поверхностный смысл; вывернуть наизнанку пустоту, на которую вроде бы обречена поэзия в мертвом мире, в мире умершего (или ушедшего) Бога.

Мир полностью опустошен. Нет ничего ни внутри, ни снаружи, то есть ни в объективной реальности, ни в субъективной персональности. Приходится все создавать заново, и сотворение Я равносильно сотворению мира. Потому что пока Я отрицает мир, а мир отрицает Я.

Заглавие

Краткая история внимания.

Главное слово здесь — внимание. Это не обозначение концентрации или сосредоточенности. Это внимание, произведенное от глагола «внимать». То есть имеется в виду процесс, опыт постижения: как я внимал (внимаю) себе и миру — прислушивался, приглядывался, притрагивался, постигал и осознавал.

и невнятно всегда невнятно —

что же ты блядь никогда не умеешь внять

Или:

Стало быть жалобы те забудь пока
У тебя на руках дитя —
Сноп бытия
И океан внимания

Краткая история. Не история вообще — а моя, личная, история. Что-то вроде «Выбранных мест». Выбранные места из моего опыта.

Если история — значит, есть сюжет. Или хотя бы хронология. Есть какое-то развитие тем, чередование лейтмотивов. Применительно к сборнику Гронаса — это так. Стихотворения перекликаются, поясняют друг друга, рифмуются друг с другом. За этим интересно наблюдать. Но я ограничусь лишь фрагментами наблюдения.

1

«лети меня свет...»

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один».

лети меня свет
теням ответ
и ветра ветошь

за окном забывают как будет утро
и я подсказываю первую букву

ни на *да*
ни на *не*
ни на *и*
непохоже
мироздание
ни на *бы*,
ни на *будто*

Все начинается с сотворения мира и себя, и себя в мире.

Это дверь (врата) и вхождение, только вот демиург забыл слова, которые были внутри и вне, в и за, и не знает, откуда свет в нем и вовне. И он не равен свету, который сила, несущая его.

Это мироздание не просто без определенности, без разделенности, но не сравнимое ни с чем, лишенное какого бы то ни было как. Так и будет дальше жестко (ну, или более внятно) сказано:

что такое это как? с чем сравнить тебя, сравненье?
ты раненье или нить, зашивающая рану?

все подобия — надгробья и созвучия замучат

я хочу забиться в угол и смотреть на то, как вещи не похожи друг на друга

Только дело в том, что у Гронаса почти нет отдельных вещей. Все перетекает во все, все сливается: сон — явь, внутри — снаружи, тело — душа, небо — земля, так что не только тело и душа — одно, но тело и земля, тело и небо. Это мир, который не разделен на *да* и *нет*, или мир, протянутый между этими полюсами:

Времена настанут такие, что *да* и *нет*
Именами станут двух последних планет,
И меня растянут по длинной тонкой струне
Между ними.

И я буду смотреть, как падает из гнезда,
Продолжая тлеть, оплавленная звезда,
Поджидая смерть, пересвистываясь с ней иногда
Тихими позывными.

(Тихие позывные в разговоре со смертью. Две последние планеты *да* и *нет* и падающая звезда. И в общем, разницы нет между планетами — путь от бытия к небытию — и звездой, стремящейся к гибели. В этом мире нет никакой опоры, Я тщетно пытается опереться на самое себя в окружающей пустоте. Единственное, что остается, — дрожание, звук натянутого как струна Я, пересвист со смертью или со звездой смерти. Но это не только внутренний звук. Весь мир — внятный голос гибели, крик (мычание) бегущего к смерти, своей лунной ипостаси.

Слышишь ли разговор
Выше гор, ниже нор, ближе пор?

Это шепчутся валуны, что их ночи и дни сочтены,

Или провод дрожит в окоёме,
Или овод жужжит о своём,

Или мчит дорогою мимо
И мычит круторогая Ио
О старении, смерти
И о
Растворении в свете луны.

Заметим сразу, луна у Гронаса агрессивна — «Тыльная сторона ладони луны Тянется к моему кадыку» — ничто, поглощающее материальность.)

Или:

туда где сходятся орбиты
звезда хвостатая горит
и *да* и *нет* в единый слиты

светоответ

Поэтому трудно подбирать не только сравнения, но и просто слова, то есть обозначения вещей и явлений.

Слова ушли в глубину, илом осели на дно:

лечь на дно родной речи
глядеть на то, как она зацветает в протоках,
и снова ползти по дну в иле до слов *прости*, *пойду* или
мне одиноко

Слова оказываются пустыми, точнее — не обозначающими, сопричастными ничто, тавтологии, слова обращены во тьму и пустоту:

Ну-ка отвечай, родная речь!
Вечно отвечай, автоответчик <...>
пустоты разметчик, тьмы разведчик...

Слова перестают быть словами. Это надгробные плиты погибшего смысла, камни смерти. Речь становится колоколом без языка, голосом пустоты:

тишина безмолвие бессловесность
наша местность наша окрестность наше становье
даже любовью не раскачаешь колокол
и никакого
нет языка в нём

поэтому я извлекаю не звуки а камни

Слово борется с самим собой, и в этой борьбе лучше отказаться от всякого смысла, лучше в попытке что-то выразить довериться звуку, мычанию, заиканию, косноязычию:

исчезая не ищи величия
в заикании и косноязычии;

междометию, глоссолалии, как будто коверкающей всякое рациональное содержание, любую семантическую окраску:

Когда мы придем к власти мы отменим
Все цвета кроме белого
Все события кроме встречи и смерти
Все слова и дела кроме прикосновений и междометий

Поэзия бросается, как в омут, в небытие, чтобы в этой гробовой темноте и тишине усвоить язык небытия — «шершавый язык пустоты идёт по небесной склере» — вновь обрести способность выражать, артикулировать.

Здесь важно остановиться, потому что я уже нарушил последовательность чтения сборника Гронаса, увлекшись перекличкой тем и образов, проводя цитаты из стихотворений, в книге порой далеко отстоящих друг от друга. В каноническом комментарии можно было бы просто ввести систему отсылок, чтобы читатель мог при желании забежать вперед, увидеть, как впервые возникший мотив развивается дальше. В статье же это сделать трудно. Ну, или мне просто лень. Поэтому я лишь перечислю некоторые темы и мотивы. Но сначала еще одна важная вещь.

В середине сборника помещены переводы. Эта вставка важна композиционно и просто важна. У Гронаса вроде бы смутно, неясно выраженное, как будто недосказанное часто повторяется затем уже более отчетливо и определенно. Например:

войдя в зрачки теки теки по руслу их реки до устья
раз в год приснись развод ресниц над грустью этих вод
я есть я вот я здесь — на дне твоих излучин
светла вода широк поток беззвучен развод ресниц
раз в год приснись потом когда-нибудь

Что это за пробуждение, что за движение — извне или изнутри, из мира в душу или из души в мир? Где устье, а где исток? Это один человек или два? Это странное пространство становится понятней в другом стихотворении:

закрыты глаза
но за ними видней
живущее за
и зовущее вне

сквозная дыра
но из этой дыры
сознанье глядится
в пустые миры

сознание спит
за изнанкою век
сознанье не знает
что я человек

сознанье, вставай
и давай сознавать!
давай мирозданье
с тобой создавать!

проснись и коснись
меня светлым крылом
и веди меня ввысь —
в невидимый дом.

Или, скажем, такой образ: жизнь, стирающаяся о мир и оставляющая следы, как мел, перетекает из стихотворения «Ходить ходить выхаживать...» («Наконец стереться/ На стене последнего дома /Написать исчезающим пальцем:/ Существование — чрезмерно») в стихотворение «Фасады, трение об эти здания, златая пыль...».

Поэтому вставка из переводов из Рильке, Целана, дю Белле — тоже что-то вроде пояснения. Освещение сказанного чужим словом, своей речи созвучием языка Другого, перенесение иного, уже выстроенного мира в свой. И здесь тоже важна последовательность, очередность стихотворений (как и во всем сборнике), поскольку у этой вставной новеллы из переводов свой сюжет.

2

Дальше коротко.

Что же за мир, который творит Гронас, в котором бьется, переживает и тоскует его лирическое Я?

Это бездомность, обреченность. Это гул тишины, каменных слов, позывные падающей истлевающей звезды. Это Ничто, в котором плавают полые тела, стирающиеся до пыли сущности.

Где многоцветное побеждается белым и черным. День поглощается ночью, растворяется в бледном лунном свете. Где царят снег, метель, зима.

Где живое биение сердца затуманивается сознанием. Я, слышащее в себе, что «где-то на дне меня меня / Лежит монетка звеня звеня», — выходит из тела, выворачивает душу наизнанку (другое тело) в порыве к подлинному бытию и сталкивается с пустотой.

Где слиты «изнутри» и «снаружи», где за закрытыми глазами видней «живущее за и зовущее вне».

Прилетает голубь с оторванной головой и говорит: «Лучше бы ты не родился».

Где душа рвется из тела к небесному жениху, разговаривает с ним, только этим живет и дышит:

Здравствуй, птица, большая, восьмикрылая, финист, спасибо, что прилетела.

Возьми, милая, меня с собою, вынеси из этого тела.

По большому счёту не всё ли равно, с кем я связался,

какие напялил одежды?

Лишь бы сам от себя не отвязался, лишь бы верёвочки, которые меня держат,

Не перетёрлись.

Где идет обреченная и отчаянная борьба с холодом небытия, смысл которой в самой борьбе:

Идёт наступление небытия.
Сила противника в том,
Что противника
Нет.

Тем не менее следует
Оказать достойное сопротивление,
Раз уж мы оказались
На передовой.

Игорь Кузнецов

Озноб реальности

Читателя на самом деле мало волнует, насколько история правдива — была бы настоящей и, следовательно, все равно правдоподобной. Как в случае моего любимого Лукиана с его «Правдивой историей»: «Итак, я буду писать о том, чего не видел, не испытал и ни от кого не слышал, к тому же о том, чего не только на деле нет, но и быть не может. Вследствие этого не следует верить ни одному из описанных ниже приключений».

В авторском послесловии к роману «Крысиный король» Дмитрий Стахов сначала противоречит Лукиану: «Все описанное в романе происходило в реальной жизни». А через три абзаца вроде бы противоречит уже сам себе: «Правда противопоказана искусству и литературе — в частности».

Дабы разобраться в этом, сдается мне, мнимом противоречии, следует обратить внимание на то, что, с одной стороны, роман и впрямь основан на реальных жизненных историях многочисленных родственников автора, волею обстоятельств разбросанных по мировым пространствам, зачастую еще и разделенных революционными и прочими баррикадами, с другой — есть в романе и то, что еще ни в жизни автора, ни в нашей точно не происходило, то есть присутствует и явный вымысел, мрачный и утопический, надеюсь. При этом автор не скрывает, а подчеркивает в том же послесловии, что «сидел в архивах, собирая свидетельства о героях, прошедших огонь, воду и медные трубы». А уж даты, точнее, сроки написания романа (2002—2018) заставляют самой своей значительностью поверить в изначальную серьезность намерений. И все же он честно признается, что стремился не к правде, пусть даже мемуарной, с понятными издержками, а к живому правдоподобию, что у него, следует признать, по-настоящему получилось.

Пересказывать сложносочиненный сюжет романа дело не только неблагодарное, но отчасти и совершенно невозможное, ибо события и времена в нем перемешаны с такой лихой тщательностью, что придется просто перепечатать здесь весь роман от первых фраз: «Ранней весной я окончил медицинское училище. Меня распределили на дезинфекционную станцию» до фразы последней: «Кот мяукнул». Ясно, что это никому не нужно — читайте сами. Я же попробую — о смыслах, лишь для общего понимания обозначив некоторые из сюжетных линий, каковых, повторюсь, множество.

Герой, распределенный, как мы помним, после медучилища на дезинфекционную станцию, получает от своего наставника в наследство на всю жизнь ремесло, граничащее с искусством: умение выращивать и воспитывать крыс-каннибалов, уничтожающих по необходимости себе подобных на предмет дератизации общественных и частных помещений. Ремесло это кормит его и в тяжкие, и в относительно благополучные времена. Есть у него друг по фамилии Потехин, притягивающий к себе самые невероятные истории человек, с которым они вместе служили в армии, будучи в одном танковом экипаже. Потехин во время афганской войны попал в плен к моджахедам, откуда был выручен Красным Крестом, из Франции выманен советскими гэбэшниками, а искупать вину перед Родиной отправлен на чеченскую

Дмитрий Стахов. Крысиный король: Роман. — М.: Изд-во ArsisBooks, 2019.

войну. В конце концов, он вновь является главному герою, чтобы вносить в его жизнь сумятицу, нечаянные радости и прочую неразбериху. Есть еще двоюродный немецкий брат героя, сотрудник «Штази» (министерства госбезопасности ГДР), по совместительству сын нациста и военного преступника. Есть отец, немецкий коммунист, есть отчим еврейских кровей, суровая мать, французская тетя, бывшие сослуживцы, а ныне гэбэшники и олигархи, их жены, жены настоящего отца, собственная бывшая жена, подруги и прочая-прочая.

Через французскую тетю нить повествования тянется в оккупированную фашистами Францию, а через московскую бабушку — к дореволюционному эсеровскому подполью, самодельным бомбам и терактам, организатором и участником коих был дед героя.

Все же не обойтись без цитат, потому как хочется и не могу себе в этом отказать.

Вот, например, нацисты только-только оккупировали Францию, а молодая тетя героя романа, будучи остановленная выполняющими распоряжения немцев французскими полицейскими, совершенно случайно, на проселочной дороге встречается со своим дружком из детства, ныне оберштурм-фюрером СС:

«Полицейский сличал фотографию в удостоверении с моим лицом.

— Я сама француженка, — сказала я, — просто так получилось, что...

Полицейский поднял на меня глаза, прищурился.

— Что у вас за акцент? И волосы вьются не по-галльски. Вы кто на самом деле?

Тут я увидела, что подошедший от машины офицер забирает мои документы у полицейского. Я его сразу узнала. Сразу. Несмотря на то, что он был во всем черном, в высоких сверкающих сапогах, весь перетянут ремнями, в фуражке с серебряным черепом, серебряные погоны со звездой. Это был он, сын управляющего имением Тышкевичей под Вильно, Иоганн Каффер, Ганси, Жук или, как мы его дразнили, Ловчила. Ловчила слегка сжал пальцы левой руки, разжал их так, словно стряхивал капли воды, я узнала этот жест, он так делал, прижимая скрипку подбородком к плечу, приготавливал левую руку, чтобы потом взяться за гриф, прижать струны. Полицейский тут же отошел в сторону».

А здесь эсеры-максималисты совершают налет на подпольное казино в Петрограде, уже после Февраля 1917-го — им необходимы средства на продолжение революции:

«Последним в дом Александрова вошел Саготин. Он подал, по кивку Андрея, сигнал— бросил в пролет лестницы дымовую шашку, еще одну — в большой зал, двери в который закрыл вместе с Северовым. Началась паника. Целью, обозначенной в плане Андрея, был зал наверху, где шла игра по-крупному, и сейф. Сопротивления не было, пока в себя не пришел поднявшийся от дверей, открывавшихся двумя ливрейными швейцарами — они были не видны с улицы, — охранник-бурят. Огромный, бритый, с красной шеей.

Андрей был уверен, что служащие казино ничего предпринимать не будут, что отпор могут дать посетители, особенно анархисты и разные мелкие грабители, приодевшиеся, желавшие выглядеть как аристократы. Охранник же, против ожидания, выхватил почти невидимый в его кулаке револьвер и попал Саготину в живот. Шульце подошла к охраннику вплотную, выстрелила ему в голову. Пролетевшая сквозь пуля разбила зеркало на лестничной площадке. “Плохая примета!” — тихо сказала Щульце и завизжала: “Всем оставаться на местах!”»

А так герой романа описывает своего отчима: «Высокий, плечистый, узкобедрый, длинноногий, Михаил Шихман обладал огромной силой. Из СМЕРШа, в котором он, хорошо знавший немецкий язык, окончил войну, его откомандировали в специальное подразделение, натренировали, еще раз, серьезней, чем в прочие, проверили — не служил ли кто-то из Шихманов врагу, внутреннему и внешнему, более страшному и опасному, не состоял ли в сношениях с врагами народа, прямых или косвенных? — и он начал возить к столу гения всех времен атэнское зеленое, без него Иосиф не мог обедать, кушать рагу с баклажанами, перченый полусуп, а называл он атэнское “соком”, пил с соратниками литрами, и возили его в маленьких бочонках, которые надо было держать на руках, чтобы легкое вино это не взболталось, не скисло, не утеряло маленькие пузыречки газа, держать всю дорогу, от самого

селения Атэни, до аэродрома, держать в самолете, держать по дороге от аэродрома до ближней дачи.

Возили атэнское офицеры не младше подполковника. Все в орденах, наверняка за расстрелы и надзор за зэка, фронтовиков не брали — ненадежные, много о себе понимают, Шихман-то хоть нюхал порох, рассказывал, что, пусть и смершевец, но и в атаку ходил, и контратаку отражал, и ему дали майора, к медалям прибавили орден Отечественной войны третьей степени, и он был самым младшим по званию и самым молодым в подразделении. Единственным холостяком. Единственным бездетным. Единственным евреем».

Все романные линии через время, или, точнее, благодаря отсутствию оного, переплетаются, сталкиваются, продолжаются и возвращаются. Все замешено на крови, как реальной, так и родовой — на безумной и взрывоопасной смеси русского, еврейского, польского, французского, немецкого: герои и сами не всегда осознают, кто они по национальной принадлежности, и это для них и важно в определенных обстоятельствах, и безразлично в глубоко личных, интимных отношениях с мирозданием. Здесь нет «черненьких» и «беленьких», полюса иногда меняются, да столь резко, что оторопь берет. Впрочем, и впрямь как в жизни: подлецы иногда способны на благородство, а в самых чистых и просветленных червоточины все равно проявляются — при ярком свете или в кромешной тьме, в обычные сумерки или в весенний прозрачный день.

В «исторических» главах романа есть абсолютная, синхронная точность и достоверность деталей — и не зря отброшено все лишнее, подробно-описательное. Многое вроде бы и знакомо, но, вплетенное в живую ткань многих жизней, создает эффект взрывного присутствия «здесь и сейчас»:

«Крахмальный воротничок непривычно натирал шею. Непривычными были и мягкая шляпа, пальто. Андрей мог свободно пройти мимо дворника, а на возможный вопрос ответить “К господину Серебрякову!”, небрежно, свысока. Но словно чей-то голос произнес над ухом: “Стой! Подожди!” Возможно, голос того, кто знал, что для Андрея возможность свысока говорить с дворниками была еще более непривычной, чем новая одежда».

«Ротмистр сказал охранникам принести для Андрея одеяло, но заместитель старшего надзирателя, пришедший после всех, отказал, сославшись на то, что одеяло — собственность тюрьмы».

«— Кто там? — спросила Софья, когда Андрей вернулся из квартиры напротив.

— Бывший министр.

— Министр? Какой? Кто?

— Не знаю, точно не знаю. Знаю только — красные на подходе...»

Для хороших книг (фильмов, картин, музыки) у меня есть всего лишь два определения: «настоящее» и «чудесное». Они «оценочны», но не отличаются степенью, а являются лишь той мерой, в какой я готов себя, лично себя соотнести с их миром.

И по моей этой внутренней классификации «Крысиный король» — роман настоящий, а не чудесный.

Поясню.

Чудесное — это то, где и с чем мне хочется жить. В мире «Крысиного короля» жить мне не хочется, хотя он порой до озноба похож на реальность. В таком мире мне не хватает любви: не плотской, дружеской, отцовской, материнской — ее тут достаточно, а любви как воздуха.

Но Дмитрий Стахов писатель вообще суровый, даже почти беспощадный — и к своим героям, и к мирозданию в целом.

А кто же тебе сказал, что мы должны быть счастливы?

Елена Сафронова

Миф об Уране

Когда книга Ольги Погодиной-Кузминой «Уран» только вышла из печати, одним из первых, кто приветствовал ее появление похвальным отзывом в фейсбуке, был Андрей Рубанов. Он отметил сложную жанровую конфигурацию — «микс» производственного романа с авантюрным. Вскоре после того в интервью Рубанов вновь коснулся «Урана», уточнив свою мысль: «Ольга не делала производственный роман, там скорее сплетение частных историй, и это правильно. Умение описывать частную жизнь, частные рефлексии, семью, быт, секс — и есть признак мастерства».

«Уран» и впрямь шире «производственного» романа. По крайней мере, в советском понимании жанра, сформированного эталонами «Цемент» Гладкова, «Танкер "Дербент"» Крымова, «Время, вперёд!» Катаева, «Журбины» Кочетова. «Производственный роман — литературное произведение, в центре повествования которого находится профессионал, решающий стоящие перед ним производственные задачи», — формулирует Википедия. Роман Погодиной-Кузминой решает задачи принципиально иные.

«Уран» смело можно называть историческим романом: он соответствует главному, хоть и самому грубому критерию этого жанра: изображает события, происшедшие более 70 лет назад. А именно — в 1953 году, «поворотном» для отечественной истории. Это год смерти Сталина, первой амнистии, освобождения множества уголовников и «бытовиков», осужденных менее чем на пять лет, из лагерей, перестройки властной вертикали — и наращивания советского ядерного щита.

Книга «Уран» отвечает и второму признаку исторического романа — «панорамности». Роман охватывает не только и не столько трудовые будни спецкомбината по добыче и переработке атомного сырья для реализации советского ядерного проекта, в прямой речи персонажей и секретных документах называемого «хутор № 7». В книге много параллельных и пересекающихся сюжетных линий. В их переплетении просматриваются судьбы отдельных лиц — ответственного работника Арсения Гакова, директора Комбината, инженера этого предприятия Алексея Воронцова со «скелетом в шкафу», уборщицы Таисии Котёмкиной, делающей стремительную карьеру через то, чего в СССР не было, эстонского семейства Сепп, пособника «лесных братьев» — и объективные явления. Естественно, это создание советской атомной промышленности; в пандан к нему идут националистически-сепаратистские настроения населения прибалтийских республик СССР и набирающая обороты «холодная война» между СССР и США. Последнюю подкрепляют «донесения из недавно рассекреченных архивов ЦРУ», приведенные в тексте в оригиналах, подчеркивает аннотация. Документы апеллируют к доктрине Даллеса и плану Даллеса использовать смерть Сталина для того, чтобы «добиться ослабления советской власти и ее влияния на страны соцлагеря и коммунистического Китая, таким образом достигая снижения влияния советской власти на международной арене».

Чтобы уверенно ответить на вопрос о подлинности этих документов, достоверности их информации, а значит, и правдивости «исторической» части романа «Уран», нужно масштабное историческое (рас)исследование.

Ольга Погодина-Кузмина. Уран: Роман. — М.: Флюид ФриФлай, 2019. — (Книжная полка Вадима Левенталя).

Но оно не входит в мои планы: у «Урана» есть то, что важнее документальной историчности, — достоверность и убедительность литературная. Автор проводит свое представление о послевоенной истории СССР так, что с ним не хочется спорить — это цельное, законченное и художественно состоятельное произведение. Цельность «Урана» парадоксальна — повествование то и дело меняет фокальных героев и ведется разными голосами. Но множество отдельных правд персонажей сливаются в общую правду автора, которая читается с захватывающим интересом. Интерес был бы меньше, если бы автор сосредоточилась на технических и производственных вопросах — важных, но не таких эстетичных и психологичных.

Об уже упомянутой «авантюрности» романа «Уран». В 2006 году Ольга Славникова в одном из интервью обронила знаковую фразу: «Я же для себя поняла: у трэша надо брать все, что работает». Ольга Погодина-Кузмина поступила по этой заповеди: насытила роман почти «трэшевыми» сценами и провела в нем детективную интригу — первейшей задачей становится установление главного злодея. Во всех советских производственных романах был враг из какой-нибудь социально враждебной среды. Как правило, его рассекречивала и побеждала социалистическая идеология — злоумышленник выдавал себя либо «перевоспитывался». У Погодиной-Кузминой выстроена крепкая детективная линия: в окрестностях комбината находят изуродованные трупы со следами проведения зловещего ритуала. Майор Аус из «центра» расследует эти преступления и сопутствующие им «обыкновенные» смерти простых людей по логике устранения свидетелей, но не успевает докопаться до истины. На протяжении более чем половины романа детективная канва идет об руку с историческим сюжетом, и из уважения к ней я обойдусь без спойлеров.

Обращение Погодиной-Кузминой к приемам форматной прозы не упрощает повествование, не снижает его пафос, наоборот, «цепляет». Это продуманный авторский ход, рассчитанный на определенный эффект — который и сбывается. У трэша, как и у классической историко-приключенческой прозы, много действенных приемов, и часть из них писательница взяла на вооружение. Наряду с исторической буквальностью: в романе художественно переосмыслены воспоминания жителей закрытого города Силламяэ.

Почему Ольга Погодина-Кузмина не сосредоточилась в романе на очень серьезную тему на столь же серьезных производственных, политических, экономических вопросах, отчего (или для чего?) ей понадобилось привлекать элементы остросюжетной прозы? Ответов может быть множество, одно предположение выдвинул Андрей Рубанов: сугубо профессиональные производственные романы не востребованы современным читателем, так как идея труда, созидания и их пропаганды исчезла из общественной повестки. Действительно, настроение «Урана» отнюдь не победно-созидательное; труд в нем либо подневольный, либо средство карьерного роста, либо способ мимикрии — и лишь в единичных случаях искренняя работа во благо Родины.

Читателю, чтобы полностью «врасти» в полотно погодинского текста, стоит перестроить оптику восприятия на психологию человека не сегодняшнего дня, а жителя СССР 1950-х годов. Который способен не только строить новое предприятие, пренебрегая личным дискомфортом и болезнью, — но и добровольно вести слежку за подозрительным элементом. Комсомолец Павлик ради добычи информации не брезгует имитировать любовь к девочке Эльзе, сестре «лесных братьев». Подлость? Или идейность? Пусть каждый решает самостоятельно. Недаром же авторский подзаголовок «Урана» — роман-реконструкция. Реконструкция в первую очередь психологическая.

Наконец, роман насквозь мифологичен. Он начинается с монолога «Агента U-235» «Доктрина пробуждения». Роман пронизывают несколько подобных монологов от лица этого загадочного персонажа, мучимого идеей собственной сверхчеловечности и желающего доказать ее всему миру. Того ради агент и взялся готовить диверсию на комбинате. «Мыслящий таракан, способный управлятьэтим миром, — вот цель моего эксперимента», — заявляет он. Что-то в этом есть от «тварь ли я дрожащая или право имею?» — отголоска мифа о погубленном гордыней ангеле. Когда умирает Сталин, U-235 уверен: он «управил» это, замазав химическим карандашом портрет вождя в газете и начертав под пятном

«Да будет смерть!» Поклонником сатанистских сект, знатоком соответствующих книг является и проходное действующее лицо (точнее, бездействующее, ибо быстро погиб) — фотограф Кудимов.

В «Уране» окликнуто множество мифов разных народов. Его заглавие — не только название элемента таблицы Менделеева, но и имя божества из античной мифологии, олицетворения Неба, породившего мир в браке с Геей (Землей) и первого правившего им. Взбунтовавшийся против Урана его сын Кронос оскопил отца серпом. Способ убийства нескольких персонажей романа — явная аллюзия на эту мифологическую историю: «Оглушили камнем, приволокли в болото, а там отрезали гениталии и воткнули в живот деревянный кол». Инженер Воронцов в бреду цитирует по-немецки стихи Райнера Марии Рильке «Орфей. Эвридика. Гермес». Орфея, Эвридику и Гермеса легко найти среди героев книги — с простыми человеческими именами и глубоким символизмом в литературном образе. Некоторые главы называются мифологически: «Царь Горы» — про директора комбината Гакова, «Египетские боги» — про очередные козни агента U-235 (имеется в виду триединство Анубиса, Гарпократа, Осириса), «Богиня Иштар» — в глазах влюбленного Ауса это любвеобильная Таисия Котёмкина, чье имя означает «посвященная Исиде». Мифологичен и ход событий — не человеческая слабая воля правит миром, а забавы богов. Из божественного озорства майор Аус умирает, не успев разоблачить агента, а потом позорной смертью погибает и этот агент. В последние минуты жизни ему мерещится Медуза Горгона, в которую превращается он, незадавшийся сверхчеловек. Описание прихода войск Альфонса Ребане с «союзниками» освобождать насильственно-советскую Эстонию в устах старой крестьянки Сепп звучит как цитата из «Апокалипсиса»: «Знай, скоро настанет день судного гнева! Огромные корабли придут в наши воды, большие войска сойдут на берег, с ними вернутся твой отец и брат... Чужакам не будет пощады! Месть восстает из руин!» И священную историю не обошла стороной Погодина-Кузмина в мифологической подложке романа, на которой, точно земля на трех китах, стоит «Уран». Добавим и пласт советских мифов о разоблаченных шпионах и пионерах, убитых контрреволюционными близкими.

Все линии мифологического подтекста «Урана» сплетаются в единый посыл — представить сталинский период советской истории как самостоятельную мифологию со своими богами, героями, битвами и жертвоприношениями: «Мертвецы, лежавшие на поле, словно в страшной сказке, стерегли дорогу к секретному объекту, обозначенному в его путевом листе как ХУТОР № 7», — мерещится в начале книги инженеру Воронцову.

В последней главе «Конец истории» и эпилоге писательница решительно сбрасывает чужие обличья и предстает демиургом, творцом этого мифа: повествует, что случилось с оставшимися в живых героями после того, как комбинат заработал, а советский ядерный щит благополучно был создан. Позиция автора — цель оправдываетсредства: «В августе 1953года Советский Союз впервые в мире проводит испытание мощнейшей водородной бомбы. Создание этого оружия — результат огромных усилий и человеческих жертв. Но «Задача № 1» обеспечит безопасность страны на долгие десятилетия». Автор не щадит «неприятелей» советского строя, напоминая: «Миф об Уране — это история неблагодарных детей». Но победительный финал закольцовывает горькое начало и жестокое повествование, точно Уроборос. Мифология продолжается.

Ольга Бугославская

Несгибаемый человек в изменчивом мире

Редакция Елены Шубиной приступает к выпуску новой серии, название которой звучит вызывающе позитивно: «Счастливая жизнь». Первой книгой будущего цикла стало жизнеописание крупнейшего современного ученого, социолога и историка Теодора Шанина. Монолог главного героя сложился из беседы с Александром Архангельским. В окончательный вариант книги вопросы, заданные Теодору Шанину в ходе этого разговора, не вошли, но общая канва повествования построена на них.

Теодор Шанин родился в 1930 году. Биографии известных людей 20-30-40-х годов рождения редко соответствуют понятиям «рядовой» или «обыкновенный». Но даже в таком контексте история жизни Шанина абсолютно экстраординарна. Плотность драматических, поворотных событий в ней поражает.

Теодор Шанин появился на свет и провел раннее детство в городе Вильно (современный Вильнюс, тогда это была Польша). После раздела Польши и присоединения Литвы к СССР отец был арестован. Когда началась война с Германией, Теодор вместе с матерью оказался в ссылке на Алтае, а затем — в эвакуации в Средней Азии. Потом, в результате очередного передела границ и неожиданного изменения политической ситуации, семье удалось покинуть СССР и перебраться в Польшу. Дальнейший жизненный опыт главного героя включает в себя участие в войне за независимость Израиля, политическую и общественную деятельность в этой стране, научную работу и связанный с ней переезд в Великобританию, где он застал студенческую революцию 1968 года, а также просветительскую миссию в постперестроечной России, организацию Московской высшей школы социальных и экономических наук и многое другое. Отдельные этапы жизни состоят из событий настолько незаурядных, что каждое из них может стать основой для самостоятельной повести.

Когда в 1941 году семью разделили, мать с сыном оказались на Алтае, отец — в сибирском лагере, а младшая дочь с дедом, к несчастью, остались в Вильно и погибли в гетто.

На Алтае руководитель местного НКВД встретил переселенцев словами: «Вы здесь навсегда. И сдохнете здесь». Это был один из самых мрачных периодов жизни Теодора Шанина, мечтавшего тогда сбежать когда-нибудь из ссылки на волю.

Благодаря неожиданному стечению обстоятельств семье удалось перебраться в Самарканд, который из алтайского поселка казался благополучным и сытым краем. Но и там над Теодором и его матерью нависала угроза голода, и, чтобы выжить, им пришлось включиться в подпольную торговлю хлебом. Мальчик ходил в школу, но вскоре заболел цингой, и его отправили в детский дом в надежде, что там будут лучше кормить. Но в детском доме его подстерегла новая напасть — дифтерит. Из лагеря вернулся отец, настолько изможденный, что его тоже необходимо было спасать...

Содержательный объем коротких фрагментов этой книги огромен, как предельно велико внутреннее напряжение всего рассказа, герои которого ходят по краю жизни и смерти.

Насыщенный и трагически окрашенный событийный фон, который складывается в эпическую панораму времени, и личность

Александр Архангельский. Несогласный Теодор: История жизни Теодора Шанина, рассказанная им самим. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. — Серия «Счастливая жизнь».

рассказчика позволяют Александру Архангельскому, как невидимому дирижеру, расставить акценты и направить читателю несколько актуальных месседжей.

Первый содержится уже в названии книги, куда вынесена самохарактеристика Теодора Шанина: «Я — из несогласных». Формально имеется в виду, что родной город героя-рассказчика был центром миснагдим (миснагед — в переводе с иврита «несогласный»), то есть евреев-литваков, которые находились в оппозиции к хасидам. Но дело конечно не во внутриконфессиональных разногласиях, а в складе характера. «История жизни Теодора Шанина» читается как гимн нонконформизму. Поломать себя, перекроить свои представления о том, что правильно, а что нет, приладиться к устоявшемуся или насильно навязанному положению вещей и на том успокоиться немыслимо для Теодора Шанина. Это качество проявлялось и в том, как он еще в детстве противостоял враждебному окружению, и в том, как, будучи школьником, настаивал на праве еврейских детей отметить свой религиозный праздник, и во множестве других деталей. Впоследствии мощнейший внутренний протест, вызванный истребительной волной Холокоста, заставил Теодора Шанина отстаивать еврейскую государственность с оружием в руках. Один из израильских военных командиров сформулировал этический принцип, ставший для Теодора Шанина главным: «Когда придет минута трудности, брось себя на чашу весов всем телом. Это повлияет, весы начнут двигаться». Историй, подтверждающих этот тезис, в книге много. Речь в них идет о разных людях. Одна из них описывает, как молодая адвокат помогла спасти жизнь отца Теодора Шанина, когда тот был обвинен по 58-ой статье в сокрытии факта антисоветской пропаганды. На суде адвокат во всеуслышание заявила, что главного обвиняемого, которому собственно и вменялась сама пропаганда, силой принудили дать признательные показания. Чего стоила молодой женщине ее принципиальность, в книге не говорится, но, как бы то ни было, ей удалось защитить людей в практически безнадежной ситуации.

Второй существенный момент связан с нашей вечной «борьбой с космополитизмом». Теодор Шанин родился в городе, который в разное время входил в состав разных государств. Он владеет четырьмя языками, имеет опыт жизни и работы в Литве, Польше, Израиле, Великобритании, России... Иными словами, главный герой книги воплощает саму идею открытости и преодоления искусственных границ. Иногда кажется, что некоторые особенности русской речи Теодора Шанина, перенесенные в нее из других языков конструкции создают ту языковую картину мира, которая могла существовать, образно выражаясь, до вавилонского столпотворения, во времена всеобщего единства. Ценность разностороннего опыта, важность культурного взаимодействия и обмена становятся особенно заметными на фоне усиливающегося у нас изоляционизма. Рассказывая о том, как создавалась Московская высшая школа социальных и экономических наук, Теодор Шанин выделил его как одну из основных проблем российского общества в целом и образования в частности: «...вещь, которая мешает развитию, — национализм. Идея “Мы сами с усами” в сфере образования особенно идиотская. В университете это не смешно, это горько... А националист — это человек, который не понимает культуру других стран и не умеет ее употребить во благо своей собственной».

Что такое счастливая жизнь, по мысли авторов проекта? Автобиография Теодора Шанина приводит к простой мысли о том, что счастье — это деятельное созидание, основанное на уверенности в том, что все можно изменить к лучшему. Благодаря таким счастливым людям и существует прогресс.

P.S.

Наш великий современник Теодор Шанин ушел из жизни 4 февраля 2020 года. Благодаря Александру Архангельскому остался его живой автопортрет в мастерски изготовленной, едва заметной раме.

Дмитрий Артис

Декарт был прав, но истина дороже

И все-таки есть что-то притягательное в названии книги стихотворений «Последних полевых букетов шапки». Помню, как в Ульяновске на семинарах журнала «Дружба народов», которые проходили в рамках XIX форума молодых писателей, горячо обсуждали его. Почему-то всех пугало длинное название из четырех слов. Кто-то предлагал сократить до трех, кто-то — до двух, а кто-то и вовсе уходил в крайность и советовал автору ограничиться одним словом, дескать, для поэтической книги — длинное название кажется избыточным. Автор — Эгвина Фет — тихо настаивала на своем.

По результатам форума Эгвина была отмечена стипендией Министерства культуры РФ, и на эти средства она выпустила свою первую книгу стихотворений с тем названием, которое задумывалось изначально. Теперь я держу книгу в руках, снова и снова вчитываюсь в него и понимаю, насколько точна авторская задумка, где название книги будто стержень, земная ось, на которую нанизываются стихи. Кажется, поменяй его, сократи, чуть подрежь — и тексты, живущие по закону всемирного тяготения, потеряют необходимую точку опоры.

Книга почти лишена местоимения «я», и если оно где-то звучит, то исключительно как часть некоего единого целого, умещающегося в определение «мы», которое соединяет между собой автора стихов и человека, к которому автор посредством стихов обращается.

как хорошо устроена планета —
сама она вокруг своей оси
вращается,
а нам не надо это
проделывать вокруг своей оси.
но это совершенно не мешает
вращаться нам вокруг друг друга так,
что искры нам дорогу освещают
сквозь мрак.

Мир книги будто создан для них двоих *(«ты и я»)*. Но не сказал бы, что он абсолютно герметичен, закрыт от посторонних. Напротив, этот мир способен вместить в себя все и вся — от размашистых ставропольских гор до фантиков от конфет, от *львовны* до *олеговых сапог*, от чужой жизни до чужой *случайной насильственной смерти*. Все и вся, но с тем условием, что детали, которые наполняют мир, персонажи, попадающиеся на глаза главным героям, так и останутся антуражем, не претендующим на главенствующую роль.

что такое в траве мы вчера потеряли?
может, слово на букву.
мне вчера открывались незримые дали
и цветение клюквы.

Есть страх быть недопонятой. Отсюда попытки раскрыть, рассмотреть с разных сторон пришедший в строку образ (или метафору), объяснить его, расшифровать, сделать общедоступным. Тут как раз попытка уйти от пресловутой герметичности, раскрыться. Но чем больше автор старается, тем больше запутывает читателя. Хотя, скорее, здесь подойдет несколько другой глагол. Не запутывает, но опутывает. Так паучок старательно плетет свою паутину в ожидании очередной жертвы.

потянув за лески поводок

Вот она леска, которая поводок, вот она рыба на этом поводке, а вот она звезда, которая падает и тянет за собой леску, которая поводок, на котором рыба, у которой содержанье углеводов равно содержанью в рыбе слез.

вниз головой и шапка в бурый снег
слетела и лежит никто не хочет
подать руки и только глубже топчет

Стихи проще понять, чем рассказать о них. Причинно-следственные связи разрушаются,

---

Эгвина Фет. Последних полевых букетов шапки: Стихи. — Ставрополь: Ставролит, 2019. — Серия «На Кавказе».

как только пытаешься уложить их в единую канву, пользуясь общепринятой человеческой логикой. Тексты направлены на подсознание. Именно там они царствуют, живут полной жизнью. Здесь, в реальном мире, им тесно. Как нельзя кстати вспоминается реплика, которая служит мерилом оценки многих стихотворных текстов: если стихотворение можно пересказать простым языком прозы, то и необходимость в таком стихотворении отпадает сама собой.

молчание
ничтожит даром речи
изображенье яблок на снегу

Автор не утруждает себя поиском философского камня в отличие от закоренелых метафизиков, с которыми сближается внутренним устройством стиха и которые, с одной стороны, вроде бы ищут философский камень, а с другой — отчетливо понимают, что этого камня в природе не существует. В стихах отсутствует поиск ради поиска. Первопричина, основа основ найдена и обозначена: любовь. Чувства любви определяют бытие. Чем сильнее чувства, тем полнее жизнь человека. Нет, не то чтобы полнее. Сама жизнь начинается с ними. Всё, что было до, — можно назвать скучным словом «существование» или, если хотите, «прозябание» — бессодержательное, бессмысленное, бесцельное существование.

спит машинист на станции конечной

и женщина кондуктор рядом с ним
в обнимку с сумкой из которой мелочь
тихонько подавала голос им

и снится машинисту как сверчок
поет и муравей идет на ужин
и как жена ложится на плечо

сквозь белый снег проваливаясь глубже

Но при всей своей убежденности в том, что ему — автору — удалось обозначить первооснову мира, он неустанно подвергает свои мысли сомнениям. Отсюда глубокая, почти трагическая ирония в стихотворении про Декарта и баклажан (радикальное сомнение), о морали и о том, как ее понимают марксисты (исторический материализм).

моя первая встреча с метро
состоялась в метро

«вснегумилев» — неожиданно найденное соединение слов и смыслов подобно клубку разматывается, раскручивается, фраза за фразой, буква за буквой, и вот уже перед нами чуть ли не спасительная нить Ариадны, помогающая выйти на свет из темного лабиринта после победы над своим собственным Минотавром. Все любовь, что спасает и дает право жить. По сути, книга именно об этом.

Юлия Подлубнова

Такая простая отрада

Книга Владимира Полетаева открывает серию «Поэты литературных чтений "Они ушли. Они остались"», чтений, ставших уже в своем роде легендарными, преодолевшими рамки литературных мероприятий ежегодного формата. Благодаря сумме неукротимых энергий Бориса Кутенкова, Николая Милешкина и Елены Семёновой и при поддержке Владимира Коркунова чтения освоили издательские технологии и, можно добавить, стали культурным поэтическим движением. Цель этого движения, как мне представляется, не просто сохранение памяти о поэтах, рано ушедших из жизни, но мягкая

Владимир Полетаев. Прозрачный циферблат / Сост. Б.Кутенков, Н.Милешкин, Е.Семёнова. — М.: ЛитГОСТ, 2019.

и одновременно настойчивая корректировка истории русской поэзии, испещренной многочисленными лакунами, — надо только приблизить предмет наблюдения и заметить недостающее. Собственно процесс приближения зачастую и оказывается проблемой, поскольку требует досконального знания о предмете, которым вряд ли обладает кто-либо в индивидуальном порядке. Потому формат коллективных чтений, а затем антологий, являющих их результаты, кажется логичным и оптимально удачным, как логичен и запуск серии книг, укрупнено представляющих поэтов, невольно включенных в это движение из небытия в литературу.

Причем про историю литературы я уже сказала, но стоит учитывать также элемент актуализации поэтов в пространстве современной поэзии — именно в нем появляется как бы новый или недостаточно прочитанный автор, опознаваемый разными поэтическими кругами как свой или чужой, как носитель определенных кодов и смыслов. И здесь на первый план выходит отбор авторов, их багаж текстов и своего рода реноме — то, что предъявляется современности, и оценивается в ее контекстах, и в идеале влияет и на нее. Поэтому следить за серией, создаваемой на базе чтений, и выявлять эффекты, которые она собирается продуцировать, довольно интересно.

Серия открывается книгой Владимира Полетаева (1951 г. р.), поэта, переводчика, первокурсника Литературного института, вышагнувшего из окна в апреле 1970 года. Как пишет Ольга Балла в предисловии, «от Владимира Полетаева осталось гораздо больше, чем вошло в эту книгу. Действительно, как уже после смерти Володи сказал его литинститутский наставник Лев Озеров, — на три сборника: стихи, переводы, проза». Однако при жизни Полетаев, по понятной причине молодости, публиковался мало — в газете «Московский комсомолец» и сборнике «Тропинка на Парнас». Собственно литературный дебют Полетаева случился 13 годами позже: в 1983-м, когда Олег Чухонцев собрал и выпустил в Тбилиси книгу стихов и переводов. Эта книга, кстати, не такой уж и раритет, при желании с ней можно ознакомиться в сети.

Полетаев 1983 года, как его вольно или невольно представляют Чухонцев, а также написавшие предисловия Лев Озеров и Георгий Маргвелашвили, — поэт-семидесятник, не доживший до настоящих, ныне забытых, по словам Ольги Седаковой, 1970-х, вполне себе опознаваемый в пространстве «тихой лирики». «Помимо наследственных задатков культуры и интеллигентности, он был прекрасно воспитан именно на той свободе и тою свободой, которая сама вырабатывает себе нормы разумной необходимости, правильности, социального самочувствия и человеческого достоинства. Это относилось к его душе и уму, а позднее и к естественной эманации их — стихам. Он рано это осознал и сказал об этом» (Георгий Маргвелашвили). Имя составителя книги в семидесятнических контекстах тоже имеет большое значение. Но это, повторюсь, ситуация начала 1980-х.

Полетаев 2019 года, при тех же вводных составляющих в виде текстов и высказываний о поэзии, уже иной. Перед нами поэт-восьмидесятник, с неизменным пристальным вниманием к поэтикам Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, о чем детально пишет Ольга Балла, и притом он оказывается как бы вне времени, вне историко-литературных контекстов, опознается как поэт достаточно современный и своевременный. «Он — будучи еще совсем юным — уже горький и мощный. Нет, не катастрофичный, не завороженный гибелью — напротив, страстно влюбленный в жизнь, влекущийся к ней и как раз поэтому глубоко, до уязвленности, ею взволнованный, постоянно выбиваемый ею из равновесия, — но именно горький: видящий глубину и трагизм жизни, — и мощный: не отводящий от видимого глаз, готовый это вынести. У него темный огонь внутри. И пронзительная музыка» (Ольга Балла). В бэкграунде Полетаева находят место Блок, Лермонтов, Тютчев, как, впрочем, и Чухонцев, и Кушнер, и в принципе ленинградская метафизическая поэзия с ее вниманием к традиционным формам стиха и эмпирической конкретностью. Более того, Полетаев в своем поэтическом творчестве соотносим с тем, что делают молодые поэты 2010-х, принципиально работающие на ниве силлабо-тоники: от Евгении Барановой и Анны Маркиной до Владимира Косогова и Василия Нацентова. Он мог бы претендовать, например, на премию «Лицей» в первые ее два сезона, окажись действительно в другом времени и в когорте названных.

А у нас на Зубовском бульваре
музыка гуляет во дворах.
А сейчас на Зубовском бульваре
дождь вразброд и окна нараспах. <...>
Не наказывая, не прощая,
тихо наклоняется ко мне
молодость моя или чужая —
женщина, поющая в окне.

И здесь принципиально подчеркнуть, что книга и в принципе творчество Полетаева — поневоле законсервированная идея молодости. Это молодая поэзия, может быть, и не соотносящаяся прямо с биографическим возрастом автора (помним про характеристику «горький и мощный»), но и практически не отмеченная истинными знаками зрелости. Это ошеломленный взгляд поэта, открытого жизни, коллекционирующего ее фрагменты реальности, еще не опознаваемые как рутинизированные; коллекционирующего ее спонтанные детали. Взгляд поэта, реагирующего на какие-то ситуации впервые.

Прямо из горлышка — горько и сладко,
Жарко и холодно — пей без остатка!
Катится вечер, гремя и звеня,
Девочка в губы целует меня!!!

Полетаев — поэт лиричный, с эмоциональным фоном в диапазоне от печали до нежности, склонный, с одной стороны, к юношеским манифестациям и философским обобщениям, с другой — к почти детской легкости, не то пушкинскому, не то кушнеровскому баловству.

А большего нам и не надо,
такая у нас благодать,
такая простая отрада
снежки в мирозданье кидать.

Разумеется, случай Полетаева не уникален, но скорее типичен: поэты, совсем уж рано уходящие из жизни или из творчества (до 20), так или иначе обречены быть молодыми в пространстве культуры, оставаться под вечным сомнением: а был ли поэт вообще? Немногим — примеры известны наперечет — удается расширить представление о возможностях поэзии, произвести в ней качественный сдвиг. В русской литературе этого не смогла сделать даже печально знаменитая Ника Турбина. Так и в Полетаеве при всем его очевидном таланте остаются и ученичество, и тщательность еще нерасписавшегося поэта (может быть, особо необходимая в переводах, но их я как раз не берусь оценивать).

Полетаев укрупненно молод и в эссе, и в заметках, и в письмах 1966–1969 годов девочке Алле из Орджоникидзеабада (ныне Вахдат в Таджикистане) — они тоже вошли в книгу 2019 года. Именно здесь обретает физические параметры, эмпирическую плоть личность говорящего. Вот он восьмиклассник с тройкой по физкультуре, вот его волнуют вопросы абитуры, вот он студент Лита, вот он ведет разговор о книгах и стихах, восхищается Блоком, возмущается Асадовым, вот он рассказывает о поэтических успехах товарищей по литературному кружку, вот у него вышла подборка в «Московском комсомольце», вот то и дело возникает легкая поучительная интонация человека, уже входящего в литературу и уже берущегося выносить оценки.

Но как очаровательно небанальны бывают его признания: «Я люблю стихи, которые могу пробормотать на ходу, в такт дыханию, в такт шагу или, остановившись, пережить у парапета набережной, люблю стихи, которые ходят со мной рука об руку». Его наблюдения: «Ах, Лев Николаевич, что за дело было бы мне до Катюши Масловой, если бы глаза ее не были похожи на мокрую смородину?!» Его вопросы: «Почему в городе не бывает домовых? Потому что им теперь жить негде...»

Полетаеву многое было доступно. Разумеется, больше через литературу, не через жизнь. К жизни и ее болевым вызовам он оказался совершенно не готов. И все-таки поэту удалось оставить свой «памятник».

Холодное небытиё,
минутной славы позолота,
и ты, бессмертие моё,
моя высокая работа.

Опять тетрадь в моих руках
бела, как смертная рубаха,
я прахом был, я кану в прах,
я встану Фениксом из праха.

Ольга Брейнингер

Цифровое (не)совершенство

Стоит ли изучать блогинг?

Пока мы раздумываем над этим вопросом, научное сообщество уже дало свой ответ. Европейская Ассоциация Социальных Антропологов провела в 2018 и 2019 годах встречи, посвященные «цифровому повороту» в антропологии медиа, выступая за сближение этнографических практик и изучение роли и статуса цифровых медиа. EASA предлагает к обсуждению ряд вопросов, включающих новое понимание цифрового пространства как «поля», методологические инновации, а также эпистемологические вызовы, которые представляет развитие цифровой антропологии[1].

Американская Ассоциация Антропологов движется в том же направлении: внутри Ассоциации существует группа по изучению цифровой антропологии (DANG), которая еще в 2012 году представила список из шести направлений исследований в области цифровой антропологии: кибер-вселенные, блогинг, публичная антропология, преподавание, открытый доступ и полевые методики[2].

Изначально DANG интересовало то, как сообщество профессиональных антропологов может использовать форму блога для научных коммуникаций. Ответов возникало множество: в блогах можно писать о ранних этапах и результатах научных исследований, можно использовать их как профессиональные форумы и площадки для открытых дискуссий; через блоги можно привлекать к научному диалогу не только профессионалов, но и всех интересующихся темой социальной антропологии; блог сам по себе может стать новым жанром научного письма, и т.д. DANG также обсуждали, каким образом сами ученые могут способствовать легитимизации блогов как одного из аспектов профессиональной деятельности[3].

За прошедшие восемь лет интересы DANG были, во-первых, значительно уточнены, а во-вторых, перешли от темы практического использования блогов в академии к вопросам, связанным с изучением самого феномена блогинга. В 2020 году DANG волнует широкий спектр вопросов, связанных с «цифровым поворотом» в антропологии: «от проблем приватности перформанса в области big data и исследований социальных медиа до работы, фокусирующейся на хакерском активизме и социальных движениях, зарождающихся в онлайн-сообществах, социальных медиа и геополитике, зависимости от видеоигр и проблемы использования мобильных телефонов во время вождения, онлайн-образования, открытого доступа и многого другого»[4].

Изучение русскоязычного блогинга на сегодняшний день представляет собой пустующую научную нишу. Существующие качественные исследования русскоязычного блогинга можно пересчитать по пальцам — более того, часть из них сделаны 5—10 лет назад, что, учитывая скорость развития цифровых технологий, частично делает их устаревшими уже сейчас. И тем не менее ценность двух статей, о которых сейчас пойдет речь: «Войны прошлого в русской блогосфере — о зарождении космополитической памяти» Елены Трубиной и «(Русские) писатели-блогеры: Цифровое совершенство и эстетика несовершенства» Эллен Руттен — сохраняется несмотря на то что основным объектом их исследования является livejournal — платформа, едва ли актуальная в 2020 году. Тезисы и выводы Трубиной и Руттен тем не менее звучат современно, как если бы исследования проводились на какой-то из популярных сегодня интернет-площадок. Это дает возможность утверждать, что смена цифровых платформ не влияет на траектории развития интеллектуальных дискурсов.

---

[1] http://www.media-anthropology.net/index.php/e-seminars

[2] Thompson, Matt (22 January 2013). “Digital Anthropology’s To Do List”. Savage Minds. Retrieved 12 March 2013.

[3] https://01anthropology.wordpress.com/2012/11/20/blogging-openthread/

[4] https://01anthropology.wordpress.com

Статья Елены Трубиной посвящена трансформации общепринятого нарратива Второй мировой войны в русскоязычной блогосфере[1]. В качестве объектов исследования Трубиной выступили как блоги, которые исследовательница читала на протяжении четырех-пяти лет, так и блоги, которые она нашла по запросам (таким как «Вторая мировая война», «Великая Отечественная война», «День Победы»). Кроме того, Трубина рассматривала как личные блоги (около двухсот аккаунтов на Livejournal), так и коллективные блоги (форумы и т.д.). По мнению Трубиной, несмотря на «популяризацию [образа] победоносной войны, которая продолжает быть превалирующей стратегией многих официальных газет, телевизионных каналов и веб-сайтов», многие участники дискуссии о Второй мировой демонстрируют понимание сложных взаимосвязей между историей, территорией и национальной идентичностью и осознают опасность националистического дискурса.

Тем не менее в блогосфере эта дискуссия продолжает быть проблематичной, что во многом является результатом вызванного с блогингом противоречия. С одной стороны, эта форма цифровых медиа связана с открытостью информации и порождает свободу мысли и самовыражения, а «интерактивный формат временами заставляет пользователей критически переосмыслять взгляды, которые они так давно лелеяли». С другой стороны, утверждает Трубина со ссылкой на Костерину (2008) и Идлис (2010), та самая «свобода самовыражения, ценимая многими блогерами, часто вступает в противоречие с заботой блогеров о расширении своей аудитории». В результате взгляды многих блогеров лежат на пересечении двух основных дискурсов русскоязычной блогосферы — их Трубина называет «националистическим» и «космополитическим». Более того, серия террористических актов в московском метро в 1996—2010 гг. привела к тому, что дискуссия о Второй мировой войне стала пересекаться с дискуссией о глобальной войне с терроризмом. Именно это стало точкой расхождения и различения позиций лидеров мнений в блогосфере. Трубина утверждает, что блогеры, придерживавшиеся националистического дискурса, как правило, фокусировались исключительно на идее и опыте Второй мировой войны. Блогеры «космополитического» фланга были более открыты к кросс-культурным сравнениям, рефлексии и анализу примеров из разных войн (например, войны во Вьетнаме и т.д.). В заключение Трубина пишет о том, что сегодня «работа памяти, связанная со Второй мировой войной, развивается в эпоху глобализации, когда национальная память сосуществует и распространяется бок о бок с интернациональной. Космополитичные культуры памяти начинают возникать потому, что взгляды человека могут обогащаться более общей циркуляцией идей и образов, новых точек отсчета, процессов миграции и мобильности». И это сосуществование различных точек зрения и нарративов, утверждает исследовательница, во многом усиливается и расширяется именно благодаря Интернету.

Статья Эллен Руттен (одного из первых ученых-славистов, активно развивающих направление цифровой антропологии), изучает конкретный сектор внутри русской блогосферы, а именно блоги «писателей-блогеров» — куда попали, в основном литераторы и представители других творческих профессий[2]. Руттен определяет «писателей-блогеров» как:

а) «профессиональных писателей и поэтов, которые живут литературой и творческим письмом»[3] и

б) «интеллектуалов, (цифровая) писательская которых деятельность имеет высокий символический статус в профессионально-литературных кругах, либо они упоминаются как лидер мнений в качественных российских медиа».

Список объектов исследования Руттен включает: Артемия Лебедева, Дмитрия Бавильского, Дмитрия Галковского, Линор Горалик, Евгения Гришковца, Сергея Кузнецова, Станислава Львовского, Романа Лейбова, Светлану Мартынчик, Веру Полозкову, Андрея Сен-Сенькова, Алексея Слаповского, Татьяну Толстую и Дмитрия Воденникова. Все они завели блоги в период между 2001 и 2009 годом. Отмечая, что блоги русских писателей в целом недостаточно изучены, Руттен предлагает в своей статье две гипотезы.

---

[1] Elena Trubina. "Past Wars in the Russian Blogosphere: On the Emergence of Cosmopolitan Memory". *Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media,* No. 4 (2010), p. 63—85.

[2] Ellen Rutten. "(Russian) Writers-Bloggers. Digital Perfection and the Aesthetics of Imperfection." *Journal of Computer-Mediated Communication*, No. 19 (2004), p. 744—764.

[3] В том числе подразумеваются и финансовые аспекты такой жизни.

Гипотеза 1. «Через металингвистические высказывания и прагматические стратегии, писатели представляют языковую игру и лаконичный, "несовершенный" язык как прототипический образец новых медиа».

Гипотеза 2. Если гипотеза 1 верна, предпочтение писателями игрового, или «несовершенного» языка, особенно в новых медиа, соответствует более общему состоянию культурно-философской тревоги, принятия несовершенства как эстетического ответа на цифровое совершенство».

В рамках исследования Руттен наблюдала за 14 блогами на Livejournal (и в четырех случаях — также за аккаунтами на Твиттере), анализируя «(мета)лингвистическое поведение» четырнадцати блогеров, а также их публичные высказывания (интервью и т. п.). Для проверки своих двух гипотез Руттен, во-первых, сравнивала «металингвистические метавысказывания» блогеров с их манерой языкового поведения; во-вторых, она исследовала «философское состояние тревоги и культурную логику», стоящую за этими стратегиями.

Главное открытие Руттен заключается в том, что это состояние тревоги не является феноменом, специфичным исключительно для русскоязычных блогеров, и его нельзя определить на национальном или дисциплинарном уровне. Скорее, утверждает Руттен, состояние тревоги — это глобальный феномен, который можно отследить во всех творческих дисциплинах, связанных с цифровыми технологиями. Более того, именно цифровой формат «проявляет» эту тревогу. На лингвистическом уровне это заметно в использовании языка, «к которому применимы категории игры, бессмысленности и лингвистического несовершенства».

«Эстетика несовершенства», пишет Руттен, — это транснациональный феномен, возникший как реакция протеста на ставшую нормой категорию совершенства в цифровом визуальном искусстве. Этот протест выражает всеобщую усталость от мнимо идеальной картинки, которая преследует нас в цифровом мире, от ее неискренности и «сделанности». Именно окружающей нас фальши противятся писатели-блогеры, когда они играют с языком, переизобретая его на просторах цифрового пространства (жаргон твиттера; язык «падонков» и т.д.) — добиваясь, таким образом, большей «искренности и аутентичности» не только в своих высказываниях, но и в метаязыке, который они изобретают. Такие отношения с языком симптоматичны для пост-советской культуры, которая одновременно и сформирована языковой культурой советского периода, пишет Руттен со ссылкой на Лунде и Паулсена (2009), и пытается подорвать ее нормативность.

Спустя шесть лет после публикации статьи Руттен, озабоченность фальшивым совершенством в дигитальных медиа, кажется, достигла своего пика. Ярче всего ее можно наблюдать на платформе, которая еще не была столь популярна, когда вышла статья Руттен — Instagram. В 2019 году на смм-конференции в Петербурге Анастасия Максимова представила доклад «Тренды в визуальном контенте для Instagram». Одним из трендов на ближайшее будущее Максимова назвала тренд на несовершенство, естественность, отсутствие ретуши. Схожие выводы можно сделать и наблюдая за набирающими сейчас популярность во всем мире и в России, в частности, подходах к сторителлингу в Instagram и социальных сетях вообще: искренность и аутентичность сегодня сменяют еще недавно бывшие в топе блестящие истории успеха. В рамках этой тендеции к публичной открытости и честности можно рассматривать и международные акции #metoo и #янебоюсьсказать, и флэшмоб #удепрессиинетлица, и многие другие попытки пересмотреть границы публичного, частного и фальшивого — с целью избавиться от последнего.

Включенность и быстрая реакция русскоязычного блогинга на возникающие темы мировой повестки подчеркивают одно важное качество, объединяющее исследования Руттен и Трубиной: оба научных проекта подчеркнуто рассматривают русскоязычную блогосферу в контексте транснациональной (Руттен)/«международной» (Трубина) перспективе. Для Трубиной это вопрос о «пористости» национальной памяти и ревизии больших нарративов. Для Руттен — вклад в изучение состояния тревоги, транслируемого через язык дигитальных медиа. В каком-то смысле развитие блогинга и цифровых медиа в России сегодня значительно опережает развитие культуры и, в частности, литературы. Пока последняя все еще борется с проработкой советской травмы и ищет язык, на котором можно писать о событиях современной истории, о том, что происходит здесь и сейчас, блогинг гораздо легче и быстрее находит свою нишу в глобализированном информационном пространстве.

Борис Минаев

Обнуление метаданных

Плохая память

Я стал забывать слова. Иногда они довольно трудно подбираются в разговоре, что создает некоторые затруднения.

Ничего, с возрастом это бывает. Говорят, главное в борьбе с Альцгеймером — не бросать «умственный труд», то есть читать, писать и, главное, думать. Приятно, когда за это еще и деньги платят, ну и, конечно, искать «свои» таблетки (пока не нашел), не пугаться, не расстраиваться — ну, подумаешь, я смотрю на экран и в упор не помню, как зовут Шерон Стоун. Как это вообще можно забыть? — а с другой стороны, на фиг мне имена этих актеров, я же точно помню, что Толстой — Лев, а Достоевский — Фёдор, этого вполне достаточно... Память — такая вещь, она почти тождественна личности, что-то не помнить — это иногда почти как лекарство, с другой стороны, ты сам — это и есть то, что ты помнишь. Все эти важные моменты я именно что вспомнил на спектакле «Папа» режиссера Евгения Арье по пьесе Флориана Зеллера. Вспомнил — и вот видите, до сих пор не забыл.

...Спектакль начался с минуты молчания в память о недавно умершей Галине Волчек, которая когда-то этот театр создавала, потом она его спасала, когда ушел во МХАТ Олег Ефремов, собирала заново, потом она делала его то классическим, блестящим и шикарным, то есть почти буржуазным, то очень демократичным, она искала новые имена и новые пьесы (Туминас, Коляда, Фокин — все они появились благодаря ей), она ставила театр на ремонт и шумно переезжала, словом, она пережила с театром всё — от рождения до...

До своей смерти. И теперь каждая новая премьера — это двойное событие. Событие для нее и событие без нее. Мы стояли и вспоминали Галину Борисовну в долгой напряженной тишине.

Аудитория нового спектакля «Современника», который называется «Папа», мне кажется, разделилась — одни смеялись и бурно реагировали, другие тяжело молчали. Первые, видимо, никогда не сталкивались (дай им бог здоровья) с ментальными проблемами, никогда не навещали в психоневрологических диспансерах своих близких, не знают, что такое болезнь Альцгеймера и ее симптомы, ну и вообще, не знают. Вторые — знают вполне.

Для первых, ничего *об этом* не знающих, спектакль, несомненно, блестящий, яркий, невероятно увлекательный психологический аттракцион, когда все происходящее на сцене: отношения стареющего больного отца, его дочери и ее мужа — увидено глазами «папы» (его замечательно и очень мягко играет Сергей Гармаш), шаг за шагом теряющего память.

Это одновременно и смешно, и страшно, и увлекательно — если не знать.

Для второй части зрителей — знающих про Альцгеймер слишком многое, все это смотреть очень, очень тяжело, и к тому же сильно раздражает, я думаю, «несовпадение с жизнью», то есть не совсем четкое и не совсем ясное изображение того, что бывает при этой болезни *на самом деле*.

«Папа», главный герой, путает времена и события, путает причины и следствия, погружаясь с каждым шагом во тьму сознания, то есть в его темную зону, причем Гармаш передает эти краски очень тонко. Я уже не в первый раз вижу, как «Современник» касается очень тонких, очень больных тем: в «Загадочном ночном убийстве собаки» Шамиль Хаматов с огромной силой и пластикой передавал внутренний мир мальчика-аутиста, в «Резне» остро и точно разворачивалась картина родительских комплексов, целый цикл спектаклей о старости и проблемах стариков сделал «Современник» лишь за недавние годы, но, наверное, никогда еще игра актера не была настолько мощной в изображении человеческой болезни, человеческой слабости, в изображении ухода человека из жизни, из привычного мира — как игра Сергея Гармаша в «Папе». Непостижимо, как он это делает — и пугаясь и гневаясь одновременно, и прячась и открываясь беззащитно, в каждой сцене, в каждой секунде — да, ради этого стоит смотреть. Только ради одного этого.

Однако — наблюдая за непосредственной реакцией той части зала, которая про Альцгеймер не в курсе, хохочушей в самых неожиданных для меня местах, я думал о том, что вся эта блестящая игра и весь этот аттракцион, в хорошем смысле этого слова, мне почему-то мешают понять подлинный смысл спектакля. А смысл — вовсе не про гуманизм по отношению к старикам.

Смысл в странном вопросе — а зачем помнить? Верней, а что *нужно* помнить? Или еще более точно: а что мы действительно обязаны, должны помнить? Без чего мы — как человечество — не можем обойтись?

«Папа» — это, таким образом, не конкретный старик, чья память играет с ним плохие шутки и ведет его к печальному финалу. «Папа» — это все мы, все человечество.

История — культуры, литературы, да и вообще история — на наших глазах перестает быть живой. Все эти бесконечные «биографии великих людей» в журналах и таблоидах, в «документальных фильмах» и ток-шоу, весь этот миллион книг, свалившихся на голову постсоветского человека, истосковавшегося по запретному плоду, по хорошему чтению — но потонувшего в этом потоке названий, фамилий, эпох, стилей — весь этот «культурный набор», превратившийся в какой-то небольшой сегмент рынка для целевой аудитории, постепенно оседает. Превращается в метаданные, зачем-то, для чего-то записанные на жестком диске нашей коллективной памяти.

Но кому нужны эти метаданные, кто их запрашивает, кроме «спецов», профессионалов, для которых это часть их профессиональной жизни, будут ли они востребованы в том новом времени, которого мы все так нервно ждем?

Или они *уже* не востребованы, уже не нужны?

Гармаш выходит на поклоны, зал бурно приветствует его, аплодируя его актерской харизме, актерской силе — такого, знаете, советского розлива, которая захватывает в контекст роли целый мир, а я думаю о том, как жить в этом бурном потоке забывания?

И будут ли помнить мои дети и внуки, что Толстой — Лев, а Достоевский — Фёдор?

«Зарница» и другие странные игры

Как-то летом 1981 года я поехал на Всесоюзный финал военно-патриотической игры «Зарница». Поехал недалеко, в Тулу. Масштабы игры меня потрясли. Тысячи детей со всех концов Союза жили в настоящих военных палатках, ходили строем по плацу, метали деревянные гранаты и, главное, беспрерывно читали какие-то стихотворные речевки. Всюду висели плакаты — тоже со стихами. Все это было до такой степени нелепо, что даже мило.

Но вот тогда я и задумался впервые, что в стихах есть нечто военизированное.

...«Зарница» — вторая часть дилогии, поставленной в Театральном центре имени Мейерхольда (чей художественный руководитель Виктор Рыжаков, к слову, недавно перешел на капитанский мостик «Современника»). Спектакль в уникальном ныне жанре поэтической драмы — то есть герои в нем разговаривают стихами. Привет Грибоедову, Шиллеру, ну и, понятное дело, Шекспиру с Мольером.

Откуда такое чудо?

История, которая началась еще в «Сване», в первой части дилогии, придумана московским поэтом Андреем Родионовым и драматургом Катериной Троепольской и поставлена силами Мастерской Дмитрия Брусникина (режиссер Юрий Квятковский) — своеобразная антиутопия, и центр ее — как раз о мире, который «обнулил» свои метаданные, свою культурную историю на самом деле.

В новой удивительной стране, то есть России, существует директивная, учрежденная законами этого нового государства — повседневная поэтическая речь.

Все должны разговаривать в рифму, мигранты должны сдавать экзамены на знание классической поэзии, ну и так далее.

Спектакль «Зарница» в этом году представлен на «Золотую маску». Герои спектакля — юные, так сказать, пионеры — отправляются в настоящий лес, где проходят через множество испытаний, и одно из них — устный экзамен, где, например, нужно ответить на вопрос: какие стихи читали перед смертью герои «Молодой гвардии» Фадеева. Ульяна Громова, оказывается, читала своим друзьям стихотворение «Демон». Но это лишь завязка, дальше начинается подлинная фантасмагория, смешение всех жанров: новогодней елки с «духами леса», лешими и бабами-Ягами, подростковый роман, с любовью и перепутанными гендерными ролями, опера и мистическая драма, тут есть все, и все звучит, грохочет, журчит (поскольку все еще вдобавок ищут и не находят волшебную жидкость), кругом пародия и что-то несерьезное и духоподъемное. Зрители смеются, и всем хорошо.

Но там, где-то вначале, остается тяжелый вопросик, заданный авторами как бы между прочим: а не ждет ли нас всех в конце концов вот такая «Зарница», бег в мешках и пионерская линейка с выносом флага?

Советский мир, который облюбован современной культурой как какой-то Ноев ковчег, облизан ею как Китеж-град, великая Атлантида всех смыслов и героических преданий, — сам по себе в этом качестве уже смешон. Смешон и страшен. Мифология, ежедневно залепляющая обществу глаза, впрыскивающая в него какие-то вредоносные ампулы, — куда от нее деваться? Этот вопрос мы задаем себе каждый день.

Но, похоже, уже не деться никуда — и наши дети не просто будут ходить на уроках военной подготовки с муляжами автомата Калашникова под портретами современных вождей и петь воинственные песни. Похоже, их и стихам, и сказкам будут учить по-советски. Вся надежда на то, что «метаданные» обнулятся и все превратится в пародию.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на **http://дружбанародов.com**

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнездниковский пер., 12/27)

«Русский путь» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**

в любом городе страны.

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

Цена свободная

Индекс 70250

5/2020

Читайте:

«Война и міръ в XXI веке»

К 75-летию Великой Победы мы предложили писателям разных поколений поразмышлять об отношении общества к войне в новом веке:

Сергей Самсонов:

Мир оказался в небывало странной, межеумочной ситуации: межнациональная и внутринациональная борьба за «место под солнцем» усложняются с невероятной быстротой, а «дедовский» способ разрешения противоречий пугает: весь «Каинов комплекс», присущий человеческому виду на всех уровнях, удерживается в ядерной и «гиперзвуковой» узде.

Олег Ермаков:

Мой друг, служивший в разведроте, возвращался из боевых рейдов по кишлакам опустошенным. И человечность медленно восстанавливалась в нем. То же происходило и со мной, но в меньшей мере — только потому, что довелось служить в артиллерийской батарее. Поражать врага, находящегося от тебя на расстоянии в десять или больше километров, это совсем не то же, что и встреча с ним на кривой глиняной улочке носу к носу.

Александр Бушковский:

Весьма возможно, что война — зло неизбежное, могу также допустить, что бывает с чьей-то стороны и справедливая война. Сам же я не намерен участвовать больше ни в какой. И жалею, что пришлось некоторым образом участвовать. Я не уверен, что среди людей у меня есть враги. Как поёт БГ, “я не могу принять сторону, я не знаю никого, кто неправ”.

И многое другое...

ISSN 0012-6756

Дружба народов • 2020 • №4 • 1—272